

МАРКИЗ де САД



МАРКИЗ ДЕ САД

ПИСЬМА ВЕЧНОГО УЗНИКА



У всех
есть свои
недостатки;
давайте
не будем
заниматься
сравнениями:
от таких
сравнений
мои палачи
могут
только
проиграть



Маркиз де Сад
de Sade

ПИСЬМА ВЕЧНОГО УЗНИКА

Первая публикация в России

МОСКВА



2005

УДК 840
ББК 84 (4 Фра)
С 14

Перевод *Андрея Боченкова*

Предисловие и комментарии *Натальи Загурской*

Оформление серии, дизайн книги *Елены Шамрай*

В оформлении издания использованы работы *Эдварда Мунка*

Сад Д.-А.-Ф. де

С 14 Письма вечного узника. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 608 с. (Антология мудрости).

ISBN 5-699-05559-2

Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад 29 лет своей бурной жизни провел в различных местах заключения. Поспособствовали ему в этом многие: от собственной тещи, которую он в промежутках между отсидками спас от гильотины, до Наполеона Бонапарта, который лично позаботился о том, чтобы неуемый маркиз до конца своих дней находился под надежным присмотром.

Произведения, которые де Сад тоже писал в основном в «камерной» обстановке, во Франции до сих пор официально находятся под судебным запретом. В России они были полностью изданы лишь в 90-е годы XX столетия, т.е. приблизительно через двести лет после того, как они были созданы. Теперь пришла очередь переписки, которую узник де Сад вел со всевозможными адресатами: женой и тещей, тюремным начальством, лакеем, друзьями и даже Богом, которого он упорно писал с маленькой буквы.

Письма де Сада выгодно отличаются от его же собственной суховатой прозы. В них он предстает постоянно изменчивым: то нежным мужем, то изощренным философом, то пакостником и матерщинником, то брошенным на произвол судьбы страдальцем. Последняя роль маркизу особенно нравилась; страницы, где записной богохульник и аристократ-извращенец то и дело требует у близких побольше шоколада, тортов и варенья, способны вызвать искреннее умиление.

Для любителей приятного чтения на нескучные темы.

УДК 840
ББК 84 (4 Фра)

ISBN 5-699-05559-2

Н. Загурская

ЭПИСТОЛА ИЗ КАМЕРЫ vs. ФИЛОСОФИИ В БУДУАРЕ



Памяти
Дмитрия Игоревича Руденко,
моего друга и учителя

Сад, безусловно, — человек гадкий и бесславный. Его биография могла бы занять достойное место в циклах *Параллельные жизни* или *Неурядицы в семьях* М. Фуко, где были собраны биографии маргинальных личностей, извращенцев, безумцев и прочих людей, которые, не попав в поле зрения автора, рисковали бы навсегда испариться из человеческой памяти. Фуко, кстати, и сам хотел стать подобным бесславным человеком, постоянно вопрошая, не является ли он таковым уже в настоящий момент. Желал бы этого, наверное, и сам Сад.

Однако, несмотря на то что, как и большинство героев *Неурядиц в семьях*, он был осужден обществом за безнравственное поведение, его бесславие было ложным. Такое бесславие представляет собой лишь видоизмененную славу и «идет впрок таким вызывающим ужас или негодование людям»[1]. И вот имя Сада снова и снова всплывает в контексте европейской культуры: его жизнь во многом отразила ее основополагающие особенности.

Известна легенда о том, что Сад, находясь в одной из тюрем, просил приносить ему корзины самых красивых роз, какие только можно было найти в округе, и ради развлечения «брал одну за другой, любовался ими с видимой страстью, вдыхал их аромат... а после по одной окунал в грязь и с диким смехом отбрасывал в сторону, поломанные и испачканные»[2]. В. Бабенко, исследователь жизни и творчества Сада, предполагает возможность того, что Сад сам распространил о себе эту легенду. Ведь в такой привычке со

всей отчетливостью проявилось стремление Сада создавать свой собственный, суверенный порядок, не зависящий «от всего, что ему предшествовало», говоря словами А. Бретона. И пускай этот порядок будет далеко не столь гармоничным, как естественный, главное, что он уникален. Если невозможно заново создать розу, то не остается ничего другого, как смешать ее с грязью и уничтожить. И если нет сил и, главное, желания написать пьесу, отвечающую общепринятым канонам и вместе с тем уникальную, то не остается ничего другого, как развенчать сам канон. Именно поэтому хоть Саду так и не удалось стать настоящим писателем, тем не менее он вполне проявил себя в качестве литератора самого широкого профиля — его перу принадлежат многочисленные пьесы, новеллы, романы, революционные памфлеты и воззвания.

А. Камю писал, что Сад в своих произведениях «показал крайние последствия логики бунта, забывшей правду своих истоков. Следствия эти таковы: замкнутая тотальность, всемирное преступление, аристократия цинизма и воля к апокалипсису. Эти последствия скажутся много лет спустя. Но, отведав их, испытываешь впечатление, что Сад задыхался в собственных своих тупиках и что он мог обрести свободу только в литературе»[3].

В результате Сад остался эталонным, литературным революционером. Аристократы выжили его из своей среды, народ также глумился над ним, сбегаясь поглазеть на того, кто под охраной полиции переезжал из зала судебного заседания в тюрьму или из одной тюрьмы в другую. Эти переезды иногда собирали сотни или даже тысячи зрителей, желавших увидеть «исчадье ада», о котором они давно были наслышаны. Народу не было дела до Сада. Кроме того, «Сад восславил тоталитарные общества во имя такой неистовой свободы, которой бунт, по сути, и не требует»[4]. А значит, был революционером по отношению к любому возможному политическому порядку и к любому возможному мироустройству, однако

революционером с пером, но не с оружием и уж точно не с булыжником в руках. Даже казнь, которой подвергли Сада, была символической: на площади Проповедников в Экс-ан-Провансе чучело Сада обезглавили и сожгли, потому что сам он в очередной раз благополучно ускользнул от правосудия. А. Камю именно потому называет Сада литератором, торжествующим только в мечтах, что главным произведением Сада стала его судьба. Так, парадоксальным образом, около тридцати лет проведя в тюрьмах и приютах, Сад все же восторжествовал над миром.

Начиная с Сада, тема свободы, несмотря на пребывание в тюрьме, распространяется в маргинальной литературе. И нередко снова и снова в подобного рода сюжетах фигурируют розы. Роза Ж. Жене подобна новоприбывшему в колонию для малолетних преступников: внешне он уже груб, но внутренне еще по-детски нежен. И эта нежность, возможно, прорвется сквозь колючую проволоку грубости, если отрастит пчелиные крылья, но новобранец — это пока еще роза, которую держат за стебель. В маргинальной среде «достаточно было малости, чтобы... жестокое действо стало галантной игрой»[5], когда «наказанный» оказывался покрытым не плевками, а брошенными в него розами. Так роза при всем своем великолепии являет собой некую абсурдную тайну, которую невозможно понять, но которой можно проникнуться. Сокрыта эта тайна «в изгибах лепестков, в их складочках, разрывах, пятнышках, дырочках, проеденных насекомыми»[6], и, видимо, является частью великой тайны пространства. Подобно Саду, Ж. Жене провел немало времени в тюремном заключении и во всей полноте испытал состояние отверженности. Оба эстетизировали зло и насилие, своеобразно утверждая свою суверенность в условиях камеры. «Забота о самовластности, о том, чтобы стать самовластным, любить то, что относится к власти, дотронуться до этого, этим наполниться,— вот что завораживает...»[7] Все это безусловно так, но розы — трога-

тельная деталь — напоминают о том, что изначально мир торжествующих литераторов заключал в себе не столько страшную, сколько трепетную тайну, погребенную под обломками старого мира, разрушенного до основания. С подтверждением архетипичности образа розы в данном контексте можно сталкиваться снова и снова. Недавно вышедший на свободу из исправительной колонии русский литератор Э. Лимонов неожиданно заявил: «На свободе очень уродливо оказалось. В зоне было красивее. По́том и кровью заключенных, но там растут розы повсюду. А когда я вышел, то увидел промзону... Это не значит, что там очень весело, но... розы растут»[8]. По ходу интервью выясняется простое обстоятельство, что колония специализируется на выращивании роз. Но тем не менее в этом упоминании из-под маски лидера национал-большевистской партии вдруг проглядывает литератор. И этот литератор шепчет: это же я, Эдичка, страдающий лирический герой раннего романа Лимонова. Становится понятным и то сверхъестественное впечатление, которое он производит на интервьюера: «Явление святости и чуда заключается в том, что терновый венец с шипами и оковы превращаются в венки и гирлянды белых роз»[9]. Но литератор бросает этот венок в грязь: он больше никогда не сможет поверить в красоту и величие миропорядка.

Трудно сказать, когда Сад разуверился во всем существующем. В его биографии достаточно событий, которые могли бы необратимо исковеркать внутренний мир нежного юноши. Большинство родственников и знакомых Сада характеризуют его в молодости словом «нежный». Вероятно, именно эта нежность не вынесла столкновения с реальностью: с детства привыкший к ласке, он затем обучался в суровых условиях иезуитского колледжа; воспитанный на возвышенной литературе, он в духе времени участвовал в многочисленных оргиях; неоднократно страстно влюблявшийся, он

женился по расчету; ценивший прежде всего свободу, он был вынужден стать светским человеком.

Ж. Лели, основываясь на идее амбивалентности чувств, настаивает на том, что Сад был классическим садомазохистом, от прочих садомазохистов отличаясь тем, что его «сублимация не являлась бессознательной»[10], а, кроме того, совершалась не в сфере искусства, но в сфере науки, где фантазия реализовывается в более полной мере. Мысль Ж. Делеза о том, что садизм и мазохизм являются законченными фигурами, а не частями одной фигуры, также находит подтверждение при виртуальном анализе психики Сада. Действительно, как гласит популярный анекдот, садист никогда не подвергнет мучению мазохиста, поскольку последний сам к этому стремится. Однако действующие лица или стихии фигуры садомазохизма то и дело меняются местами. Садист находится в не менее сильной зависимости от своей жертвы, чем жертва от него; иногда их связь даже скрепляется договором, как в *Венере в мехах* Л. фон Захер-Мазоха. Мазохист также подвергает садиста мучениям уже своим подспудным требованием проявления предельной жесткости, способной причинить боль. Имеется достаточно свидетельств того, что Сад варьировал обе позиции, как в сфере сексуальности, так и в политике, искусстве и пр. Больше того, Сад нередко предстает перед нами в своих текстах и письмах не только не жестоким, но даже гуманным. Как такое случается, убедительно показывает В. Беньямин, анализируя лесбийскую сцену у М. Пруста.

М. Пруст, большой ценитель Сада, один из первооткрывателей Сада в XX веке, описывает впечатление, на основании которого он позже составит представление о садизме. Это впечатление его герой получил, подсматривая за дочерью музыканта Вентейля, которая жила неподалеку. «Она пыталась как можно дальше отойти от своей подлинно нравственной природы, найти язык, свойственный порочной девушке, какой она старалась казаться, но она

боялась, как бы слова, которые та проговорила бы искренне, в ее устах не прозвучали фальшиво»[11]. Поэтому она постаралась подкрепить слова действиями и, принимая подругу, оскорбила своего покойного отца и осквернила его портрет, плюнув на него. Она делала это чрезвычайно сдержанно, и М. Пруст предположил, что эта сдержанность «представлялась бесхитростной и доброй ее душе самым гадким и самым сладостным проявлением той скверны, в которую она стремилась окунуться»[12]. «Садистка такого типа, как она,— пишет М. Пруст,— играет в зло, тогда как насквозь порочное создание не способно играть в зло, потому что зло не находится за пределами его «я», оно представляется ему вполне естественным, зло от него неотделимо; и так как у подобного создания никогда не было культа добродетели, культа памяти усопших, не было дочерней нежности, то осквернение всего этого не доставит ему святотатственного наслаждения»[13]. В самом деле, ее садизм выглядит детским и неоформленным, ей уже одно только чувственное наслаждение представляется злом, поскольку от природы она добра и сентиментальна.

Садисту, в отличие от жестокого человека, не зло приносит наслаждение, но наслаждение кажется зловредным. Мадмуазель Вентейль вряд ли ненавидит своего отца, скорее стыдится и поэтому играет в дочь, действительно ненавидящую своего отца. Пруст называет ее особым типом садистки, но, пожалуй, подобного рода установка присуща садизму как таковому. По этому поводу В. Беньямин замечает: «Пруст, так сказать, врывается в аккуратно обставленный кабинет в душе обывателя, на котором висит табличка "Садизм", и все безжалостно разносит вдребезги, так что от блестящей, упорядоченной концепции греховности не остается ничего. Более того, на всех разломах зло слишком ясно обнаруживает свою "человечность", даже "доброту", свою истинную основу»[14]. Дочь Вентейля по-детски радуется тому, что теперь отец не будет вор-

чать по поводу того, что она без пальто стоит у открытого окна. Так становится ясно, что садизм — жестокость условная.

18 октября 1763 года, когда Сад привел в свой «домик» Жанну Тестар, стало датой первого проявления садовской условной жестокости — открытием его либертинажа. (За который он впервые и попал в Венсеннскую тюрьму.) До этого он практиковал сугубо гедонистический либертинаж вполне в духе эпохи, подобно своему отцу и многим знакомым. Но вскоре после женитьбы, которая радикально изменила Сада, он снял «домик» в предместье Парижа Аркёй, предназначенный не только для приватных встреч и оргий.

Такого рода секретные «домики» были достаточно распространенным явлением в аристократической среде. Обычно они бывали внешне неприметными, чтобы не привлекать излишнего внимания, но зато изысканно и комфортно оборудованы внутри, чтобы обеспечить максимум наслаждения обитателям. Совершенно иного рода было убранство «домика» Сада. Его украшали плети и розги, некоторые из которых были изготовлены по специальному заказу, к примеру, из железных или латунных нитей. Так из заурядного предмета будуара аристократа плеть превращалась в орудие самой настоящей пытки. И главное, в домике Сада порнографические эстампы и рисунки соседствовали с изысканными предметами религиозного культа, такими, как распятие из слоновой кости.

Когда Сад и Жанна, работница, оказывавшая также и интимные услуги, оказались вместе в «домике», он принялся доказывать ей, что Бога не существует. С этой целью Сад нецензурно оскорблял Христа и Деву Марию, вталкивал облатки в половую щель Жанны, приказывал ей топтать распятие и испражняться на него. Вслед за А. Камю мы можем задать закономерный вопрос: зачем оскорблять то, в существование чего не веришь? Скорее, Сад «составил себе представление о Боге как о существе преступном, угнетающем и отрицающем человека»[15]. Говоря словами Ж. Батая, Сад

с помощью собственных литературных образов излагает теологию *«Высшего существа во злобе»*[16], «концепцию инфернального Бога»[17].

Жанна донесла на Сада в полицию. Обратим внимание: ни полицию, ни французского короля Людовика XV, которому доложили о данном происшествии, совершенно не удивили сексуальные подробности — опасными были признаны только богохульство и святотатство, ведь даже наиболее радикально мыслящие просветители не заходили так далеко. Что же касается Жанны Тестар, она, скорее всего, была подкуплена, однако главным мотивом заявления в полицию, несмотря на данную ею подписку о неразглашении обстоятельств посещения «домика» Сада, был шок от столкновения с воинствующим атеизмом: человек массы готов уничтожить Церковь, однако не в состоянии помыслить мир, в котором нет Бога, а шире — Большого Другого в том или ином виде.

Еще более показательным случаем была манифестация садовского либертинажа, получившая название «аркёйского дела», или «дела Розы Келлер». Строго говоря, дело Жанны Тестар также было «аркёйским», поскольку происходило все в том же «домике». Однако дело Розы Келлер получило более громкий резонанс в связи с его особой символичностью. Встреча Розы с Садом произошла в Пасхальное воскресенье 3 апреля 1768 года. Подобно тому как точкой отсчета Ренессанса принято считать другое Пасхальное воскресенье — 8 апреля 1341 года, когда Петрарка, которого Сад очень ценил и любил, короновался как король поэтов на римском Капитолии[18], Пасхальное воскресенье 1768 года Сад намеревался отметить как точку начала новой эпохи Просвещения.

Термин «Просвещение» вводится в работах Ф.-М.-А. Вольтера и И.-Г. Гердера примерно в то же время, хотя просветительские идеи появляются уже в конце XVII века. В связи с этим мы можем говорить о середине XVIII века как о времени оформления просветительской тенденции. И. Кант в статье *Ответ на вопрос,*

что такое Просвещение? и другие философы-классики определяют его как по большей части рационалистическое и прогрессистское направление. Однако не стоит забывать, что Просвещение к этому не сводится и изначально обнаруживает свою изнанку, хотя и не происходит «осознания деструктивности прогресса»[19], и в связи с этим Просвещение регрессирует в мифологию и массовую культуру.

С. Жижек, вслед за Ж. Лаканом, полагает, что И. Кант и Сад являются идеальной парой, олицетворяющей основные аспекты Просвещения[20]. Он ставит вопрос о том, не является ли создатель формальной этики в той же мере ответственным за фашистские пытки, как и либертен. В итоге он дает отрицательный ответ, однако по ходу изложения мы понимаем, что связь между И. Кантом и Садом выражена значительно в большей степени, чем это может показаться с первого взгляда. Сад представлен С. Жижеком как скрытый кантианец. Кант полагает, что любое желание может быть проконтролировано, в случае, если оно противоречит инстинкту самосохранения: никто не станет проводить ночь с дамой, если за это неминуемо будет ждать казнь. Однако Сад как раз и удовлетворяет свои желания вопреки очевидной опасности, вне элементарных «эгоистических» интересов и «по ту сторону принципа удовольствия», а значит, по Канту, его действия являются этическими, а страсти — этичными.

Кроме того, и в случае И. Канта, и в случае Сада мы имеем дело с доступом к удовольствию через боль и унижение, хотя и с различных позиций; со взаимным и добровольным использованием половых органов друг друга, хотя и с различными целями; а также с идеей бессмертия души или тела, принципиальную инверсируемость которых показал М. Фуко, определив душу как «темницу тела». Конечно, персонажи фундаментальной фантазии Сада относительно идеальной жертвы, которая бесконечно страдает, но не

умирает и даже не теряет своей привлекательности, комичны и напоминают Тома и Джерри и персонажей прочих мультфильмов, остающихся невредимыми после любых испытаний. Однако преимущество Сада в том, что он, в отличие от И. Канта, делает видимой фигуру того, кто представляет моральный Закон,— фигуру палача-мучителя. Учитывая, что Сад достаточно резко относился к любого рода законному насилию и в качестве содержания безусловного этического предписания устанавливает предельную патологическую сингулярность, это исключает оправдание жестокости Долгом. Иными словами, Сад показывает нам издержки тенденциозного восприятия кантовской этики, которое и приводит к развитию тоталитарных потенциалов.

Если же следовать не И. Канту, но М. Фуко, вслед за ним написавшему одноименную статью *Ответ на вопрос, что такое Просвещение?*[21], в которой отчасти развивается, а отчасти отрицается кантовское понимание Просвещения, можно сказать, что речь шла об использовании не только разума, но и чувств, опыта и прочих инструментов познания для достижения свободы и индивидуации. Не случайно Просвещение как конкретная эпоха заканчивается Великой Французской революцией, которую трудно назвать торжеством разума, но которая несомненно является торжеством освобождения. Сад же к тому времени уже вышел за пределы революции и в своих произведениях вполне определенно показывал ее последствия, но тем не менее принимал активное участие в работе революционной секции Пик.

Апологет свободы Сад был очень далек от масс, поэтому вряд ли его привлекали остальные две составляющие революционного лозунга — равенство и братство. В той или иной степени он всегда оставался аристократом. «Сегодня утром Вы [Сад обращается к генерал-лейтенанту Бастилии Дю Пюже.— *Н. З.*] сказали мне, *что мне не следует обращать слишком большого внимания на*

корни людей, на то, откуда они родом. Это верно, но только тогда, когда достоинства этих людей заставляют вас закрыть глаза на их происхождение; и в этом случае их следует уважать даже гораздо больше, чем тех, кто имеет благородное происхождение, но чья жизнь никчемна или полностью потрачена впустую, которые, потрясая пергаментом своего родового наследия перед обществом, лишь раскрывают, сколь велико различие между ними самими и их прославленными предками» (с. 553 наст. издания).

В случае с Розой Келлер, обстоятельства встречи с которой, в принципе, сходны с обстоятельствами встречи с Жанной Тестар, Сад явно пытался пробудить в ней способность к сильным ощущениям, то есть способность к свободе[22]. Не случайно их встреча не включала в себя элемента тривиального сексуального насилия — наслаждение в этом случае должно было быть вызвано за счет причинения дозированной боли. Сам Сад также ценил подобного рода наслаждения, но забывал о том, что свобода невозможна, если она не основана на выраженной внутренней свободе, и тем более невозможна насильственная свобода.

Так мы впервые сталкиваемся с принципиальным утопизмом мышления Сада, присущим, впрочем, и многим другим мыслителям Нового времени. М. Фуко настаивает на том, что кантовское Просвещение как выход из детского состояния по большей части означает не начало нового этапа развития, а именно «выход» или «исход»[23], то есть некую конечность, совершенную и при этом современную. Это новизна закрытого типа, исключающая всякого рода дальнейшее развитие, как и любая утопия, застывшая в своем совершенстве и возможная только в тексте.

При этом Просвещение как подлинная современность характеризуется разрывом с традицией и означает прежде всего «переходность, мимолетность, случайность». М. Фуко ссылается на Ш. Бодлера как на чрезвычайно близкого Саду по духу[24]. А. Камю считал

писателей-денди наиболее ясно воплотившими образ литератора, восходящий к Саду. Сам Ш. Бодлер, как и Сад, настаивал на том, что «ироническая героизация настоящего, игра свободы с реальностью во имя ее преобразования, аскетическое сотворение себя не могут иметь места... ни в обществе, ни в политике. Они могут осуществиться только в одном месте: Бодлер называет его искусством»[25]. Именно в нем свобода и индивидуация, которая достигается путем «аскетического сотворения себя», объединяются в ходе установления позиции-предела. Не случайно Бодлер подчеркивает, что дендизм является институтом за пределами законов, однако имеет строжайшие собственные законы.

Излишне напоминать, что большинство произведений Сада хотя и не совместимы с общепринятыми установлениями, однако внутренне строго упорядочены как в композиционном, так и в идейном плане. Есть и существенное отличие между Садом и его идейными последователями — денди — это страсть. Каким бы образом Сад ни пытался упорядочить ее, страсть в его произведениях прорывает плотины установленных пределов, и скука, которая может быть вызвана чтением его произведений, имеет мало общего с дендистским сплином. Ведь законы, устанавливаемые Садом,— это не реальные законы, но правила игры. «Стихийно возникающий порядок обозначается у Сада краткими ремарками: сцена движется, картина устраивается. В результате садическая сцена вызывает у нас сильное ощущение не то чтобы автоматизма, но игры по детально расписанному сценарию»[26],— пишет по этому поводу Р. Барт в книге *Сад, Фурье, Лойола*, подчеркивая этим отличие Сада от двух других героев книги: садовский текст полностью создается работой языка, здесь нет ни Бога, ни идиллического социального порядка. Этот текст полностью «отрезан» от реальности, а его герои являются «актерами языка».

«Я либертен, но я не преступник и не убийца, и, поскольку я обязан присовокупить к своему оправданию свое извинение, я скажу, что вполне возможно, что те, кто так несправедливо меня осудили, не имеют возможности компенсировать свои низкие поступки добрыми делами, такими же очевидными, как те, что я могу противопоставить своим проступкам» (с. 282 наст. издания). Эта вполне определенная характеристика дана Садом самому себе в знаменитом «большом письме» жене из Венсенна и дополнена списком его добрых дел: он спас ребенка из-под колес повозки, никогда не подвергал риску здоровья своей жены и пр.

Многочисленные планы мести, которые лелеял Сад в отношении своей тещи — госпожи де Монтрей (см., например, с. 372 наст. издания), которая способствовала его заключению и продлению срока этого заключения, остаются только компенсаторными фантазиями. На самом деле, уже будучи революционным деятелем, он спасает тещу и тестя от ареста. Сад испытывал сильнейшее отвращение к смертной казни, по крайней мере узаконенной, и к реальному насилию, ведь большинство его «жертв» попали в сферу его влияния добровольно, направляемые жаждой удовольствий или корыстолюбием. Итак, Сад оказался не преступником, но пре-ступником, собственной жизнью проиллюстрировавшим европейскую концепцию человека как существа, пре-ступающего прежде всего собственные пределы.

Сад оставлял за собой только одно исключительное право либертена: право говорить. Этим правом вполне пользуются и его герои-либертены: «за исключением убийства есть только одна прерогатива, которой обладают все либертены и которую они ни с кем не делят ни в какой форме: это — слово. Господин — это тот, кто говорит, кто полностью располагает речью; объект — это тот, кто молчит, кто лишен всякого доступа к речи, поскольку не имеет права даже принять слово господина»[27].

Преступление невозможно вне языковой сферы, а точнее, вне сферы языковых противопоставлений, таких, как отец/дочь (инцест), жена/муж (измена) и пр. В результате тексты Сада могут быть рассмотрены как иллюстрации к положению о языковой природе морали, в сфере которой невозможна справедливость как одно из немногих не подлежащих деконструкции понятий. Место справедливости в текстах Сада занимает реванш, но реванш только в сфере сексуальности: одна из обычных сексуальных практик либертенов — пассивный гомосексуализм, однако право либертенов на слово исключительно.

Возможно, именно этим и была обусловлена неудача Сада в деле освобождения Розы Келлер. Пытаясь заставить ее испытать острое наслаждение, он одновременно лишал Розу права голоса. Когда она захотела исповедаться, он заявил: «Я буду твоим исповедником! Исповедуйся мне!»[28], понимая, что это заставит Розу отказаться от идеи исповедаться. Детали «аркёйского дела» позволяют определенно сказать, что к этому времени взгляды Сада уже вполне оформились. Однако их особенности скорее позволяют назвать это время точкой отсчета не столько эпохи Просвещения, сколько эпохи Либертинажа. Дальнейшие вехи судьбы Сада: известная «оргиастическая» зима в поместье Сада Ла-Кост, «марсельская» оргия с проститутками, после которой и последовала символическая казнь, а затем и серия реальных арестов — не оказали значительного влияния на его становление.

Свою концепцию либертинажа Сад создавал, конечно же, не на пустом месте. Автором этого термина является П. Гассенди, философ, период творческой активности которого приходится еще на первую половину XVII века. Под его влиянием впоследствии либертинаж оформляется как идеологическое направление. Его сторонники называли себя либертенами, то есть вольнодумцами или свободомыслящими. Сам П. Гассенди прославился работами, по-

священными критике «аристотеликов», которые виделись ему прежде всего как схоластические последователи Аристотеля. Кроме того, достаточно известны его работы *Метафизическое исследование против Декарта* (1642) и *Метафизическое исследование, или Сомнения и новые возражения против метафизики Декарта* (1644), которые были написаны в результате полемики с Рене Декартом. Очевидно, что критика П. Гассенди в целом направлена против схематизма и рационализма мышления и мировоззрения. Другая сторона наследия П. Гассенди — апология учений Эпикура, Пиррона, а также М. Монтеня и П. Шаррона. Трактат П. Шаррона *О мудрости* стал настольной книгой либертенов. Шаррон даже подвергался преследованию властей, поскольку, в отличие от М. Монтеня, изложил свои взгляды в ясной, краткой и недвусмысленной форме. Это также способствовало росту популярности творчества П. Шаррона в среде либертенов.

Либертинаж П. Гассенди и его ранних последователей можно назвать гуманистическим: главный интерес его составляли природа человека и наслаждения, которые понимались в эпикурейском духе, то есть связывались не с острыми удовольствиями, но со спокойствием и безмятежностью духа. Следование природе, которая «дала нам свободный дух», а также «устремление к мудрости» и занятия философией ведут к свободе[29]. Именно поэтому, в глазах Гассенди, ошибался Аристотель, говоря о том, что одни люди по природе своей свободны, а другие — рабы. П. Гассенди отсюда выводит естественность справедливости: «Ведь страсти, порождаемые природой, легко могут быть удовлетворены без того, чтобы совершать какую бы то ни было несправедливость; суетным же страстям не следует потакать, ибо предмет их вожделений не представляет собой ничего желанного и в несправедливости кроется больше вреда, чем может быть пользы от тех вещей, которые достигаются путем несправедливости»[30]. Становится очевидным, что концепция

человека как существа пре-ступающего, но вместе с тем не преступника, коренится уже в античной философии, прежде всего в философии эллинистического периода.

Кроме того, вслед за М. Монтенем, П. Гассенди придерживался фидеистических взглядов, то есть не отвергал веру, но отделял ее от разума, желая освободить последний «от выполнения теологических обязанностей»[31]. В результате возникает известное «дело Гассенди», в ходе которого противники обвиняют его в лицемерии, а сторонники, в частности Рене Пентар, называют его «двуликим человеком» («homo duplex»).

Эта деталь дает нам возможность пролить некоторый свет на святотатства и богохульства Сада и также назвать его homo duplex: как уже отмечалось, вряд ли можно однозначно сказать, что он был атеистом. Вызывает некоторое сомнение и ответ на вопрос, должны ли его уничижительные действия по отношению к Богу усилить эротический экстаз или, напротив, эротика была подчинена цели достижения экстаза мистического. Что же касается П. Гассенди и его ближайшего круга — Ф. Ламота Лавайе, Э. Диодати и Г. Ноде, которые назвали себя «Тетрадой», то их «пирронистский разгул» и «скептические пирушки» имели в большей степени философский характер: они уединялись, чтобы не шокировать возможных свидетелей излишним вольнодумством. В остальном «Тетрада» вела вполне умеренную жизнь[32].

Гуманистический либертинаж также стал идеологической основой для произведений представителей альтернативных классицизму литературных направлений. Если философской основой классицизма стало картезианство, моральная составляющая которого была близка к стоицизму, то эпикуреизм и скептицизм, понятый сквозь призму философии П. Гассенди, вдохновлял авторов, тяготевших скорее к развитию традиций ренессансной литературы. Можно вспомнить имена Теофиля де Вийо, Лючио Ванини, Сави-

ньена де Сирано (более известного как Сирано де Бержерак) и пр. Очевидно, что, хотя этих писателей и рассматривают обычно в рамках так называемого ренессансного реализма, вряд ли в этом случае можно говорить о литературной школе с четко сформулированной эстетической программой, скорее речь идет о движении — литературно оформленном либертинаже, который выражался с помощью достаточно разнообразных художественных средств. Писатели-вольнодумцы критически воспринимали барокко и классицизм, а в ряде случаев речь шла о явных стилистических пародиях, в результате чего ренессансный реализм стал рассматриваться как принципиально оппозиционная стратегия. Позднее и Сад использует подобную стратегию: чего стоит одно только то, что *120 дней Содома, или Школа либертинажа маркиза де Сада* построены, хотя и с некоторыми коррективами, в соответствии с классицистическим принципом единства времени, места и действия, а также строгой симметрии.

Однако в дальнейшем последователи П. Гассенди достаточно далеко отошли от его учения и образа жизни, вследствие чего либертинаж стал пониматься двояким образом: с одной стороны — как все те же «вольнодумство» и «свободомыслие», а с другой — как «распущенность». Достаточно часто эти тенденции сливались воедино, порождая «озорное безбожие». Такое понимание либертинажа подкреплялось еще и тем, что клирики и моралисты того времени связывали всякое отклонение от религиозных и моральных норм с сексуальной распущенностью. И действительно, стремление к наслаждению все чаще понимается буквально, а не в духе Эпикура. Такой либертинаж можно назвать гедонистическим или «либертинажем ниже пояса», по аналогии с «бунтарями ниже пояса» из *1984* Дж. Оруэлла[33]. Именно такого рода либертинаж практиковали отец Сада, его дядя-аббат, а также многие просветители, скажем, Вольтер, с которым они были дружны.

Либертинаж, к которому пришел Сад,— совершенно иного рода. Он, несомненно, несет в себе черты вольнодумства «Тетрады» и выраженную философскую направленность. Однако Сад идет дальше и не просто отделяет веру от разума или отвергает веру как таковую. Он использует ее элементы для полного освобождения. Вряд ли возможно назвать эту встречу с абсолютным ничто мистическим экстазом. Но, в любом случае, либертинаж Сада, нацеленный на достижение абсолютной свободы, слишком ощутимо колеблет границу между естественным и сверхъестественным, в результате чего его можно назвать метафизическим.

Здесь снова обнаруживается взаимодополняемость фигур Сада и И. Канта, который в *Критике чистого разума* определяет метафизику как возлюбленную, с которой состоят в ссоре, но к которой планируют вернуться. Эта любовь — своего рода сумасшествие, которое «приводит к «метафизическим оргиям», к трем разновидностям не знающего границ разврата. Этим разновидностям Кант дал следующие названия: «диалектика», «паралогизмы» и «антиномии» — три сценария прорвавшегося метафизического либидо»[34]. Так же, как критическая философия И. Канта, натуралистическая философия Сада содержит в себе скрытую привязанность к метафизике, причем в самых невоздержанных формах. Известно, что И. Кант был не чужд спиритизму в версии Э. Сведенборга, а Сад проявляет излишнее рвение, богохульствуя и святотатствуя.

Различие между ними состоит лишь в том, что первый сознательно предается аскезе как упражнению, практике и правилу жизни, второй же волею судьбы оказывается в условиях, обеспечивающих сексуальную аскезу. Однако метафизика обоих может быть названа маргинальной во многих смыслах этого слова, не только в связи со своей невоздержанностью, но также и в связи с тем, что она редко проявляется в известных сочинениях, зато достаточно часто в заметках на полях, письмах и высказываниях. Именно

поэтому не только творчество Сада, но и образ жизни И. Канта можно назвать источником вдохновения при формировании концептуальной основы теории и практики дендизма.

Развивая идеи Сада, денди стали литераторами жизни; развивая идеи И. Канта, они дополнили эту литературу духом безумной метафизической любви — меланхолии или, в английской версии дендизма — сплина. Денди не были либертенами, поскольку чурались яростного желания открытия истины, в том числе и истины пола, поэтому метафизическая любовь подвергается критике и становится для денди принципиально недоступной вещью-в-себе, что и порождает сплин. Если Сад является философом границы постольку, поскольку сметает ее, то И. Кант и денди балансируют на пределе. Они не бунтари, но и не рабы: Ж.-Б. Ботюль замечает, что И. Кант был слишком честным, чтобы быть порядочным (скажем, завести семью), и слишком порядочным, чтобы быть честным (скажем, завести любовницу). То же самое можно сказать и о подчеркнуто индифферентных к вопросам семьи и асексуальных денди.

Теория метафизического либертинажа Сада формируется во время его заключения в Венсенне, где он вынужден был вести аскетический образ жизни. И если бытовые условия заключения были вполне мягкими, особенно учитывая старания Рене-Пелажи, жены Сада, то сексуальная аскеза была полной. Даже во время его редких свиданий с женой всегда присутствовало какое-либо официальное лицо. Но главным ограничением для Сада, конечно, было ограничение свободы самой по себе.

Однако в результате Сад достиг невиданной свободы самовыражения. Вихрь удовольствий, который то и дело захватывал Сада перед заключением, не давал развернуться его таланту. А написанная в революционный период *Жюстина, или Несчастья добродетели*, продолженная *Историей Жюльетты, ее сестры* (Сад в Бастилии только начал писать ее, а закончил уже после освобождения),

а также *Философия в будуаре* грешат излишней публичностью: на них лежит отпечаток Сада-оратора, и будуар в этом случае ничем не отличается от площади.

Освобождение не позволяет сосредоточиться на самом чувстве свободы. Об этом же говорит пример Э. Лимонова: пребывание в зоне положительно повлияло не только на его имидж, но и на внутреннее состояние. Заключение дало возможность сосредоточиться и написать несколько книг, в то время как после выхода на свободу его постоянно сопровождали товарищи по партии и журналисты. В результате он не смог полностью вдуматься в свое освобождение и увидел «промзону». Конечно, «человек творческий, если он действительно художник, должен прийти к пониманию главной цели искусства: влияния на окружающий мир с целью изменить его. Тогда он движется по вертикали вверх»[35]. Но чтобы изменить, сначала нужно измениться. В этом случае заключение представляет собой ничем не превзойденную возможность заботы о себе, понимаемой прежде всего как работа над собой.

Кроме писем, в Венсенне и частично в Бастилии был создан безусловный шедевр — *120 дней Содома, или Школа либертинажа маркиза де Сада*. Но именно письма Сада позволяют лучше понять его самого, отделив автора от «лирических» героев его произведений, и развеять многие мифы, которые в большинстве случаев образуют почти непроницаемую броню вокруг его персоны.

Уже отмечалось, что жизненную позицию Сада скорее можно было бы обозначить как садомазохистскую, а сам садизм — как условный. Термин «садизм», введенный Р. фон Крафт-Эбингом, означает половое извращение, при котором удовлетворение достигается за счет физических страданий и унижений, причиняемых партнеру. Во многих случаях это расстройство возникает в связи с половыми излишествами или заболеваниями половых органов. В случае Сада имели место обе причины. До свадьбы с Рене-Пелажи

Сад, по примеру отца, вел образ жизни либертена-гедониста: имел многочисленные сексуальные контакты и участвовал в оргиях. В результате он переболел многими венерическими заболеваниями, вплоть до сифилиса, что, конечно же, не лучшим образом сказалось на состоянии его полового аппарата. Но Сад вовсе не был исключением для своей эпохи, поэтому совершенно необоснованно связывать происхождение этого извращения именно с именем Сада. К тому же его садизм, если, конечно, не принимать во внимание творчество Сада, был по большей части бутафорским. Можно говорить скорее о научном эксперименте по изучению природы желания и наслаждения, к которым он подходит с мерками, сложившимися в рамках геометрии.

Здесь очевидна преемственность Сада по отношению к Данте. Хотя в *Божественной комедии* исследуется не желание и наслаждение, но искупление, следующее за ними, Сад многое заимствует у Данте в композиционном отношении. Различия между ними часто формальны: если Данте строит свою поэму на основании магии числа 3, то Сад, предпочитающий прямые углы, а кроме того, вынужденный существовать в прямоугольном пространстве камеры, в основу композиции *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* кладет число 4; ад Данте расположен в земных недрах, тогда как замок Силинг Сада — в горах[36].

Между Данте и Садом есть идеологические несоответствия, которые можно понимать как несоответствия между гуманистическим и метафизическим либертинажем. Эти несоответствия (и, одновременно, сходства) наиболее явно проявляются при сравнении архитектурных проектов Сада и К.-Н. Леду, создавшего проекты огромного «Дома Наслаждений» (1787) фаллической формы и «храма любви» «Ойкема» (1790). Целью этих проектов было улучшение нравов, но на деле одно их описание способно было распалить воображение: упорядочивание страстей не ведет к их угасанию.

«Для Сада заточение неразрывно связано с чувством защищенности и наслаждения»[37]. При этом заточение не происходит в тюремной камере: это может быть также монастырская келья, театральная ложа и другие замкнутые пространства.

Изначально планы домов наслаждений Сада также имели фаллические и вагинальные формы, однако постепенно он переходит к архитектурной игре круглых и прямоугольных форм, и его чертежи становятся все более упорядоченными. Само наслаждение также только усиливается по мере его осознания. Кроме проектов К.-Н. Леду, планы Сада можно соотнести также с концепцией «Паноптикона» Й. Бентама, который М. Фуко описывает как «лабораторию власти». Речь идет прежде всего о всепроникающей власти взгляда господина, тогда как все остальные обитатели рассматриваются как тела надзора. Однако поскольку герои Сада нередко сами выступают в качестве участников оргий в самых различных качествах, то можно говорить не о господине, а о суверене, образ которого является результатом деконструкции оппозиции господин—раб.

Проекты Сада «предстают как план повествования, где каждая клетка соответствует эпизоду»[38]. Он предполагал, что издание *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* будет сопровождаться планом Силинга, на полях которого будут указаны действия, которые совершаются в той или иной комнате. Другие планы домов наслаждений Сада также функционально маркированы, а кроме того, текстуализированы в той же степени, что и отношения героев.

Таким образом, Сад, с одной стороны, пародирует просвещенческий идеализм, а с другой — использует открытия просветителей в собственных целях. В донесении префекта Дюбуа, отправленном министру Фуше после изъятия уже второго варианта «Дней Флорбеля» в Шарантоне, содержится следующая оценка

творчества Сада: «Среди непристойностей и самого утонченного распутства там царит рассудительная экстравагантность, на которую, к счастью, мало кто из людей способен»[39].

Вряд ли в случае Сада речь может идти о культе науки, но черты философского позитивизма в его мировоззрении просматриваются вполне отчетливо. В этой связи творчество Сада во многом перекликается с творчеством Ф. Ницше «скептико-позитивистского» периода — от *Человеческого, слишком человеческого* до *Веселой науки*. Оба они видятся скорее литераторами, чем учеными, хотя их эрудиция в области различных наук не вызывает сомнений. Исходя из списка книг, которые Сад просит прислать в Венсенн, и разного рода его замечаний, мы можем сделать вывод о том, что он так или иначе разбирался в математике, физике, биологии, истории, литературе, философии и других науках. Теория либертинажа должна была строиться на научной основе. Сад предлагает моралистам сосредоточиться на изучении объективных законов природы и выносит строгий приговор «тщедушной особи рода человеческого»: «Я прощу тебе то, что ты моралист, когда ты получше будешь разбираться в физике».

Подобным образом и Ф. Ницше выражает свое презрение к «моральной болтовне»: для того чтобы «стать тем, что мы есть,— новыми, неповторимыми, несравнимыми, полагающими себе собственные законы, себя-самих-творящими... мы должны стать лучшими выучениками и открывателями всего законного и необходимого в мире: мы должны быть *физиками*, чтобы смочь быть творцами в названном смысле,— между тем как до сих пор все оценки и идеалы зиждились на *незнании* физики либо в *противоречии* с нею. И посему: да здравствует физика! А еще больше то, что *принуждает* нас к ней,— наша честность!»[40]

Апелляция к честности может помочь пониманию того, почему литераторы обращаются к естественным наукам: они ищут в них

определенности. Но после открытий неевклидовой геометрии, квантовой физики и т. п. становится очевидным, что естественные науки могут быть и «литературными» и «гуманитарными». С их помощью можно оправдать релятивизм в области морали, однако философские и архитектурные проекты Сада, призванные упорядочить сексуальное влечение, рассыпаются как карточные домики, а фрейдовская теория либидо насмехается над самой идеей подобного упорядочивания, которое возможно только как литературная утопия.

Нет, Сад не был позитивистом в полном смысле этого слова. Его любовь к числам больше напоминает каббалистическую и оккультную нумерологию, чем собственно математику. В письмах из Венсенна он произвольно сопоставляет числа, которые находит в письмах Рене-Пелажи и других лиц, и на основании этого сопоставления делает произвольные выводы о дате своего выхода на свободу, размере пениса несуществующего любовника жены и многих других вещах. Сад судорожно пытается подобным образом выяснить неизвестные ему факты, равно как и придать потокам собственных желаний очертания машины. Не случайно извращение, или перверсия, лишь эпизодически попадает в поле зрения психоаналитиков, но является объектом пристального внимания шизоаналитиков. И если в первом случае перверсия выступает всего лишь регрессивным смещением генитальной зоны и соответствующей ей сексуальной цели, то во втором — средством избежать невроза. И с распространением буржуазной морали, которая несовместима с перверсивностью, количество невротиков увеличивается настолько, что становится возможным создание универсальной теории неврозов, охватывающей все культурные сферы.

Сад определенно не укладывается в «черный ящик» шизофренической симптоматики. Трудно отрицать выраженные черты шизофренической анальности в творчестве Сада: педантизм бесконечных монотонных перечислений, языковую блеклость и скупость,

сюжетную и идейную аккуратность, тщательно маскирующую тягу к разложению, особенно свойственные шизофренику. Однако при этом Сад словно бы пародирует порядок, доводя его до крайней точки, точки протеста. «Политический протест имеет своей целью дискредитацию актуальной власти через сопоставление ее с сексуальными практиками, где распределение ролей оказывается аналогичным»[41].

Порядок у Сада может ассоциироваться не только с политикой, но и со спортом. Как пишут М. Хоркхаймер и Т. Адорно в *Диалектике Просвещения*, «напряженная, целесообразная деятельность царит в спорте, как и во всех отраслях массовой культуры, при всем при том, что до конца не посвященный зритель не способен распознать различие комбинаций, разгадать смысл перемежающихся ходов, соразмеряющийся с произвольно установленными правилами»[42]. Как и в спорте, в ходе «построения гимнастических пирамид садовских оргий» максимально используются возможности каждого игрока, который должен четко представлять собственную роль и для которого имеется наготове игрок запасной. Такой подход не тождествен текстуализации композиций романов Сада, произведенной Р. Бартом, но вполне соотносим с ней. Он отражает прежде всего актуальность этих романов в контексте массовой культуры, а одной из ее важнейших составляющих является спорт, который, будучи рассмотренным в качестве культурного феномена, также обнаруживает свою текстуальную основу.

Буржуазно-спортивное внимание к каждой мельчайшей детали, «атомизация» социального организма ведет к революционному взрыву, а шизофреник из заключенного в рамки семантической стереотипии превращается в бунтаря, который прорывает поверхность смысла и восклицает: «“Все, что пишется,— ПОХАБЩИНА!”» (то есть всякое зафиксированное или начертанное слово разлагается на шумовые, пищеварительные или экскрементальные

куски)»[43]. Поэтому честнее всего будет изначально, не маскируясь, писать похабщину. Причем похабщину в самом широком смысле этого слова, предполагающую порнографию, имморализм и особенно богохульство, без которого Сад не был бы самим собой, неистовым и извращенным.

Большинство просветителей трепетно относились ко всему «естественному», гарантом которого полагали идею Бога (которую, говоря словами Вольтера, следует измыслить). Однако же практически никто из них не задавался вопросом о грани между естественным и «неестественным». В так высоко ценимой Садом *Исповеди* Ж.-Ж. Руссо описывает острый приступ желания к автору, охвативший его товарища по обучению в приюте для новообращенных католиков — одного из «ужасных бандитов... походивших скорее на воинов сатаны, чем на людей, взыскующих стать детьми божьими»[44]: «Я не мог понять, что было с этим несчастным; я думал, что у него припадок падучей или какого-нибудь другого еще более ужасного исступления; и, право, я не могу представить себе ничего более отвратительного для спокойного наблюдения, чем такое бесстыдное, гнусное поведение и такое ужасное, воспламененное самой грубой похотью лицо. Я никогда не видал другого мужчины в подобном состоянии, но, если мы бываем такими с женщинами, они должны быть очень ослеплены, чтобы не прийти от нас в ужас»[45]. В этой ситуации Руссо, будучи уже достаточно развращенным подростком, смотрится в живое зеркало, но не узнает в нем себя. Со стороны сильное желание кажется ему перверсивным и неестественным, тем более что в данном случае речь идет о гомосексуальном влечении. К тому же к моменту написания *Исповеди* Руссо раскаялся в том числе и в гораздо менее опасных, на его взгляд, желаниях. В результате все более общепринятым становится признание естественной репродуктивной, то есть ведущей к продол-

жению рода сексуальности, а все остальные ее проявления маркируются как извращенные.

Эта позиция Ж.-Ж. Руссо коррелирует и с его отношением к письму, которое подробно исследуется в *О грамматологии* Ж. Деррида. С точки зрения Ж. Деррида, у Ж.-Ж. Руссо по отношению к членораздельному единству звука и смысла «письмо всегда предстает как нечто производное, чуждое, частное, внешнее, вторящее звуковому означающему. Письмо — это «знак знаков», говорили Аристотель, Руссо и Гегель»[46]. Письмо — всегда внешне, всегда «наружа», отражающая глубинное, «нутряное» единство речи и смысла, подобно тому как наслаждение всегда дополнительно по отношению к воспроизводству. В этом смысле Ж.-Ж. Руссо выглядит достойным последователем Аристотеля, против которого так категорично выступал П. Гассенди. Позднее Гегель доведет эту мысль до логического предела и покажет, в какой степени дух, противостоящий материи, связан именно с голосом и логосом-смыслом.

Сад полагал такого рода позицию исключительно конвенциональной и после ознакомления с путевыми отчетами путешественников и этнографическими исследованиями выступил с острой критикой европоцентризма, особенно в области нравов. В одном из писем он высказывается следующим образом: в Париже отправляют на виселицу за то, что в Конго стоило бы короны, и, если бы кто-нибудь сказал правителям экзотических стран, «что в Европе есть маленький клочок земли, где некий человек держит у себя на службе, и день и ночь, три тысячи негодяев, в чью задачу входит проверять, действительно ли граждане этого маленького клочка земли (люди, которые объявляют себя чрезвычайно просвещенными) придают величайшее значение сперматическим вопросам [...], вам бы пришлось согласиться, что было бы совершенно естественно, если бы они, в свою очередь, посадили того, кто принес такие известия... Но это потому, что эти люди нецивилизованны,

не имеют великого счастья быть просвещены пламенем христианства, они всего лишь рабы, в то время как мы, напротив, очень большие христиане, чрезвычайно цивилизованные и исключительно просвещенные» (с. 391—392 наст. издания).

Однако вряд ли Сад вполне осознавал и культурное разнообразие. Его герои то и дело путешествуют, но «перед нами неизменно одна и та же география, одна и та же популяция, одни и те же функции»[47], ведь, где бы герои ни находились, круг их занятий остается неизменным. Экзотический же декор служит лишь для того, чтобы несколько взбодрить героев.

Сад категорически отвергает «аксиому о надменном союзе свободы и добродетели»[48] и делает еще один шаг вперед на пути просветителей, предложив отказаться от необоснованного разделения желаний на естественные и неестественные, а также считать естественными все человеческие желания, поскольку все, что существует,— естественно.

Человек не в состоянии измыслить ничего такого, что принципиально не может быть осуществлено, то есть такого, на что природа потенциально не способна. «Первое, что очевидно для шизофреника,— это то, что поверхность раскололась. Между вещами и предложениями больше нет никакой границы — именно потому, что у тел больше нет поверхности. Изначальный аспект шизофренического тела в том, что это «тело-решето». Фрейд подчеркивал эту способность шизофреника воспринимать поверхность и кожу так, как если бы они были исколоты бесчисленными маленькими дырочками, имеющими тенденцию к разрастанию и поглощению собой всей поверхности. Тело в целом уже не что иное, как глубина,— в зияющую глубину оно захватывает и уносит все вещи... Все есть тело и телесное. Все — смесь тел и внутри тел, сплетение и взаимопроникновение»[49],— пишет Ж. Делез. Метафорой такого рода тела становится все та же роза, которая и сама по себе

включает множество пустот между лепестками, а будучи изъеденной насекомыми или изуродованной литераторами, в полной мере репрезентирует шизофреническое тело-решето.

Но тем не менее Сад не является шизофреником, поскольку ясно дает понять, что он не преступник, то есть тот, кто преступает пределы смысла, а либертен. Сад был слишком впечатлительным, чтобы его можно было назвать аутичным, а ведь аутизм обычно рассматривается как один из наиболее значимых симптомов шизофрении. В результате Сад, повреждая поверхность смысла, врывается не из области символического в область реального, воплощая самые немыслимые фантазии, но из области реального в область символического, насыщая ограниченное пространство тюремной камеры причудливыми образами и невообразимыми ситуациями.

Так обозначается проведенная М. Фуко линия раздела между Просвещением и либертинажем, существовавшим подпольно. Либертинаж здесь выступает такой формой свободомыслия, которая теснее всего соприкасается с неразумием, но это неразумие не может быть полностью отождествлено с безумием.

В изоляторах классической эпохи либертенов содержали рядом не с безумцами, но с вероотступниками, протестантами и создателями новых религиозных систем, которые также считались «неразумными». Либертинаж обеспечивает расширение владений неразумия за счет того, что «разум рабски подчиняется желаниям сердца, и применение его сродни распущенности аморализма»[50]. Однако одновременно либертен, по крайней мере сам Сад, не скатывается в безумие, которое «существует лишь как конечный миг творчества», поскольку творчество неустанно вытесняет его за свои пределы»[51]. Либертинаж Сада обозначает крайнюю точку перехода творчества в безумие. Эта точка оказывается наиболее продуктивной, однако ее удержание представляет собой значительную трудность.

Сад справился с задачей, которая впоследствии окажется непосильной для Ф. Ницше, и удержался в этой крайней точке. Но, с другой стороны, как отмечает М. Фуко, именно благодаря безумию Ф. Ницше, его мысль получает выход в современный мир, тогда как произведения Сада все же во многом остались знаком его эпохи. Ф. Ницше превзошел самое себя, тогда как Сад себя осуществил. Известна легенда о том, что в один из редких дней, когда Саду была разрешена прогулка по двору, он услышал доносящиеся из колодца чудовищные вопли[52]. Можно предположить, что именно в этот момент у Сада появилась идея создания *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада*. Колодец в данном случае выступает тем самым шизофреническим разрывом поверхности, однако расширение этого разрыва произошло не в реальном пространстве, а в виртуальном пространстве текста. Еще М. Монтень и П. Шаррон высказывали мысль о том, что безумие неразрывно связано с высшими проявлениями человеческой мудрости. Сад идет дальше и демонстрирует, как именно осуществляется эта связь.

Существование Сада на грани безумия и творчества дало Ж. Батаю повод считать Сада первым выразителем эпохи выхода за пределы, эпохи трансгрессии. Однако, как уже упоминалось, концепция человека как существа предельного, пре-ступающего, появляется уже в поздней античности, поэтому вернее всего было бы считать Сада не первым, но наиболее ярким выразителем предельности человеческого бытия в самом широком смысле этого слова.

Трансгрессия Сада может быть рассмотрена в качестве некой практической философии: теоретическая философия исходит из четкой умозрительности, которая оборачивается «разгулом» как исчезновением разницы между субъектом и объектом, а Сад исходит из «разгула», который становится невещественным.

«Разгул» в этом случае понимается как изнанка жизни, привлекательная и ужасающая одновременно. Сад «писал, когда уже пропало желание объекта, и старался, как благочестивый верующий»[53],— замечает Ж. Батай, подчеркивая, что именно поэтому всякий хоть в какой-то мере чувствительный человек после прочтения книг Сада, особенно *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада*, неизбежно заболевает, и заболевание это вызвано тем, что в них «разум человека соразмерен *тому, что есть*»[54]. Такая соразмерность обеспечивается чужими голосами рассказчиц и чужим голосом самого Сада, чужими, и даже чуждыми, голосами либертенов, освещающими лабиринты страсти.

Поэтому «совершенно бесполезно воспринимать Сада *буквально* и серьезно. С какой стороны к нему ни подойти, он заранее убегает. Невозможно запомнить ни одну из философий, которые он вкладывает в уста своих персонажей»[55]. Это абсолютно трансгрессивная философия как философия ускользания пределов. Не удивительно, что после достижения такой степени трансгрессии происходит естественный откат к более сглаженным ее проявлениям.

Допустим, М. Мерло-Понти вводит понятие интенциональной, то есть направленной, трансгрессии, трансгрессии чего-либо, но не трансгрессии как таковой, не стирающей до конца границы между субъектом и объектом. Эта трансгрессия обеспечивается одним видом других тел и речью других субъектов, а значит, не предполагает вторжения в эти тела или узурпацию этой речи. Пределы все в большей степени проявляют свою гибкость и эластичность, а значит, осмысление зияния бытия в прорехах сущего, которое является одной из основных тем философских медитаций М. Хайдеггера, заменяется актуализацией складки субъективности М. Фуко и Ж. Делеза: «Прореха — это теперь уже не повреждение ткани, а новое правило, согласно которому внешняя ткань выворачивается, инвагинируется и превращается в подкладку»[56].

В сравнении с философией Сада такого рода концепция выглядит полумерой. Он требовал более последовательных действий и высказываний, которые тем не менее различались в каждом случае, что и обусловило мобильность философской позиции. Но в каждом конкретном случае она, как правило, являлась предельной. «Эрос десексуализируют, его умерщвляют лишь затем, чтобы тем лучше ресексуализировать Танатос»[57] — это высказывание Ж. Делеза наилучшим образом выражает широкое и полное понимание сюжетов Сада и Захер-Мазоха, а также попутно сглаживает категоричность в отношении несовместимости садизма и мазохизма, ведь они в равной мере способствуют десексуализации Эроса и последующей ресексуализации Танатоса.

Легенда о том, как Сад в тюремном колодце увидел замок Силинг из *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* со всеми его обитателями, заставляет нас вспомнить и о том, как Ж. Батай анализировал сюжет изображения на дне колодца пещеры Ласко[58].

На этом первобытном рисунке — низвергнутый человек в обличье птицы с грозно выпирающим фаллосом, раненый бизон с вывалившимися внутренностями и удаляющийся носорог. Возможно, смертельные раны нанесли друг другу человек и бизон, а роль носорога остается невыясненной. Возможно, бизон низверг человека, а затем сам стал жертвой носорога. В любом случае, эта картина, полная «ужасного комизма» и «трагической загадочности», является наиболее впечатляющей иллюстрацией тесной связи рождения, сладострастия, безумия, смеха и умирания, т. е. отражает основные проявления трансгрессии, подобно тюремному колодцу в Венсенне, скрывающему картины жестокой оргии.

Сколь скучными ни казались бы этот колодец — снаружи — и стилистика произведений Сада — на их дне,— в них так же предстают человек, приоткрывающий свою природу, и Минотавр-Дио-

нис, безудержный и исступленный хранитель потаенного центра лабиринта. И они обнаруживают себя, когда, смеясь, уничтожают друг друга. Ж. Батай обращает внимание на то, что, несмотря на все превратности судьбы, Сад сохранил способность смеяться. Но этот смех лишь способ примириться с жизнью, вообразив ее нестерпимой: нелепость получившейся картины вызывает безудержный хохот.

Представления Сада о смерти также отмечены печатью трагического комизма. Сад здесь явно пребывал под влиянием П. Гассенди, который в свою очередь заимствует у Эпикура мысль о том, что смерть «есть не что иное, как исчезновение чувств вследствие ухода [из тела души]»[59]. Соответственно, страх перед смертью необоснован, как необоснован и страх перед загробными муками. Тем не менее, что «душа выходит из тела как бы просеянной и распределенной по его частям, доказывается гниением, наступающим в трупе по удалении души, единственная причина которого — изменение расположения отдельных частей тела, которое поддерживалось ранее отдельными частями души»[60]. Соответственно, душа, будучи частично связанной с телом после его смерти, все еще продолжает страдать, так как чувства, будучи «душой души», также покидают ее постепенно. Но затем она, так или иначе, погибает, распадаясь на тельца и рассеиваясь.

Проникшийся подобными идеями, Сад в своем завещании писал: «Я категорически запрещаю, чтобы мое тело было под каким-либо предлогом вскрыто... я хочу быть зарытым без всяких почестей в первой просеке, что находится направо... когда могила будет зарыта, на ней должны быть посеяны желуди так, чтобы в конце концов эта площадка над могилой, вновь покрытая кустарниками, осталась бы такою же, какою она была, и следы моей могилы совершенно исчезли бы под общей поверхностью почвы, поскольку я льщу себя надеждой, что и имя мое изгладится из памяти людей»[61].

По мнению Ж. Батая, Саду соразмерно именно это желание рассеяться и исчезнуть[62].

С другой стороны, Саду не были чужды и пифагорейские идеи, одно время Сад даже собирался написать книгу о метемпсихозе[63]. Кроме того, возможно, он заимствовал у П. Шаррона идею о бессмертии духа и душе как его телесном носителе. В любом случае, память о Саде вовсе не изгладилась из людской памяти, его жизнь и творчество все еще активно обсуждаются во многих контекстах, поскольку в своих произведениях он успел высказаться по самым различным поводам.

Не случайно именно в последние годы вышло значительное количество фильмов о Саде, в которых сюжеты его произведений фигурируют только фрагментарно, основное же внимание уделено его личности, судьбе, взглядам и особенностям творческого процесса. Уже П. Пазолини, сняв *Сало, или 120 дней Содома* (1975), показал, что садовский нарратив достаточно хорошо согласуется с принципами кинематографа. Высокотехнологичные виды искусства, совмещаясь с тщательно рассчитанными сюжетами, наилучшим образом передают ощущение шизоидной стереотипии: мелькание сюжетов *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* мало чем отличается от мелькания множества едва отличающихся друг от друга кадров на кинопленке.

П. Пазолини явственно показывает упоминавшееся тяготение Сада к «библейскому театру» Данте, четко разделяя действие на части: антихрам, или преддверие Ада, круги одержимости (маний), кала и крови. «Странный эффект театральности всего происходящего, тем не менее вызывающего неподдельное отвращение, достигается достаточно сложными приемами съемки и монтажа фильма»[64]. Таким образом деконструируется сама идея искусства и размывается грань между художественным и документальным кинематографом.

Этому помогает то, что, как мы видели, Сад во многом и был скорее теоретиком, чем творцом. Парадоксальным образом его некрофилические сюжеты оказываются наиболее живучими, не говоря уже о духе произведений Сада, явно присутствующем во многих лентах, скажем, П. Гринуэя и других режиссеров, работающих в жанре авторского кинематографа.

Тексты Сада нередко служили основой и для сценариев костюмированных хоррор-фильмов. В их ряду выделяется *Жюстина* (*Marquis de Sade's Justine*, 1969) Д. Франко с Роминой Пауэр в главной роли (в роли Сада — К. Кински) — первая масштабная экранизация Сада. До этого экранизировались только сюжеты, имеющие лишь косвенное отношение к фигуре Сада, скажем, *Марат/Сад/Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленное труппой дома умалишенных в Шарантоне под руководством маркиза де Сада* (1966) П. Брука с П. Мэги в роли Сада. Ромина Пауэр не смогла передать превращения невинной девушки в мазохистку, зато впечатление невинности, производимое ее внешностью (по свидетельствам очевидцев, на съемках она не вынимала изо рта жевательной резинки), а также ее интеллектуальная невинность сделали образ Жюстины неподражаемым и неожиданно современным. Действительно, сегодня Жюстина вряд ли испытала бы столько злоключений, она даже не смогла бы осознать собственную добродетель.

Что касается фильмов последних лет, то они редко снимаются на сюжеты произведений Сада, а их авторы не устают напоминать, что его главным произведением является его судьба. Сад предстает в этих фильмах в различных обличьях, которые зачастую мало совместимы друг с другом. В голливудском *Пере маркиза де Сада* (*Quills*, 2000) Ф. Кауфмана по пьесе Д. Райта Сад (Дж. Раш) проявляет вполне демонические черты и умирает, подавившись распятием. Этот демонизм органично дополняет садовская графомания:

когда его лишают пера и бумаги, он пишет вином на простыне, кровью на собственной одежде и нечистотами на стенах карцера, только бы не лишиться права суверенного голоса. При этом Сад предстает героем вовсе не однозначным — это Моцарт и Сальери в одном лице. А сам фильм представляет собой некое послесловие созданному на сходном литературном материале *Амадею* М. Формана.

Искусство Сада здесь одновременно вдохновляет и развращает и даже губит всех, кто с ним соприкасается. Однако подлинным садистом выглядит не веселый и спонтанный Сад, но рациональный и педантичный врач, при жизни запрещавший Саду творить, а после смерти наживавшийся на издании его произведений. В результате голливудская экранизация построена на достаточно обдуманной мысли о том, что искоренение даже тех идей, которые представляются наиболее гадкими, само по себе выглядит не гадким, но недопустимым.

Главный герой (Д. Отой) *Маркиза де Сада* (*Sade*, 2000) Б. Жако, напротив, галантен и элегантен. Развращая молодую девушку и затевая постановку пьесы собственного сочинения, он тем самым отвлекает ее и других от зрелища массовой казни аристократов на территории частного пансиона Пикпюса, где происходит действие фильма. Здесь особенно удачно показан Сад-режиссер. Его влияние на развитие театра обычно не попадает в поле зрения исследователей из-за своей эфемерности. И тем не менее биографы отмечают неслучайность того факта, что именно в Провансе, на родине Сада, где он режиссировал домашние постановки и театрализованные оргии, с 1947 года по сей день ежегодно проводится Авиньонский театральный фестиваль, который считается одним из наиболее авторитетных[65].

Можно вспомнить о киновоплощении биографии Сада в итальянской версии *Маркиза де Сада* (1996) Д. д'Амато и многих других фильмах, однако в любом случае речь идет о биографии. Зна-

комство с текстами Сада для зрителя не обязательно, а в некоторых случаях даже излишне: при создании фильмов подобного рода двойной жест обеспечивается тем, что фильм, заявленный как «исторический триллер», становится драмой не благодаря замыслу его авторов, но благодаря самой личности Сада. В крайнем случае, можно встретить комбинацию сюжетов садовских текстов с фрагментами его биографии: речь идет о ленте *Маркиз де Сад* (*Marquise de Sade*, 1996), снятой Г. Гибби с участием российских актеров. Здесь Сад (Н. Манкузо) предстает особенно живым и динамичным: он соблазняет Жюстину, рассказывая ей историю соблазнения ее сестры Жюльетты, и в этом образе сливаются воедино действующий субъект и рассказчик.

Тем временем как на Западе экранизируют сюжеты из биографии Сада, в постсоветском пространстве продолжают издавать его тексты. Это обусловлено во многом тем, что это пространство все еще продолжает полыхать огнем сексуальной революции. Стоит упомянуть хотя бы о новых текстах, посвященных ее истокам, таких, как *Проект Окситании: сексуальная революция номер ноль* Д. Гордевского[66] или *История сексуальных революций. Двенадцать сексуальных революций в истории земной биосферы и культурной истории человечества* «сетесофа» В. Корнева[67].

Сексуальная революция прошла у нас уже несколько этапов. Героический период завершился изданием первых фрагментов *Философии в будуаре* (М., 1992) и *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* (М., 1993). Еще со времен первого издания произведений Сада в России, когда в 1806 г. были изданы *Садиевы повести* в четырех томах, было привычным считать их образцом необузданности. В своих воспоминаниях об А. С. Пушкине М. В. Юзефович передает его суждение о *Жюстине*, которая видится как увлекательное описание отвратительного сладострастия. Причем увлекательное настолько, что А. С. Пушкин не сове-

тует читать Сада, чтобы не увлечься. Сам он также отбросил книгу, не дочитав ее. Надо думать, что к концу XX века русскоязычный читатель все же основательно прочел и самого Сада, и несколько книг о нем.

Затем отчетливо стали слышны шаги сексуального НЭПа или, словами М. Фуко, сексуального викторианства, связанного, помимо всего прочего, с распространением феминистской идеологии. Вряд ли до 1999 года было возможно издание *Домашнего обучения* Анонима или Анонимки[68], который/-ая не устает убеждать, что суфражистская идеология парадоксальным образом может быть воспринята как соблазнительная.

Первое, что сразу же бросается в глаза при сравнении *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* и *Домашнего обучения*,— это радикальная разница характера пространств, в которых происходит действие. В случае Сада это — отдаленный замок, скрытый от любопытных глаз. «Труппа», действующая на этих подмостках,— замкнутый коллектив, присутствие посторонних в котором не только не желательно, но и невозможно, ведь это поставит под сомнение успех всего мероприятия. Закрытость пространства действия подчеркивается еще и его местоположением. Замок застрахован от случайного проникновения посторонних не только отдаленностью, но и недоступностью, поскольку находится высоко в горах и окружен пропастью, крепостной стеной и рвом.

Все это выдает попытку автора и героев создать некий совершенный в своей полноте универсум. Тогда четверка героев выступает в роли демиургической четверицы, которая после создания своего мира отнюдь не бросает его на произвол судьбы и не развлекается исключительно наблюдением за судьбами этого мира. Он создан для активного анализа и использования, несмотря на то, что четверка главных героев, в силу своего социального положения, могла бы с таким же успехом анализировать и использовать будничную

реальность. Однако, парадоксальным образом, удовлетворить их интерес и любо-пытство может только реальность, созданная ими же самими. Порядок устанавливается для того, чтобы в конце концов быть нарушенным, а кроме того, он подчеркивает статус данного мира как языковой игры или виртуальной реальности: это, скорее, не проект общества либертенов, но проект энциклопедии этого мира. Ведь только при условии понимания этого вероятностно-утопического характера текста читатель может погрузиться в омут сюжета.

Другое дело — осязаемый мир повседневности *Домашнего обучения*. Это не замок, а дом, где вечерами развлекаются не захватывающими дух рассказами бывших проституток и сутенерш, но неторопливыми и лишь слегка фривольными беседами, вязанием и шитьем, а также чтением вполне традиционных романов. Относительно последнего стоит отметить, что, вопреки мысли о патриархальности викторианских романов, большинство из них так или иначе (спектр — от Теккерея до Бронте) выражает суфражистскую идеологию[69]. И тем не менее такое чтение совершенно обычно для своего времени.

Дом, где разворачивается действие, не просто открыт для гостей. Они созываются специально ради расширения круга «подданных», то есть распространения своего влияния, своих идей. Тут речь идет именно об идеологии, а иногда даже более эфемерной харизматической ауре, которой «заражаются» при контакте с ее носительницами. Описание этой своеобразной «метафизики присутствия» в устах главной героини и одновременно автора (*sic!* — в *120 днях Содома* автор о(т)странен, он парит над повествованием) звучит так: «Сейчас, в свои двадцать пять лет, я обладаю такой же способностью влиять на других, как мачеха [которая и инициировала суфражистско-либертенские порядки в доме.— *Н. З.*]. "Я почувствовала, что вы идете, хотя вы даже не успели войти

в дом",— сказала мне однажды девочка, прошедшая средний этап обучения. И я почувствовала, что это правда, поскольку хорошо помнила, как сама поддавалась обаянию мачехи»[70].

Домашнее обучение предлагает нам достаточно интересную позицию автора. Рассказчица не заваривает сюжетную кашу, но принимает активное участие в действии наравне с мачехой, которая все и затеяла. Постепенно она заимствует все ее идеи и повадки, но изначально сама выступает в роли лица страдательного, наказываемого. И по ходу действия учится не только властвовать, но и подчиняться: «— Почему вы хотите высечь меня? — Когда девочка спрашивает об этом, она сделала первый шаг, покоряясь более могущественной женщине. Это признание сущности происходящего»[71].

«Любовь и послушание» тесно взаимосвязаны для всех обитателей этого мирка, кроме «демиургини», которая создала его внутри большого, мужского мира. Она прилагает все усилия, чтобы «втянуть» в свой мирок весь «большой» мир, который, в таком случае, просто вывернется наизнанку. Это выглядит возвращением культа Великой Богини после достаточно продолжительного поклонения патриархальному Богу: «Ни одна страсть... не требует для себя большей свободы, ни одна страсть, несомненно, не сравнится по силе со стремлением повелевать, когда человек, окружив себя рабынями, вынужденными удовлетворять все его прихоти, черпает наслаждение в их покорности»[72].

Сад под человеком, разумеется, понимает только мужчину. С одной стороны, он категорически выступает против товарной объективации женщины: «В самом деле, акт обладания никогда не может распространяться на существо свободное, поэтому исключительное право одного мужчины на обладание женщиной представляется равно несправедливым, как и право обладать рабами, ведь все люди равноправны,— и эти принципы всегда следует иметь в виду каждому»[73]. Но, с другой стороны, опять же, людьми являются толь-

ко мужчины, «женщины же существуют с той целью, дабы доставлять наслаждение всем, а не обеспечивать привилегированное и эгоистическое счастье. [...] Закон должен обязать женщин заниматься проституцией, если они сами этого не желают»[74]. При этом женщина не может отказать мужчине, даже сославшись на любовь к другому мужчине, поскольку это противоречит законам природы, согласно которым женщина изначально склонна к разврату. Это естественное женское качество, по мнению Сада, должно развиваться: «Мы равным образом позволим и женщинам удовлетворять их желания с одинаковой свободой», «мы оставляем им полную свободу наслаждения с теми лицами, которых они сочтут достойными удовлетворить их желания»[75].

Сад даже не предполагал, чем обернется это признание права на существование женского либертинажа. Законы идеального мира *Домашнего обучения*, вполне суфражистские по духу, одновременно подразумевают, что любовь может возникать исключительно между женщинами; мужчины же только используются для получения специфического удовольствия. При этом героиня заявляет, что «нет ничего, внушающего мне большее отвращение, чем соитие между мужчинами»[76], тогда как мужской гомосексуализм в его различных вариациях регулярно практикуется героями Сада. Он запрещен, только если в нем не принимает участие демиург, как, впрочем, и любые другие варианты отношений.

Это сразу же воскрешает в памяти нравы другой сексуальной (анти)утопии — *Дамского острова* П. Луиса. Все аспекты жизни *Дамского острова* так или иначе соотнесены с сексом и сексуальностью. Улицы называются Промежная или Мудозвонная, окрестности города — Влагалево или Мастурбашкино, в парфюмерном магазине продаются духи «Аромат Менструации», а в молочном — «свеженадоенная» сперма. *Домашнее обучение* отличается от *Дамского острова* своей герметичностью в недрах повседневности,

о которой уже шла речь выше. Остров также — нечто отдаленное, оторванное, всегда отчасти Нигдейя (собственно У-топия), но и экзотическое, радикально инаковое. Там перед сном читают не Диккенса, а романы *Гальваническая Вульва* и *Бешеный Елдак*.

На *Дамском острове* также практикуется все, кроме мужского гомосексуализма. Это легко объяснить, вслед за Ж. Делезом бинаризовав институцию и юрисдикцию[77]. Сад опирается на институции, ниспровергая закон, Л. фон Захер-Мазох создает псевдоюрисдикцию, П. Луис — новую юрисдикцию. В своде законов *Дамского острова* зафиксировано: «...блуд, бесстыдство, адюльтер, инцест и прочие формы разврата (за исключением насилия) разрешаются законом во всех местах и между любыми лицами»[78], Аноним же пребывает по ту сторону закона. Таким образом, мы продвигаемся от просвещенческого бунта против закона существующего и обветшавшего через создание закона нового к полному безразличию по отношению к закону вообще. Получается, что мужское так или иначе соотносится с институциональностью и духом, то есть логично подпадает под определение «фаллогоцентричная метафизика присутствия», а женское — с законностью и буквой, так же как и «деконструктивное письмо».

Вот почему получается, что, создав и обустроив этот мир, мужчины лишаются всяких материальных и эмоциональных прав на него, поскольку порабощены сексуально. Эта позиция отстаивается героинями весьма активно и агрессивно. И если «демиурги» Сада принципиально не хотят любить (даже друг с другом их связывают отношения, которые точнее всего могут быть обозначены как сообщничество), то героини Анонима в наказание лишают «демиургов» возможности любить, оставляя право на любовь только за собой и реализуя его только в своем кругу. В этой связи особенно пикантным выглядит замечание мачехи героини о том, что ни в коем случае не стоит показывать свою любовь мужчинам, поскольку

это ослабит власть над ними. Получается, что в контексте романа «любовь» исключительно пассивна, а «желание» активно и интенционально. И только их слияние порождает чувство превосходства над мужским миром. Так разрывается порочный круг любви как (из)вращения, когда субъект любви всегда выступает в роли мазохиста и гибнет, реализуя эту любовь[79].

Творцы же этого мира, напротив, вынуждены отказаться от любви в пользу желания и тем самым парадоксальным образом оказываются в подчиненном положении. Этот парадокс разрешается в процессе осознания того, что пассивность и слабость — далеко не идентичные концепты; они соотносятся между собой примерно так же, как сила и насилие. Именно поэтому в контексте романа ориентально-женственная созерцательность подчиняет себе активную западную мужественность, сущность которой самым адекватным образом может быть выражена с помощью эпического понимания концепта *удали*: «Удаль ты моя нелепая...»[80]

Но, как уже отмечалось, одной из особенностей творчества Сада, а особенно *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада*, является как раз ориентация на письмо, очень часто нечленораздельное и скомканное (в духе расхожего «в общем, (почти) все умерли», но как умерли — придумай сам). Повествование *Домашнего обучения*, напротив, остается открытым и завершается вагинально-неопределенным: «Мир был раскрыт перед нами, как устричная раковина...»[81] Повествование же *Дамского острова*, можно сказать, и не начинается вообще. Это некие наброски к (вечно) будущему повествованию, не лишенные нарративности, но нарративность эта всегда обрывочна и фрагментарна. Можно сказать, любая (анти)утопия, претендующая на полное воплощение, не может быть закончена в принципе. Однако характер этой незаконченности, как мы видим, может быть очень разнообразным.

В. Нарбикова очень точно замечает, что не что иное, как предоргазменная секунда со своими исключительными героями: официантами, девочками, писателями,— разрослась до *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада*, а собрание сочинений Сада в целом и вовсе может служить «примером развернутой секунды»[82]. Аноним же предлагает нам не разбухшую секунду, но со-временность: за то время, пока прочитывается тот или иной эпизод, он вполне мог бы произойти в реальности. В целом можно сказать, что *120 дней Содома, или Школа либертинажа маркиза де Сада* — это сценарий хотя и необычно длинного, но клипа, в то время как *Домашнее обучение* может быть рассмотрено в качестве сценария первых нескольких серий масштабного сериала. Садовские картинки в сумасшедшем темпе (особенно это касается последней трети романа) мерцают перед глазами изумленного читателя, и он вынужден прилагать массу усилий для того, чтобы «развернуть» каждую из них. Впрочем, в сочетании с неторопливой завязкой, роман может быть рассмотрен как некая смесь клипа и сериала.

Если Сад выступает как создатель виртуального мира, то Аноним — как его (с)эксплуататор. Более того, этот «мир увлечений» противится адекватному литературному мимезису. Относительно первых попыток героини описать происходящее в доме мачеха-«учительница» высказывается следующим образом: «Ты пытаешься писать о предмете, изображая который терпели поражение даже величайшие из писателей. Как, например, адекватно описать соединение двух пар губ? Или первое знакомство губок п...ки с членом? Подобные вещи избегают бумаги, как масло воды. Не беспокойся об этом. У тебя правильный подход.— Тут мачеха засмеялась и добавила: — Думаю, ты должна описать головку папиного х... как садовую луковицу, настойчиво стремящуюся в плодородную землю, это было бы забавно. Писатель превосходит безрассудством даже

художника, ведь слова бесцветны и однообразны»[83]. У Сада же, напротив, как отмечалось, даже эротика уподоблена некому языку.

Однако викторианская (с)эксплуатация Анонима еще вполне умеренна по сравнению с деструктивностью героини романа П. Акройда *Процесс Элизабет Кри* (в оригинале — *Dan Leno and Limehouse Golem*), впервые изданного в 1994 г., но реконструирующего викторианские нравы. Конечно, это квази- или даже псевдореконструкция, но именно так автор пытается изобразить «нас, викторианцев». Героиня (не)случайно убивает старого еврея, спутав его жилище с домом К. Маркса, воплощающего собой маскулинно-проективную утопичность. Но то, что на его месте оказался старый каббалист, упрощает понимание садистского поведения героини, ведь она восстает совсем не против мужественности, а как раз против собственной нереализованной женственности. После убийства она отрезает половой член еврея и кладет его на разворот книги об иудейской мистике, подчеркивая тем самым параллели между оппозициями буква/дух, смерть/жизнь, мужчина/женщина. «Сексуальные и половые убийства, наподобие фетишизма, являются перверсией мужского интеллекта. Это криминальная абстракция, маскулинная в ее уязвленном самолюбии и упорядоченности. Это ассоциативный эквивалент философии, математики и музыки. Нет женского Моцарта, потому что нет женского Джека-Потрошителя. У Сада был эффектный распространенный женский характер»[84],— пишет К. Палья, подтверждая суждение о том, что тексты Сада при всей их значимости были монотонными, как поваренная книга, однако он не был и убийцей. Поэтому правильно прочитанный Сад, по мнению К. Пальи,— автор исключительно юмористический.

Напротив, героиня П. Акройда — несостоявшаяся женщина и поэтому вполне может быть реальной садисткой. Но ее главное злодеяние состоит, конечно, вовсе не в этом. Ведь она убивает иудея реально, в то время как своего мужа — символически, предостав-

ляя ему остаток жизни только существовать, что, конечно же, куда более мучительно для мужчины. И делает она это также весьма символичным способом: она заканчивает пьесу, над которой муж работал долгие годы, отнимая у него тем самым всякую возможность дальнейшей реализации и, тем более, индивидуации, потому что «без предоставления... доказательства [своей состоятельности] мужчина воспринимается как жертва импотенции-феминизации-кастрации»[85]. В этом контексте не такое уж большое значение имеет тот факт, что ранее она уже лишила его возможности реализации сексуальной, главное — она лишила его права голоса, на котором так настаивал Сад.

«Есть место у меня между ног, которое моя мать ненавидела и проклинала; даже когда я была совсем маленькая, она щипала меня там со всей силы и колола иглами, желая показать мне, где у женщины находится средоточие боли и наказания»[86],— сообщает читателю героиня, объясняя причины своей неспособности реализовать свою женскую сущность. Мать героини — это образ все той же Великой Богини Анонима, однако лишенный сексуальной ауры, что и приводит к трагическим последствиям.

Лейтмотивом героини становится строка из куплетов, которые поет комик-андрогин: «Модная мисс — зонтик обвис»[87]. Зонтик традиционно считается одним из основных гермафродитических символов. Его символическая фигура обычно понимается как «гермафродитическая шпора фалла, стыдливо укутанного в свои покровы,— одновременно агрессивный и апотропейный орган, который угрожает и/или подвергается угрозе»[88]. Такое понимание предлагает нам Ж. Деррида в работе о «стилях» Ф. Ницше.

Ф. Ницше в этой работе предстает нам гермафродитом, одержимым своей раздвоенностью (по сравнению с самостным андрогином): он предлагает общение с женщиной с помощью плетки (которая может быть интерпретирована как уместный только в жен-

ских руках субститут фаллоса), тогда как и сам весьма женственен и то и дело беременеет (идеей).

В результате известный манифест мизогинии из *Так говорил Заратустра* («захвати плетку, идя к женщинам»), может быть понят совершенно противоположным образом. Обычно этот совет старушки Заратустре понимается в контексте его рассуждений о том, что женщина — это игрушка мужчины, служащая для отдохновения воина. Но тогда неясным остается вопрос, почему Заратустра воспринимает этот совет как откровение. «Быть может, захватить плетку Заратустре рекомендуется вовсе не для того, чтобы отхлестать взыскующих этого женщин, а для того, чтобы вручить ее женщинам и самому испытать наслаждение от повиновения и страдания?»[89] — пишет М. Безродный, анализируя двусмысленную «люцернскую фотографию», на которой Ф. Ницше и его друг П. Ре запряжены в тележку, в которой восседает Л. Андреас-Саломе с плетью в руках. Эта сцена отчасти воспроизводит известный сюжет об Аристотеле и оседлавшей его красавице Александре. Вероятно, что участники люцернской мизансцены знали об этом сюжете и воспроизвели его вполне сознательно.

Очевидно, ситуация не столь проста, как может показаться на первый взгляд. Ницше в своем творчестве был склонен к иронической инверсии, например субъекта и объекта. Данный случай не является исключением, да и все творчество Ф. Ницше не дает повода для однозначной оценки метафоры плети. В целом можно сказать, что его позиция была садомазохистской, в первую очередь к самому себе, однако она так или иначе проявлялась и в других отношениях.

Известно, что Сад также вручал женщине плетку, причем не только для создания соответствующей мизансцены. Он принуждал Жанну Тестар «как следует отхлестать» его[90], однако она, к его сожалению, слишком вяло исполнила его просьбу. Рене-Пелажи

также обладала слишком уравновешенным темпераментом для подобного рода развлечений, случайные связи с либертенками не сыграли большой роли в его судьбе, а теща проявила по отношению к нему реальную жестокость, а значит, не была садисткой, а тем более либертенкой.

Для прояснения последствий такой ситуации нам снова не избежать сравнения Сада не только с близким ему Ф. Ницше, но и с составляющим комплиментарную пару И. Кантом. Как отметил Ж.-Б. Ботюль в лекции *Сексуальная жизнь Иммануила Канта*, прочитанной перед членами кантианской колонии Нуэва-Кенигберг в Парагвае, И. Кант подчеркнуто избегал женщин, полагая, что привязанность к женщине несовместима с занятиями философией, поскольку не оставляет ни свободного времени, ни сил на эти занятия. К тому же он создал теорию и практику экономии телесных жидкостей: пота, слюны и особенно спермы,— которые считал «каплями мозга». И это при том, что он предлагал поступать согласно максиме, способной служить всеобщим законом, а кроме прочего, говорил, что каждый орган тела должен быть использован по назначению! Ж.-Б. Ботюль считает, что И. Кант не использовал свои репродуктивные возможности и в символической сфере, в которой роль спермы выполняет пневма, роль сексуальной связи — аффилиация и дружба, а роль приближения — удаление и меланхолия. И. Кант даже не основал философской школы, подобно Платону или К. Марксу. Впрочем, можно поспорить с Ж.-Б. Ботюлем и вспомнить, что, хотя при жизни И. Кант и не имел последователей, слово «кантианец» звучит не менее нарицательно, чем «платоник» или «марксист», а на роль его сыновей вполне могут претендовать его книги, в свою очередь воспроизводящиеся в виде комментариев, интерпретаций и других книг.

Сад, напротив, обладал неиссякаемой энергией, был женат, имел троих детей и множество внебрачных связей. Между тем практи-

чески ничего неизвестно о его друзьях, последователях или хотя бы равных ему сообщниках. Возможно, это одно из обстоятельств, не позволивших Саду в полной мере стать философом. «Жить без женщины — это аскеза. Равно как и жить с женщиной»,— говорит Ж.-Б. Ботюль. Именно поэтому редкие женатые философы, такие, как Гегель, были создателями философских систем, которые являются защитным панцирем, позволяя философствовать в любых жизненных обстоятельствах. Те же философы, которые, подобно Ф. Ницше, предпочитали философии философствование, принципиально отказывались от брака и тесного общения с женщинами, поскольку «связь философии и женщины определяется жанром трагедии или комедии. Юношеский максимализм Ницше приговорил женатого философа, наделив его комическими чертами. Тогда как неженатый философ должен будет стяжать трагическую ипостась»[91]. Но при этом «путь в философию лежит через искушение женщиной. Философская аскеза является наиболее сильным эротическим приключением»[92].

Сад же предпочитал пародировать уже созданные системы и нерасчетливо растрачивать внутренние ресурсы. В результате он нередко оказывался в состоянии физического истощения, до которого доводил себя даже в заключении. При мастурбации его «стрела отказывается вылетать из лука» (с. 541 наст. издания), однако это не мешает ему снова и снова обращаться к возвышенному, аутентичному и пугающему — вещи-в-себе, находящейся в том числе и под женской юбкой. Как замечает Ж.-Б. Ботюль, в эпоху Просвещения описание юноши, который злоупотребляет мастурбацией, напоминает современные описания наркозависимого юноши: ужасный внешний вид обоих обусловлен эскапистской самоизоляцией. Выход из этой самоизоляции в аутоэротизме, по И. Канту, состоит, конечно, не в разгуле, а в философской аскезе.

И. Канта нередко подозревали в том, что он жил двойной жизнью, будучи днем философом, а ночью — разнузданным и извращенным либертеном. Такие подозрения можно рассматривать лишь как попытку оправдать неспособность большинства вести столь же аскетический образ жизни. Когда забота о себе как работа над собой не приводит к желаемому результату, неизбежно возникают предположения о том, что искомый результат недостижим в принципе. Кроме того, отношение философа к истине имеет совершенно специфическую природу: он ищет ее, но вовсе не для того, чтобы окончательно обладать ею. И. Кант, по отзывам современников и другим свидетельствам, пользовался достаточно выраженным вниманием у представительниц противоположного пола и оправдывал это внимание, будучи желанным гостем в любой компании. Однако этим его общение с женщинами и ограничивалось: возвышенное, грозящее исчезновением того, кто с ним столкнулся, не привлекало И. Канта,— он более тяготел к прекрасному, которое полагал неисчерпаемым источником вдохновения. Ж.-Б. Ботюль замечает, что вряд ли подобным источником могла бы стать жена или любовница, скорее, это могла бы быть частая посетительница или хозяйка салона, которая придала бы мышлению И. Канта большую легкость и остроумие.

Знакомство с письмами Сада показывает другую сторону этой проблемы: тот, кто пытается представить себя в качестве необузданного либертена, оказывается еще и отцом и мужем. И тем не менее продолжает искать подходящую спутницу жизни, которая, по-видимому, должна была быть большей либертенкой, чем он сам. Она должна быть столь же холодной (*cool*), как и современная манекенщица, по мнению Ж. Бодрийяра, воплощающая собой фаллическое священнодействие. (Манекенщица здесь обозначает статус, отражающий фаллическую инструментовку тела.) «Manne-ken, "маленький человечек" (ребенок или пенис)»[93], кукла или статуя —

идеальное изображение стихии мазохизма. Она холодна, как мазоховская Венера в мехах, голубоволосая Мальвина, малахитовая Хозяйка Медной горы или Элизабет Кри, героиня романа П. Акройда. Это стихия мазохизма, богиня, в свою очередь подчиненная верховному богу, возможно, языческому, например «греку» у Л. фон Захер-Мазоха. Но наиболее емко эта фигура персонализируется в образе Сирены, которая, согласно Р. Салецл, может погубить моряка, но при этом всегда зависит от того, слышит он ее или нет[94].

Поиск подобного рода сообщницы позволяет предположить, что викторианский садизм все же так или иначе учитывает практики либертинажа. Поэтому авторами всех рассмотренных текстов, включая Анонима, были мужчины, и их читателями, вероятнее всего, будут также мужчины, втайне неравнодушные к фаллическим женщинам. Ну а в нашей ситуации *пост*постмодерна подобные тексты становятся не более чем легким чтением, занимая в литературе для интеллектуалов нишу, подобную той, которое группа *Тату* занимает в массовой культуре.

И снова становится актуальным издание Сада, выглядящего более честным, чем большинство современных авторов. Русскоязычный читатель, переживший не только текстуальную оргию, но и посттекстуальную депрессию и информационный невроз, вызванные обилием изданных в последнее время старых и новых, переводных и оригинальных текстов, нуждается не просто в тексте, но в интимном и неторопливом общении с его автором. Вот чем обусловлено издание именно писем Сада: в них наилучшим образом осуществляется письмо как феномен, состоящий в оппозиционных отношениях с речью, которая ассоциируется с властью.

Во многих романах Сада отчетливо просматривается элемент фиксации речи как нарратива, особенно явно воплощенный в фигурах учителей и рассказчиков. Вместе с тем в его романах используется и форма — если не писем, то по крайней мере диалогов.

Но тем не менее его письма существенно отличаются от других литературных опытов. «Этот человек, который в письмах своих то непостоянен и шутлив, то гневлив и обольстителен, то влюблен, то пресыщен, человек, способный на нежность, даже, может быть, на угрызения совести, в своих книгах ограничивается однообразным упражнением, где острое напряжение, все время одинаковое, с самого начала исходит от стараний, нас сдерживающих»[95],— пишет Ж. Батай, ранее заметивший: «Эти книги, действительно, так же отличаются от того, что обычно принимают за *литературу*, как пустынное скалистое пространство, бесцветное и скучное, отличается от любимых нами разнообразных пейзажей, ручьев, озер и полей. Но сможем ли мы когда-нибудь соизмерить величие этого пространства?»[96] И свои письма, и свои книги Сад писал в одной и той же камере. Сравнивая их, мы сравниваем жизнь, неистовую и бесконтрольную, «удаль нелепую», и ясное осознание этой жизни.

До Сада полагалось, что между разгулом страстей, неистовством, слепой жестокостью, с одной стороны, и ясным сознанием, чистым разумом — с другой, существует непреодолимое противоречие и человеческий разум может отозваться на неистовство только косвенно. «В своей одиночной камере Сад первым описал в разумных выражениях эти бесконтрольные движения, на отрицании которых сознание построило общественное здание и образ человека»[97]. Но разумных выражений вряд ли достаточно для понимания разгула, полнота осмысления может быть обеспечена лишь при наличии третьей составляющей — картины обыденной жизни, на фоне которой разворачивается как разгул, так и его осмысление. Эта функция обыденности может быть схвачена только при ее ограничении некоторыми пределами, например пределами камеры, за которые она грозит выплеснуться, и именно таким образом выявляется ее сущность.

В качестве философа в будуаре, как пишет М. Бланшо, Сад хочет соединить все и вся, создать полный свод человеческих отклонений и возможностей. Эта полнота обеспечивает суверенность даже в том случае, если речь идет об унижении. Но в качестве автора эпистол из камеры он создает картину одиночества вселенной, из которой изгоняет всех живых существ, дабы предаться апатии. М. Бланшо настаивает, что под личиной инфернального Бога скрывается человек, отвержение которого является только промежуточным пунктом диалектического процесса. Только после того, как этот пункт пройден, садовский сверхчеловек уже и в самом деле отвергает Бога во имя природы, а затем отвергает и саму природу, понимаемую как дух отрицания[98]. В результате возникает ощущение опустошенности и апатии, обусловленное встречей с ничто, и эта апатия становится естественным состоянием суверена.

Апатия ни в коей мере не сопоставима с отрешенностью аскета,— как пишет Ж. Батай,— «даже аскеза удачливых в моих глазах греховна, она исполнена бессильной бедности»[99]. Аскеза противостоит экстазу, который достижим не в результате ограничений, но, напротив, в результате становления и раскрытия возможностей. Усталость, сопровождающая этот процесс, и приводит к апатии, которая может быть рассмотрена как своеобразная «воля к безволию» или «волевое безволие», в терминологии Д. И. Руденко. «Апатия, понятая как "волевое безволие", подчеркивает игровой характер личностного высказывания, кроме того, "волевое безволие", привнося в мир моменты игры... уменьшает опасность радикального единообразия мира»[100] и вместе с тем оптимизирует последствия проявления волевого усилия. Вероятно, именно такого рода апатия была присуща Саду.

Поэтому монотонность Сада также выглядит лишь неторопливой игрой по четко обозначенным правилам, которые напоминают правила постмодерной игры. Пресыщенность Сада, которая по-

рождает апатию, дает ему возможность в конце *120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада* только перечислить осуществляемые героями извращения. Это перечисление иногда физически невозможных половых актов позволяет сказать, что они принадлежат к сексуальным возможным мирам[101] или даже что здесь с помощью сексуальной метафорики конструируются возможные миры как таковые.

В этой связи интересно вслед за Д. И. Руденко обратиться к другим децентрирующим сексуальность спискам, например к списку тем для интервью, взятого молодой журналисткой у 89-летнего Генри Миллера.

Беседа проходила за несколько месяцев до его смерти и при этом вся была буквально пропитана сексом. Несмотря на это, в перечне тем оказываются не только непристойности, но и «клоака вселенной, которая непрерывно сползает в ничто». Г. Миллер находит «в пространстве сексуальности множество центров, которые воплощали, по крайней мере оттеняли, и экстатику, и юмор»[102]. Здесь же хочется вспомнить знаменитую борхесовскую классификацию, согласно которой: «Животные делятся на: а) принадлежащих Императору, б) бальзамированных, в) прирученных, г) сосунков, д) сирен, е) сказочных, ж) отдельных собак, з) включенных в эту классификацию, и) бегающих как сумасшедшие, к) бесчисленных, л) нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м) прочих, н) разбивших цветочную вазу, о) похожих издали на мух»[103]. Этим списком открываются *Слова и вещи* М. Фуко, для которого этот список «колеблет все привычки нашего мышления — нашего по эпохе и географии — и сотрясает все координаты и плоскости, упорядочивающие для нас великое разнообразие существ, вследствие чего утрачивается устойчивость и надежность нашего тысячелетнего опыта Тождественного и Иного»[104]. Но это потрясение производится не чем иным, как смехом, который вызван восторгом,

сопровождающим внезапное понимание относительности нашего мышления.

Таким образом развеиваются все иллюзии по отношению к возможности создания универсального языка, который был бы одновременно кодом мироздания, некой всеобъемлющей энциклопедией. Х. Л. Борхес признает, что «теоретически можно себе представить язык, в котором название каждого существа указывало бы на все подробности его бытия, на его прошлое и будущее»[105]. Но, с одной стороны, мироздание слишком многообразно и хаотично, для того чтобы его можно было хотя бы в какой-то степени классифицировать, с другой — возможности человеческого разума явно недостаточны для подобного рода классификации. Поэтому ментальный язык, язык мысли, существование которого обеспечивает возможность перевода с одного естественного языка на другой, вряд ли когда-либо сможет быть оформлен в рациональном виде. Наиболее же распространенной остается базирующаяся на концепции Сепира-Уорфа мысль о том, что человек думает на родном языке.

Вот почему возникают причины для смеха и при чтении садовской языковой классификации сексуальных извращений, призванной поколебать наши представления о сексуальности и отчасти пародирующей просвещенческую тенденцию к энциклопедизации всех аспектов мира, в том числе и тех, которые меньше всего поддаются энциклопедизации. Садизм сам по себе выглядит по большей части концептуально-забавным сгибом языка на линии сексуальности[106]. Д. И. Руденко приводит по этому поводу пример из *Конца стиля* Б. Парамонова: «Если вы садист, ступайте в соответствующий секс-шоп и предавайтесь там потребным экзерцициям с партнером-мазохистом. А Иисуса Христа оставьте. Он здесь ни при чем. Он и сам был панк, хиппи. Он скорее одобрит упомянутую секс-лавку»[107] (Ницше: «Христианство — гедонизм на вполне болезненной основе»). Как говорит герой Сэлинджера, «Хрис-

ту барабанщик из оркестра Радио-Сити Холл понравился больше бы, чем апостолы». В эпоху внеконфессиональной духовности метафизический либертинаж исчерпал себя, но подобно тому, как сама по себе фигура Иисуса Христа продолжает приковывать внимание, так и фигура Сада остается объектом повышенного интереса. Несмотря на издание нескольких биографий, этот интерес все еще остается неудовлетворенным. Возможно, именно письма Сада позволят глубже понять его противоречия и станут логичным продолжением уже изданных переводов его произведений.

[1] *Фуко М.* Жизнь бесславных людей // Фуко М. Интеллектуалы и власть: Избранные политические статьи, выступления и интервью. М., 2002. С. 259.

[2] *Бабенко В.* Этот прекрасный полоумный маркиз де Сад: Жизнь. Страсти. Творчество. Екатеринбург, 2003.

[3] *Камю А.* Бунтующий человек. М., 1990. С. 153.

[4] Там же. С. 153—154.

[5] *Жене Ж.* Чудо о розе. СПб., 1998. С. 268.

[6] Там же. С. 202.

[7] *Батай Ж.* Литература и Зло. М., 1994. С. 123.

[8] Враг общества № 1: Интервью с Э. Лимоновым А. Полуниной // Ом, 2003. Сентябрь. № 76. С. 68.

[9] *Жене Ж.* Указ. соч. С. 19.

[10] *Лели Ж.* Садомазохизм Сада // Маркиз де Сад и XX век. М., 1992. С. 24.

[11] *Пруст М.* По направлению к Свану. М., 1992. С. 139.

[12] Там же. С. 140.

[13] Там же. С. 141.

[14] *Беньямин В.* Московский дневник: Пер. с нем. М., 1997. С. 138—139.

[15] *Камю А.* Указ. соч. С. 146.

[16] *Батай Ж.* Указ. соч. М., 1994. С. 79.

[17] *Бланшо М.* Сад // Маркиз де Сад и XX век. С. 74.

[18] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 146.

[19] *Хоркхаймер М., Адорно Т.* Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.; СПб., 1997. С. 11.

[20] *Жижек С.* Кант и Сад: идеальная пара // anthropology.ru/ru/texts/translab/texts/zizec/zizec.html.

[21] *Фуко М.* Что такое Просвещение? // Ступени. Тема выпуска: Боль, насилие, фашизм. 2000. № 1 (11). С. 136—148.

[22] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 149.

[23] *Фуко М.* Что такое Просвещение? С. 137.

[24] Там же. С. 141.

[25] Там же. С. 142.

[26] *Барт Р.* Сад-I // Маркиз де Сад и XX век. С. 198.

[27] Там же. С. 201—202.

[28] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 149.

[29] *Гассенди П.* Парадоксальные упражнения против аристотеликов, в которых потрясаются главные основы перипатетического учения и диалектики в целом и утверждаются либо новые взгляды, либо, казалось бы, устаревшие взгляды древних мыслителей // Гассенди П. Сочинения: В 2 т. М., 1968. Т. 2. С. 51.

[30] *Гассенди П.* Свод философии Эпикура // Гассенди П. Сочинения в 2-х т. М., 1968. Т. 1. С. 376.

[31] *Быховский Б. Э.* Гассенди. М., 1974. С. 171

[32] *Богуславский В. М.* Скептицизм в философии. М., 1990. С. 152.

[33] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 189.

[34] *Ботюль Ж.-Б.* Сексуальная жизнь Иммануила Канта // www.ruthenia.ru/logos/number/2002_02/10.htm

[35] Враг общества № 1: Интервью с Э. Лимоновым А. Полуниной // Ом, 2003. Сентябрь. № 76. С. 72.

[36] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 263—264.

[37] *Строев А.* Неизвестные рисунки маркиза де Сада // Новое литературное обозрение, 1999. № 5 (39). С. 43.

[38] Там же. С. 57.

[39] Там же. С. 58.

[40] *Ницше Ф.* Веселая наука («La gaya scienca») // Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 655.

[41] *Пигальская А.* Непристойная пустота наслаждения «120 дней Содома» // Би-текстуальность и кинематограф. Минск., 2003. С. 174.

[42] *Хоркхаймер М., Адорно Т.* Указ. соч. С. 112.

[43] *Делёз Ж.* Логика смысла. М., 1995. С. 114.

[44] *Руссо Ж.-Ж.* Исповедь // Руссо Ж.-Ж. Сочинения. М., 1961. Т. 3. С. 58.

[45] Там же. С. 64.

[46] *Деррида Ж.* О грамматологии. М., С. 147.

[47] *Барт Р.* Указ. соч. С. 45.

[48] *Камю А.* Указ. соч. С. 148.

[49] *Делёз Ж.* Указ. соч. С. 112.

[50] *Фуко М.* История безумия в классическую эпоху. М., 1997. С. 115.

[51] Там же. С. 524.

[52] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 246.

[53] *Батай Ж.* Указ. соч. М., 1994. С. 83

[54] Там же. С. 89.

[55] Там же. С. 79.

[56] *Делёз Ж.* Фуко. М., 1998. С. 129.

[57] *Делёз Ж.* Представление Захер-Мазоха (Холодное и Жесткое) // фон Захер-Мазох Л. Венера в мехах. М., 1992.

[58] *Батай Ж.* Из «Слез Эроса» // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль середины XX века. СПб., 1994. С. 278—280, 286—289.

[59] *Гассенди П.* Указ. соч. С. 264.

[60] Там же. С. 267.

[61] Цит. по *Бабенко В.* Указ. соч. С. 402—403.

[62] *Батай Ж.* Литература и Зло. М., 1994. С. 79.

[63] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 262; см. также с. 342 наст. издания.

[64] *Пигальская А.* Указ. соч. С. 180.

[65] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 64.

[66] *Гордевский Д.* Проект Окситании: сексуальная революция номер ноль // Post Office. Харьков, 1998.

[67] *Корнев В.* История сексуальных революций. Двенадцать сексуальных революций в истории земной биосферы и культурной истории человечества // www.chat.ru/~kornev.

[68] *Аноним.* Домашнее обучение. М., 1999.

[69] *Львов В.* Чему не учат в школе... // *Аноним.* Домашнее обучение. М., 1999.

[70] *Аноним.* Указ. соч. С. 43.

[71] Там же. С. 178.

[72] *Маркиз де Сад Д. А. Ф.* Философия в будуаре. Тереза-философ. М., 1991.

[73] Там же. С. 183.

[74] Там же. С. 185.

[75] Там же. С. 187—188.

[76] *Аноним*. Указ. соч. С. 122.

[77] См. *Делёз Ж.* Представление Захер-Мазоха (Холодное и Жестокое) // фон Захер-Мазох. Л. Венера в мехах. М., 1992.

[78] *Луис П.* Дамский остров // Митин журнал. 1999. № 57. С. 249.

[79] *Салецл Р.* (Из)вращения любви и ненависти. М., 1999.

[80] *Бовтенко В. А.* Про то, как быки смелого мужика удаль справляли // Философские перипетии. 1998. № 409. С. 295.

[81] *Аноним*. Указ. соч. С. 184.

[82] *Нарбикова Е.* План первого лица. И второго // *Нарбикова В.* Избранное, или Шепот шума. Париж; Москва; Нью-Йорк, 1994. С. 24.

[83] *Аноним*. Указ. соч. С. 113.

[84] *Paglia K.* Sexual personae. Art and decadence from Nefertiti to Emily Dickinson. London, 1990. P. 247.

[85] *Моник Ю.* Кастрация и мужская ярость. Фаллическая травма. М., 1999. С. 19.

[86] *Акройд П.* Процесс Элизабет Кри. М., 2000. С. 15.

[87] Там же. С. 67.

[88] *Деррида Ж.* Шпоры: стили Ницше // Философские науки. 1991. № 3. С. 123.

[89] *Безродный М.* К истории люцернской фотографии // Новое литературное обозрение. 1999. № 5 (39). С. 86.

[90] *Бабенко В.* Указ. соч. С. 126.

[91] *Меликян А.* Философия и супружество // www.nsys.by:8101/klinamen/fila1n.html.

[92] Там же.

[93] *Бодрийяр Ж.* Символический обмен и смерть. М., 2000. С. 208.

[94] *Салецл Р.* Указ. соч. С. 71—86.

[95] *Батай Ж.* Литература и Зло. М., 1994. С. 84.

[96] Там же. С. 83

[97] Там же. С. 87.

[98] *Бланшо М*. Сад // Маркиз де Сад и XX век. М., 1992. С. 74.

[99] *Батай Ж*. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 50.

[100] *Руденко Д. И*. Мерцание имени // Имя, слово, словосочетание, предложение, текст (именование на различных уровнях языка). Киев, 1993. С. 25.

[101] *Руденко Д. І*. Фуко: говорити про сексуальність // Фуко М. Історія сексуальності: В 3 т. Харьков, 1997. Т. 1. Жага пізнання. С. 53.

[102] *Руденко Д. І*. Coda (сексуальність, Фуко: простір Дельоза) // Фуко М. Історія сексуальності: В 3 т. Харьков, 1999. Т. 2. Інструмент насолоди. С. 274.

[103] *Борхес Х. Л*. Аналитический язык Джона Уилкинса // Проза разных лет. М., 1989. С. 218.

[104] *Фуко М*. Слова и вещи. М., 1977.

[105] *Борхес Х. Л*. Указ. соч. С. 219.

[106] Там же. С. 277.

[107] *Парамонов Б*. Красное и серое // Парамонов Б. Конец стиля. М.; СПб., 1997. С. 212.



ПИСЬМА ИЗ ВЕНСЕННА[1]

Кровь моя слишком горяча,
чтобы выдержать
такое ужасное заточение...

de Sade

À madame de Montreuil

К г-же де Монтрей[2]
[конец февраля 1777 г.]

Вы должны согласиться, мадам, что из всех возможных обличий, которые могут принять месть и жестокость, Вы поистине выбрали самое ужасное. Именно тот самый момент, когда я прибыл в Париж, чтобы попрощаться с умирающей матерью[3], с единственной мыслью о том, чтобы увидеть ее и обнять в последний раз, если она еще жива, или оплакать ее, если нет, Вы избрали для того, чтобы снова сделать меня вашей жертвой! Увы! Я спрашивал Вас в своем первом письме, найду ли я в Вас вторую мать или тирана, но Вы не менее трех раз оставляли меня без всяких сомнений в отношении вашего ответа!

Значит, именно таким образом Вы платите мне за то, что я утирал ваши слезы, когда Вы потеряли отца, которым Вы так дорожили? И разве Вы не узнали в тот тяжелый час, что мое сердце так же чувствительно к вашему горю, как если бы это было мое собственное? Ладно, если бы я приехал в Париж только лишь для того, чтобы бросить Вам вызов, или имел в уме цели, которые могли бы заставить Вас пожалеть о моем присутствии!.. Но после заботы и внимания, которых требовало состояние моей матери, второй моей целью было лишь успокоить и утешить Вас, затем найти с Вами взаимопонимание,

а в том, что касается моего дела, предпринять такие меры, которые бы Вас устроили и которые бы Вы мне предложили.

Не только мои письма должны были рассказать Вам об этом, но и Амбле[4], если он беспристрастен (во что я не верю). Но этот вероломный друг действовал заодно с Вами, чтобы обмануть меня, уничтожить, и в этом Вы с ним замечательно преуспели. Когда меня забирали [после ареста], мне сообщили, что делают это лишь для того, чтобы ускорить мое дело, и поэтому мое заключение под стражу является необходимым. Но, откровенно говоря, неужели Вы верите, что меня можно одурачить подобными разговорами? И когда в Савойе[5] Вы прибегли к таким же мерам, какие, пусть даже самые малые усилия, были предприняты в моих интересах? Разве сделаны были в течение двух лет моего отсутствия хотя бы малейшие шаги? И разве не становится очевидным, что Вы стремитесь к моему полному уничтожению, но не оправданию?

Я готов в какой-то мере согласиться с Вами, что *lettre de cachet*[6] было необходимым для того, чтобы избежать протестов, которые всегда причиняют неудобство, но разве обязательно оно должно было быть таким суровым, таким жестоким? Разве указ об изгнании меня из королевства не достиг бы такой же цели? И неужели я не подчинился бы добросовестно такому приказу, раз уж я сам, по своему собственному желанию, отдал себя в ваши руки и подчинился всему, что только Вы могли от меня потребовать? Когда я написал Вам из Бордо письмо с просьбой выслать мне денег, которые позволили бы мне переехать в Испанию, и Вы ответили мне отказом, разве это не было еще одним подтверждением, что Вы желали видеть меня не просто как можно дальше от себя, но за решеткой; и чем

больше я думаю над всеми этими обстоятельствами, тем более полно убеждаюсь в том, что Вы никогда ни о чем ином и не помышляли.

Впрочем, я ошибаюсь, мадам: Амбле раскрыл мне еще один из ваших планов, и именно его я и намереваюсь выполнить. Он рассказал мне, мадам,— вне сомнения, по вашему распоряжению,— что *свидетельство о смерти* — это самый важный и самый желательный документ, который позволит в кратчайший срок положить конец этому злосчастному делу. Вы должны раздобыть эту бумагу, мадам, и я клянусь Вам, что позабочусь, чтобы Вы весьма скоро ее получили. Поскольку я не буду умножать количество своих писем,— не только из-за тех трудов, которые приносит мне их написание, но также потому, что они, судя по всему, не оказывают на Вас ни малейшего впечатления,— настоящее письмо будет содержать мое окончательное мнение, в чем Вы можете быть уверены.

Положение мое ужасно. Никогда еще — и Вам об этом известно — ни моя кровь, ни мой рассудок не могли вынести заточения. Когда я находился в гораздо менее строгой изоляции — о чем Вам также известно,— я рисковал своей жизнью, чтобы избавиться от этого рабства. Здесь у меня нет такой возможности, но у меня все еще остается то единственное средство, которого никто в мире не может меня лишить, и я воспользуюсь им в полной мере.

Из глубины своей могилы мать подает мне знак: я будто вижу, как она снова раскрывает мне свои объятия и призывает меня укрыться на ее груди в той единственной обители, которая у меня еще осталась. То, что я последую за ней так быстро, доставит мне утешение, и в качестве последней милости я прошу Вас, мадам, чтобы меня похоронили рядом с ней.

Лишь одно сдерживает меня; я признаю, что это слабость, но должен раскрыться перед Вами. Я бы хотел увидеть своих детей. Ибо я получил такое наслаждение, когда после встречи с Вами смог повидаться с ними и сжать их в своих объятиях. Мои самые недавние несчастья не успокоили это желание, и, по всей вероятности, я унесу его с собой в могилу. Я вверяю их Вашей заботе, мадам. Пусть даже Вы ненавидели их отца, по крайней мере любите их самих. Обеспечьте им образование, которое, если это возможно, сохранит их от тех несчастий, к которым привело отсутствие внимания к моему собственному воспитанию. Если бы они знали о моей печальной участи, их души, созданные по образцу нежной души их матери, заставили бы их пасть перед Вами на колени, и их невинные руки, воздетые в мольбе, вне сомнения, поколебали бы Вашу непреклонность. Этот утешительный образ порожден моей к ним любовью, но он никоим образом не может повлиять на ход событий, и я спешу разрушить его из страха, что он может смягчить мое сердце в то время, когда мне более всего нужна стойкость.

Прощайте, мадам.

À madame de Sade

К г-же де Сад[7]
6 марта 1777 г.

О мой дорогой друг! Когда же изменится мое ужасное положение? Когда же, Бога ради, меня выпустят из той гробницы, в которой я заживо похоронен? Нет ничего страшнее моей участи! Нет слов, чтобы описать все те мучения, которые

я испытываю, передать то состояние тревоги, которое меня изводит, и страдания, снедающие меня! Здесь мое утешение — лишь собственные стенания и плач, но их никто не слышит... Где то время, когда их делил со мной мой дорогой друг? Сегодня у меня нет больше никого; кажется, что вся природа умерла для меня! Кто знает, получаете ли Вы вообще мои письма? Отсутствие ответа на последнее письмо показывает мне, что они до Вас не доходят и что мне позволяют их писать, для того чтобы посмеяться над моим горем, или посмотреть, что происходит у меня в голове. И тем не менее, придумана еще одна изощренная уловка, рожденная, вне сомнения, яростью той, кто преследует меня как свою личную добычу! Чего следует ожидать в будущем от такой жестокости?

Посудите сами, в каком состоянии должен находиться мой несчастный рассудок. До сих пор слабая надежда поддерживала меня, успокаивала поначалу мое ужасное горе; но все сговорились уничтожить и ее, и я ясно вижу из того молчания, которым меня окружили, из того положения, в котором я нахожусь, что единственное, чего они добиваются,— это моя погибель. Если бы целью их являлось мое благополучие, разве стали бы они действовать подобным образом? Они должны прекрасно понимать, что те суровые меры, которые применяются в моем отношении, способны лишь расстроить мой мозг и в результате ни к чему не приведут (при условии, что мне собираются сохранить жизнь), кроме величайшей болезни. Ибо я совершенно уверен, что не смогу продержаться здесь и месяца, чтобы не сойти с ума: чего, вероятно, они и добиваются, и что как нельзя лучше соответствует тем мерам, которые они предложили этой зимой[8].

О, дорогой мой друг, я слишком хорошо вижу свою участь! Вспомните, как я, случалось, говорил Вам, что они решили дать

мне возможность провести мои пять лет в мире, а затем... Это та мысль, которая мучит меня и загоняет в могилу. Если в вашей власти разубедить меня в этом отношении, прошу Вас, сделайте это, умоляю Вас, ибо состояние мое ужасно до крайности, и, если бы Вы только могли полностью его осознать, Ваше сердце, без сомнения, исполнилось бы жалостью ко мне. Нет у меня и никаких сомнений в отношении того, что они предпринимают все возможные усилия, чтобы нас разлучить: для меня это было бы последним ударом, которого я бы не пережил, и в этом Вы можете быть уверены. Я заклинаю Вас воспротивиться этому со всеми силами, которые в вашей власти, и понять, что первыми жертвами таких усилий станут наши дети: не бывало еще, чтобы дети были счастливы, когда нет согласия меж их родителями. Мой дорогой друг, Вы —все, что у меня осталось на земле: отец, мать, сестра, жена, друг, все они воплотились в Вас. У меня нет никого, кроме Вас: не покидайте меня, умоляю, пусть не от Вас я получу этот последний удар судьбы.

Возможно ли, если они действительно думают о моих интересах, что эти люди не чувствуют, что разрушают все, назначая это наказание? Неужели они воображают, что общество хотя бы попытается понять? Оно просто скажет: «*Он наверняка виноват, раз его наказали*». Когда преступление доказано, к таким мерам прибегают или для того, чтобы успокоить высокий суд, или не дать ему вынести приговор; но, когда доподлинно известно, что преступления не было и что приговор является крайним выражением безумия и бессмыслия, нельзя наказывать человека, потому что тогда Вы разрушите все то хорошее, чего можно было достичь, если бы вердикт был отменен, и Вы ясно доказываете, что здесь все дело было в протекции, что преступ-

ление имело место и что человек упросил короля вынести наказание для того, чтобы этого не сделал суд.

Я настаиваю, что нельзя было сделать со мной ничего худшего. Это означает погубить всю мою оставшуюся жизнь. Ведь всего несколько лет назад Ваша мать показала замечательный пример того, насколько мало обманули военных и остальное общество эти маневры, и все продолжали косо смотреть на того, кто сам взял на себя роль вершителя правосудия, независимо от того, находилось оно в руках короля или суда. Но уж такова ваша мать: когда речь заходит о действиях в отношении чего-либо, она бросается вперед, не подумав. Люди вводят ее в заблуждение, и зачастую все заканчивается тем, что мне причиняется гораздо больше вреда, чем она хотела. Это все та же история, что и с Сен-Венсенном, скажите ей, что я буду чрезвычайно обязан, если она будет об этом помнить; здесь кое-кто еще играет ту же роль, и нетрудно догадаться, кто именно.

И наконец, мой дорогой друг, я покорнейше прошу Вас как можно быстрее вызволить меня отсюда, чего бы это ни стоило, ибо я чувствую, что долго не протяну. Вам говорят, что со мной все прекрасно; Вас это успокаивает — тем лучше: ничто не доставит мне большего счастья. Я не собираюсь избавлять Вас от иллюзий, поскольку мне запрещено это делать: это все, что я могу Вам сказать. Но прошу Вас, помните, что я никогда не испытывал ничего подобного тому, что испытываю сейчас, и что, учитывая те обстоятельства, в которых я находился, со стороны вашей матери было подлостью заставить меня оказаться в нынешнем положении. Несчастный адвокат, который сказал, что противоестественно нагромождать одно несчастие на другое, мало знал Вашу мать, когда делал это заявление.

Умоляю Вас, в ожидании того благословенного дня, когда я освобожусь от ужасных мучений, в которые меня ввергли, до-

говориться о свидании со мной, о том, чтобы писать чаще, чем сейчас, получить для меня дозволение совершать небольшую прогулку после еды, что, как Вы знаете, важнее для меня, чем сама жизнь, и выслать мне без промедления вторую пару простыней. За прошедшие семь ночей я ни разу не сомкнул глаз и ночью изрыгал все, что съедал в течение дня.

Вызволите меня отсюда, мой добрый друг, вызволите меня, умоляю, ибо чувствую, что с каждым днем еще больше приближаюсь к смерти. Не знаю, почему они поступили настолько варварским образом, что отказали мне в просьбе иметь походную кровать: это была бы с их стороны совсем малая любезность, которая, по крайней мере, принесла бы мне некоторое облегчение и позволила бы забыть о своих несчастиях на несколько часов каждую ночь. Но, по крайней мере, немедленно пошлите мне простыни, умоляю.

Прощайте, мой дорогой друг, любите меня так же, как я страдаю,— это все, о чем я Вас прошу, и верьте, что я нахожусь на пике своего отчаяния.

À madame de Montreuil

К г-же де Монтрей

13 марта 1777 г.

Если в душе, способной нанести свирепый удар, предав одним махом все самые святые чувства, чувства гуманности, устроив так, чтобы сына арестовали у гроба его матери, чувства гостеприимства, предав того, кто только что вверил себя вашему попечению, чувства Природы, не оказав даже уваже-

ния убежищу объятий вашей дочери; если, повторяю, возможно еще существование в таком человеке малейшей искры сострадания, возможно, мне следует попытаться разбудить ее самым подробным и в то же время самым ужасающим описанием моего чудовищного положения.

Но, независимо от того факта, что такие жалобы совершенно бесполезны, у меня все еще сохранилось достаточно гордости, как бы унижена она ни была, чтобы не украсить ваш триумф моими слезами, и даже в пучине несчастья я все еще найду мужество, чтобы удержаться от жалоб своему тирану.

Несколько простых соображений будут, таким образом, единственной темой этого письма. Вы можете рассматривать их так, как Вам будет угодно, и больше я ничего не скажу... Да, я запечатаю свои губы, так чтобы мое мнение больше не докучало вашим ушам, предоставив Вам, по крайней мере, на некоторое время возможность наслаждаться знанием о моем несчастье.

Я уже давно являюсь вашей жертвой, сударыня, но не рассчитывайте сделать меня еще и жертвой вашего обмана. Иной раз интересно быть первой, всегда унизительно быть второй, и я полагаю, что настолько же одарен интуицией и способностью к обману, как и Вы. Умоляю Вас, мадам, давайте никогда не будем смешивать мое дело и мое заключение. Вы будете стремиться завершить мое дело ради моих детей. И мое заключение, которое, как Вы заявили, является необходимым условием этого, и которое, что совершенно очевидно, таковым не является,— не что иное, как результат вашей собственной мести, и ничем иным быть не может.

Самое ужасное из всех высказанных на этот момент юридических мнений,— это то, которое предложил г-н Симеон из Экса[9], который в недвусмысленных выражениях сказал, что вполне воз-

можно получить решение, по которому ссылка заменит обвиняемому тюремное заключение. Это собственные слова Симеона. Разве *lettre de cachet*, которое бы изгнало меня из королевства, не послужило бы той же самой цели?— разумеется, да,— но оно не удовлетворило бы в достаточной степени вашей злобы.

В таком случае, значит, это Вы состряпали и исполнили план, целью которого было запереть меня в четырех стенах? И по какому несчастному стечению обстоятельств мудрые судьи, которые сегодня управляют государством, позволили провести себя до такой степени, что уверовали в то, что служат интересам семьи, в то время как речь явно шла о том, чтобы утолить жажду мести некой женщины? Почему я снова оказался за решеткой? Почему опрометчивость ошибочно принята за преступление? Почему мне не позволяют доказать судьям разницу между первым и вторым? И почему именно Вы не даете мне это сделать? Это вопросы, на которые сударыня не соизволит ответить, разве не так? Десять или дюжина засовов и замков служат вместо того Вашим ответом, но этот тиранический довод, который формально отвергают законы, не будет торжествовать вечно. Именно это утешает и успокаивает меня.

Если сосредоточиться только на одном моем деле, то не для того ли Вы наказали меня, чтобы обелить мое имя? И не страдаете ли Вы от иллюзии, что на это наказание не следует обращать внимание? Допускаете ли Вы, хоть на мгновение, мысль, что те, кто раньше или позже услышат о нем, должны наверняка предположить, что раз есть наказание, то не обошлось и без преступления? Пусть оно назначено королем, пусть — судьями, но все равно оно остается наказанием, и увидит ли общество, которое не испытывает ни снисхождения, ни особенного любопытства, которые побудили бы их узнать истину об этом во-

просе, это незначительное различие? И разве оно не усмотрит всегда преступление там, где вынесено наказание?

А какой это триумф для моих врагов! Какую благодатную почву Вы подготовили для них в будущем! И какой соблазн для них еще больше наброситься на меня, поскольку результаты так удачно соответствуют их намерениям! Все ваши скандальные поступки в течение последних пяти лет прекрасно подготовили мнение и поведение людей в моем отношении, и Вы хорошо осведомлены о той жестокой ситуации, в которой я оказался в течение всего этого периода, являясь постоянной мишенью клеветнических измышлений, которые заинтересованная сторона, исходя из своих омерзительных соображений, возвела, воспользовавшись моим несчастьем. Как, по-вашему, люди могут не посчитать человека виновным, когда власти три или четыре раза стучали в его двери, и когда после этого бросили его в тюрьму, как только им удалось до него добраться? Кого Вы надеетесь убедить в том, что я не сидел в тюрьме, если с тех пор они не видели меня и даже обо мне не слышали? После всех шагов, предпринятых для того, чтобы меня схватить, Вы хорошо представляете себе, что единственный вывод, к которому могут прийти люди с тех пор, как я перестал появляться, состоит в том, что меня арестовали. Какое преимущество можно извлечь из этого? Моя репутация загублена навсегда, и на каждом шагу меня ожидают новые неприятности. Вот чем я обязан той замечательной манере, в которой Вы обходитесь с моими делами.

Но давайте рассмотрим это с другой точки зрения. Не наказание ли, рожденное личной местью, я сейчас отбываю? И нет ли мысли о том, что это снова вернет меня на прямую и узкую стезю, словно я непослушный маленький мальчик? Совершенно

пустая трата времени и сил, мадам. Если то несчастное положение и бесчестье, в которые ввергли меня абсурдные разбирательства марсельских судей, наказав за самый обычный опрометчивый поступок так, словно это преступление, не смогли заставить меня исправиться, ваши железные решетки, железные двери и замки не смогут добиться большего успеха. К этому моменту Вы должны были уже достаточно хорошо изучить мое сердце, чтобы твердо осознавать, что одно только подозрение в бесчестии способно полностью ожесточить его. И Вы достаточно умны, чтобы понимать, что проступок, истоки которого лежат в пылкости крови, не исправляют, делая эту самую кровь более горькой, возбуждая рассудок лишением и воспламеняя воображение одиночеством. То, о чем я сейчас напоминаю, будет поддержано каждым разумным существом, которое знакомо со мной хотя бы поверхностно и которое не ослеплено идиотским представлением о том, что для того, чтобы исправить или наказать человека, необходимо запереть его, словно дикого зверя; и пусть кто-нибудь возразит мне, что единственным возможным результатом применения подобных мер в моем случае не будет практически неизбежное расстройство моего организма.

Отсюда, если ни мое поведение, ни моя репутация не могут выиграть от этого последнего акта доброты с вашей стороны — если, напротив, нет ничего, кроме отрицательного воздействия, и, более того, это расстраивает мой рассудок,— я спрашиваю Вас, сударыня, к чему все это? Это ваша месть, не так ли? О да! Я слишком хорошо знаю, что все всегда сводится к этому, и все, что я только что написал, совершенно не относится к делу. Но какое это имеет значение, раз я играю роль жертвенного агнца... а Вы удовлетворены? Напротив, Вы наверняка должны сказать себе: «*Чем больше причиненный ущерб, тем боль-*

ше я должна быть довольна». Но разве Вы не должны быть уже достаточно удовлетворены, мадам, теми шестью месяцами заключения, которые я провел в Савойе по *той же причине*? Должен ли я полагать, что пяти лет злоключений и позора было недостаточно? И был ли этот отвратительный исход абсолютно необходим, особенно после той ужасной демонстрации, которую я Вам предоставил, демонстрации того, до каких пределов может меня довести такого рода дурное обращение, когда я рискну своей жизнью, чтобы избежать его! Вы должны признать, что после этого испытания с вашей стороны было настоящим варварством снова сделать со мною то же самое, и в тысячу раз более жестоко, чем ранее.

Воздействие, оказанное на мой мозг, при первой же возможности заставит меня разбить голову о решетки, от чего в настоящий момент меня удерживают. Не доводите меня до отчаяния, мадам; я не вынесу этого страшного одиночества, я чувствую это. Помните, что Вы никогда не извлечете никакой пользы из того, что сделаете мою душу еще более ожесточенной и сердце мое —невосприимчивым к чувствам, а это единственное к чему может привести то ужасное состояние, в которое Вы меня ввергли. Дайте мне время исправить свои ошибки и не берите на себя ответственность за те, на которые меня снова толкнет чудовищное расстройство, что, как я чувствую, рождается в моем разуме.

С уважением, остаюсь Вашим самым смиренным и самым покорным слугой, сударыня.

Де Сад

P. S. Если лицо из Монпелье вернется туда, я надеюсь, ей будет настоятельно рекомендовано, чтобы она ни словом не обмолвилась о той скандальной сцене, свидетельницей которой

Вы, с вашим обычным остроумием, сделали ее. Это оплошность, учитывая обстоятельства того, что замышлял ее отец, несомненно, совершенно непростительная[10].

À madame de Sade

К г-же де Сад
18 апреля 1777 г.

Совершенно верно сказано, мой дорогой друг, что замки, возведенные в таком положении, как мое, покоятся лишь на песке, и что все идеи, возникающие в мозгу,— лишь иллюзии, которые рассыпаются в прах, как только родятся. Из шести комбинаций, все из которых я вычислил сам[11], и на которых я основывал надежду на некоторое прояснение в ближайшем будущем, благодарение Богу, не остается ни одной, и ваше письмо от 14 апреля заставило их исчезнуть подобно тому, как лучи солнца рассеивают утреннюю дымку. Верно, что, с другой стороны, я действительно нашел в том же самом письме утешительную фразу, говорящую мне, что я могу быть вполне уверен, что я не останусь здесь ни одной минуты дольше необходимого срока. Я не знаю ничего на земле, что вселяло бы такую же надежду, как эта фраза, поэтому, если мне необходимо провести здесь еще шесть месяцев, шесть месяцев я и проведу.

Это мило, и, поистине, те, кто следит за вашим стилем, должны волей-неволей поздравить себя за тот прогресс, которого Вы достигли в их изощренном искусстве посыпания солью ран несчастного. И в самом деле, они мастерски добились своей цели. Однако я предупреждаю Вас, что недолог тот час, когда моя голова взорвется вследствие мучительного образа

жизни, который я веду. Я вижу, что к тому идет, и настоящим предсказываю, что у них будут все основания раскаяться в том, что в моем отношении они использовали чрезмерную дозу строгости, которая так непригодна для моего характера. Они утверждают, что это ради моего же собственного блага. Изумительная фраза, в которой слишком ясно узнаешь привычный язык *торжествующего тупоумия*. Ради собственного блага человека Вы помещаете его в условия, которые предназначены для того, чтобы свести с ума, ради его собственного блага разрушаете его здоровье, ради его блага порождаете в нем слезы отчаяния! До сих пор, должен признаться, я еще не имел удовольствия осознать или прочувствовать на себе такого рода благо...

Ты ошибаешься, совершенно серьезно заявляют тебе эти глупцы: *тебе дается возможность еще раз обо всем подумать*. Верно, от этого действительно начинаешь думать, но не хотели бы Вы узнать ту единственную мысль, которую возбудила во мне эта отвратительная жестокость? Мысль, глубоко отпечатавшаяся в моей душе, о как можно более скором побеге из страны, где услуги гражданина не принимаются в расчет, когда доходит до расплаты за мимолетную оплошность, где неосмотрительность наказывается словно преступление, где женщина, благодаря своей хитрости и лживой насквозь душе, раскрывает секрет того, как сделать невинность рабой своих прихотей, или, скорее даже, своих личных интересов, чтобы похоронить главную суть вопроса; и мысль о том, чтобы, вдали от тех, чья цель — изводить и досаждать, и всех их приспешников, отправиться на поиски свободной страны, где я могу верно служить принцу, который предоставит мне там убежище, и таким образом заслужить от него то, чего я не смог обрести

в моем родном краю — справедливости, и того, чтобы меня оставили в покое.

Таковы, мой дорогой друг, мои единственные мысли, и я ни к чему более не стремлюсь, кроме как к счастливым моментам, когда я смогу их воплотить. Вы говорите, что нас ввели в заблуждение. Совсем не так... Я уверяю Вас, что не обманывался ни на минуту, и Вы должны помнить, что, как раз перед тем, как ваша комната наполнилась *сворой негодяев*[12] — которые, не предъявив никакого королевского предписания, прибыли, по крайней мере, по их словам, чтобы арестовать меня именем короля,— я говорил Вам, что не доверяю обнадеживающему письму вашей матери и что, поскольку оно все сквозит нежностью, можно не сомневаться, что ее душу питает обман. Нет, мой дорогой друг, нет, возможно, я и был удивлен, но что касается ошибок, то я никогда их не признаю, пока не наступит день, когда я увижу, что это существо стало честным и правдивым, а, по всей вероятности, это случится не скоро.

Прибыв сюда, я поступил как Цезарь, который говаривал, что *лучше один раз в жизни подвергнуться опасностям, чем жить в постоянной заботе, пытаясь избежать их*. Таковое умозаключение привело его в Сенат, где, как он прекрасно знал, его ожидали заговорщики. Я сделал то же самое и, подобно ему, всегда буду выше, благодаря своей невинности и искренности, нежели мои недруги с их низостью и затаенной злобой.

Вы спрашиваете, как я поживаю. Но какова польза от того, что я Вам отвечу? Если я сделаю это, то мое письмо до Вас не дойдет. И все же, я рискну и удовлетворю ваш интерес, ибо не могу представить, что они будут столь несправедливы, что не дадут мне ответить на то, что сами позволили Вам меня спросить.

Я нахожусь в башне, запертый за девятнадцатью железными дверями, и единственным источником света служат два ма-

леньких оконца, забранных решетками. Десять или двенадцать минут в день я провожу в обществе человека, который приносит мне еду. Остальное время я нахожусь в одиночестве, проливая слезы... Такова моя жизнь здесь... Вот как в этой стране исправляют человека: отсекают все его связи с обществом, с которым его, напротив, нужно сблизить, чтобы он мог вернуться на путь добродетели, с которого он имел несчастье свернуть. Вместо доброго совета, мудрого наставления, у меня есть только отчаяние и слезы. Да, мой дорогой друг, такова моя участь. Как может человек не дорожить добродетелью, когда она представляется в таких радужных красках!

Что же до того, как со мной обращаются, справедливости ради скажу, что во всем проявляется любезность... но с таким шумом по пустячным поводам, так по-детски, что, прибыв сюда, я подумал, что меня привезли на остров лилипутов, где живут люди восьми дюймов ростом, поведение которых должно соответствовать их размерам. Поначалу я находил это забавным — у меня с трудом укладывалось в голове, что люди, которые в остальном кажутся достаточно разумными, могут вести себя настолько глупо. Затем это начало выводить меня из себя. Наконец, я стал представлять, что мне всего двенадцать лет от роду,— и мысль о возвращении в детство несколько умеряет сожаление, которое в противном случае должен испытывать разумный человек, увидев, что с ним обращаются подобным образом.

Но одна из самых забавных подробностей, о которой я почти забыл, состоит в той ловкости, которую они проявляют, шпионя за тобой, замечая даже самое мельчайшее изменение в выражении лица и сразу докладывая об этом своему начальству. Вначале это меня одурачило, и мое умонастроение, постоянно подверженное влиянию Ваших писем и сосредоточенное на них,

однажды опрометчиво выдало себя, когда я получил особенное удовольствие от чтения полученного от Вас послания. Как скоро последующие ваши письма заставили меня осознать, каким я был глупцом!

С тех пор я решил быть таким же лицемерным, как и остальные, и сейчас я слежу за собой так, что даже самые проницательные из них не могут угадать мои чувства по выражению лица. Что ж, моя душенька, есть одно достоинство, которое я, тем не менее, приобрел! Попробуйте-ка теперь приехать сюда и сказать мне, что в тюрьме ничего приобрести невозможно!

Что касается прогулок и упражнений, которыми Вы советовали мне заняться, поистине Вы говорите так, как если бы я находился в каком-нибудь загородном доме, где я волен делать все, что заблагорассудится... Когда они выпускают пса из будки, он проводит *один час* в некоем подобии кладбищенского двора, площадью около сорока квадратных футов, окруженном стенами более пятидесяти футов высотой, и даже эта милая любезность оказывается ему не так часто, как ему бы хотелось. Вы прекрасно можете себе представить — по крайней мере должны представлять,— насколько много неудобств должно происходить, если дать человеку такую же свободу, какую предоставляют животным; его здоровье может неожиданно улучшиться, и где тогда, черт подери, окажутся их прожекты, планы тех, чья единственная цель — свести его в могилу? Как следствие, за те шестьдесят пять дней, что я здесь провел, я дышал свежим воздухом в общей сложности пять часов в пяти различных случаях. Сравните это с теми прогулками, которые, как Вам известно, я привык совершать и которые совершенно для меня необходимы, и потом посудите сами, в каком состоянии я нахожусь! Ужасные головные боли, от которых никак не уда-

ется избавиться и которые совершенно изнуряют меня, мучительные нервные боли, меланхолия и полная невозможность заснуть,— все это вместе взятое, не может рано или поздно не привести к серьезному недугу. Но какое это имеет значение, если президентша довольна, а ее скудоумный муженек может повторять: *«Все это на пользу, все на пользу, это заставит его задуматься»*[13].

Прощайте, сердце мое, будьте здоровы и любите меня немного: только лишь эта мысль способна облегчить мои страдания.

И все же мне ничего не приносили на подпись. Не было нужды с такой заблаговременностью заявлять мне об этой *петиции*[14], практически ее не приготовив. И более того, черновик, который Вы передали, дал мне основания предположить, что меня ожидают всевозможные длительные проволочки. Поэтому я собираюсь просить позволения назначить кого-нибудь в качестве своего доверенного лица. Сначала необходимо получить такое позволение, затем нужно назначить поверенного, ввести его в курс дела, заставить действовать... Только представьте себе, к каким задержкам это приведет, и какая уйма времени уйдет на это! Прибавьте ко всему, с какой дотошностью я должен, как они настаивают, подойти к подписанию необходимых бумаг, и Вы увидите, что все это займет целую вечность. Однако верно и то, что я утешаюсь мыслью, что я *не останусь здесь ни одной минутой дольше необходимого срока!*

И еще раз прощайте, мой дорогой добрый друг! Вот длинное письмо, которое, возможно, никогда не дойдет до Вас, поскольку написано не *по-лилипутски*. Не важно, оно не останется незамеченным, и, кто знает, среди всех тех, кто обязан его увидеть, Вы ли тот самый человек, которому я непосредственно его адресую?

То, что Вы рассказываете мне о детях, мне приятно. Вы, несомненно, знаете, как я был бы рад обнять их, хотя и не питаю иллюзий в отношении того факта, что, несмотря на мою привязанность, именно из-за них я в настоящее время страдаю.

Перечитывая свое письмо, я со всей очевидностью понимаю, что Вам его никогда не передадут, что является определенным доказательством несправедливости и чудовищности всего, что я вынужден испытывать на себе, ибо, если бы в том, что я сейчас испытываю, не было бы ничего, кроме справедливости и обыкновенности, почему бы тогда они боялись, что Вам об этом расскажут или Вы узнаете сами? В любом случае, я не стану Вам снова писать до тех пор, пока не получу непосредственно от Вас ответ на это послание, ибо каков смысл писать Вам, если Вы не получаете моих писем?

À madame de Sade

К г-же де Сад

21 апреля 1777 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ УПОМЯНУТОЙ ПЕТИЦИИ

Начало третьей страницы весьма слабое и очень плохо составлено. По крайней мере Вам следовало бы после слов «страдает от желудочных колик и рвоты» добавить: «но следует ли из этого, что существа, которые каждый день в течение всей своей жизни едят всевозможную нездоровую пищу, имеют основание приписывать причину своего нездоровья

этим засахаренным лепешкам? Однако под влиянием женщин, которым они рассказали о том, что происходило между ними и подателем петиции, они, тем не менее», и проч.

На странице 7 Вы утверждаете, что такого рода женщины не были или не могли быть знакомы с *этимологией, свойствами и воздействием tharides vesicatoria*[15]. Это неверно; такие женщины часто хорошо знакомы с этим снадобьем, чьи свойства имеют то же достоинство, что и их искусство, и, по моему твердому убеждению, среди них найдется мало таких, кто бы не знал, что это такое; и, как раз потому, что они знают, что это такое, они и поспешили его принять. Лучше было бы сказать, что поистине странно, что они сразу не заметили различие между шпанской мушкой и ядом, и соответственно, если они на самом деле хорошо знали воздействие, производимое кантаридами, странно, что они накинулись на яд; и в то же время, не обнаружив ни одного, ни другого, они назвали то, с чем были знакомы, вместо того, что, как они хорошо понимали, вовсе не существовало.

Возможно, я не достаточно хорошо выразил свою мысль, но они без особого труда поймут то, что я имею в виду. Однако,— по крайней мере, воспользовавшись тем, что упомянуто в петиции,— вместо того чтобы заявлять, что эти женщины вовсе не знакомы ни с *этимологией, ни со свойствами, ни с воздействием* шпанской мушки, я бы все же сказал, что существует возможность того, что подобного сорта женщины не настолько хорошо знакомы с этим снадобьем, чтобы определить его на вкус и проч.

В конце той же самой страницы следует добавить один хорошо известный факт, а именно, что все пять женщин устроили кулинарное пиршество на деньги, полученные от маркиза де Сада.

Этот факт известен и полностью установлен. Таким образом, весьма вероятно, что то расстройство, от которого пострадали все пять, происходит именно отсюда. Если Вы доказываете, что эти пять женщин почувствовали недомогание в одно и то же время, и при этом умалчиваете об этом факте, это выглядит в высшей степени подозрительно, и, не зная о нем наверняка, я бы первым посчитал весьма необычным то, что у всех женщин, которых по очереди посетил один человек, и каждой из которых он дал что-то съесть, началось расстройство желудка. Если по таким важным вопросам они спрашивали совета у лица, наиболее заинтересованного в своем оправдании, и, допуская, что они не рассматривают его в качестве некоего автомата, такие существенные подробности не были бы забыты, и все, без сомнения, продвигалось бы более положительно.

Сославшись на эпизод с пирушкой, который хорошо доказан, Вы опровергаете ваше предположение в начале страницы 8, которое и без того выглядит сомнительно. Включая его, насколько Вы усиливаете первые семь строк на странице 9: «*рвота могла*» и проч.! Не включать этот момент было серьезной ошибкой.

На странице 15, в самом начале, мне не нравится ваше допущение, что эта девица вообще могла быть «единственной очевидицей», потому что она таковой не является и не могла являться, что постоянно подтверждается тем состоянием, в котором она находилась на протяжении всего периода совершения предполагаемого преступления. В том состоянии, в котором, по ее заявлению, она находилась, она не могла наблюдать происходящее. Таким образом, она не могла в полной мере выступать в качестве свидетеля и ее мнение об этом может основываться только на том факте, что в этот момент слуга подошел

к своему хозяину, чтобы шепнуть ему на ухо, рекомендуя ему, чтобы тот не добивался своего с этой девицей (при этом считая, что тот собирается изъявить желание это сделать), поскольку, по его словам, *она явно нездорова*. Этот единственный эпизод мог заставить это существо предположить то, что она осмелилась утверждать как точный факт.

Примечание в конце той же самой страницы: я не верю, что какая-либо девица засвидетельствовала в ходе разбирательства, что с нею действительно был совершен преступный акт содомии. Насколько я помню, я нигде об этом не читал и не слышал, чтобы об этом упоминалось. Во всяком случае, это утверждение совершенно ошибочно; ни одному из этих существ это даже не предлагалось[16].

Нижние строки страницы 18 и верхние — страницы 19 очень сильны, написаны безукоризненно. Они, как мне представляется, сами по себе могут разрушить все их построение. Однако мне не нравится, что Вы заканчиваете вашу петицию признанием правонарушений, допущенных подзащитным; ибо тогда, при наличии этого признания, суд должен в силу необходимости усмотреть в его действиях нарушение нравственности, а такого рода признание, как всем известно, позорно. Мне кажется, что было бы предпочтительно, если бы они сами пришли к такому заключению или высказали его в качестве предположения, с тем чтобы подзащитный не подписывал формальное признание, которое явно достойно осуждения, и, соответственно, будет свидетельствовать против него, и вызывает у него сейчас нежелание подписывать указанную петицию.

Далее, мой дорогой друг, Вы должны признать довольно примечательным тот факт, что они проявляют такую скрытность в отношении всего этого. До такой степени, что даже

не говорят мне, в какой высокий суд это дело будет направлено на рассмотрение. Судя по этой петиции, создается впечатление, что это будет один из парижских судов; что отмена решения становится бессмысленной; что заключение, которое отменяет неподчинение постановлению суда, служит вместо него; и что поскольку, как говорится в петиции, остается лишь вопрос процедуры, то простой апелляции было бы достаточно. Вот что следует из этой петиции.

Остается посмотреть, так это или нет. Я сам не имею об этом никакого представления, и, слава Богу, они оставляют меня в полном неведении, что, вне сомнения, самая большая глупость на свете, ибо, учитывая место моего пребывания, кому я могу об этом хотя бы обмолвиться? Таким образом скрытничать бессмысленно, и они делают это единственно для того, чтобы еще больше мне досадить. Это я нахожу не только исключительно утомительным, но и исключительно глупым, поскольку мне и так уже достаточно досаждают; этот дополнительный штрих не имел смысла. И кто заинтересован в этом более, чем я? Поэтому умоляю Вас сообщать мне обо всем и не заставлять меня ждать по три недели, как Вы это сделали после предыдущего письма, что вынуждает меня испытывать поистине ужасающее беспокойство и, в чем Вы можете быть уверены, приводит лишь к озлоблению и заставляет кипеть мою кровь.

Вообще говоря, я не нахожу, чтобы эта петиция была написана с такой же силой, как тот меморандум, который ваша мать представила нам год назад. Разница между ними кажется мне значительной, и я сомневаюсь, что они вышли из-под одной и той же руки. В меморандуме имелось гораздо больше убедительных аргументов для аннулирования второго обвинения, которые в данном случае явно не представлены, и тем не менее, похоже, из двух этих документов легче спорить именно с пети-

цией, хотя она и в равной степени фальшива: поскольку в первом мы имеем дело с блюющими девицами,— это, если хотите, кажется достаточно вероятным, чтобы оправдать, по крайней мере теоретически, слепоту или, скорее, злонамеренное упрямство так называемых марсельских судей. Но что мы имеем во втором? Ничего, абсолютно ничего, нет даже малейшей вероятности.

В этой петиции нет ни намека на то, что приговор вынесен. Или это еще одна из тех вещей, в отношении которых, по вашим словам, нас ввели в заблуждение? Пожалуйста, сообщите, что Вы думаете об этом.

Окажите любезность передать мои замечания адвокату. Что касается первого замечания, то это стилистический промах, который необходимо срочным образом исправить, поскольку он оставляет чрезвычайно слабое место в петиции. Что же до остального, я оставляю это человеку, обладающему более глубокими познаниями, и он поступит так, как посчитает нужным. Но он должен, по крайней мере, поставить вопрос о кулинарной оргии этих существ за столом: это, на мой взгляд, существенно для объяснения расстройства желудка, которое испытали все пять.

Абзац в петиции на странице 10, в котором сказано: «...но суд, который должен взвесить жалобы, свидетельства, данные под присягой, и заключения о химическом составе, свидетельство о состоянии двух девиц» и так далее, предполагает длительную отсрочку, так как очевидно, что они снова начнут всю процедуру с самого начала, и в этом случае, как явственно следует из этих фраз, впереди меня ожидают еще большие страдания от невзгод, которые я и так уже не в силах выносить. Ибо воистину, мой дорогой друг, я действительно нахожусь на грани срыва и делаю все, чтобы удержаться от того, к чему подталкивает меня отчаяние.

Наиболее странным является то, что во всем этом нет ни слова о моем пятимесячном заключении в Савойе. Создается впечатление, что я сидел там исключительно для того, чтобы доставить удовольствие вашей милосерднейшей матушке. Какая прелесть.

Единственное, чем мне нравится эта петиция, так это тем, что она развязывает мне руки, давая возможность устроить взбучку всем тем несчастным плутам, которые вчинили мне этот смехотворный иск, и растоптать, как я надеюсь, божественного зятя Мартиньяна[17]. Это радость, которая, без сомнения, в великой степени утешит меня за все мои страдания, если, конечно, успех будет мне сопутствовать, и поистине справедливость требует, чтобы мне была дарована такая привилегия, ибо они, эти люди,— большие скоты.

Мне кажется, это объясняет вашу фразу о том, что у *нас будут необходимые средства для того, чтобы повергнуть наших недругов в Провансе*. Сообщите мне, это ли Вы имели в виду. Вообще говоря, окончание петиции вполне неплохо, и я чрезвычайно им удовлетворен; единственный недостаток, который я усматриваю, состоит в том, что она несколько менее сильна, чем прошлогодний меморандум, как я только что указал; отсюда и те несколько замечаний, которые я сделал на первых двух страницах этого письма.

Письмо, как Вы видите, мой дорогой друг, писалось сумбурно и бегло, по мере того как мысли приходили мне в голову после того, как я дважды подряд внимательно прочитал петицию. Но все это Вы приведете в порядок и поймете — по крайней мере, я так надеюсь,— то, что я пытаюсь сказать, несмотря на мою невразумительную манеру.

Однако в заключительной части петиции есть одно предложение, смысл которого, должен признать, я вовсе не смог уловить. Вот оно, приведенное отдельно, однако прочитайте его в контексте, и Вы увидите, что сможете понять его не лучше меня: «...и настоящие судьи, которые, в своем суждении, не видят различия между неподчинением решению суда и слушаниями после окончания судебного разбирательства, не принимают никакого другого решения по первому, кроме того, которое они приняли бы по другому. Однако, по противоположному принципу» и проч. В этой фразе я не понимаю ни слова. Если мне смогут ее разъяснить, я буду весьма признателен. В общем, чем бы помешало, если бы мне позволили побеседовать здесь с моим адвокатом? По-моему, ничем.

Одним словом, прочитав и перечитав эту петицию, я возвращаюсь к тому моменту, что, если за пять лет все подготовлено, как у меня есть все основания предполагать, тогда дело может закончиться весьма быстро; но если это не так, что также весьма вероятно, это может тянуться еще длительное время и в течение этого срока я буду продолжать сидеть за решеткой. И, кроме того, следует предвидеть еще одну гораздо более неприятную возможность: если бы это признание в распутстве, которое меня собираются заставить подписать, привело, безотносительно моего нахождения в тюрьме, к еще одному неблагоприятному решению суда, в каком бы положении я оказался? Новые ужасы и новые беспокойства, которые они с удовольствием на меня навлекут, ибо я совершенно прав, говоря, что с тех пор, как оказался здесь, не получил ни малейшего юридического совета, ни малейшего утешения; испытать же более чудовищное состояние невозможно.

Я со всей искренностью умоляю Вас, мой дорогой друг, испросить разрешение у г-на Ленуара писать мне две записки

в неделю вместо одной, как это происходит сейчас. Это не для того, чтобы чаще получать известия о моих делах: ограничьтесь обсуждением этих вопросов в тех письмах, которые Вы обычно пишете каждый понедельник, пусть в других не содержится ничего, кроме слов о вашем здоровье, без каких-либо подробностей в отношении других предметов, что, уверяю Вас, дороже для меня всего остального. Подумайте о том, о чем я Вас здесь прошу; и, если Вы откажетесь или если Вам не удастся получить такое разрешение, Вы ужасно меня раните и причините величайшее беспокойство.

Я собирался сказать Вам с тех пор, как узнал, что Вы находитесь у кармелиток[18], чтобы Вы держались подальше от некоего помещения, которое находится по правую руку, когда Вы входите в гостиную. Помните о том, что это бесполезная комната и что десять лет назад моя мать говорила мне, что не осмеливается входить в нее, поскольку архитектор сказал ей в совершенно недвусмысленных выражениях, что потолок вот-вот провалится. Ради меня, пожалуйста, даже не заглядывайте в эту комнату.

Когда будете туда писать, удостоверьтесь, что за парком обеспечен надлежащий уход; выдайте указания заменить маленький ряд кустов орешника; это ничего не стоит, а сейчас как раз такое время, когда это надлежит делать. Также вышлите распоряжения, чтобы Дево продолжали работу, сообщите, что их цена устраивает, и чтобы все было сделано до первого июня, когда, как Вам известно, они имеют обыкновение собираться и уезжать; в противном случае расчеты с этими людьми станут настолько запутанными, что в них никогда не разберешься. Вообще говоря, мы покинули дом в такой спешке и оставили все в таком беспорядке, что нам обойдется в хорошие деньги при-

ведение наших дел в порядок, если в самое скорое время нам не разрешат вернуться.

Я, возможно, попрошу о еще одной любезности, о которой вряд ли даже стоит упоминать, поскольку я уверен, что она не будет мне оказана: а именно, освободить меня от жуткой тревоги, в которой я нахожусь, сообщив мне, когда меня могут выпустить. Я сознаюсь, что это было бы огромной любезностью с вашей стороны, почти актом милосердия, в свете всех тех страданий, которые я испытываю в своем жутком положении. Если Вы сможете всего лишь дать мне смутное представление, Вы окажете мне огромную услугу. Почему, если эта петиция должна быть связана с отсрочками, Вы ждали почти три мучительных месяца, прежде чем подать мне ее на подпись? Это не что иное, как расчетливая жестокость, и если больше не будет отсрочек и если все организовано и оформлено, как положено, почему бы этого не сказать? Что за польза от такой чрезмерной жестокости? Более того, из этих двух одолжений, о которых я здесь прошу, мой дорогой друг, то, что относится ко второй записке, которую я прошу присылать мне еженедельно с известиями о вашем здоровье, более важно для меня, более дорого, и я прошу об этом со всей искренностью, готовый полностью пожертвовать всем ради счастья сохранить навсегда такого друга, как Вы, друга, чье малейшее нездоровье ввергнет меня в полнейшее отчаяние.

Прощайте, мой дорогой друг, обнимаю Вас от всего сердца.

Приложение к заметкам относительно петиции

Почему в этой петиции не было указано, при обсуждении первого обвинения, что рвота у *Маргариты Кост* началась лишь

после того, как человек, известный на улицах Марселя как странствующий лекарь, прибыл (одному Господу известно, кем присланный) и дал этой девице странные снадобья для лечения простого расстройства желудка, на которое она пожаловалась своей хозяйке? Этот факт, на мой взгляд, слишком важен, чтобы им пренебречь. Вы должны помнить, что он постоянно всплывает на протяжении всего процесса и в меморандуме.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[Между 7 и 28 сентября 1778 г.]

После написанного вчера письма, мой дорогой друг, мне дали разрешение написать Вам еще одно, более подробное, и я, как Вы сможете убедиться, в полной мере использую эту возможность. Но пусть это письмо не вызовет тревогу ни у Вас, ни у кого-либо другого, кто, возможно, его прочитает; я первый и последний раз пускаюсь в изложение подробностей; все мои протесты, все жалобы всегда были настолько бесполезны, что в будущем я избавлю Вас от скуки читать их и себя — от труда их писать.

То, что только что со мной сделано, настолько абсурдно, настолько противоречит всем законам здравого смысла и справедливости, столько трудов проделала рука недругов только лишь для того, чтобы уничтожить меня — не только меня, но и моих детей,— что конечно же я не подозреваю вашу мать: возможно, я никогда не отдавал ей должное и не испытывал большего раскаяния за то, что не сказал об этом ранее. Пись-

ма, мнения, маневры, разговоры, пять недель свободы, действительно, говоря коротко, раскрыли мне глаза в отношении всей этой загадки... Как бы то ни было, я более не обвиняю ее... Но как могло случиться, что она не сделала всего, что было в ее силах, чтобы обнаружить и парировать этот удар, и как ее могли одурачить люди, которые проявили такое желание помочь устроить мои дела ради моих детей, но не ради меня? Кто удовлетворится этим софизмом и кто, по-вашему, не увидит, что приговор — не что иное как следствие фаворитизма? И кто поверит в то, что честь восстановлена, увидев лишь проявление вельможной благосклонности? Это дело достигло той точки, когда я не без колебаний скажу, что после такого вопиющего оскорбления, как то, чьей жертвой я оказался, для меня было бы в двадцать тысяч раз лучше, если бы вообще не было никакого судебного решения. Об этом деле уже начали говорить все меньше и меньше: нужно было позволить ему заглохнуть естественным образом... Я бы сказал, что результат был бы ничем по сравнению с тем, к чему привела эта последняя клевета...[19]

Какие последствия, великий Боже! Какие последствия! После получения поздравлений от всей семьи, приглашений посетить близких, для того чтобы они могли обнять меня и поздравить, после того, как я позволил себе распространить известия о том, что все закончено, о том, что после вынесения решения любое возможное наказание могло быть только наказанием за преступление, и что, вне всякого сомнения, такового наказания не будет и быть не могло, поскольку только что объявлено, что такового преступления не было,— после всего этого, говорю я Вам, видеть, как тебя арестовывают в собственном доме, и с такой злобой, отчаянием, жестокостью, наглостью, которые не применяются даже к самым низким негодяям, представляю-

щим отбросы общества, видеть, как тебя вытаскивают на улицу, связанного по рукам и ногам, на глазах у всей провинции и волокут по тем самым местам, где объявлено о твоей невиновности, подтвержденной судебным решением! — скажите, дорогой друг, не было ли бы в сотню раз лучше, если бы те добрые люди, которые оказали мне столь ценную услугу, люди, которые судили меня, чтобы иметь впоследствии удовольствие оклеветать, просто выдали распоряжение вышибить мне мозги в моем собственном доме?.. О, как бы я хотел, чтобы так и случилось, и насколько лучше было бы это для чести всей семьи!

Но что я говорю? Это поведение наносит не меньший вред моим судьям, нежели мне: если бы я был виновен, они бы были обязаны осудить меня, а если они меня не осудили и, если с точки зрения их совести я невиновен, тогда меня не следовало позднее наказывать. Разве я поднялся с постели из роз, когда отправился в суд, чтобы предстать перед ними? И разве шестнадцати месяцев самого строгого заточения не более чем достаточно для того, чтобы искупить одно обвинение в распутстве, которое по закону можно было вменить мне в ходе процесса?

Что они скажут в свое оправдание, те, кто осмелились нарушить все человеческие права для того, чтобы так обойтись со мной? Воскресят ли они вновь все те клеветнические измышления, которые состряпаны в течение пяти лет неподчинения решению суда, и не используют ли их для своих сочинений, санкционируя новые подлости, которые они навлекают на меня? Но, поступая так, пусть они не отворачиваются от законов справедливости; пусть более пристально посмотрят на факты и не осуждают меня, не вникнув в мое дело. Они не могут знать о всех врагах, которые у меня были в течение этого времени. Сколько было тех, которые делали все, что было в их силах, чтобы я никогда не смог встать на ноги! Все эти ловушки, все эти фальшивые

донесения, особенно за эти шестнадцать месяцев! Но пусть все это отложат в сторону, пусть меня допросят, пусть устроят очную ставку, короче говоря, пусть используют честные средства, и скоро будет понятно, к чему сводятся все эти предполагаемые прегрешения.

Одним словом, я клянусь и торжественно заявляю, что в течение этих пяти лет я не был виновен ни в чем, кроме того, что несколько больше, чем следовало, доверял шлюхе, которую следовало бы вздернуть, а не оставлять на свободе. Но я утверждаю, и в любое удобное Вам время бесспорно докажу, что я не виновен ни в чем серьезном, и что во всем этом присутствует цепь событий, которую я один способен раскрыть, и которую я проясню, когда Вам будет угодно. Я признаю, что удары злого рока, неосмотрительность, слишком большая слабость и вера в людей, которые ее не заслуживали, слишком резко написанные письма, *сильные и скоропалительные замечания* (Вы знаете, что я имею в виду) вполне могли создать впечатление, что я человек не вполне праведный. Мои враги воспользовались этим единственным основанием для создания того мнения, которое сейчас преобладает и которое, вне сомнения, является причиной того, что со мной так обращаются. Довольно об этом; если у них осталась хоть крупица человечности, они рассмотрят этот вопрос и не станут обвинять меня, не выслушав: это все, о чем я прошу.

Вне сомнения, ничто не может сравниться с омерзительным поведением Гофриди[20]. Я спрашивал Вас об этом, но Вы не удостоили меня ответом, поскольку Вы и ваша мать закрываете глаза, когда речь заходит об этом мошеннике. То ли выполняя чье-то тайное поручение, то ли просто из пустого любопытства, он ухитрился получить *то, что получил*, но нужно ли было ему использовать это во зло и разнести по всей провинции?

И когда ему сказали: «Осторожно, сударь, Вы слишком много на себя берете; Вы обязаны проявлять большее уважение к тому, кто Вам доверился», разве он должен был отвечать: «Нет, нет, нет, я точно знаю, о чем говорю». «Но, сударь,— замечали ему,— но, сударь, мы все это видели... это было в таком-то месте, на глазах у всех...» Разве тогда ему нужно было отвечать потоком оскорблений, направленных на меня со всей безжалостностью плута, которым он является; показывая, насколько он жаждал убрать меня с дороги, чтобы получить возможность распоряжаться всем по своему желанию, раздавать имущество в аренду, что привело к убыткам на 400 ливров в год, в обмен на полученные им взятки на 1800 ливров, как мне удалось узнать? Я заявляю Вам, что этот человек — подлец, и в доказательство этого мне достаточно свидетельства Нанон[21], которая вернулась в Ла-Кост, как только ее отпустили. Вот, слово в слово, все, что было сказано тому, кто подтвердит это под присягой, если возникнет нужда: «Сударь!.. Я должна увидеть хозяина!..» — «А для чего?» — «Чтобы сказать ему, что он должен опасаться г-на Гофриди: он попытался использовать все, чтобы заставить меня выдвинуть против него ужасные обвинения. “Отомсти за себя, отомсти за себя,— повторяет он мне,— это он засадил тебя в тюрьму. Просто скажи, что все происходило так-то и так-то, и мы сделаем так, чтобы он гнил за решеткой всю оставшуюся жизнь...”»

Вот как вело себя это чудовище, вот как он обманул доверие моей тещи — которую я не виню за то, что она стремилась пролить свет на действительность, но которая, смею Вас уверить, все еще находится во мраке неведения. Все, что мне нужно для второго доказательства его готовности обратить свои открытия против меня, это бумага, должным образом оформленная и подписанная, которую я, к счастью, сохранил. Это весьма обстоя-

тельное донесение о том, что Ла Дюплан[22] раздобыла в Марселе, где эти предполагаемые открытия представлены полностью. Таким образом, это был их единственный источник информации... Необходимо ли добавлять третье и более убедительное доказательство? Я могу предоставить его. Могу его предоставить! Мои лучшие свидетели сегодня живут точно там же, где они жили два года назад; я получал от них известия в течение моих пяти недель свободы, и они появятся, если их призовут. Принося в том торжественную клятву, я завершаю то, что должен был сказать в этом отношении.

Теперь давайте поговорим о том несчастии, в котором я только что оказался, но прежде позвольте выразить Вам легкий укор. Выстрелы были сделаны со стороны Парижа, а Вы сказали мне, что ваша душа спокойна в отношении Парижа; что опасен лишь Экс; и, поскольку я был уверен, что мне нечего опасаться с этой стороны, и мою уверенность подкрепили Ваши слова, моя душа была спокойна. Я спросил Вас, могу ли я продолжать свою работу: Вы ответили «да» и затем сказали, что собираетесь послать мне необходимые бумаги. Вы, не раздумывая, вселили в меня веру в то, что я нахожусь в безопасности: таким образом, только Вы ответственны за эту веру, и я провел ночь с 25-го на 26-е под крышей собственного дома только на основании того, что прочитал в ваших письмах номер 4 и 5, полученных 25-го. В этих письмах Вы уведомляли меня о продаже моей должности23; я был ошеломлен. Было невозможно представить, что такое ужасное известие можно было объявить мне накануне того дня, когда я должен был вынести еще более ужасный удар, и я отправился спать, с одной стороны, в весьма угнетенном состоянии, но, с другой — весьма ободренный. Тем не менее не думайте, что этим маленьким укором я стремлюсь

поставить Вам что-то в вину. Это было бы слишком. Нет, я никогда бы не стал Вас обвинять; скорее я бы тысячу раз умер. Но ваша мать, которая в этом случае могла бы прекрасно попасть под подозрение, ни разу не предстала таковой в моих глазах; я решительно умоляю Вас передать ей это, и Вам обеим я клянусь, что, по самому глубокому моему убеждению, этот подлый поступок был совершен без вашего ведома.

Прежде чем углубиться в подробности этой зловещей авантюры, я добавлю еще один укор. Вы были жестоки в отношении некоторых хороших и приличных людей, которые были моими друзьями и вашими тоже. А когда человек нуждается в помощи каждого, следует быть тактичным со всеми. Каноник[24] весьма жаловался на Вас; Вы пишете ему смехотворные письма по поводу небольшого дела, в котором, как он считал, он положился на Ваши связи в Париже. Эти люди ничего не понимают в дворцовой лести, и с друзьями, и, осмелюсь сказать, с настоящими друзьями, не следует поступать подобным образом.

Вы действовали в сходной манере в отношении Милли Руссе[25], которая, если это вообще возможно, еще более привязана к нам, и которая, в последнем случае, полностью принесла себя в жертву ради меня: однажды я смогу убедить Вас в этом. Вы писали ей напыщенные и глупые послания, с обращением «Сударыня», в то время как ее письма к Вам были исполнены величайшей теплотой. Однажды я видел, как она рыдала из-за такого Вашего отношения к ней, и происходило это в то время, когда, по доброте своей души, она осталась в замке и оказывала мне все услуги, которые может предложить дружба; даже, поскольку у меня не было слуг, помогая по хозяйству, как бы это сделала Готон[26]. Она не покидала меня ни на мгновение все

то время, пока я находился в Ла Косте, и, без сомнения, чрезвычайно мне помогла.

Не потому ли, что она и каноник помогли мне прозреть в отношении подлостей Гофриди, Вы стали испытывать к ним такую неприязнь? И не возможно ли, что Вы подозреваете, что ими движут собственные интересы? Это проглядывает в некоторых из ваших писем, но Вы очень ошибаетесь. Их крепкая дружба со мной и всеобщий скандал, вызванный в Ла-Косте поведением Гофриди, сделали их еще более пылкими моими сторонниками; и доказательством того, что ни один, ни другой не ищут никакой выгоды, служит то, что каждый из них в отдельности посоветовал мне проявлять терпение, удерживаться от выяснения отношений с этим чудовищем, и, более того, когда я все-таки сделал это, они советовали не искать ему замену, поскольку мои земли сданы в аренду и я не нуждаюсь в услугах дельца. Таким образом, у них не было никакого личного интереса, и, как Вы видите, они не имели ничего в виду, как для себя, так и для своих родственников.

Но здесь Вы, возможно, напомните мне, что Гофриди, тем не менее, хорошо вел себя в Эксе... Пусть Вас это не обманывает: за ним следило слишком много глаз, у него не было возможности повести себя плохо; и, тем не менее, у него были какие-то сомнительные делишки с пятью девицами, что доказывает, что он нашептал все гадости, которые мог, и что если он не поступил еще хуже, то только потому, что не смог.

Если углубляться в то, в чем конкретно заключались эти сомнительные делишки, это займет слишком много времени. Суть же состоит в том, что он вел себя весьма резко с самыми достойными из них, с теми, чьи письменные показания, данные под присягой, были наиболее благоприятными для меня, и осы-

пал добротой и деньгами тех, кто явился на очную ставку; он устроил трагическую сцену, которая ввела комиссара в чрезвычайное смущение, и собирался все расстроить. Более того, если бы этот человек был моим другом и поистине честен, как меня убеждали, разве бы он согласился сделать то, о чем его просили? Вместо этого он поступил совершенно наоборот. Он даже отправился к г-ну де ла Туру[27] и раскрыл ему один из элементов плана, который я собирался привести в исполнение, уговорил Рипера[28], который согласился обо всем позаботиться (указанный Рипер признал это публично), не делать этого, проявив великое красноречие, с большой помпой. Наконец, он и его приятель Рено[29] — который ничем его не лучше и которому, настоятельно Вас прошу, больше ничего не посылайте: их объединенные усилия свелись к выдаче мне двенадцати луи, и, более того, они предложили, будучи плутами, вычесть их из предназначенной Вам суммы. Если бы они дали мне больше — а они легко могли бы это сделать, особенно учитывая то, что г-н де ла Тур предложил Гофриди взять столько денег, сколько тому заблагорассудится,— если бы, повторяю, они дали бы мне больше, я бы уехал во Флоренцию, как и намеревался, и сегодня меня бы здесь не было.

Оказавшись дома, я бы мог поправить дела, это я признаю; любой другой, кроме меня, так бы и сделал. Это было время, когда мои договоры на аренду должны были заключаться заново: посетив одного за другим своих арендаторов, я бы собрал значительную сумму денег, перезаключив с ними договоры за треть от существующей ставки. Повторяю: любой другой, кроме меня, сделал бы это. Но я всегда оказываюсь жертвой, когда пытаюсь сделать доброе дело. Совершенно не собираясь

повредить своим делам, я думал лишь о том, чтобы их исправить... И вот как меня вознаградили.

Позвольте теперь перейти к тем подробностям, которые я Вам обещал. 19 августа, под вечер, я спокойно прогуливался по парку с викарием и Милли Руссе, когда мы услышали, что в маленькой рощице кто-то есть, что меня чрезвычайно взволновало. Я несколько раз позвал, спрашивая, кто это; но никто не отозвался. Я шагнул вперед и наткнулся на стражника Самбю, старшего, который, нетвердо держась на ногах вследствие употребления слишком большого количества вина, сообщил мне с исключительно встревоженным и испуганным видом, что мне нужно как можно быстрее бежать, поскольку в таверне начали собираться люди, которые выглядят весьма подозрительно. Милли Руссе отправилась туда, чтобы все разведать, и часом позже возвратилась, совершенно обманутая речами двух шпионов, задачей которых было разведать обстановку, и заверила меня, что готова поклясться своей жизнью, что эти люди были действительно теми, за кого себя выдавали, то есть торговцами шелком, добавив, что опасаться абсолютно нечего. Вы бы не допустили такой промашки, ибо один из них был в той шайке, что арестовывала меня в вашем доме в Париже. Так что я не так уж ошибался, когда сокрушался, что Вас нет со мной. Когда мы были вместе, со мной в Ла-Косте ничего не случалось.

Все, что я узнал, меня мало успокоило, и той же ночью я покинул дом и укрылся у каноника. Милли Руссе пересылала мои письма и дважды в день передавала мне донесения, сообщая мне все подробности. Поскольку они становились все более зловещими, я покинул Оппед и переселился в амбар примерно в лье от дома каноника. Сообщения оставались все такими же тревожными. Кое-кто из Апта — Вы знаете кто — высказы-

вался в самых ясных выражениях, но, несмотря ни на что, словно побуждаемый какой-то силой, превосходящей мою собственную, ибо от судьбы убежать нельзя, 23 числа, в субботу, я впал в какое-то возбуждение, настолько сильное, что любой человек, не лишенный проницательности, увидел бы, что это ужасное состояние знаменует окончание моего горького периода свободы. Та, кого каноник назначил для ухода за мной, была настолько напугана этим состоянием, что поспешила уведомить каноника. Вскоре он появился.

«Что с Вами такое?» — «Ничего; я хочу выбраться отсюда». — «Вам нездоровится?» — «Нет, но я хочу выйти».— «И куда Вы хотите пойти?» — «Домой». — «Вы сошли с ума, и я совершенно определенно туда с Вами не пойду». — «Я и не прошу Вас об этом, я и сам могу прекрасно добраться домой».— «Но подождите, подумайте немного, умоляю Вас».— «Я уже об этом подумал, я хочу домой».— «И Вы полностью пренебрегаете опасностью, всем, о чем Вам писали!..» — «Вздор и бессмыслица, вот что это такое; нет никакой опасности. Так что не будем об этом».— «Давайте подождем хотя бы еще четыре дня?» (Увы, бедняга точно угадал то количество дней, которое нам следовало подождать!) — «Я говорю Вам, что не желаю ждать, я хочу уйти».

Наконец, мы отправились в путь вдвоем и прибыли в Ла-Кост. Из опасения помешать мне хотя бы немного отдохнуть, они не осмелились слишком открыто ругать меня за мою поспешность. На рассвете они стали уговаривать меня вернуться в мое убежище. Я упрямо держался за желание остаться. 25-го пришли ваши письма. Я все больше чувствовал себя в безопасности, а 26-го, в четыре часа утра, Готон, совершенно раздетая и взволнованная, ворвалась в мою спальню (ту, где я сплю летом), визжа изо всех сил: «Спасайтесь!..» Ну и пробуждение!

Облаченный лишь в ночную рубашку, я бросился туда, куда еще мог бежать, не помня себя пронесся вверх по лестнице в помещение, которое, несмотря на мои исчерпывающие указания, никоим образом не было подготовлено; не обнаружив там ничего, что могло бы мне помочь, я кинулся в спальню Марше, которая впоследствии упоминалась как Коричневая спальня. Я заперся на ключ; минутой позже я услышал на лестнице такой страшный шум, что на какое-то мгновение решил, что это воры, которые идут, чтобы перерезать мне горло. Я услышал крики: «Убийство! Пожар! Вор!», а затем в одно мгновение дверь слетает с петель, и меня хватают сразу десяток человек, некоторые из которых направляют на меня шпаги, в то время как остальные держат пистолеты, приставленные к моему лицу. В этот самый момент из уст г-на инспектора Маре[30] начинает изливаться поток отвратительных глупостей; меня связывают; и с того момента и до самой Валенсы мне пришлось постоянно терпеть от этого человека брань и оскорбления, от подробностей которых я Вас уволю. Они были слишком унизительными по отношению к тому, кого Вы любите, и я предпочел бы Вам их не описывать.

В Кавайоне собрался весь город; в Авиньоне — больше трех сотен человек, и, что больше всего меня расстроило, это то, что в тот же самый момент моя бедная тетушка, аббатиса Сен-Лоранская[31], лежала при смерти. Она только что продиктовала моей двоюродной сестре милейшее письмо, полное поздравлений. Какой поворот событий! Вполне возможно, что это и станет причиной ее смерти... Я умоляю Вас, напишите ей, а также моей тетушке в Кавайон, выразите им мои самые нежные пожелания и передайте мне известия о них. — Вот, дорогой мой друг, как со мной обошлись.

Но я по меньшей мере думал, судя по тому, что писала ваша мать, что как только окажусь в тюрьме, то буду иметь все удобства, которые должны соотноситься с моим содержанием под стражей. Вместо этого у меня нет и четвертой части тех удобств, которые были раньше. Меня поместили в новую камеру, в которой я едва могу дышать[32], где все воздушные ходы перекрыты; в камеру, в которой мне будет невозможно этой зимой развести огонь. Меня изводят и досаждают мне на каждом шагу; меня гораздо хуже кормят, и в совершенно разное время, что губительно действует на мой желудок. Одним словом, со мной обращаются как с человеком, с которым они не знают, что делать, и от которого хотели бы и вовсе избавиться. У меня более нет патента на должность, суд надо мною закончен: имеет ли значение, буду я жить или умру?!

Таковы, без сомнения, были их рассуждения, когда они решали мою печальную участь, и теперь мне только остается умереть от горя. Вы ясно намекнули, что, если я попрошу перевести меня в аббатство, мое желание будет удовлетворено. Я со всей искренностью обращаюсь с этой просьбой; там, по крайней мере, нам будет друг до друга рукой подать, если только они разрешат посещения, и я, по крайней мере, смогу получить ту еду и обстановку, которые хочу. Если расходы представляются важным обстоятельством, то я не прошу тратить ни на су больше, чем то, что платится за мое содержание здесь, и я Вам гарантирую, что в любой другой тюрьме на эти деньги мне жилось бы бесконечно лучше, чем здесь. Прошу Вас, будьте так любезны и попросите свою мать об этой единственной услуге. Если она захочет добиться для меня такого разрешения, то она непременно в этом преуспеет. Я собираюсь просить об этом г-на Ленуара[33]; и, дабы удостовериться, что это не будет воспринято

как какая-нибудь минутная прихоть с моей стороны, я самым решительным образом буду продолжать просить об этом в каждом письме, которое мне разрешат написать.

В послании, которое Вы направили мне в Ла-Кост, Вы одобрительно отозвались о моем побеге, заметив, что, случись мне вернуться в тюрьму, я бы провел там по меньшей мере год, с последующей ссылкой, и по большей мере три года. Которое же из двух, в таком случае, один год или три, поскольку длительность моего заключения уже установлена приговором? А то, что срок определен,— совершенно очевидно. Поскольку мой приговор есть результат моего суда, то они вполне могут сообщить мне, каков этот приговор. Я настоятельнейшим образом прошу, чтобы мне сказали, каков он. Более нет никакого смысла утаивать его от меня. Эта ужасная неопределенность держит меня в состоянии такого несчастья, которое не описать никакими словами. Я заклинаю Вас и вашу мать проявить доброту и избавить меня от этого несчастья; все, о чем я прошу, только это утешение: соблаговолят ли мне его даровать?

Вы не представляете, мой дорогой друг, насколько глубоко я был расстроен потерей своего места. Что за ужасное сочетание: перенести такую потерю и затем, вдобавок, оказаться в тюрьме! Было ли оно, хотя бы, продано по подходящей цене или же просто отдано за вступление в должность? Вам, по крайней мере, следовало сказать мне хотя бы это.

Должен признаться, что эта договоренность,— особенно, когда я узнал, что первоначально она должна была быть достигнута со старшим г-ном д'Эври[34],— показалась мне несколько подозрительной со стороны вашей матери. Передача в ее семью привилегий, которые король ранее даровал моей семье, не показалась мне выражением преданности мне. Я заподозрил, что

достигнуты некие другие договоренности, более благоприятные для моих детей, когда узнал, что патент переходит к тому, кто носит мою фамилию. Это не помешает мне испытывать самую глубокую ненависть к этому ничтожному господинчику; и, несмотря на энтузиазм в отношении этого дома, который Вы высказали в одном из ваших последних писем, позвольте мне испытывать полную убежденность в том факте, который я о них сообщил, поскольку получил эти сведения из первых рук, [и] считать его лично человеком жестокосердным и бесчувственным, за то, что он осмелился обогатиться за счет своего двоюродного брата, и от всей души ненавидеть его — его и его отпрысков — до конца своей жизни.

Далее, по некоторым фразам, которым Вы позволили вкрасться в ваши письма, по одному письму, написанному вашей матерью и посланному мне по какой-то неведомой причине, я смог расшифровать — ибо, имея дело с Вами, всегда приходится расшифровывать: прямота и простота — это достоинства, которыми Вы более не обладаете,— как бы там ни было, я смог догадаться, что ваша мать проделывает что-то с моей собственностью. Она, вероятно, решила, что раз уж ей удалось без моего ведома лишить меня патента, то она также может распродавать мое имущество как ей заблагорассудится и управляться с ним так, словно это капуста в ее собственном огороде. Я полагаю, что она не способна хоть когда-нибудь совершить ошибку, и даже зайду настолько далеко, что скажу, что достаточно хорошо ее знаю, чтобы быть уверенным в том, что мог бы только приобрести от любых договоренностей, которые она могла бы устроить: тем не менее я умоляю ее зарубить себе на носу, что я ни при каких обстоятельствах не желаю расставаться ни с Ла-Костом, ни с Соманом, ни с Мазаном[35]; что с того момента, как

я письменно заявляю, что официально возражаю против вышесказанного, как это и есть и всегда будет, я сомневаюсь, станет ли кто-либо приобретать эту собственность, принимая во внимание тот факт, что, как только меня освободят, первым моим действием будет подача жалобы на такого человека.

Посему я заклинаю ее не трогать ни один из этих трех объектов, не желая, независимо от того, каковыми бы ни могли посчитать они мои желания, расставаться с каким-либо из этих трех владений. Пусть продает Арль, если ей хочется, и пусть проделывает с полученными деньгами и с тем, что принесла продажа патента, любые махинации, какие пожелает. Но в отношении остального — нет. Пусть она не сомневается, что я всегда буду этому противиться. В следующем моем письме я включу некоторые подробности о том, что следует вместо этого сделать, по крайней мере, покамест, в отношении возобновления аренды.

À madame de Sade

К г-же де Сад

4 октября 1778 г.

Итак, на смену пыточным колесам придут подчистки, вымарывание слов и всевозможные каракули! Если, как Вы говорите, Вы страстно желаете успокоить меня, угодить мне, используя при этом эти и другие напыщенные фразы, которые слетают с кончика пера, но не идут от сердца; если, повторяю, Вы так стремитесь угодить мне, будьте любезны также уволить меня от этих подчисток, которые, готов поспорить, ваших рук дело, а не кого-либо другого, потому что некоторые

из них, которые мне удалось разобрать, слишком незначительны, чтобы быть сделанными кем-либо другим, нежели Вы и Ваша очаровательная советчица. Это новые знаки, не так ли? Что ж, умоляю Вас, избавьте меня от таких знаков, ибо я торжественно заявляю, что буду возвращать все ваши письма, где появится хотя бы малейший намек на знак.

Вы хотели бы убедить меня в том, что это не Вы их делаете? Что ж, тогда я предложу Вам средство избежать причинения мне этой пытки. Пошлите свои черновики *щелкоперу*[36], как посылают башмаки к чистильщику; пусть щелкопер мирно пописывает, а потом возвращает Вам свои каракули. После чего Вы приготовите чистовик, и я больше не буду иметь дела с подчистками. Если бы у Вас было чуть больше духа, я бы посоветовал Вам отыскать того человека, который возьмет на себя ответственность править Ваши письма, и спросил бы его, на каком основании он присваивает себе это право, когда Вы не говорите ни о короле, ни о правительстве, которые являются единственными запрещенными предметами. Но Вы этого не сделаете. Вы ни за что не выкажете такого неуважения к г-ну Щелкоперу!

Но раз уж мы завели речь об этом господинчике, все-таки в одно прекрасное утро пойдите и нанесите визит его хозяину, умоляю Вас, и спросите, не следуя ли его приказам он уведомлял Маре обо всем, что я писал и к Вам, и к вашей матери, в течение последних трех недель перед моим отъездом в Экс, прибавляя, в том подтрунивающем тоне, который идеально ему подходит: «*Видите, никак не угомонится. Сразу видно, что его место в тюрьме*».

Маре сказал — причем сказал в присутствии тех самых четырех свидетелей, на которых я ссылался в связи с его наглым поведением в моем доме,— что человек, который получает мои

письма в полиции, показал ему два или три письма, в которых я самым настоятельным образом попросил, чтобы он не сопровождал мою тещу и г-на Ленуара. И что его секретарь, с которым он близок, рассказывал ему все и все показывал. Вот что сказал Маре в весьма недвусмысленных выражениях, присовокупив несколькими днями позже, в личном со мной разговоре, что именно по этой причине он находился в столь скверном настроении и вел себя таким образом. Затем он сказал мне, что этот щелкопер, которого я из соображений приличия не стану называть никаким другим словом, одержимый стремлением снова увидеть меня за решеткой, поскольку он, вероятно, зарабатывает какие-то деньги за свое щелкоперство (это снова наводит на мое сравнение с чистильщиком сапог; г-ну Сапожной Щетке всегда не нравится, когда спрос на его услуги падает); что этот щелкопер, повторяю, поспешил увидеться с г-жой де Монтрей, и у нее ловко (ибо он ловкач, этот щелкопер!) выведал некоторые разъяснения касательно имени некоего Видаля, который, как они опасались, мог доставить неприятности, когда они ехали через Валенсу; что он действовал с большим искусством (ибо он искусен, этот щелкопер!), дабы узнать то, что ему было нужно, принимая во внимание, что указанная г-жа де Монтрей не имела желания, чтобы меня поймали; и что, наконец, он узнал это и спешно передал вышеуказанному Маре.

Вот каковы факты! Истина которых должна убедить Вас, что я их не выдумываю, и, также, заставить Вас увидеть те пределы, до которых подчиненные, которые, как полагают их начальники, заслуживают величайшего доверия, злоупотребляют им, чтобы совершать самые зловещие дела, как только увидят в них хоть малейшую для себя выгоду. Не были бы Вы любезны, не тратя впустую своего времени на второй момент, о котором

я заговорил только лишь для того, чтобы показать, что мне о нем известно,— увидеться с г-ном Ленуаром и поговорить с ним только о первом деле, главным образом для того, чтобы подать протест против поведения человека, которому он доверил мои письма и который поставляет их содержание третьим и четвертым лицам, и затем пожирает их глазами.

Если это письмо не попадет в ваши руки, и если я не получу от Вас положительного ответа относительно этого предмета, тогда станет ясно, что Мартин Щелкопер пощелкал своим пером и, как следствие, почувствовал себя виноватым, поскольку он не дает хода моим жалобам на него. Тогда я буду знать, как мне поступить. Я всегда умел наказать наглецов подобного рода, если было где купить подходящую трость.

В самом последнем сообщении, подвергшемся воздействию *животного*, о котором я только что упоминал, мне удалось расшифровать лишь одно слово: *сертификаты*. Я не представляю, что бы это могло означать. Но если это относится к Маре, как можно судить по предыдущим строкам, не удивительно, что его дорогой друг Щелкопер вымарал это слово. *Все эти плуты одинаковы*, поэтому всегда выгораживают друг друга.

Кстати, это мне напомнило об одной сделанной Вами совершенно замечательной ремарочке. Она относилась к четыремстам тысячам франков: «*Я готова заплатить им, как только Вас выпустят, в противном случае — нет*». Но когда же меня выпустят, будете ли Вы все также подписывать бумаги и производить расчеты? Я думал, что это буду делать я. Можете сами судить, какие намеки постоянно тянутся за вашими отвратительными фразами. И выражение «*в противном случае*» — откуда Вы его взяли? «*В противном случае*»: иными словами, Вы предвидите и хитроумно намекаете мне, что воз-

можна ситуация, когда меня не выпустят. Видите, насколько изощренно утешительны Вы в своих письмах! И потом Вы являетесь и говорите мне, что *не понимаете, как они могут меня расстроить*, и проч.! Полноте, сударыня! Ваше поведение по отношению ко мне ужасает. *Если бы у Вас была какая-либо возможность сказать мне*, прибавляете Вы на другой странице, *сколько продлится мой срок, Вы бы это сделали; но ваше молчание сократит его, и ваше старание не менее сильно*, и проч.

Да, еще раз, Вы, должно быть, потеряли все ощущение чести и человечности, раз осмелились написать такое собственному мужу. Ваше поведение по отношению ко мне отвратительно. И хорошенько запомните: пока в моих жилах течет хоть капля крови, я Вас не прощу. Я промолчу, поскольку меня так научили, но до конца своей жизни буду считать Вас бессердечной и бесчувственной женщиной, *которая является не чем иным, как флюгером, и которую заставит упасть любая выбоина на дороге*; одним словом, куском воска, которому всякий может придать ту форму, которую пожелает. *Ваше старание, ваши усилия?* Что ж, может быть, нам заключить сделку? Я освобожу Вас не только от *вашего старания и ваших усилий*, но также и от того, к чему они могли бы привести. И я хочу, чтобы Вы сказали самое худшее, что мне следует ожидать. Я исполнен решимости стойко вынести приговор до последнего дня, если только буду иметь удовольствие знать, каков он. Ну же!

Сударыня, Вы ведете себя постыдно, это все, что я могу Вам сказать. Все же, эта великая тайна не такая уж нерушимая, поскольку в Ла-Косте Вы писали мне, что это будет *год или три*. Отчего Вы не можете повторить мне сейчас то, что говорили мне тогда? Это все, о чем я Вас спрашиваю: которое

из двух? Мне кажется, что Вы наверняка можете сказать мне об этом! И, еще раз, каковы могут быть причины, мешающие сказать мне об этом? В настоящее время таковых нет вовсе. Невозможно, совершенно невозможно, чтобы существовало какое-либо оправдание для вашего ужасного и черного недоброжелательства, или, скорее, вашей слабости и униженности в отношении негодяев, которые вводят Вас в заблуждение. Вы говорите, что имя *Альбаре*[37] для Вас загадка. Чем тогда являются два письма, подписанные *Бонту*[38], от которых отрекся указанный г-н Бонту и которые Вы передали мне в прошлом году? Они ведь написаны почерком Альбаре, этого Вы не станете отрицать? Более того, в присутствии коменданта этого замка г-н де Бонту положительно отказался от их авторства. Кто тогда их написал? До тех пор, пока я не получу ваше объяснение по этому вопросу, не могли бы Вы убедить меня в том, что этот странный и таинственный малый Альбаре — вовсе не ваш советчик? Кроме того, Шовен[39] видел его у Вас дома: так он мне сказал. Таким образом, бесполезно отрицать нечто настолько очевидное.

Вы когда-то писали мне в Прованс: «*Ах! Боже, о мой добрый друг, Вы расстроены моими письмами. Воистину, я не ведаю, почему. Вы должны были знать, что если я не писала, то только оттого, что не могла*». А когда Вы могли говорить, когда Вы написали *тридцать писем молоком*, почему Вы ничего не сказали? И почему эти загадочные письма оказались еще более глупыми, чем остальные? А? Как Вы это объясните? Не можете: единственное объяснение заключается в вашей недоброжелательности или слабости. Ах! понадобится некоторое время, прежде чем уйдет охватившее меня чувство обиды.

Г-жа Руссе получила от меня позволение рассказать Вам, как я был зол, когда говорил с нею о Вас, и как, несмотря на свои дружеские чувства к Вам, она была поражена, когда я дал ей полное описание ваших ужасных деяний, что не могла найти слов в ваше оправдание. Я глубоко сожалею, что убедил ее приехать в Париж. Она собирается взять на вооружение Ваш тон, Ваш язык: я потеряю доброго друга. Если бы я только не говорил ей приезжать!

«Самая трудная часть позади»,— но что, в конце концов, Вы хотите этим сказать? И на что, по-вашему, это должно намекать? Вы можете сами видеть, что, отнюдь не предлагая мне даже малейшего утешения в своих гадких письмах, Вы стремитесь лишь свести меня с ума. И неужели Вы ожидаете извлечь из всего этого какую-то выгоду? Нет, сударыня, нет, поверьте мне на слово! Вы делаете мой нрав даже еще более ожесточенным, а меня — в тысячу крат хуже, чем я когда-либо был. Ах! Боже мой, почему Вы неспособны оценить ваши поступки и увидеть, во что Вы меня превращаете! Но эта фраза — *«самая трудная часть позади»*, которую Вы написали мне в Ла-Кост, я хорошо ее помню. Следовательно, в то время Вы уже знали, что мне все еще нужно сделать что-то еще? И если Вы это действительно знали, почему не сказали мне? Почему, вместо того чтобы самым настоятельным образом настаивать на том, чтобы я оставил Ла-Кост, Вы внушили мне ложное чувство безопасности, сказав: *«Я советую Вам завершить написание Вашей книги»*? Но это означает, что Вы не знали... А если Вы не знали, почему тогда Вы сказали, что *«самая трудная часть позади»*? Попробуйте выбраться из этого порочного круга. Но Вы не станете на это отвечать,

не так ли? Это самое быстрое решение, и *Красавчик Щелкопер* придет Вам на помощь.

«Когда-нибудь Вы поймете, что я Вас люблю»,— говорите Вы мне в вашем самом недавнем письме. Да, так, как Вы любили меня в Эксе, не так ли? И это милое письмо, чтобы понять его мне понадобилось два часа, то, которое начиналось: *«Ну что ж, мой дорогой друг, теперь Вы продолжаете сомневаться в моей любви?»* Боже мой, сказал я себе, что со мною стало? Я почувствовал себя свободным. Я ущипнул себя, дабы убедиться, что я не грежу... Нет, вовсе нет. Эта замечательная любовь заключалась в том, чтобы посоветовать мне принять определенные меры, которые подвергли мою жизнь тысячекратному риску, и, более того, Вы не пожелали меня поддержать! Ибо, чтобы поддержать меня, как только Вы узнали, что все еще нужно что-то сделать,— поскольку Вы сказали, что *«самая трудная часть позади»*,— повторяю, чтобы поддержать меня, Вам следовало одновременно самым решительным образом настоять, чтобы я поспешил выехать за границу, Вам следовало выслать мне аккредитивы и рекомендательные письма, для передачи Юности[40], а также мой экипаж. Вот как следует поддерживать подобный образ действий, а не с помощью банального письма, в которое не вложено ни гроша, и не посредством негодяя, торгового агента, который, несмотря на то, что всего через пять месяцев будет должен Вам две тысячи крон, нагло предлагает Вам двенадцать луи. Вот как, повторяю, Вам следовало показать свою любовь, сударыня. И если те доказательства дружбы, которые, по вашим словам, должны последовать, подобны тем, что Вы уже мне выказали, сделайте мне одолжение и выберите беспристрастность.

Одним словом, судя по тому, что Вы написали мне вчера, создается впечатление, что, если Вы скажете мне, каков будет

мой срок, это не поможет мне ни на йоту, а если Вы сохраните молчание, мне будет еще лучше. Итак, я еще раз повторяю, что касается этого вопроса, то я действительно хочу знать на него ответ. Одним словом, я умоляю Вас сказать мне. *Или я прокляну Вас, как подлейшее из существ, и буду считать Вас, после того как Вы еще раз мне откажете, чудовищем, которого я не удостою даже взглядом, сколько бы мне ни суждено было прожить.*

Эти два саквояжа г-жи Руссе — что они значат? Полагаю, что один из них предназначен для Вас и что Вам пересылают ваши вещи из Ла-Коста. Сообщите мне. И если это так, и поскольку в последнее время Вы, похоже, так решительно настроены предлагать объяснения, объясните мне, почему Вы велели отослать мой портрет? Почему Вы послали за ливреями? И почему Вы продали мой экипаж?.. Ну же! Скажите мне, выложите мне всю историю без обиняков. Расскажите, что мне суждено страдать еще долго, что все это было средством, примененным в вашей неподражаемой манере, сделать так, чтобы я это понял.

О Боже, почему я имел несчастие отправиться в Прованс и узнать там то, что я там узнал, и увидеть там все то, что я увидел? Если г-же Руссе было суждено вернуться со мною в Прованс, и если бы мне не дано было провести здесь длительное время, она бы не привезла с собой такое значительное количество багажа! Но она видит, что это надолго, и соответственно подготавливается. «*Не беспокойтесь. Не расстраивайтесь*». Все это Вы говорили мне, когда впереди меня ждали шестнадцать месяцев страданий. Вы вечно так говорите! Разумеется, ваши слова меня не успокоили, отнюдь. С этого момента, когда я Вас о чем-нибудь прошу, будьте любезны воздержаться от ответа: «*Мы пошлем это со священником*». Потому что

мне не нужно никакого священника, чтобы иметь камеру получше, чтобы мне позволяли дышать свежим воздухом, чтобы у меня была бумага для письма. В отношении всего этого существуют определенные правила. Посему для этого нужно всего лишь совершенно ясно сообщить мне: «Вы получите это в тот или иной срок».

Что до моей камеры, то по отношению ко мне был совершен *очень бесчестный поступок*, когда меня перевели из моей старой. Это еще один поступок, который прибавился к остальным, и я его запомню. Я не только всю зиму не смогу зажигать огонь, но вдобавок меня пожирают крысы и мыши, которые всю ночь не дают мне ни минуты покоя. Я только что провел шесть бессонных ночей кряду, и когда я спросил, не будут ли они так добры посадить в соседнюю комнату кота, чтобы он их уничтожил, мне ответили, что *животные запрещены*. На что я заметил: «Да ведь, дураки Вы этакие, если животные запрещены, то следует запретить и крыс с мышами». На что они ответили: «*Это другое дело*». Видите, каковы правила в этой омерзительной дыре; все они направлены на то, чтобы сделать жизнь заключенного еще более несчастной, и ни одно не предназначено для того, чтобы ее облегчить.

Поскольку впереди ожидаются не меньшие страдания, по крайней мере, им следовало позволить, чтобы это происходило в Париже или в Эксе. Это все, о чем я просил. Но нет, Венсенн — это последний крик моды! Это все, что они могли ответить. Пусть те, кто держат меня здесь, те, кто поместили меня сюда, и те, кто не хотят сказать мне, сколько времени я должен здесь оставаться, умрут тысячу раз. Это мое последнее желание.

À madame de Sade

К г-же де Сад

21 октября 1778 г.

Ну что ж, мой дорогой друг, решено раз и навсегда, что до самого последнего момента все ваши письма будут для меня множеством ударов ножом. Ах! Но Боже мой, значит, Вас никогда не утомит эта ужасная пытка? и неужели Вы так уж хотите заставить меня самого попросить, чтобы меня лишили того, что по всем предположениям должно только утешать и успокаивать мою душу и тело? Такая настойчивость просто невероятна, в самом деле! Разве я уже не достаточно несчастен от того, что меня снова арестовали, от того, что снова начались мои страдания, и даже еще худшие, чем прежде, от того, что я вижу, как лучшие годы моей жизни проходят впустую в вечных оковах, без того, чтобы Вы позволяли, нет, стремились, снова и снова бередить мои раны проклятым ядом ваших отравленных писем?

Когда г-жа Руссе будет у Вас, спросите, не говорил ли я ей, что источником величайших моих несчастий был никто иной, как Вы... Вы, от которой мне следовало бы ожидать только лишь утешения. Именно от Вас я получал и получаю самые сильные удары. Но кто, в самом деле, тот человек, настолько жестокий, настолько полностью лишенный здравого смысла, что посоветовал Вам такое поведение? И чего ему — или им — нужно, если не ввергнуть меня в отчаяние? Прежде всего, за этим скрывается не ваша мать, в этом я уверен. Она была бы не способна на ужас, просчитанный до такой энной степени. Ни одна душа, знавшая когда-либо нежность, не могла бы задумать такое или хотя бы подумать об этом.

Как это понимать: «*Ваши дети уехали на два года; я обещала им, что по их возвращении они снова к нам присоединятся, к нам с Вами, где бы мы ни были; они уехали, убежденные, что увидят Вас через два года*»? Я бы очень желал, чтобы Вы оказались на моем месте, всего лишь на месяц (не зная, что это будет лишь на короткое время), и кто-нибудь написал Вам подобную фразу! Вы можете льстить себе, что в целой драгоценной коллекции милых посланий, которые я получаю от Вас почти два года, Вы не послали мне ни одного, чьи острые углы вонзились бы глубже в мою плоть или, возможно, привели бы к таким разрушениям в моем разуме, чем это, которое я в течение последних сорока восьми часов имею несчастье лицезреть. Существует ли какое-то двусмысленное выражение, какой-либо логогриф, подходящий для описания этого, и достаточно ли Вы раскалили его в горне инфернального демона, который вдохновил Вас его написать? Он должен гордиться своей работой. Я никогда еще не испытывал таких глубоких страданий, и это было последним ударом, необходимым для того, чтобы добить меня, после всего, что я только что перенес...

И, значит, это никогда не кончится и, таким образом, всегда будет одно и то же! Одним словом, что Вы хотели сказать этой фразой? Во имя Господа, если в вашем сердце осталась еще хоть капля жалости, если возможно, чтобы Вы прислушались к ней и на одно мгновение освободились от демонической злобы того негодяя, который Вас направляет — и который, как мне известно из весьма достойных источников, постоянно находится рядом с Вами (что бы Вы ни говорили),— и обратились за советом к другим, а не к тем, кто ненавидят меня от всего сердца; если, повторяю, Вы сможете освободиться на мгновение от их тиранической мстительности, окажите мне любезность и разъясните мне это предложение, в ясных и простых выраже-

ниях, не намеревались ли Вы сообщить мне этой фразой, *что я выйду отсюда только через два года?* Это так? Тогда так и скажите, скажите сразу. О! Боже мой, скажите это, и соль больше не будет сыпаться на мои раны, я не буду сходить с ума, не буду приходить в отчаяние всякий раз, когда мой взгляд падает на одно из ваших писем.

На этой стадии больше не может оставаться никакой причины, по которой следовало бы утаивать от меня длительность моего срока. Ясно, что он уже установлен, что это результат приговора, и что, так же, как и приговор, он вынесен. Меня уведомили об одном, почему бы не уведомить о другом? Нет никакой нужды осторожничать с этим делом, оно решено; больше нет никаких соображений, которые могли бы заставить сохранять молчание, никаких секретных шагов, никакого тайного плана; одним словом, нет больше ничего, кроме вопиющей злобы, которая мешает даровать мне то, о чем я так искренне прошу. Может быть, меня приговорили к определенному сроку, и Вы надеетесь до какой-то степени его сократить? Что ж, не говорите мне, к чему сводится эта «какая-то степень»: я не желаю этого знать. Если это случится, тем лучше! Скажите мне худшее. Это все, о чем я Вас прошу.

Одним словом, я умоляю Вас во имя ваших детей, во имя всего, что Вы почитаете самым святым, избавить меня от того ужасного состояния, в котором я пребываю, и сообщить мне о моей участи, каковой бы она ни была. Я выслушаю ее, и выслушаю без жалоб, и когда я узнаю, какова она, то, каким бы долгим ни был срок, состояние моего ума сможет стать лишь менее ужасным, чем та жуткая неопределенность, в которой я сейчас нахожусь.

Неужели Вам обязательно изъясняться загадками? И неужели это единственный способ, которым Вам дозволено выра-

жаться? Прекрасно: в таком случае, *в своем ответе на это письмо повторите мне: что мои дети уехали на два года в Валлери; что Вы не знаете, упоминали ли Вы мне об этом ранее, но, на тот случай, если Вы забыли это сделать, Вы настоящим ставите меня в известность.* Повторите это, и я буду понимать это как то, что мне суждено провести здесь еще два года. Увы! Боже, слишком велика вероятность, что именно этот огромный срок мне предстоит пережить.

Если бы (как я смел надеяться) меня сослали в мои владения, поскольку мои дети находятся в Валлери, кто (предположив, что ваша мать даст разрешение) помешал бы мне через несколько месяцев приехать к ним на сутки или, по крайней мере, сделать так, чтобы их привезли ко мне почтовой каретой? Ведь дорога проходит совсем рядом. Тогда так или иначе я бы смог повидаться с ними. Таким образом, ясно, причем яснее ясного, что поскольку они практически уже отправились в Прованс, и поскольку Вы говорите мне, что я не увижу их в течение двух лет, отсюда, повторяю, ясно без всякой тени сомнения, что в течение следующих двух лет у меня не будет возможности туда поехать. Итак, поскольку невозможно, что, по выходе отсюда, я направлюсь куда-либо еще, кроме дома, поскольку помешать мне отправиться домой будет губительно, отсюда очевидно, что, так как мне не позволят съездить в Прованс в течение двух следующих лет, это означает, что меня не выпустят отсюда еще два года. Эта бесконечная череда умозаключений неизбежно приводит нас к такому выводу, и, после того как Вы достаточно ясно дали мне понять это, Вы, таким образом, ничем не рискуете, сказав мне об этом несколько более определенно, и по крайней мере позволив мне четко уяснить моим несчастным рассудком то, что, уверяю Вас, никоим образом не станет лучше от подобных манипуляций. Так скажите же, скажите, хотя бы раз в жизни

выскажитесь ясно! Я умоляю Вас это сделать, или Вы добьетесь того, что окончательно ввергнете меня в пучины отчаяния.

Следует ли мне упоминать Вам о том маленьком жалком воздушном замке, который я строю в своих мечтаниях? Увы! Я расскажу Вам о нем, пусть даже Вы станете надо мной потешаться; но что, по вашему мнению, мне остается делать здесь, кроме как строить планы и производить на свет фантазии?

Некто, вне всякого сомнения, хорошо осведомленный, кого я не стану называть, поскольку он не хочет подвергаться риску, одним словом, человек состоятельный и, к тому же, весьма любезный, рассказал мне, *что суд уже разобрался с моим делом в соответствии с мнением министра*. Таким образом, ясно, что они также пришли к общему мнению в отношении приговора. Раз так, то, когда суд вынес решение о трехлетнем запрещении на въезд в Марсель, по всей вероятности, это также было и тем наказанием, которое предполагал министр. И поэтому я сказал себе: мне суждено провести три года в оковах, но эти три года составят *самое большее полгода в тюрьме, а остальное — в ссылке в моем поместье*. У меня это не вызывало сомнений.

Теперь посудите сами, каким огромным ударом для меня было Ваше письмо, когда я его получил. Все время, пока я находился на свободе, я не мог предполагать иного, и этот трехлетний приговор был даже одной из тех вещей, которые более всего меня успокаивали, ибо, в самом деле, с того момента, когда министерство и суд пришли к обоюдному согласию, кто мог предполагать, что суд на три года запретит мне ступать ногой на землю Марселя, если только не подразумевалось, что в течение этих трех лет я могу иметь возможность туда поехать?

Именно в свете этой возможности, сказал я себе, суд и вынес свой приговор в таком виде. Соответственно, я буду свобо-

ден, ибо, если бы в их намерения входило держать меня под замком весь этот срок, в чем тогда смысл такого ограничения? Это было бы абсурдно, нелепо, невероятно. Раз суд знает, что король, заключив меня в тюрьму, полностью лишит меня возможности поехать в Марсель, почему тогда тот же суд запрещает мне туда ехать? Такая излишняя мера наказания — очевидная глупость. Для чего, поступая таким образом, портить приговор? Ибо одно только это вызывает в нем подозрения. И не служит никакой разумной цели. Когда человека запирают в комнате, не принято кричать ему через дверь: «*Сударь, я запрещаю Вам выходить отсюда*». Это было бы дурацкой шуткой, которую невозможно представить со стороны наших славных господ из Экса. И, тем не менее, если приказ короля состоит в том, чтобы ограничить мою свободу в течение трех лет таким образом, это именно то, что сделали судьи. Поэтому, когда я был свободен, ничто (а я говорил это и писал всем) не поддерживало во мне большую веру в то, что я останусь на свободе, чем этот приговор. И поэтому, как только меня арестовали, этот же самый приговор даже еще больше убедил меня, что мне не нужно будет проводить все три года в королевской темнице, поскольку суд вынес в своем приговоре тот же самый срок, и потому что, опять-таки, бессмысленно, чтобы последний наложил свои ограничения, видя, что первый уже это сделал. Это, я повторяю, дублирование наказаний, что совершенно недопустимо. Отсюда ясно следует: или меня нужно освободить без наложения ограничения прежде, чем закончатся три года, или же высокий суд Экса совершил ошибку. И исходя из этой посылки, я полагаю, что было вполне резонно предположить полгода тюрьмы и еще несколько месяцев ссылки или, в худшем случае, ссылку на остаток трехлетнего срока, как бы смехотворно это ни было.

Исходя из этого, можете, если Вам угодно, сами оценить тот чрезвычайный эффект, который оказали содержавшиеся в Вашем письме неожиданные намеки на два года за решеткой без учета ссылки. Вот почему я нахожусь в таком ужасном состоянии и почему прошу Вас, преклонив колено, чтобы Вы ясно мне обо всем сказали.

А вот небольшое письмецо для тех бедных маленьких созданий, которых я люблю больше, чем Вы можете поверить. Если бы мне суждено было завтра выйти на свободу, я бы все равно испытывал ужасную муку, что мне придется провести еще два года, не видя их. Едва ли я был готов к этому. Я был прав, когда весь прошлый год мечтал, что, когда я увижу их в следующий раз, они уже вырастут. Ах, Боже мой! Конечно, они меня не узнают. Вряд ли стоит иметь детей, если у тебя нет возможности насладиться их обществом; ибо сейчас как раз такой момент, когда они доставляют истинное наслаждение; позднее — ничего, кроме беспокойства.

Я со всей искренностью прошу Вас выразить Вашей матери и отцу мою искреннюю благодарность за те последние проявления доброты, которыми они одарили этих бедных детей. Я не могу Вам передать, насколько это одновременно радует меня и причиняет мне боль, ибо я нахожу, что мы подобны несчастным созданиям, которые, в присутствии тех, кто проявляет заботу об их детях, проливает слезы благодарности и в то же время слезы отчаяния оттого, что по превратности судьбы лишены своего собственного и не имеют возможности уделить им ту заботу, которую бы они хотели. Я не знаю, поразит ли Вас мое сравнение так же, как оно задевает меня, не знаю и того, как мне назвать те слезы, которые я пролил, когда пишу это.

Что Вы имели в виду, когда сказали, что наш старший сын имеет перспективы быть принятым на работу после этих двух

лет обучения? Но, мой дорогой друг, ведь тогда ему будет всего лишь тринадцать лет, а в тринадцать лет человеку место в академии. Даже если предположить, что кто-то его рекомендовал, разве он мог бы занять какую-либо должность, прежде чем закончит свое учение?

В должное время Вы мне это объясните. Пошлите своей матери тысячу моих лучших пожеланий, будьте так любезны. Пожалуйста, уверьте ее еще и еще раз в моей любви и уважении. Я не осмеливаюсь ей написать, поскольку она не читает мои письма, но посчитал бы огромной любезностью и великим утешением себе в моем несчастии, если бы Вы могли смягчить ее сердце и получить для меня позволение писать ей. Пусть она судит меня таким, каким я стал после моего возвращения сюда... но почему с таким опозданием? Потому что, увы! я узнал все лишь за два дня до моей злосчастной катастрофы. Но пусть она судит меня таким, каким я стал после возвращения сюда, и посмотрит, держу я свое слово или нет.

Я расстроен и изумлен известиями о том, что Милли Руссе еще не с Вами. Передайте ей мои самые нежные пожелания, когда она приедет, и любите ее хорошенько: она обладает чрезвычайно редким и драгоценным сердцем. Меня беспокоит, что она так медлит с приездом. Это порождает в моем разуме самые мрачные догадки,— не по поводу нее, Боже меня упаси, но в отношении моей горькой и печальной участи. О, как мне не хватает свежего воздуха! Я умираю от мигреней и меланхолии. Я весьма одобряю то, что Ла Ланжевен[41] сопровождает ваших детей, и также то, что она присматривает за малюткой[42]. Я не знаю, полюблю ли я ее, я имею в виду малютку, но она не трогает меня так, как двое других. Я ответил на все, что касается Гофриди и дела. Я забыл сказать, что Рипера необходи-

мо заставить возобновить аренду, и что в Пьедмарене необходимо посадить побольше винограда.

Я прилагаю поцелуй.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[8 февраля 1779 г.]

Вы опять страдаете от очаровательного приступа глухоты в отношении поручений, которые я попросил Вас выполнить. Это чрезвычайно мило, чрезвычайно умно, чрезвычайно любезно. Единственная неприятность заключается в том, что все это становится чрезмерно однообразным. Этот прелестный знак повторяется слишком часто. Таким образом, он перестал быть естественным, каким Вы хотели бы его представить. Все показное перестает быть естественным, и помните, как важно придать знаку естественность. Ибо если бы я имел несчастие осмелиться сделать предположение на основании такого знака, если бы по неудачной случайности знак показался бы мне бессмысленным, и, если бы он не казался совершенно невинным, что столь важно для всего, что мы называем знаками, что бы тогда у нас получилось? Все было бы потеряно, воцарилось бы смятение, ударила бы молния, г-жа президентша перестала бы гадить. И вот, пожалуй, что доставляет мне наибольшую радость: та неловкость, с которой Вы все — все, ибо все Вы — животные, делающие знаки,— изо всех сил стараетесь выглядеть естественными: мол, ничто никогда не делается нарочно; все порождает случайность; и Вы даже не представляете, как я могу усмотреть какую-то фальшь. Вот типичная точка зрения

заключенных: они на все смотрят подобным образом. И этими, и другими похожими ремарками они пытаются замаскировать только что состряпанный знак. Но еще раз скажу Вам, мои почтенные делатели знаков, неужели Вы в самом деле не знаете, что ложь и естественность — это как масло и вода, и чем больше человек стремится придать последнему вид первого, тем более неуклюжим и смешным он выглядит? Но Вы конечно же этого не знаете, и, вне сомнения, есть еще много вещей, которых Вы также не знаете.

Ибо делатель знаков должен быть по самой своей природе исключительно безграмотным, исключительно невежественным, как можно более тупым, чрезвычайно глупым, чрезвычайно неуклюжим, чрезвычайно педантичным, чрезвычайно идиотским и полным занудой.

К счастью, у меня сохранился еще список тех поручений, выполнение которых Вы были так любезны постоянно откладывать на протяжении почти шести недель. Поэтому я Вам его вышлю, но если я это сделаю, то у меня его не останется. Если Вы и на этот раз не сможете обеспечить их выполнение, я не смогу вспомнить, в чем они заключались.

Посему скажите этому мошеннику, который щелкает пером, этому никчемному болвану, что ему, черт подери, следует не забывать, что, когда он чистил сапоги перед полицейским участком, он получал лишь два гроша за плохо сделанную работу. По поводу того же, напомните ему, что президентша, к которой, говорят, он приходит каждую неделю, чтобы выпить свою утреннюю чашку шоколада в ногах ее кровати, не станет ему платить или оказывать ему свои обширные услуги, если он так плохо делает свое дело. Ибо обязанность его заключается в том, чтобы стирать плохое и передавать Вам хорошее: отсюда следует, что ни в коем случае не нужно мешать тому, чтобы

к Вам попадали списки поручений: ибо в списке поручений я не говорю, что Ружемон[43] — засранец, что президентша — блядь, что С[артин][44] — сын альгвазила мадридской инквизиции[45], что Буше — лизоблюд, а Альбаре — педераст. Нет, ничего из этого я не напишу в списках своих поручений! Я буду писать это только в своих письмах. Получается, что вымарывать следует только мои письма, а списки — оставить нетронутыми.

Будьте любезны проследить, чтобы прилагаемый счет был оплачен немедленно и меня не заставляли унижаться для того, чтобы получить вещи, которые мне нужны; что всегда и случается, пока Вы не оплатите счет.

Также будьте любезны прислать мне те пьесы, о которых я уже просил, особенно *«Непоследовательного»* и *«Оперу»* Петрарки[46]. Я имею честь дать Вам мое самое настоящее слово, что все пьесы, которые я у Вас попросил, совершенно точно имеются в продаже. Я смею надеяться, что на ваших филейных частях нет ничего настолько же хорошо отпечатавшегося, как эти тексты — на бумаге.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[17 февраля 1779 г.]

Отвечаю Вам со своей обычной регулярностью, мой дорогой друг, ибо для Вас нет ничего легче, чем пересчитать мои письма и увидеть, отсутствует ли какое-либо из них; но следует Вам пересчитать лишь собственные.

Несомненно, может случиться так, что я не смогу написать Вам, и тогда, из страха встревожить Вас, зная, как Вы относитесь ко мне, я так хорошо постараюсь, что Вы этого даже не заметите. Но, прошу Вас, скажите мне все-таки, что Вы имеете в виду, когда постоянно повторяете: «*Если Вы не сможете писать мне, пусть напишут вместо Вас*»? Вне сомнения, Вы думаете, что у меня тут множество секретарей, готовых явиться по первому моему зову: увы, мне далеко до такой роскоши, когда едва удовлетворяются мои самые элементарные нужды! Человек, всегда в большой спешке, появляется в моей комнате четыре раза в день: первый раз — на рассвете, чтобы спросить меня, *хорошо ли я спал ночью* (видите, насколько они внимательны); в остальные разы — для того чтобы принести мне еду и проч. В общей сложности семь полных минут — это точная продолжительность времени, которое он проводит со мной в течение этих четырех посещений; и потом все заканчивается. *Умирай, если хочешь, от скуки и разбитого сердца; это нас нисколько не волнует.*

О чем, в конце концов, Вы думали — секретари по первому зову! Когда человека ввергли в такое состояние, в каком я нахожусь! Но Вы, возможно, возразите, что не говорили мне подобных вещей в прошлом... Да, может быть, и не говорили, но, по правде говоря, раньше они лучше обо мне заботились, чем сейчас; в прошлом мне чаще разрешали гулять; мне никогда не приходилось есть в одиночестве; меня содержали в хорошем помещении, где у меня горел прекрасный огонь... А в настоящее время никто не составляет мне компании, когда я ем; гораздо меньше прогулок; и поместили меня в самой сырой камере в тюрьме (ибо именно из-за этой влажности происходят все мои головные боли). И, в качестве еще одного удовольствия, невоз-

можность получить какое-либо тепло: ибо в нынешних условиях за всю зиму я еще ни разу не разжигал огонь, и в данный момент могу с уверенностью сказать, что и не разожгу.

Вот какие у меня дела, мой дорогой друг. Но теперь я им больше не нужен: мое дело закрыто. Если я умру, тем лучше: меньше заботы... И я вполне убежден в том, что, когда все будет сказано и сделано, они предпочтут поскорее от меня избавиться. И Вы не понимаете, что в такой ситуации человек настоятельно просит, чтобы его освободили или, самое малое, сказали, сколько его еще здесь продержат? Нужно быть врагом самому себе, чтобы не сосредоточиться на этой единственной мысли, быть таким же врагом себе, как мои собственные враги, и те, кто держат меня здесь, и те, кто отказываются даровать мне то единственное утешение, о котором я прошу... Вы собираетесь мне сказать, что просто не знаете! Если не знаете, то почему же Вы пытаетесь намекнуть на это? Не произносите такой лжи, Бога ради! Не повторяйте мне этих слов — от них у меня закипает кровь.

Я докажу Вам, не оставляя ни тени сомнения, что Вы еще 14 февраля 1777 года знали, что я должен буду предстать перед своими судьями 14 июня 1778 года. Так вот, если Вы были так уверены в том, когда должна закончиться первая часть моего заточения, как Вы собираетесь убедить меня, что не знаете длительность второй? Но что я говорю?.. Увы! Вы не отказываетесь сказать мне, какова она, и, собственно, Вы действительно говорите мне так же твердо и недвусмысленно, как Вы намекнули мне на шестнадцать месяцев своим числом 22. Может ли быть что-либо на свете яснее, чем дата: *суббота, 22 февраля, уже № 3*? После этого сомневаться, что дата моего освобождения может быть иной, кроме 22 февраля 1780 года, безус-

ловно, означало бы мучиться весьма роковой иллюзией. Но, опасаясь, что я не буду достаточно убежден, Вы были так добры что почти сразу после этого послали мне на подпись три незаполненных бланка, заверив меня, что эти документы будут действовать *в течение трех лет*. И сегодня, снова прибегнув к этому милому знаку, сегодня, в тот день, когда исполнилось ровно два года и остается ровно один, Вы снова требуете, чтобы я подписал еще одну *доверенность!* Неужели Вы заставили бы меня усомниться после такого очевидного знака? Нет, нет, нет, я ни на минуту не сомневаюсь в том, что мне предстоит вынести здесь еще один злосчастный год. Для Вас не имеет смысла повторять это еще и еще раз; я понял, умоляю, не напоминайте мне снова об этом ужасном воспоминании.

Но вот что я нахожу возмутительным и никогда не прощу тем, кто это делает, так это попытки развеять мою уверенность, вместо того чтобы ее поддержать. Когда, с самого начала, Вы так ясно дали понять, что речь идет о трех годах, почему, когда я ссылался на них, мне отвечали: *Что за фантазия! Три года — это невозможно! Самое большее — три месяца...*

Вот что мерзко, вот что отвратительно, и вот что является причиной всей горечи и всего несчастия моего положения. Разве не было бы бесконечно более гуманно оставить мне эту иллюзию, поскольку она не была такой уж несбыточной мечтой, вместо того чтобы разрушать ее каждый день, тем самым заставив меня взлелеять надежду, которая родилась во мне, расцвела во мне, просто ради того, чтобы насладиться несчастьем, которое я вынужден был испытывать, глядя, как ее разрушают? Повторяю, эти методы отвратительны; они лишены как гуманности, так и здравого смысла, и только лишь несут на себе печать идиотской свирепости, подобно той, которой наделены львы и тигры.

И когда, более чем когда-либо укрепленный в той весьма реальной мысли, что мне все еще остается вынести один год, я говорю об этом в своих письмах,— постоянно возвращаясь к той же самой старой песне, Вы, господа, имеете наглость, низость, писать мне по поводу двенадцати банок варенья, которые я попросил в декабре: *Двенадцать банок варенья! Святые небеса! Что, ради Бога, Вы собираетесь со всем этим делать? не намереваетесь ли Вы устроить вечеринку с танцами? В любом случае, это не составит особого труда, если что-то еще осталось.*

Короче говоря, такова была и есть работа моих палачей, ибо каким еще другим словом я могу назвать тех, от кого я получаю самые яростные удары кинжалом? Как только Вы мне сказали *три года*, как только я соответственно настроился на эту мысль, что заставило Вас уничтожить мою иллюзию? Для чего намекать на мое грядущее освобождение, если это не так? И для чего, наконец, Вам взбрело на ум поманить меня призраком надежды только для того, чтобы в следующее мгновение отнять ее у меня?

Именно эту бесчестную игру я осуждаю; и те, кто, играя в нее, служат инструментом мести других, выполняют чрезвычайно подлую и презренную роль, я мог бы добавить: чрезвычайно варварскую роль, ибо что я сделал этим людям? Одному — ничего: прежде я никогда в жизни его не видел; второму — ничего, кроме любезностей и честных поступков... Ладно, на данный момент я услышал довольно; они могут точить свои стрелы для следующего года, я заявляю им, что, пусть они говорят и пишут до умопомрачения, я уже достаточно привык к их омерзительной лжи и не поверю, что мне суждено выйти отсюда хоть на минуту раньше 22-го февраля 1780 года.

Давайте оставим эту тему.

Впрочем, в вашем письме содержится одна фраза, которая могла бы заставить меня предположить гораздо более страшную участь. Вот эта фраза: «*Ничто не подтверждает, что даты освобождения, которые я указала Вам на основании моих предположений, являются ошибочными*». Но единственная дата, которую Вы указали,— это 22 февраля 1780 года. Я клятвенно заявляю, что не смог ни увидеть, ни вычислить какой-либо другой даты из ваших писем. И тем не менее, в следующей же фразе Вы говорите: «*На это Вы ответите: но почему, когда я был в Ла-Косте, Вы передали мне такую-то информацию? Ответ заключается в том, что я была введена в заблуждение*». Но то, что Вы передавали мне в Ла-Косте, заключалось в том, что Вам сказали, что, как только меня осудят, мне нужно будет отсидеть три года или один год плюс ссылка. Теперь Вы говорите, как Вы сожалеете, что вообще мне об этом сказали.

Таким образом, дело обстоит еще хуже, поскольку человек не испытывает сожаление по поводу того, что в начале был излишне пессимистичен: тогда у Вас есть для него приятный сюрприз; Вы не должны перед ним извиняться за то, что таким образом ввели его в заблуждение... И тем не менее, Вы передо мной извиняетесь. Следовательно, истина еще хуже; и, если она хуже, тогда я все еще здорово ошибаюсь, полагая, что меня освободят 22 февраля 1780 года! Я был бы бесконечно признателен, если бы Вы могли объяснить мне эту фразу, поскольку она продолжает меня беспокоить и жестоко мучить.

Скажите, умоляю, Вы иногда спрашиваете этих бесчестных негодяев, этих отвратительных плутов, которые испытывают такое удовольствие, заставляя меня плясать на раскаленных уг-

лях, отказываясь сообщить мне дату моего освобождения, Вы иногда спрашиваете их, чего они надеются добиться таким поведением? Я уже тысячу раз говорил и писал, что вместо того, чтобы получить от этого выгоду, можно только потерять; что вместо того, чтобы сделать мне добро, они делают мне величайшее зло; что мой характер не из тех, что можно контролировать подобным образом; что, делая это, они лишают меня как способности, так и желания обдумывать и затем извлекать из своего положения какую-то пользу.

Я добавляю и удостоверяю сегодня, в конце двух лет, проведенных в этом ужасном положении, что я чувствую себя в тысячу раз хуже, чем когда я прибыл сюда, что мое настроение стало угрюмым, я более ожесточен, моя кровь кипит в тысячу крат сильнее, мозг стал в тысячу крат хуже,— одним словом, в тот день, когда я выйду отсюда, мне придется поселиться в дикой местности, настолько невозможно для меня жить среди человеческих существ!

И, ради Бога, чего бы стоило мне сказать, что это благотворно на меня действует, если бы это действительно было так? Увы, господа аптекари, теперь, когда за ваши снадобья заплачено и приняты две трети их, почему бы мне не признать их действенность, если бы она у них была? Но, поверьте мне, единственный их эффект заключается в том, чтобы свести меня с ума, и вы отравители, а не врачи или, скорее, мерзавцы, которых бы следовало колесовать, чтобы вы заплатили за то, что держите невинного человека в тюрьме просто лишь для того, чтобы удовлетворить вашу мстительность, вашу алчность и гадкие мелкие личные интересы. И я еще должен молча со всем этим примириться? Пусть я тысячу раз паду замертво, если я это когда-либо сделаю!

Другие же были уже жертвами их обмана, говорите Вы мне, и не обмолвились об этом ни словом... Они животные, идиоты; если бы они раскрыли рот, если бы они разоблачили все ужасы, все подлые дела, жертвою которых они стали, монарх узнал бы об этом; он справедлив, и он не потерпел бы этого; и именно из их молчания проистекает безнаказанность этих плутов. Но я расскажу правду, я раскрою людям глаза, даже если мне придется броситься к ногам короля, чтобы попросить должную компенсацию за все, что меня несправедливо заставили выстрадать.

О, Вам не нужно отговаривать меня от попыток извлечь смысл из цифр и от анализа ваших писем! Я даю Вам слово чести, что я этого более не делаю. Я делал это, к несчастью для себя, ибо думал, что сойду от этого с ума; но пусть меня выпотрошат и четвертуют, если я сделаю это снова. Вы глухи к числу 22... Вопрос, который я Вам задал, был достаточно прост, но Вы не смогли дать мне удовлетворительный ответ; давайте не будем больше об этом говорить. Однако же помните, что я никогда не забуду вашей безжалостности...

Ах! если бы Вы обладали хорошей памятью, Вы бы вспомнили, приводила ли в прошлом к какому-либо успеху вся эта забота о моем характере. Различие между тем, чем я был в Ла-Косте после тех замечательно остроумных и шумных сцен, которые там происходили, и чем я был до того, когда меня оставили в покое... Это должно дать Вам некоторое представление о том, хорошо ли это для меня. Я не хочу упоминать ни о чем, кроме того, что Вы сами неоднократно говорили мне по этому вопросу. Если г-жа Руссе не способна сказать то, чего она не знает, тогда пусть ничего не говорит: это все, что я могу сказать; она поймет. Если она намеревается дуться, тем хуже

для нее; она показывает мне с полной ясностью, что такое старинные друзья и проч.

Можно, наконец, сказать человеку, кто женился на г-же д'Эври[47]? Г-жа де Лоне[48], говорите Вы, незамужем, и *я не поеду на ее свадьбу*. Следовательно, она вот-вот выйдет замуж, раз Вы готовитесь не поехать на ее свадьбу? Соответственно, Маре не так уж мне врал, как Вы утверждаете. Но, приведу лишь один пример: он все-таки соврал мне, когда сказал, что я должен провести здесь только полгода. И за это я считаю его отвратительным мошенником, потому что он прекрасно знал, что это неправда, и потому что возмутительно, когда человека вводят в заблуждение таким образом; это значит подготовить человека к моменту глубочайшего отчаяния, которое наступает, когда он видит, что его надежда превращается в дым.— Мне нечего сказать о доверенности. Это знак. Он выполнил свое предназначение; сказано достаточно. Разве Вы не получили деньги из Прованса? Распорядитесь, чтобы их выслали, если они Вам нужны; но подписывать я ничего не буду.

Единственное мое утешение здесь — Петрарка. Я читаю его с наслаждением, с несравненным восторгом. Но я читаю его так, как г-жа де Севинье читала письма своей дочери: я *читаю медленно, из страха прочитать его до конца*[49]. Как хорошо написана эта вещь!.. Я влюблен в Лауру[50] до безумия; с ней я как ребенок; я читаю о ней весь день напролет, ночью я вижу о ней сны. Послушайте тот сон, который приснился мне прошлой ночью, когда весь мир веселился и танцевал.

Это было около полуночи. Я только что заснул, ее мемуары лежали рядом со мной. Неожиданно она предстала передо мной... Я увидел ее! Ужасы могилы ничуть не испортили блеск ее красоты, и весь тот огонь, который воспевал Петрарка, все

еще горел в ее глазах. Она была полностью укутана в черный траурный креп, на который ниспадали ее прекрасные белокурые волосы. Казалось, что любовь, чтобы сделать ее еще более прекрасной, хотела смягчить скорбное одеяние, в котором она явилась моему взору. «Почему Вы страдаете на земле? — спросила она меня.— Присоединяйтесь ко мне. Никаких более страданий, войн, горя, никаких больше хлопот в том бесконечном пространстве, в котором я обитаю. Найдите в себе мужество и последуйте за мной». Услышав это, я бросился к ее стопам, я сказал ей: «О, мать моя!..» И рыдания стиснули мое горло. Она протянула мне руку, я покрыл ее своими слезами; она тоже рыдала. «Я имела обыкновение смотреть в будущее,— сказала она,— когда жила в том мире, который Вы ненавидите. Я видела те поколения, которые произойдут от меня, а потом дошла до Вас и не увидела таким несчастным». И затем, охваченный отчаянием и нежностью, я бросился к ней на шею, или для того, чтобы удержать ее, или чтобы последовать за ней и оросить своими слезами; но призрак исчез. Осталась лишь моя скорбь.

O voie che travagliate, ecco il camino
Venite a me se'l passo altri no serra.

Петрарка, сонет LXXI[51]

Спокойной ночи, дорогой друг, я люблю Вас и целую от всего сердца. Все-таки проявите ко мне немного больше сострадания, умоляю Вас, ибо уверяю Вас, что я более несчастен, чем Вы думаете. Подумайте обо всем, что я испытываю, а состояние моей души так же черно, как и мое воображение. Во мне

есть даже люди, которые не имеют ко мне никакого отношения, потому что все, что я ненавижу в них, это их недостатки.

Сего 17-го дня февраля, по завершении двух лет ужасной неволи.

À monsieur de Rougemont

Г-ну де Ружемону
[14 марта 1779 г.]

Именно Вам, сударь, я беру на себя смелость адресовать записку, включенную в прилагаемое письмо, с просьбой, чтобы Вы сразу передали ее моей жене через г-на Ленуара. Если бы оказалось, что указания, которые я даю здесь относительно моих дел, не выполнены из-за того, что их скрыли, я был бы вынужден возложить ответственность на Вас; и Вам, сударь, нет нужды брать на себя вину за хаос, который проистекал бы из того, что Вы не обеспечили их передачу и выполнение. Я смею надеяться, что у Вас не вызовет неудовольствие то, что я позволил себе использовать Вас в качестве свидетеля. Вы должны понимать, сударь, что здесь у меня нет никого, кроме Вас. Если же, однако, Вы посчитаете это неподобающим, Вы можете, сударь, вернуть мне записку, и в этом случае будьте добры послать ко мне нотариуса, чтобы я мог более законным образом изложить свои намерения. Мой поступок — это попытка избежать этого осложнения, в надежде, что Вы согласитесь свидетельствовать в этом деле, если когда-либо мне придется обратиться к Вам, что было бы так же хорошо, и даже лучше, чем любой публичный акт.

Имею честь быть, со всеми возможными заверениями, сударь, вашим самым покорным и самым послушным слугой.

Не были бы Вы так любезны послать мне, как обычно, некоторое количество писчей бумаги?

Заявление, прилагаемое к предыдущей записке

Я, нижеподписавшийся, настоящим заявляю, что не буду ни обсуждать, ни решать какие-либо деловые вопросы до тех пор, пока буду оставаться в заключении; и к этому я добавляю мое самое подлинное слово чести систематически отменять и расторгать все договоры, аренды, контракты, соглашения и проч., заключенные, совершенные или составленные в течение указанного заключения, независимо от того, совершены ли эти дела моей женой или адвокатом Гофриди, никто из которых не уполномочен мною совершать что-либо.

Я далее удостоверяю данной запиской, что если кто-либо из управляющих моими делами, или арендаторы или фермеры и проч. распоряжались моими денежными средствами с четырнадцатого июля тысяча семьсот семьдесят восьмого года, дня, когда я был восстановлен во владении того, что принадлежит мне по праву, я заставлю их заплатить вдвойне.

Я выражаю желание и намерение, чтобы настоящая записка, копию которой я оставляю себе, имела такую же силу, как если бы она была составлена в присутствии нотариуса, в удостоверение чего я беру свидетелем г-на де Ружемона, начальника означенной тюрьмы, поскольку он единственное лицо, которое я здесь вижу, имея все намерения упомянуть его в качестве такового, если желания, указанные мною в настоящей записке, останутся невыполненными.

Составлено и подписано в Венсенне сего четырнадцатого марта тысяча семьсот семьдесят девятого года.

Де Сад

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

[21 марта 1779 г.]

Моя дорогая Святая, пришел и ушел Новый год, а Вы так и не приехали меня навестить. Я тщетно ждал Вас целый день; я вырядился в пух и в прах, я наложил пудру и помаду, тщательно выбрился, на мне были не обычные подбитые мехом сапоги, но пара тонких чулок из зеленого шелка, красные бриджи, желтый жилет и черная куртка с красивой шляпой, отделанной серебром. Одним словом, я был весьма элегантным господином. Банки с вареньем выстроились в боевом порядке. Я также сделал приготовления к небольшому концерту: три барабана, четыре литавры, восемнадцать труб и сорок два охотничьих рожка; и все они были готовы для исполнения прелестного маленького романса, который я для Вас сочинил. Ваши уши, ваши глаза, ваше сердце получили бы истинное удовольствие от того небольшого вечера, который я решил для Вас устроить. Но все зря; я совершенно напрасно наряжался! Отложим это на следующий год; но не поступайте так со мной снова: заставить меня пускать слюнки, а потом оставить меня ни с чем,— ибо все эти приготовления обошлись мне недешево.

Самая дорогая и самая милая Святая, я не стану заполнять ваши пустые столбцы, и только по той очень простой причине, что тогда мне пришлось бы отослать ваше письмо обратно, а оно слишком прелестно, чтобы лишиться его. Вы похожи на человека, который хотел всю Францию превратить в морские порты, потому что морские порты прибыльны. Оттого, что мне нравятся столбцы, Вы хотите все превратить в столбцы! Но не делайте этого, или в конце концов у меня не окажется ни одного вашего письма, а они приносят мне слишком большое удовольствие, чтобы я хотел с ними расстаться. В ваших письмах отдельная страница разделена на множество колонок, в которых Вы можете записывать всякие забавные глупости или различные дела: что сейчас для меня синонимично. Ибо, как Вам хорошо известно, когда ко мне приходят сюда с разговорами о делах, то это чистая буффонада, подобная той, когда Санчо Пансе на его острове все говорят, что ожидают его распоряжений.

Это маленькое притворство, в котором Вы, да будет сказано без малейшей неприязни, с удовольствием участвуете, как и во всем остальном. Вы подобрали тон, в котором нужно *лгать мне*, поскольку узнали, что выставлять меня на потеху — это общепринятая норма; они убедили Вас в том, что Вы тоже должны это делать, что нет ничего лучшего и, особенно, ничего более подходящего для того, чтобы вызвать во мне радикальные изменения, чем это. И поэтому Вы также это делаете...

Да, Святая Руссе, Вы это делаете! И когда мы встретимся лицом к лицу, я заставлю Вас признать, что Вы написали мне *ряд вещей* относительно моего положения, *которых писать не следовало*. На что Вы ответите: не означает ли это, что Вы хотите, чтобы все было подслащено? Конечно, нет, Святая Рус-

се, это совсем не то, что я хочу. Я хочу, чтобы люди говорили мне правду: это единственное одолжение, о котором я прошу... Но, скажете Вы, люди не могут... Очень хорошо, тогда, если они не могут мне сказать правду, они должны, по крайней мере, прекратить вводить меня в заблуждение, заставляя меня думать, что меня ожидает долгое заточение, ибо намекать на это, не говоря точно, сколько оно будет продолжаться,— что, возможно, побудило бы мой разум вообразить гораздо больше, чем следовало,— означало бы ввергнуть меня в состояние крайнего отчаяния. В таком случае, лучше ничего не говорить или же говорить прямо, что гораздо проще.

В другом письме с колонками, на которое я сегодня отвечаю, Вы сразу же переходите на другой тон и говорите: «*Двенадцать банок варенья — это много; в любом случае, не беда, если что-то осталось*». Это одно из тех противоречий, которые для меня невыносимы, а я считал Вас слишком близким другом, чтобы прибегать к такому нелепому языку, по поводу которого я Вам так горько жаловался. Среди всего этого имеется еще одна глупость, та, от которой г-жа де Сад явно начинает отказываться, но за которую Вы еще цепляетесь и которую, я надеюсь, Вы также скоро оставите: это попытка заставить меня поверить в то, *что все усиленно трудятся, пишут письма, ходатайствуют, все еще ждут ответов, что дяди, тети, сам дьявол...*

О нет, святая и священнейшая Руссе, больше ни слова об этом! Будьте так добры напеть какую-нибудь другую мелодию, если Вы хотите, чтобы я Вас слушал. Такие вещи годятся для обычных заключенных; это то, что называется *не давать им грустить*. Но меня развлекать не нужно. Мой срок установлен; день, час и мгновение установлены бесповоротно, и ника-

кой дядя, тетя или сама Святая Руссе не способны ни увеличить его, ни уменьшить ни на одну минуту. Я прошу только, чтобы мне сказали *сколько*; это мое единственное желание. Они отказываются сказать мне, они держат меня в состоянии неизвестности. Браво! Но, по крайней мере, пусть не думают, что они *меня развлекают*, или что дают мне пищу для размышлений, или, что с помощью такой тактики улучшают мое благополучие; потому что, напротив, все, что они делают,— это раздражают мой разум, портят мой характер и лишают меня душевного равновесия, до такой степени, что злосчастные результаты такого отношения будут отражаться на мне до конца жизни. Это все, чего они добьются, можете не сомневаться. И если бы, вместо этого, я знал длительность моего срока, я бы направил свои усилия на хорошие вещи, потому что у меня не было бы нужды в ярких отвлечениях; у меня были бы лучшие и более серьезные размышления, и, в конце концов, я был бы благодарен тем, кто, таким образом, предоставил мне возможность сосредоточить свои мысли. Вместо этого, совершенно расстроив их так, как они это делают, отказываясь сказать мне единственную вещь, которую я хочу знать, и единственную, которая способна принести мне душевное спокойствие, они лишь заставляют меня проклинать их и ненавидеть, пока я жив, потому что я чувствую, насколько меня разрушает и уничтожает здесь ужасное беспокойство.

Кроме того, моя дорогая Святая, если бы только Вы знали, как ваше сердце мстит мне за те мелкие обиды, которые придумывает Ваш рассудок! Как Вы, которая пишет как ангел, становитесь неуклюжей и скованной, когда Ваш разум заставляет Вас *играть на словах, на цифрах, на знаках* и всяких других глупостях, которыми так щедро наделили Вас кармелитки! Ес-

ли бы, повторяю, Вы только знали, как Вы неуклюжи, Вы бы посмеялись над собой и я полюбил бы Вас в четыре раза крепче. Эй! Перестаньте! Вернитесь к изречению Вольтера в «*Заире*», которое он написал бы исключительно для Вас, если бы только был с Вами знаком:

Самое невинное искусство происходит из вероломства: пусть оно никогда не запятнает священный узел, который нас связывает.

Вот, я облегчил свое сердце и теперь сменю тему. Вы убеждаете меня быть благоразумным, Святая Руссе! Но разве это тот язык, который Вы понимаете? Он создан не для женщин. Этот очаровательный пол, который заставляет забыть о благоразумии, не должен уметь ни понимать его, ни говорить о нем. И более того, как, по-вашему, может взять верх благоразумие в том, с кем обращаются так, словно у него его вовсе нет?

Следует ли мне упоминать, что острые края щипцов для снятия нагара, которые послала мне г-жа де Сад, были весьма тщательно спилены, из опасения, что я воспользуюсь ими, чтобы убить себя? Вы можете видеть, что мне еще долго до окончания моих несчастий и что они предвидят, что у меня впереди еще множество поводов для отчаяния, раз уж предпринимают такие меры, чтобы скрыть от меня все, что могло бы сделать их воздействие смертельным! Вовсе не так следует обращаться с человеком, для которого двенадцать банок варенья — слишком много; это тот самый метод, который они использовали с Дамьеном[52] и другими знаменитыми негодяями, которых они предпочитают держать живыми, или для того, чтобы вытянуть из них дополнительные сведения, или, чтобы держать их в состоянии

отчаяния, которому они не могут не уступить, и таким образом их медленная агония используется в качестве примера для остального общества. И Вы хотите, чтобы я успокоился! Чтобы я еще над чем-то раздумывал, когда они прибегают к таким методам!

Вы знаете, что я думаю? Что первого человека, которому когда-либо взбрело в голову указывать своим собратьям, следовало бы колесовать заживо. И когда я вижу, что люди, такие же ограниченные, как и я, берутся за то, чтобы наставить меня на верный путь, вмешиваются в вопрос определения того, что для меня должно быть хорошо, а что — нет, у меня возникает чувство, что я нахожусь в самом сердце республики ослов, где всякий стремится предложить свой совет и где все в конце концов начинают пастись на одном лугу!

О человек, как мелок ты и тщеславен! У тебя едва хватает времени, чтобы погреться на солнце, ты едва прикоснулся к загадкам вселенной, а ты уже не придумал ничего лучшего, чем направить свои силы на то, чтобы жестоко изводить своего собрата! И откуда ты взял, что у тебя есть такое право? Тебе подсказала это твоя гордыня? Но на чем она основана, эта гордыня? Разве у тебя больше глаз, больше рук, больше других органов, чем у меня? Жалкий червь, которому осталось ползать всего несколько часов, так же как и мне, наслаждайся своей долей и оставь меня в покое. Смири свою гордыню, порожденную ничем иным, как лишь твоей глупостью; и, если случай поставил тебя, от рождения или *по воле обстоятельств*, выше меня, другими словами, если ты пасешься на несколько лучшем участке, извлеки из этого выгоду, чтобы облегчить мою участь.

Святая Руссе, если среди всех пород животных, которых мы знаем здесь на земле, была бы такая, представители которой строили бы для себя тюрьмы, а затем обоюдно обрекали

друг друга на эту славную пытку, не уничтожили ли бы мы ее как вид слишком жестокий, чтобы позволить ему существовать в этом мире?..

Я не верю, что существуют или существовали когда-либо в природе извращения, подобные этим тюрьмам. Прежде всего, *lettre de cachet* противоречит конституции государства и является признанным нарушением как закона, так и человеческой природы. Первоначально тюрьма была местом содержания под стражей, где преступника держали перед тем, как его казнить. Позднее, под влиянием некоего тиранического принципа, кому-то пришла в голову ужасная мысль заставить несчастного страдать еще больше, оставив его гнить в тюрьме, вместо того чтобы казнить.

Однажды императора Тиберия попросили предать суду беднягу, который томился в тюрьме в течение долгого времени. «*Я бы очень сожалел об этом*»,— ответил тиран.— «*Как это?*» — «*Как же, он ведь был бы приговорен к смерти, а я бы больше не имел удовольствия знать, что он страдает*». Этот Тиберий, как Вам известно, был чудовищем. Тогда как же случилось, что мы, такие тихие и кроткие, такие цивилизованные, такие милые, мы, которые живем в золотой век, так же свирепы, как этот Тиберий. Если я заслужил смерти, то пусть так и будет; я вполне готов к ней; если нет — пусть они перестанут сводить меня с ума в четырех стенах, причем с единственной целью удовлетворить мстительность двух-трех бездельников, которые заслуживали бы сотни ударов прутом... и кое-чего еще, о чем я не осмеливаюсь сказать прямо (разве не так звучит ваша песенка?).

Тюрьма... тюрьма... ничего, кроме тюрьмы!.. Это все, что они знают во Франции. Вот перед Вами мягкий, приличный че-

ловек; он совершил одну несчастную ошибку, которую его враги раздули до чудовищных размеров, для того чтобы его погубить. И тюрьма! Но, тупицы Вы этакие, когда же Вы наконец уясните, что в характерах людской расы столько же различий, сколько существует лиц? Что существует столько же нравственных различий, сколько и физических? Что то, что подходит одному человеку, не подходит другому? И тем более, что то, что может излечить одного, может стать гибельным для другого, и что с вашей тюрьмой на каждом шагу Вы напоминаете Криспина, играющего доктора, который прописывает одни и те же пилюли при всех болезнях?

«Но чтобы поступать так, как предлагаете Вы,— последует ответ,— нужно что-то знать о человеческих существах. Вы думаете, что мы подобны врачам, и что нам больше нечего делать, чем изучать ваши индивидуальные нужды? Эй! Поистине, какое нам дело до того, подходит это Вам или нет? То, что непригодно для одного, прекрасно для других. Вы когда-нибудь думали о том, что было бы с несчастными могильными червями, если бы не было трупов? Изучать Вас!.. Господи, стоит в это поверить — и поверишь во что угодно! А наши удовольствия? А наши театры, наши представления? Молодые дамы, которых мы содержим? Наши жены, запертые под замком? А наши с Вами дела, те маленькие секреты, которые мы прячем в рукавах?.. Что стало бы со всем этим, если бы нам пришлось сосредоточиться на изучении человека и избавиться от тюрем? Полноте, полноте, уважаемый сударь, все замечательно и так! И кроме того, самое лучшее основание из всех — оставить все так, как есть, заключается в том, что таково положение вещей уже в течение очень долгого времени».— Ага! Вы сказали это, господа! Вы сказали это, и вот почему: те, кто не связан никакими другими

законами, кроме кодекса Юстиниана, должны рассуждать, как Тиберий[53]!

Что ж, Святая Руссе, Вы видите, что получается, когда меня заставляют обратиться к разуму: он несколько резковат, мой разум, не так ли?.. Но чего Вы ожидали? Это *fructus belli*[54]... Но давайте *бросим беглый взгляд* на письмо с колонками: позвольте мне попытаться ответить на него, если у меня получится.

Расскажите мне, что это означает: «*Ваш разум, давайте не будем о нем говорить, Вы не всегда находите ему хорошее применение*»? Я требую, чтобы Вы сказали мне, что это значит, в противном случае я предвижу неприятности.

Вы говорите мне, что я слушал Вас в течение более чем двух полных часов, когда Вы мне говорили здравые вещи. Правда, и я Вас слушал, даже с величайшим удовольствием. Но тогда я был свободен, я был человеком, а в настоящее время я животное в Венсеннском зверинце. На этой стадии я просто не способен говорить здраво; вскоре, полагаю, я дойду до такого момента, когда полностью потеряю эту способность.

Эта лежанка, на которой я сплю, однажды расскажет мне довольно много интересного! Я не совсем уверен, что именно она расскажет, но зато знаю, что, когда я в следующий раз прилягу на нее, меня наверняка охватят весьма грешные мысли. Если бы в один прекрасный вечер Вы пришли сюда и, забираясь под одеяло, обнаружили там меня — а? что Вы говорите, Святая Руссе?.. Вы бы чрезвычайно удивились!.. Вы бы пустились наутек?.. Пустились бы, верно? Что ж, тогда посмотрите на разницу между нами: я заявляю, что, если бы наткнулся на Вас в своей постели, я бы скользнул под одеяло, как будто ничего не случилось. Вы, женщины, неважные философы; Вас всегда пугает *природа*.

Вы хотели бы стать частью нашего зверинца? Нет, Святая Руссе, нет, Вы слишком стары для этого: чтобы находиться в этой группе, нужно, чтобы Вам было между десятью и пятнадцатью. Мне, в том виде, в котором Вы меня видите, всего лишь одиннадцать; и потому я чувствую себя здесь вполне неплохо.— Кстати, скажите мне теперь самую чистую правду... Вы знакомы с моей комнатой (ибо, говоря о ней как о квартире, Вы делаете ей слишком много чести) так, словно на самом деле ее видели: Вы признаете, что ежедневно ее посещаете и что Вы и есть та волшебная мышь, с которой я регулярно бьюсь каждую ночь и которая ухитряется избежать всех моих ловушек?.. Это ведь Вы, не так ли? Признайтесь, что это Вы, чтобы я перестал так упорно стараться от Вас избавиться! И тогда я раскрою для Вас свою постель вместо мышеловки...

«*Купеческая лавка...*» Вот что это такое! И все же, в общей сложности, у меня только двадцать один ящик, или коробка, некоторые большие, некоторые маленькие; не завидуйте мне, что они у меня есть. Но и не посылайте больше, поскольку я не буду знать, где их поставить...

Вы можете меня представить, Святая Руссе, в сапогах? О! Я произвожу в них сильное впечатление! Но мне не хватает матросской куртки, знаете, одного из тех бушлатов, что носят марсельские матросы... Бушлат! Ах, Святая Руссе, пошлите мне маленький бушлат, и я скажу, чтобы меня в нем нарисовали, раз Вы хотите мой портрет! Ладно, ладно, не сердитесь на меня за то, что я сказал жене, что если я отдам Вам Ла-Костский портрет, то только потому, что он на нее не похож. Я Вам скажу по секрету: если бы у меня была тысяча ее портретов, я бы не отдал ни одного, если бы они были на нее похожи. Поэтому ни капли на меня не обижайтесь; я бы отказал-

ся их отдать даже собственному отцу, если бы я имел счастье до сих пор видеть его живым. Что до моего портрета, то это другое дело: я так же польщен этой просьбой, как и обеспокоен тем, чтобы предоставить Вам хороший портрет. Если Вы желаете снять копию с большого портрета в Париже, пожалуйста, или если Вы желаете подождать, тогда мы напишем его с натуры. Г-жа де Сад обещала мне, что ей напишут портрет в Париже: умоляю Вас, убедите ее исполнить свое слово как можно быстрее, пусть она пообещает пойти к художнику, и Вы тоже поезжайте с ней: это лучший подарок, который она могла бы мне подарить. Ради Бога, убедите ее, чтобы она его сделала ближе к Великому посту, чтобы она не чувствовала себя обязанной выходить на улицу, пока погода не станет чуть теплее. Я ведь могу на Вас в этом положиться, как и в отношении ее здоровья?

Итак, в двух словах, моя дочь некрасива? Вы говорите мне об этом в самой мягкой манере, но она некрасива, вот что Вы на самом деле говорите. Что ж, такое уж у нее везение! Пусть у нее будет ум и добродетель, это будет для нее лучше, чем если бы у нее было хорошенькое личико[55]! — Как я хотел бы поучаствовать в игре в прятки! Это игра, которую я обожаю.— С какого счета, спрашиваете Вы, мы возьмем деньги для того, чтобы заплатить молодому Сеньону? Ах, дайте мне минуту поразмыслить... Следует ли мне взять их с этого счета?.. или с того?.. Хм. Так, с этого или с того? О Господи! Вы все совершенно растерянны! Я знаю: вообще ему не платите! Тогда Вам не придется беспокоиться по поводу того, где найти эту сумму! — Шоколад хорош.— О! Мне известно, что таких жен, как у меня, уже не делают, и это еще одна причина, по которой я умоляю Вас хорошенько о ней позаботиться ради меня.— Мои

бессмысленные истории, говорите Вы, годятся лишь на то, чтобы забавлять детей? А кто я здесь таков, Святая Руссе, кто я, если не дитя? Ваши рассказы забавляют меня, интересуют меня и доставляют мне величайшее удовольствие: не лишайте меня их... Что же до моих собственных, если они вызывают у Вас скуку, я умолчу о них. Но не говорить ничего, кроме здравых вещей было бы довольно скучно... Прощайте, я люблю Вас и обнимаю как второго лучшего и самого дорогого друга, который у меня есть на целом свете.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[22 марта 1779 г.]

Вчера вечером я написал г-же Руссе длинное письмо, целью которого, мой дорогой друг, было попрощаться с ней... ибо из того, что она говорит, я делаю вывод, что она уезжает. Это было тем самым таинственным делом, о котором она (по крайней мере Вы так утверждаете) не хотела, чтобы Вы прочитали в ее письме. Я предоставляю Вам самой судить, глупый ли это поступок, и полагаюсь на вашу осмотрительность и дружбу как к ней, так и ко мне, для того чтобы предотвратить этот нелепый план. Более того, это служит мне ясным указанием на то, что мое заточение продлится гораздо дольше, ибо, если бы это был просто вопрос нескольких месяцев, она бы сдержала свое обещание дождаться меня. Мне кажется, что в том, что касается знаков, невозможно подать знак более открытый, чем этот, и я заверяю Вас, что, если это не шутка, как

я со всей уверенностью полагаю, и она действительно уезжает, тогда я в любом случае окажусь в состоянии великого отчаяния, расстроенный не только тем, что потерял ее, но также знанием того, что не видно конца моим несчастьям. Пожалуйста, держите меня в курсе в отношении этого, ибо мое поведение и горе будут находиться в подвешенном состоянии, пока я не узнаю результата. Я ожидаю услышать об этом в вашем следующем письме, а тем временем, по своему обыкновению, отвечаю строчка за строчкой на то письмо, которое Вы мне только что написали.

Мне приятно узнать, что Вы немного оправились и что диета, которую я порекомендовал, действует; она уникальна, можете быть в этом уверены, и я намереваюсь сам ею воспользоваться, как только выйду отсюда.

Г-н Ленуар не увеличил количество моих прогулок. И было бессмысленно перечеркивать строку: «Мне показалось, что он удивился, услышав, что Вы находитесь в условиях строгого режима», потому что г-н Ленуар прекрасно знает, в каких условиях я нахожусь, и потому что здешний начальник так или иначе не стал бы держать меня в таких условиях без указаний сверху; самостоятельно он ничего не делает. Таким образом, если г-н Ленуар показался Вам удивленным и проч., он разыграл для Вас сцену.

Разумеется, моя свобода гораздо более ограничена, чем ранее; я уже сообщал Вам подробности два или три раза. Та надежда, которую Вы подали мне в июне, заставила меня отложить вынесение решения, но, если она окажется пустой, а, похоже, так оно и будет, и если г-н Ленуар пообещает Вам рассмотреть эту ситуацию и подумать, что он сможет сделать, чтобы ее улучшить, Вам следует просто сказать мне, чтобы

я записал в виде памятной записки те различные вещи, которые мне нужны для моего комфорта, и я это сделаю; попросите, чтобы они были выполнены. Тем временем, пожалуйста, продолжайте ходатайствовать о третьей прогулке, которой я желаю более, чем когда-либо, поскольку сейчас для нее самое подходящее время года; но попытайтесь добиться, чтобы мне дали ее утром, так как только тогда прогулки действительно приносят мне какую-то пользу.

Конечно, если бы ваша надежда прошлого июня сбылась во всем, кроме дополнительной прогулки, которую я прошу, мы могли бы избавиться от лишних хлопот просить остальное. Но если она ложная, что выглядит весьма вероятным, тогда я со всей определенностью не желаю проводить лето так же, как я провожу зиму. В связи с этим я ожидаю вашего ответа. Вы можете обойтись без каких-либо обсуждений деловых вопросов, как бы они ни были коротки, ибо совершенно точно я не напишу в ответ ни слова. На эту тему Вы, должно быть, уже получили записку, в которой я даю слово чести, и могу Вам сказать, что не отступлю от него ни на йоту.

Эти стихи написал Поле, в этом я совершенно уверен и настаиваю на том, что и письмо, и стихи посланы из Парижа, через Святую Руссе или ее посредников. Вы говорите мне, что этот г-н Ив (еще одно придуманное имя, как Бонту)[56] — это деревенский остряк, который болтает без умолку и который заставляет вас двоих умирать со смеху в письмах, что пишет Готон. Именно в этом месте я Вас и подловил, поскольку нет ничего менее комичного и ничего менее безумолчного, чем письмо Поле. Письмо и стихи написаны очень хорошо, легким и приятным стилем, и представляют, одним словом, произведение одного из любовников Святой. Ибо сама она пишет даже лучше

и не хочет, чтобы в этом письме чувствовался ее стиль; я бы, конечно, его узнал. Таким образом, это еще один ясный знак того, что мне не следует тратить свое время на то, чтобы изучать его или истолковывать.

Единственные знаки, на которые я обращаю внимание, это старые добрые знаки, основательные и осязаемые, как, например, тот альманах, который она подарила мне на Новый год... Очаровательный новогодний подарок, который становится *еще более очаровательным с каждым проходящим годом.* И потом еще маленькое зеркальце, разбитое на тысячу осколков, что, несомненно, самым ясным образом означает, что год не будет для меня удачным, ведь ничто не предвещает несчастье больше, чем разбитые зеркала. Вот такие знаки я называю понятными. О! когда они такие, я действительно их понимаю... Но что до остальных, со всей откровенностью, я просто не утруждаю себя заботой их понять.

Я не знаю, как *прочитать ее*, говорит мне г-жа Руссе в своем письме... Спросите ее от моего имени, что следует делать, чтобы знать, как ее прочитать: нужно поворачивать страницу поперек или вверх ногами? Пусть, по крайней мере, скажет мне, как, если хочет, чтобы я научился *ее читать!* Не намекает ли она мне на то, что я не знаю, как расшифровывать специальные *знаки препинания: точки, запятые, тире и проч.*, которыми, следуя вашему примеру, она взяла в привычку напичкивать свои письма? Если это то, что она имеет в виду, она права, предполагая, что я не знаю, как читать ее; и, если дело в этом, она может быть уверена, что, если бы она писала мне подобные письма в течение сотни лет, я бы ничуть не продвинулся, поскольку не сделал бы ни малейшей попытки их расшифровать. Она поступает неправильно, добавляет она, дважды повторяя мне правду, когда я просил ее лишь один раз...

Пожалуйста, окажите мне любезность и спросите ее, в котором из двух предложений, которые я переписал и послал ей вчера, содержится эта бросающаяся в глаза правда, ибо поскольку одно из них говорит белое, а другое — черное, было бы неплохо, если бы мне сказали, в котором из них содержится правда, чтобы как только я это узнал, то перестал бы надоедать Вам в этом отношении... *Правда! Я* весьма доволен, что она осмеливается утверждать, что говорила мне *правду!* А она ее знает, эту правду, которую я прошу? Она коротка, она лаконична; бессмысленно топить ее в груде бессмыслицы о том, что будет потом. Просто напишите мне одной строкой: *Вы будете освобождены ______ дня ______ месяца ______ года в ______ часов утра или дня.*

Как видите, то, что я прошу, нужно изложить коротко и по существу; не стоит поднимать по этому поводу так много шума. Для этого не требуется ни тридцати писем с чистыми листами, ни... и проч. Все, что для было нужно, это одна-единственная записочка, которую Вы так же легко могли мне доставить, как Вы это сделали с вашими проклятыми чистыми письмами. Но Вы не можете, говорите Вы мне? Ложь, гнусная ложь... Скажите лучше, что Вы не хотите и в то же время в глубине вашего лучшего из сердец знаете, что я никогда не забуду, как Вы вели себя в этом отношении.

Итак, Вы сообщили Готон, чтобы она *писала мне каждый месяц*... Есть, что предвкушать, в самом деле... *каждый месяц*... Значит, я должен провести здесь еще сотню!.. *Каждый месяц*, как мило звучит. Вы написали ей, потому что я Вам сказал это сделать,— все прекрасно и замечательно, но из этой фразы — *каждый месяц* — Готон поймет — это так же ясно, как присутствие носа на ее лице,— что мне придется провести

здесь еще очень долгое время, и она сразу расстанется с иллюзией, которую, как я Вам говорил, необходимо у нее сохранять, чтобы, думая, что мы в любой день можем приехать, она постоянно содержала бы замок в должном состоянии и, прежде всего, не разводила шелкопрядов. Теперь найдите способ обеспечить и то и другое.

Еще одна маленькая любезность. Вы не собираетесь посылать мне корсажи, потому что *Вы надеетесь*, что у меня их достаточно до конца моего заточения. При этом я весьма ясно сообщил Вам, что мне хватит их до конца мая 1780 года. Таким образом, Вы *надеетесь*, что на тот момент они мне больше не понадобятся. Какая очаровательная мысль. Теперь: я не ношу их летом. Соответственно, пройдет всего двадцать один месяц с настоящего момента, когда мне могут понадобиться те корсажи, что находятся у Вас. *И Вы надеетесь*, что к этому времени они мне больше не понадобятся.

Поистине, большое Вам спасибо, сударыня! Когда я окину взглядом период моих страданий, я смогу подумать о том, как хорошо Вы выполняли свои обязанности по отношению ко мне, и сказать, что Вы были для меня источником огромного утешения. Я прекрасно знаю, что вашим ответом на это будет то, что мне не хватает здравого смысла, что я расстраиваюсь без причины и что я всегда все вижу в худшем свете. В течение последних двух лет, сударыня, Вы пишете мне эти замечательные фразы, и, тем не менее, Вы должны признать, что, когда они начали доходить до меня, я имел полное основание расстроиться, и не ошибался, представляя все в худшем свете. Поскольку я страдал с тех самых пор, кто теперь убедит меня в том, что меня не ожидает продолжение того же самого? Разве мое положение чем-либо лучше, чем было тогда? Ни на йоту; и поистине

необычная и, возможно, беспримерная вещь, что после двух лет страданий я имею причину, как на основании тех писем, которые я получаю, так и того обращения, которое я на себе испытываю, считать себя в худшем положении, чем то, в котором я находился в первые месяцы своего пребывания здесь...

И Вы думаете, что я прощу тех, кто придумал устроить мне такую пытку? Я скорее сожру собственную душу, чем откажусь от мести... Я докажу этим подлым чудовищам, этим отвратительным зверям, исторгнутым из ада, для того чтобы поразить несчастием других, что я не их игрушка, и что, если я имел несчастье быть ею в течение некоторого времени, они с таким же успехом могут в один прекрасный день стать моей игрушкой, независимо от того, кем бы они ни были.

Сохраните вашу бутылку муската. Я спрашивал, много ли его прислал Шовен, но, раз уж его так мало, мне он не нужен; и ни в коем случае не покупайте мне никакого вина, потому что я не пью ничего, купленного в лавке... это будет поддельное вино; я не пригублю ни капли... Кроме того, мое желание отведать его прошло...

Ситуация, в которой я нахожусь, одновременно ужасна и необычна; и я ощущаю нечто весьма странное, чего я никогда не испытывал во внешнем мире. Я бы хотел, чтобы какой-нибудь сведущий в душевных настроениях человек мне это объяснил. По двадцать раз на дню у Вас появляется неодолимое желание всевозможных вещей, а в следующее мгновение, не получив их, Вы испытываете ужасное чувство отвращения к ним. Так было в отношении всех тех вещей, о которых я Вас просил, и, как только они ко мне попадали, я находил их отвратительными: объясните мне это.

Что это все за чепуха, которой Вы постоянно пичкаете меня из раза в раз, относительно того, *что Вы не понимаете, как врач может быть таким философичным, что смеется над фразой, которую Вы ему не писали?* Я сказал, что *ЕСЛИ бы Вы послали эту фразу врачу, то он был бы достаточно философичен, чтобы не рассердиться на нее.* Это понятно, не так ли? Лично я не вижу в этом ничего странного; и нет смысла заявлять мне, что я говорю, сам не зная что.

Я также не говорил, что дочка врача — красавица, но действительно говорил, что она не темноволосая, что она светлая. Разве это означает, что я назвал ее красавицей? В том, что касается герцогини, то она в самом деле в подметки не годится изображению на вашем портрете: она также похожа на Ла Мартиньян, как я на Сикста Пятого. Ла Мартиньян — шлюха, в большой степени — причина возникновения моего дела, которая действовала из побуждений мести, потому что я не желал иметь с нею дела в те дни, когда впервые поехал в Прованс. Она жеманна, низкого роста и выглядит вульгарно, в то время как герцогиня, наряду с весьма милым характером, обладает очень благородными чертами лица и внешностью *Минервы*.

Я настаиваю на том, что в Париже нет юриста по фамилии *Бонту*. Когда я попытался убедить Симеона, что есть, он принес мне регистр, отпечатанный в Париже, в котором перечисляются фамилии и адреса всех парижских юристов, среди которых я не обнаружил ни одного с такой фамилией. Поэтому не говорите мне больше об этом животном. Что же касается того мрачного существа с неприятным выражением лица, которое представилось мне под этой фамилией, то пусть называется как ему угодно, хоть *Шиварукмарбарбармароксакроминеспанти*, если ему нравится,— для меня это все равно; но пусть Господь

Бог предпримет те шаги, которые Он должен предпринять, чтобы он никогда не оказался со мной в одной комнате.

Я с нетерпением ожидаю четырех томов «*Выдающихся личностей*»; когда пришлете мне первые четыре, сообщите, сколько их еще осталось. И маленькие свечи, ради Бога, маленькие свечи! Почему Вы упорно продолжаете отказываться их мне послать? Я верну Петрарку в течение праздников, возможно, ранее.

Ваш отец все еще ходит в суд? Молодец! Когда у человека сто тысяч ливров ежегодной ренты, нужно быть дураком, чтобы вставать в пять утра, чтобы совать свой нос в дела других людей! Он уже стал председателем суда в своей палате? А ваш брат-рыцарь, в каком несчастном полку он сейчас служит? Я не нашел никакого упоминания о нем в альманахе. Почему Вы никогда не ездите обедать к своим родителям, барышня?.. Позор, Вам должно быть стыдно!

Как поживает г-жа де Плиссе[57]? И передайте мои поклоны г-же де Шамуссе[58]. Я всегда любил и уважал ее и готов побиться об заклад, что она также не относилась ко мне с неприязнью. Мне приятно знать, что я увижу Лауру, когда меня освободят... Это, к примеру, единственное желание, которое еще не превратилось в отвращение... Есть еще два-три таких же, о которых, г-жа маркиза, я сообщу Вам в подходящее время и в подходящем месте.

Вы все-таки весьма определенно сообщили мне, моя милая, что «*ваши дети уехали с убежденностью, что увидят Вас через два года*»,— это то, слово в слово, что Вы написали. Что означает, я полагаю, что я не увижу их в течение двух лет. Теперь Вы сменили свою мелодию — тем лучше, ибо я сознаюсь, что меня бы крайне опечалило, если бы я покинул страну, не по-

видавшись с ними. Мысль о них сводит меня с ума. Если бы Вы только могли увидеть, как я разговариваю с ними в одиночестве... Вы бы подумали, что я сошел с ума. Не проходит и ночи, чтобы я не видел их во сне. Я вскоре им напишу. Я чрезвычайно благодарен за те милые вещи, которые Вы время от времени рассказываете мне о герцогине. Я бы хотел обладать достаточным остроумием, чтобы ответить на них. Достаточно сказать, что Вы знаете, как мое сердце тронуто ими.

Этот портрет, который сделала Святая, совершенно бесподобен. Неслыханно, чтобы портрет писали без предварительного наброска... Со своими пятью пальцами она делает все, что захочет. Есть только одна вещь, которую я хотел, чтобы она сделала этими самыми пальцами в Ла-Косте, но она бы никогда... Что ж, сударыни, вот оно, не так ли? Вы думаете, что сейчас услышите небольшое замечаньице, а ведь это самая обычная вещь на свете. Это настолько обычно и настолько подобающе, что я сказал бы это самой Святой Деве, если бы ее можно было попросить. Когда Вы попросите у меня объяснений, я буду счастлив их предложить... А тем временем, скажите ей, что еще более польщен ее стараниями, чем она предполагает, и буду хранить этот портрет всю свою жизнь. Скажите ей также, что человек не должен уезжать, когда любит кого-то до такой степени, что ему нравится рисовать их портреты. В добавление к чему, скажите ей, что, как бы хорош он ни был, я склонен думать, что сходство было бы даже еще лучше, если бы она писала не с имеющейся уже картины, поскольку я уверен, что в ней самой есть маленький уголок, где я присутствую более явственно, чем на полотне Ван Лоо... Но если она все-таки уедет, я больше никогда ее не увижу. Поэтому пусть она останется, и мы всегда будем вместе, и заживем потом счастливо. Что же каса-

ется Вас, мой маленький утенок, я целую Вас в ... потом в ... после чего в ...

Сего 22-го марта, когда мне остается пережить еще одиннадцать месяцев.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[март или апрель 1779 г.]

Нет, никогда я не прощу им ту подлость, которую они совершили, арестовав меня во второй раз... Это ужас невиданных пропорций. Принести в жертву человека, его репутацию, его честь, его детей мести и алчности тех, кто хотел, чтобы меня снова упекли в тюрьму — поскольку, зная, что меня ожидает, они скрыли это от меня, чтобы я с еще большей легкостью попался в западню,— это такая отвратительная вещь, примера которой не найти даже среди самых свирепых народов. И когда я имел несчастье снова попасться в эту ужасную западню, они, чтобы удостовериться, что я буду еще более несчастен, чем прежде, стали держать меня в еще более строгих условиях в моей новой тюрьме, усилили гонения на меня, стали лгать еще более нагло, чем раньше...

Эти методы заставляют содрогнуться, и я не смею спокойно на них смотреть... Скажите тем, кто думает, что именно так нужно наказывать своих собратьев, скажите им без обиняков, что они совершают великую ошибку: все, что они делают,— это еще больше ожесточают свои жертвы, ничего более.

Преследователи — будь вы мужского или женского пола,— тираны, прислужники тиранов, отвратительные сателлиты их постыдных капризов, одним словом, все вы, чье единственное благо — это месть или надежда добиться ужасов, подло угождая злобе тех, чье влияние — ваша единственная опора или чьи деньги питают вас, знаете ли вы, с чем я вас сравниваю? С той бандой никчемных людишек, которые с палками в руках дразнят льва, заточенного в железной клетке. Они дразнят его со смешанным ощущением чудовищного страха и радостного ликования, тыкая палками между прутьев. Если бы животное вырвалось на свободу, вы бы посмотрели, как бы они бросились наутек, не разбирая дороги, сбивая друг друга с ног и умирая от ужаса, еще до того, как лев их догонит.

Вот таким образом, друзья мои, вы ведете себя: сами судите по этому сравнению, что я о вас думаю, а по его точности — о своих подлых делах.

Я бесконечно доволен новостями об успехах своего сына. Вы должны чувствовать, до какой степени это делает его для меня еще более дорогим... Что бы ни думал приор, этот перевод кажется достойным самой высокой похвалы для мальчика, который учится лишь первые полгода. Это не уменьшает мою любовь к шевалье. Вы знаете, что до сих пор я был к нему более привязан, чем к его старшему брату. Но я так обрадован хорошими известиями, которые я слышу о старшем, что они делают его для меня не менее дорогим, и я, следуя вашему совету, напишу шевалье, чтобы его подбодрить.

Пожалуйста, будьте добры поблагодарить вашу мать за внимание, которое она проявила, пожелав, чтобы я разделил с нею ту радость, которую дарят нам успехи этого ребенка. Сообщать мне известия через такое милое посредство — это, в некотором

роде, значит делать их вдвойне приятными. Какая жалость, что нельзя дать этому ребенку более разностороннее образование... И как глубоко я буду опечален, если не получу возможности увидеть его, когда меня выпустят отсюда.

У меня больше нет работы для Юности. Что, по-вашему, я должен делать без книг? Для того чтобы работать, нужно находиться в их окружении, в противном случае невозможно сочинить ничего, кроме волшебных сказок, а к этому у меня нет таланта. Поэтому ответьте мне по поводу той книги, которую я попросил у Вашего отца, и маленьких свечей, которые я попросил целую вечность назад; они у меня закончились уже как неделю.

Обнимаю Вас.

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

[апрель или май 1779 г.]

Простое обсуждение вылилось с обеих наших сторон в настоящие потоки бессмысленных слов; это постепенно привело к тому, что у нас появилось ощущение горечи, а я не хочу, чтобы наша дружба отдавала горечью. Ответите Вы на это последнее обвинение или нет, мне все равно; это будет, если Вам будет угодно, завершающей уликой в деле, и как только мы с этим покончим, я бы предпочел больше об этом не упоминать. Прежде всего, я собираюсь изложить те обиды, которые Вы мне причинили, и оправдать их, сославшись на тот единственный мотив, который я рассматриваю как смягчающее

обстоятельство; после чего я изложу те обиды, в которых Вы меня обвиняете, и с величайшей легкостью оправдаю себя.

Ваши обиды состоят из: 1) Ваших слов о том, что у меня нет друзей. Три месяца назад я ответил Вам чрезвычайно подробно по этому вопросу и доказал Вам, что несчастье редко оставляет человеку друзей; я не стану твердить то же, что уже говорил, ибо ничто не вызывает у меня такую скуку, как повторения. 2) Ваших попыток убедить меня, что моя теща была причиной моего второго заточения. Так это или нет, Вы поступили неправильно, пытаясь настроить мои чувства против нее. Если я и считал ее невиновной, то потому, что моя жена в своих письмах ко мне в Ла-Кост совершенно недвусмысленно заверила меня, что она невиновна; соответственно, ваше замечание, с одной стороны, заставляло меня взглянуть на свою тещу как на подозреваемого, а с другой — на свою жену, как на лгунью. Разве Вам приличествует играть такую роль? 3) Ваших попыток обмануть меня, вселив в меня ложную надежду на эту осень. В Ла-Косте я говорил Вам, что самая худшая пытка в мире, это когда у несчастного, которому подарили надежду, затем ее отбирают. Я утверждаю, что во всей вселенной не существует пытки, которая могла бы с ней сравниться, и, если бы исследовать причину всех самоубийств, оказалось бы, что двадцать девять из тридцати возникают только по этой причине... Это давным-давно доказано, и, если бы меня попросили, я бы мог привести тысячу примеров. Несмотря на то что Вы прекрасно знали от меня, что я считаю это ужасной, отвратительной вещью, Вы это сделали.

В настоящий момент я прошу лишь одного: если они задумали избить меня... то Вы ли должны изготовить прут или палку? Я настаивал на этом вопросе, возможно, даже был резок,

дерзок, бесчестен, жесток,— все, что Вам угодно, но нет ничего, что бы я не сделал, каким бы ни был риск или опасность, для того чтобы узнать, лгали ли они мне, и для того, чтобы не доводить ошибку до крайности; я знаю, во что это однажды мне обошлось... как я пострадал из-за этого... что я чувствовал... и я не хочу снова через это проходить. Я уже испытал почти фатальные травмы из-за своих прошлых несчастий, и сейчас нахожусь на той стадии, когда, возможно, потребуется всего лишь еще одно, будь новости хорошими или плохими, чтобы меня добить.

Вот один недавний пример в подтверждение моей правоты. Вчера вечером они явились в мою комнату в поздний час, по совершенно обычному поводу, но этого визита я не ожидал. В течение трех четвертей часа после этого я не мог прийти в себя. И поэтому это не плод моего воображения, не простой каприз, неуместное любопытство, которое заставляет меня интересоваться, сколько продлится мой срок, это — жизнь, я не прошу ничего, кроме жизни.

Но на это Вы ответите мне, что уведомления за двадцать четыре часа вполне достаточно. Я согласен; строго говоря, это все, чего я прошу, и если создается впечатление, что я озабочен тем, чтобы узнать об этом еще раньше,— а я говорил Вам об этом тысячу раз,— то это для того, чтобы извлечь пользу из этого периода уединения и провести его, улучшая свой разум или свое поведение, что мне совершенно невозможно сделать, когда это постоянное ощущение неопределенности оставляет меня в тревоге и в состоянии вечного возбуждения. В конце концов, Вы опровергли эту весеннюю фантазию, за что я Вам благодарен. Вы бы сыграли со мной роковую шутку, если бы позволили мне верить в нее до последнего момента. Что мне

не нравится, так это тот глупый способ, который Вы избрали для того, чтобы ее развеять. «Если бы Вы были менее придирчивы, если бы Вы не писали» и проч. Значит, меня следует наказать, как мальчишку, которого бьют по рукам, если он не перескажет как следует заданный урок?

Есть еще одна глупая манера: я Вам достаточно часто рассказывал, что с помощью таких методов меня лучше не сделаешь. Строгость ожесточает меня. Точка. Неужели они на самом деле думают, что меня заставят любить правительство, которое в данном случае действует по отношению ко мне несправедливо, без достаточных на то оснований держа меня в тюрьме, и уважать трибунал, который не обладает надо мной властью? Неужели они в самом деле думают, повторяю, что продление моего заточения приведет к моему улучшению? Они ошибаются. Если бы они держали меня здесь всю жизнь, я бы все равно говорил то же самое, и всегда говорил точно так же. Я непоколебим и решителен. Испытывая усталость, когда речь идет о несчастьях, я мало или вообще не боюсь того, что может ниспослать мне новый удар судьбы, и угроза виселицы не превращает меня ни в негодяя, ни в предателя и не смиряет меня.

И, несмотря на эту непоколебимую решимость, этот непреклонный характер, которым я горжусь, простой пустяк, знак настоящей дружбы, доказательство доверия, превратили бы меня в то, чем они хотели бы меня сделать; добротою меня можно было бы заставить своротить горы; строгость могла бы заставить меня вышибить себе мозги, разбив голову о стену. Такова моя индивидуальность, которая ни разу не менялась с тех пор, как я был ребенком,— Амбле, который воспитал меня, может засвидетельствовать это,— и наверняка никогда не изменится. Я слишком стар, для того чтобы переделывать

себя. Так пусть же они забудут о том, чтобы заставить *мой разум повзрослеть*: и через двадцать лет он будет не взрослее, чем сегодня, в этом я даю Вам свое слово... Возможно, он станет более непокорным, но, без сомнения, не более спокойным.

Только выпустите меня отсюда, предложите мне проявление дружбы и доверия, и Вы увидите, как пред Вами предстанет совершенно новый человек. Пусть не говорят мне: «*Мы попытались это сделать, но из этого ничего не вышло*». Я докажу, что, хотя они и сделали вид, что пытаются это сделать, все, что они на самом деле делали, это ставили мне ловушки, чтобы иметь удовольствие раздавить меня, как только я в них попадусь... В любом случае, жребий брошен, меня не выпустят этой весной... Ладно уж, признайтесь, все-таки, что с Вашей стороны было нечестно пытаться убедить меня, что выпустят, и глупо было приходить и говорить мне сейчас: «*О, Вас бы освободили, если бы Вы вели себя получше...*» О Боже! Мой дорогой друг, Вы, должно быть, считаете меня глупым и доверчивым только потому, что я имел несчастье оказаться за решеткой!

Вашей четвертой и последней обидой было сказать мне эту ужасную противоречивую фразу по поводу *моих детей у ног короля*, которая достаточно обсуждалась в моем последнем письме и не требует здесь дальнейших комментариев[59]. Это все Ваши проступки: всего лишь пустяки во внешнем мире, они стали исключительно серьезными по отношению к бедняге, который ничего не видит, ничего не слышит, и для которого письма — это единственные гороскопы, в которых он может попытаться прочитать свою судьбу.

Оправдание, которое я даю вашим действиям, заключается в следующем: Вы были совращены *моими палачами*, и были

так глупы, что поверили так же, как и они, что все эти мелкие пакости, которыми они меня донимают, должны были произвести во мне самые замечательные перемены. *Слабость и доверчивость* — вот источник Ваших проступков. Я прощаю их. Давайте возродим нашу любовь друг к другу, давайте возобновим нашу переписку, а кто старое помянет, тому глаз вон. Но на будущее не используйте такое оружие: Вы видите, насколько оно бесполезно. Если Вы любите меня, не подвергайте себя риску стать жертвой озлобленности и неизбежной холодности, которые проистекут от таких поступков.

Меня выпустят тогда, когда это будет угодно Богу. Если у Вас возникнет желание сообщить мне, когда именно это должно случиться, это доставит мне безмерное удовольствие; в противном случае ничего мне не говорите; я предпочел бы скорее ничего не знать, чем быть обманутым; и отсюда происходит моя фраза «*пусть воцарится молчание*», которая Вас так поразила. «*Пусть говорят правду, или пусть воцарится молчание*»,— вот, что я сказал и скажу снова, и, говоря это, я не вижу в этих словах ни малейшей резкости, ни малейшей лживости. Более того, если все, на что Вы намекаете в вашем последнем письме,— правда,— во что я должен поверить, поскольку Вы так утверждаете, призывая в свидетели истину, вашу искренность и проч.,— тогда я чрезвычайно расстроен. Теперь я должен ожидать очень длительного заточения, и я ясно вижу, что меня сделали жертвенным агнцем. В этом случае, я ошибался, обвиняя Вас в том, что Вы мне рассказали то, что Вы рассказали; я могу только похвалить вашу откровенность; есть некоторые истины, которые следует выражать напрямик и без обиняков; это одна из них... Здесь Вы поступили правильно... Но если правда, что моя участь настолько ужасна, как Вы попытались

намекнуть мне, почему Вы объявили мне, что моя свобода близка? И если она действительно близка, отчего Вы нарисовали мне картину множества мечей, подвешенных над моей головой? Я постоянно возвращаюсь к одному и тому же моменту; будьте откровенны столько, сколько Вам угодно, но будьте последовательны, ибо непоследовательность — это самый верный признак обмана.

Что же до вашего упрека *«он говорит все»*,— Вы объясните мне его тогда, когда Вам будет угодно, ибо я его не понимаю; так же, как и не понимаю те способы, которые, по вашим словам, Вы использовали для того, чтобы донести до меня свою мысль. Другие известные мне способы — это вычеркнутые строки: именно из них я извлек все то, о чем говорил. Это я готов доказать. Если это относится к чему-то другому, тогда я не понимаю, что Вы хотите сказать, и в самом деле не думаю, что существует даже какая-нибудь возможность чего-то другого. Если бы они были, или если бы они имели место, клянусь Вам, что я бы первый это раскрыл, прекрасно зная, что в правилах никогда не бывает никаких изменений, разве что для того, чтобы устроить еще одну пытку. Я слишком хорошо это усвоил на своем жестоком опыте, чтобы еще раз попасться на удочку, и никому не советую устраивать мне подобные испытания, ибо я очень быстро выведаю, что затевается.

Здесь я еще затрагиваю очень жестокий выпад с вашей стороны: «*Дружба с Вами запятнала мое доброе имя*». Сударыня, я самого высокого мнения о вашем добром имени. Но я еще не пал столь низко, чтобы опасаться, что дружба со мной может его запятнать... Возможно, у Вас были еще какие-нибудь друзья до меня, которые... Как ваше здоровье сегодня, госпожа Руссе? Вы видите, к чему должен привести нас обоих обмен

всеми этими пустыми любезностями: к озлоблению, и отсюда, в конце концов, к ненависти. Таким образом, я прав, заявляя Вам, что, как бы Вы ни отвечали на это, я буду держать язык за зубами.

В общем, это то, что я намерен делать в будущем; посему примите от меня в том самую торжественную клятву и не обращайте внимания на это письмо и на то, которое я собираюсь написать в ответ г-же де Сад. Настоящим я заверяю Вас, что предполагаю ограничиться просьбами в отношении тех вещей, которые мне абсолютно необходимы, и разговорами о погоде. Вернитесь к первому апреля; изучите мои письма за этот период и, если они не подтверждают то, о чем я говорю, можете обозвать меня всеми возможными словами. Если мне суждено быть высеченным как школьнику, по крайней мере это будет не из-за моих писем, и я лишу своих палачей такого предлога.

Вы хотите отнять у меня единственное утешение, которое у меня еще осталось посреди всех моих несчастий,— веру в то, что существует какой-то определенный срок моего заключения... 1) Так поступать подло. Зачем ломать ребенку игрушку? 2) Говорить мне обратное — значит лгать, потому что на свете нет ничего более ясного и явного; в подтверждение этому у меня есть самые неопровержимые доказательства, и, если бы Вы сами не были убеждены в этом, я бы незамедлительно Вас убедил с помощью неоспоримых аргументов... Но на какую же дату назначено освобождение? Ах! Это то, чего я не знаю, и не льщу себе мыслью, что знаю. Так что Вы можете без опасений сказать, что мои расчеты в этом отношении неверны, поскольку я бросил ими заниматься. То, что Вы говорите мне по поводу того, что мне следует сказать о своей теще,— это именно то, что я и сказал, а все, что Вы делаете,— это просто меня пере-

дразниваете. Вы излишне усложняете, меняете, уничтожаете, преувеличиваете мои фразы по своему усмотрению, и все это только для того, чтобы досадить мне и до смерти встревожить, разве не так? Что ж, я еще раз Вам повторю, что Вам это не удалось. И в будущем мое глубокое молчание покажет, насколько сильно я презираю все эти слабенькие, жалкие ухищрения, которые рассматриваю как результат воздействия истерической меланхолии, которой люди того дома крайне подвержены. «*Они насмехаются над вашими угрозами*,— добавляете Вы,— *равно как и не боятся их...*» Этому я верю. Однако доказательством того, что они на самом деле меня боятся, служит тот короткий поводок, на который они меня посадили; людей, которых презирают, не держат в оковах. «*Я хочу, чтобы они отчитались, что они у меня украли...*» Вот это забавно! Что? неужели Вы вообразили, что, раз я оказался в тюрьме, мои деловые советники имеют право обдирать меня как липку, а я не стану требовать у них отчета? Подумайте хорошенько; я потребую от них самого строгого отчета, и, если они крали у меня, я от них избавлюсь,— в этом я Вам клянусь.

Я завершаю свою беседу не словом «*сударыня*», но «*мой дорогой друг*», и к этому добавляю самую настоятельную просьбу не уезжать без меня, как бы долго они меня здесь ни держали; я заклинаю Вас во имя той дружбы, некая искра которой, как Вы меня заверяете, еще осталась в Вас; я умоляю Вас разжечь из нее пламя, и в качестве доказательства этого — подождать меня, и не увеличивать моих несчастий и моего отчаяния этой угрозой и горечью Ваших писем.

À madame de Sade

Г-же де Сад
16 мая 1779 г.

Не имею понятия, к чему все эти бесконечные повторения, и почему, когда я прошу у Вас предметы, которые сделали бы мою жизнь чуть легче, то получаю в ответ только перечеркнутые строки. Вы, должно быть, очень утомлены всеми этими банальностями, ибо они весьма скучны. Дело в том, что я все еще лишен всего того, что я у Вас просил, и ничто не говорит о том, что эти любезности вот-вот будут мне дарованы.

Если моя прежняя комната занята, как можно судить из ваших перечеркнутых строк, пусть мне дадут другую. Ту или какую-то еще, мне все равно. Я привязан не к комнате, ибо со всей уверенностью можно сказать, что она была ужасна, но к виду из окна и к свежему воздуху, которым там можно дышать. Любая комната на этом этаже будет иметь те же преимущества, и я весьма уверен, что многие из тех, что находятся на этом этаже, пустуют. Я уже двадцать раз повторял Вам, что за прошедшую зиму в той комнате, где я в данный момент нахожусь, я выстрадал все, что может выстрадать человек; что она чрезвычайно сыра и пагубна для здоровья, что из этой комнаты едва видно небо, и что все воздушные ходы в ней перекрыты из опасения, что заключенный может через них улететь. *Ибо здесь это единственное, чего они более всего боятся.* И поэтому я прошу, причем прошу со всей настоятельностью, чтобы меня перевели в другое помещение. Я прошу комнату на верхних этажах, мне неважно, какую, при условии, что там можно зимой развести огонь, что невозможно в этой, и чтобы там были воздух и свет; это все, что мне от нее требуется.

Что же до прогулок, которые, по вашим словам, мне не могут разрешить чаще, чем четыре раза в неделю, нужно начинать с того, чтобы мне давали гулять четыре раза в неделю, поскольку сейчас это только три; даже если представить, что их было бы четыре, я бы все равно жаловался, учитывая, что ради собственного здоровья мне совершенно необходимо дышать свежим воздухом по крайней мере в течение часа каждый день, и именно этого я и прошу. За прошедшие пятнадцать ночей — я взял на себя труд их подсчитать — я ни на мгновение не сомкнул глаз, в крайнем случае вздремнул несколько минут, и я надеюсь и уверен, что вскоре от этого заболею. Если бы я умер, это бы больше всего меня устроило. Прощайте. Я попробовал выпить ячменного отвара: мой желудок его не принимает, пришлось отказаться от него.

И поэтому я настоятельно прошу, чтобы мне разрешили дышать свежим воздухом по крайней мере час в день. Почему некоторым даруют такую привилегию, а мне и остальным — нет? О! поистине, мне прекрасно известно, что эти некоторые — это *ручные собачки* коменданта, и что за то, что я говорю слишком откровенно, меня не включают в число нескольких счастливцев. Пусть наслаждается своей маленькой местью, но все равно у него нет разрешения позволять человеку умирать! Когда у них просят более частых прогулок, они выдвигают возражение — по крайней мере Вы мне так говорите,— что это исключено, потому что заключенных слишком много. Возмутительно, что бдительный взор министра не видит этого и он не предпринимает шагов для того, чтобы устранить постыдное и отвратительное издевательство, которое происходит здесь в этом отношении. Почему, учитывая жалкий внутренний дворик этой мрачной тюрьмы, который размером примерно с вашу ладонь, достойный начальник начинает с того, что отгораживает стеной

три четверти этого участка, а затем запрещает всем ступать на него ногой?

Эта ужасная вещь происходит только здесь и нигде более. Во всех тюрьмах, которые только можно назвать, у начальников есть сад — в этом нет ничего необычного, они берут оттуда то, что он приносит,— но эти сады открыты для заключенных, которых допускают в них столько, сколько им угодно. А здесь именно из-за ужасного ограничения пространства заключенные вынуждены гулять так мало и так редко. Даже при таком маленьком пространстве, разделенном таким образом, четверо заключенных, охраняемых часовыми, как и во всех других местах,— а не служащими, которые разносят пищу, что является еще одним нарушением, которое объясняет, почему прогулки невозможно давать чаще,— могли бы гулять по четыре человека сразу, и, если бы я был здесь начальником, даже имея в три раза больше заключенных, я бы дал им возможность гулять в два раза больше, чем они гуляют сейчас.

Неужели комендант боится, что у него могут съесть его яблоки и груши? Я не говорю, что голод не может иной раз соблазнить человека на такой поступок, но нужно быть, как говорится, очень *дурно воспитанным малым*, чтобы украсть плод из сада, где тебе разрешили гулять. Такое опасение никак уж не подтверждает высокое мнение о тех людях, которых он привык здесь содержать. Мне кажется, что, если бы я был на его месте, мне бы претило есть плоды из сада, чья сохранность, как мне известно, *куплена за счет здоровья некоторых несчастных заключенных*. Весьма примечательно, что этот сорт используют только для приготовления сидра; они такие маленькие и жесткие, что в сыром виде просто *в горло не лезут*.

Вот каковы, мой дорогой друг, некоторые из маленьких гадостей, которые, вместе с порядочным количеством других, вы-

зывали у меня такое дурное настроение этой зимой, в этот самый момент, и будут продолжать это делать — *несколько более плодотворно*, я надеюсь,— в том, что касается этого отвратительного места, и что заставляет меня снова и снова повторять, что среди всего того, что сделала мне плохого Ваша мать, и что я менее всего склонен забыть,— это то, что она позволила себе быть ослепленной *всей той кликой*, которая заинтересована набить это здание как можно большим количеством людей, и добилась, чтобы меня сюда посадили. Мне кажется, я уже достаточно писал из Экса, что им, по крайней мере, следовало поместить меня в какое-нибудь другое место, поскольку я был обречен мучиться даже больше. Но, одним словом, я заклинаю Вас получить для меня предметы, о которых я так часто просил Вас в моих самых последних письмах, или, по крайней мере, добиться, чтобы меня перевели в другую тюрьму, поскольку я совершенно не могу смириться с ужасным существованием в этой, страдая здесь, как проклятый.

Бриджи замечательно мне подошли; печеньица как всегда великолепны, и пройдет довольно много времени, прежде чем они смогут мне надоесть: пожалуйста, продолжайте их посылать и не стесняйтесь увеличивать их количество; перья отвратительны: я прошу у Вас большие перья от «Гриффона»[60], которые стоят одно су; «Гриффон» прекрасно затачивает концы. Бисквит — вовсе не такой, как я просил: 1) я хотел, чтобы он был везде покрыт глазурью — и сверху, и снизу, той же самой глазурью, что на печенье; 2) я хотел, чтобы внутри он был с шоколадом, на который там нет ни малейшего намека; его подкрасили какой-то темной травой, но отсутствует то, что можно назвать хотя бы подобием шоколада. В следующий раз, когда будете передавать мне посылку, пожалуйста, пусть мне его приготовят, и постарайтесь найти кого-нибудь, кто заслуживает

доверия и кто бы проследил, чтобы внутри был шоколад. Печенье должно пахнуть шоколадом,— чтобы был запах, как будто кусаешь плитку шоколада. И так же в следующей же посылке: торт, такой, как я только что описал, 6 обычных, 6 глазурованных и два маленьких горшочка бретонского масла, но хорошо и тщательно отобранного. По-моему, в Париже есть лавка, где его продают, такая, как та, куда Вы ходите за растительным маслом, где продают товары из Прованса.

Когда Вы докажете мне, что заботитесь обо мне, достав те вещи, о которых я прошу, я сделаю для Вас то же самое, очень быстро вернув ту бумагу, которая Вам нужна. Пока же, покрываю вашу руку поцелуями.

Пожалуйста, передайте мне как можно скорее пару стальных пряжек, только пряжек для туфель, не других. Я хочу, чтобы Вы заплатили не более трех франков, потому что, освободившись, я куплю более модные. Мои только что сломались; и пряжки по той цене, по которой я прошу, здесь будут в самый раз. Выберите пару, которая понравится Юности, потому что, когда я выйду, я их ему подарю.

À madame de Sade

К г-же де Сад
[май 1779 г.]

О боги! Что такое съела президентша на Великий пост, чтобы произвести такой взрыв между Пасхой и Троицыным днем? Какое наводнение! Это перестает быть забавным. Только посмотрите на нее! Терпение! Смеется тот, кто смеется

последним. В один из ближайших дней наступит моя очередь смеяться, и я больше чем посмеюсь, в этом Вы можете быть уверены. В минуты безделья я развлекаюсь составлением планов. Некоторые из них весьма необычны. И, так же, как она, я на самом деле не стану придумывать ничего нового. Я ограничусь подражанием. Немного бумаги, немного чернил и несколько подкупленных мошенников,— это все, что понадобится. Мне не нужны будут полиция или министерства, только не мне. Несколько живых и ясных воспоминаний, чуть-чуть денег и издатели в Гааге[61]. О! какое удовольствие! Наслаждение, которое я предвкушаю, облегчает все мои боли. В мгновение ока исчезает вся моя боль и печаль, как только я думаю о своей мести.

Уникальный памфлет, замечательный труд —
Стиль навряд ли имеет значенье,
Коль уроками зерна острот прорастут,
*Коль внушителен плод впечатленья!**

(Недоброжелатель)

Я ничего не меняю, только подчеркиваю. И кто бы мне сказал тогда, когда мы с ней играли это вместе, что эти самые фразы позволят мне отплатить ей за то, как она себя повела.

Ну-ну, значит, вот Вы где, живете вместе с ней, причем живете с самого моего возвращения. Примите мои поздравления. Только помните об одной вещи — о том, что, с моей точки зрения, великое множество ваших с ней деяний или имеют большое сходство, или вообще одинаковы, и, хотя моя дружба к Вам, вне сомнения, заставит меня забыть о них, как только я Вас увижу, *этот поступок я никогда не забуду.*

Я обещал Вам тома «*Ментенон*»[62], как только появятся книги для перечитывания. Вы можете видеть, что я человек слова.

Вот 320 страниц. Они совсем недурны, по моему скромному мнению. Вы не ожидали такого огромного количества? О! Мне нравится устраивать сюрпризы своим друзьям, особенно приятным. Прочитайте *«Ментенон»*, если Вы с ней не знакомы. Это просто удовольствие, к тому же прелестно написано. Мадам де Лавальер заставила меня плакать как ребенка. Как бы я хотел побывать у кармелиток[63], чтобы увидеть ее великолепный портрет! Напомните мне, чтобы я поехал туда и посмотрел его, как только смогу. В самом деле, почитайте эту книгу. Я, кажется, припоминаю, что у Вас (так же, как и у меня) были какие-то ошибочные представления о ранних этапах любви короля к г-же Скаррон. Подумайте еще раз. Я не стану заставлять Вас ждать эти тома. Каждую неделю Вы будете получать по две штуки, я Вам обещаю. Все пошло бы быстрее, если бы я не перечитывал другие вещи, из которых я беру огромное множество отрывков.

Коллекция книг, которые я только что получил, прекрасна. Самое большее две или три из моего списка, остальное, без сомнения, отобрано г-ном де ла Юность. Это лишено всякого смысла. Тем больше станет книг, которые останутся здесь навсегда, поскольку я никогда не могу заставить себя ни отослать обратно те книги, которые я не прочитал, ни прочитать те, которые просто-напросто глупы. Ради Бога, пусть списки книг для меня составляет Амбле, и отсылайте только те, которые он выберет.

Я верю в отъезд г-жи Руссе точно так же, как в Валаамову ослицу[64], и не поверю, пока не получу от нее письмо со штемпелем Прованса. Она обещала мне, что подождет меня. Она женщина слова и не способна меня подвести. Я Вас с нею совершенно перепутал, *что вредит мне больше, чем помогает.*

Если бы Вы только видели меня в субботу и воскресенье! Я представлял собой зрелище, достойное созерцания. Я ожи-

дал г-на Ленуара. Ах! Клянусь Богом, я нарядился соответственно случаю. Положительно, Вы бы не устояли. Если бы увидели меня хоть краем глаза, я бы изгнал из ваших мыслей всех Альбаре, всех *Лефебвров*[65]. Должен сказать, что я был красив как греческий бог. И вдруг он не пришел. Тьфу! Поступать так с такими беднягами, как я! Ладно, я ему отплачу, ибо, придет он или нет, я не стану надевать свое лучшее платье.

И, раз уж я затронул эту тему, Вам пора нанести мне визит, прекратить всю это праздную болтовню и приехать меня навестить. Без всяких шуток, я искренне заявляю, что очень хочу Вас увидеть. Как мы будем изучать друг друга, презрительно мерить друг друга взглядами после того, как прошло столько времени. Но, черт подери, проблема состоит в том, что мы не сможем *измерить* друг друга. А почему бы и нет? Пристав? А какое нам дело до пристава? Он будет держать свечку; он весьма сведущ в такого рода вещах. Что же до меня, я заранее произвожу некоторые *измерения*, должен Вас предупредить, как Юрон с прекрасным Сент-Ивом. Вы знаете, когда приходится в течение такого долгого времени обходиться без *измерения*, это превращает человека в дьявольски крепкого малого. Было бы совсем другое дело, если бы, так же, как и приставу, позволено было бы иметь у себя маленького любимчика в образе тюремщика, которому можно все рассказать, которому можно доверить все, даже те жалобы, что ты услышал о мошеннических проделках различных керберских тварей[66], которые охраняют здесь врата ада, так, чтобы он смог строго отчитать их, тех, кто однажды, наверное, займут такое положение, что смогут взять твою шпагу и располосовать лицо, которое ты обожаешь, без всякого уважения к храму, к идолу или к поклоняющемуся им.

Я не подвергаю сомнению те мотивы, которые заставили Вас выбрать эти весьма мягкие полотенца. Они прелестны. Но я бо-

юсь, что полотно может быть некачественным. Я получил остальное: все замечательно, и я Вас благодарю. Мне кажется, что мне не хватает еще шести носовых платков, чтобы было по дюжине каждого из предметов, а именно:

Льняные полотенца	12
Рубашки	12
Полотенца для бритья	12
Носовые платки	6.

Я думаю, мои расчеты верны. В таком случае, я умоляю Вас послать мне еще шесть носовых платков, точно таких же, как и остальные, которые очень тонки, что обеспечит меня такими вещами по крайней мере на половину оставшегося периода моего заключения.

Белая куртка, которую Вы прислали, совершенно не то, что мне нужно, потому что она без рукавов. Вы прекрасно знаете, что похожие куртки, которые Вы посылали мне раньше, были с рукавами. Наконец [...], очень мил, все должно быть одинаково: и рукава, и спина.

Итак, скажите мне, когда закончится этот фарс. Он продолжается уже два месяца. Вы знаете, это долгий срок, и все равно у меня создается отчетливое впечатление, что не все еще успокоилось: будет еще один неприятный сюрприз в первых числах следующего месяца; и потом, я надеюсь, Вы оставите меня в покое, тем более что я значительно сократил объем своего чтения. Позвольте мне, все-таки, довести этот проект до конца. И он гораздо лучше, раз уж я так говорю, чем все ваши. По крайней мере, у меня есть что показать, в то время как ничего из того, что Вы предпринимали, не давало никаких ре-

зультатов и не даст ничего, кроме болтовни, банальностей и, возможно, нескольких крон в карманах пристава или его коллег.

Та идея, которая неожиданно возникла в вашей голове в отношении Мериго[67], не нова и принадлежит не Вам. Вы должны милостиво меня извинить, но на ценные вещи всегда найдется хозяин. Я говорил Вам об этом давным-давно. В будущем так должно быть всегда.

Скажите мне, моя прекрасная королева, если бы вместо того, чтобы тратить так много времени и усилий, пытаясь получить разрешение на свидание со мной, Вы бы так же настойчиво трудились над тем, чтобы выхлопотать для меня разрешение навещать Вас, то не было ли бы это время потрачено с большей пользой? Разве не достаточно долго это все продолжается? И какого черта они могут, говоря честно и откровенно, надеяться добиться, держа меня столько лет в четырех стенах? В течение довольно долгого времени я видел и ощущал на себе ужаснейшие отрицательные моменты, но до сих пор не увидел и не почувствовал ни малейшей пользы.

Ах, Господи! После того как люди так долго знакомы изнутри с жизнью тех, кто находится в тюрьме, после того, как стало общеизвестно, что тюрьма никогда не служила никакой иной цели, кроме той, чтобы сделать человека хуже, и что ее единственное предназначение — это быть источником взяток, которые министры любят раздавать за счет семей приговоренных своим сводникам или их шлюхам,— после всего этого, Боже милостивый, разве не следовало ли пересмотреть свое мнение о тюрьмах? И разве возможно, что все еще существуют достаточно подлые родственники, достаточно трусливые, достаточно глупые для того, чтобы принести своих близких в жертву таким постыдным вещам? Я предчувствую, как в один прекрасный день кто-нибудь придет, чтобы забрать моих детей, дабы г-жа

или г-н такие-то могли положить за это деньги себе в карман, и только надеюсь, что в этот момент у меня в кармане окажется заряженный пистолет, или для того, чтобы вышибить им мозги, или же, в противном случае, отправить на тот свет их жертвы, если такова будет их судьба, но при любом исходе, я бы оказал государству великую услугу, уничтожив первых, и услугу человечности, избавив последних от страданий и испорченности, поскольку нет более достоверного факта, чем тот, что тюрьма всегда портит людей.

Я чрезвычайно благодарен за то, что Вы говорите о моих рукописях. Несомненно, я никогда не стану просить вернуть их назад, поскольку они, похоже, приносят Вам некоторое удовольствие. Но чтобы убедить меня в этом более основательно, Вы должны по крайней мере объяснить мне следующее предложение, которое, как Вы можете убедиться, звучит совершенно бессмысленно:

«Баронесса была хорошим другом, но ее мотивы несколько сомнительны, в достаточной степени, чтобы сделать неясными те цели, на которые она очевидно намекает в начале 2-го акта».

Вы, разумеется, видите, что это предложение невразумительно. Разъясните мне его и скажите понятным и убедительным языком, удивляет ее поведение или нет, можно предвидеть то, что она собирается сделать или нет. Вот что для меня абсолютно важно знать. Не бойтесь высказать мне свое мнение, потому что исправить это — самая простая и легкая вещь на свете. Здесь речь всего лишь идет о том, чтобы убрать или переписать монолог, которым открывается акт 2. Я нахожусь в поисках подходящего персонажа. Единственный, кого я отыскал,— это Жюли в «Моте» Детуша[68], которая появляется таким же образом, и по великолепным причинам, которые Детуш излагает в своем

прологе и которые служат мне руководством, поскольку обстоятельства примерно такие же. Пожалуйста, поделитесь со мной мыслями по этому вопросу, и тогда я действительно поверю, что мои сочинения доставляют Вам некоторое удовольствие. Если бы это было так, Вы бы по крайней мере упомянули диалоги или куплеты, которые Вам больше всего понравились. Но я слишком долго касаюсь этой темы и, кроме того, уже дошел до конца страницы, поэтому завершаю ее поцелуем. И *приезжайте ко мне*.

* Перевод С. Шелкового.

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

[май 1779 г.]

Вы уезжаете, сударыня... это новый удар, я не ожидал его, или, скорее, я, похоже, был полным глупцом, что не рассчитывал на него: можно ли быть столь нескромным, чтобы спросить Вас, что привело Вас к такому форменному нарушению обещания, изложенного в следующих строках:

«Вы желаете, чтобы я пообещала, что не уеду из Парижа без Вас и что Вам никогда не придется быть в Ла-Косте без меня... Хорошо, даю Вам первое», и проч.: письмо II от 23 января.

В любом случае, сударыня, поскольку я не думаю, что могу что-либо сделать для того, чтобы удержать Вас от отъезда (как бы ни велико было мое желание, чтобы Вы остались), теперь я чувствую себя обязанным рассмотреть два момента, к которым обещал себе обратиться, при обстоятельствах, которые я предвидел слишком явно. Первый заключается в том,

чтобы заявить Вам, что, если Вы все-таки уедете до того, как я освобожусь, я *не увижу Вас больше до конца жизни*. Второй состоит в том, чтобы указать Вам ваши ошибки, чтобы Вы не увезли с собой представление о ненадежном и безответственном человеке, клеветнике, человеке, который несправедлив, чьи несчастья ожесточили его до такой степени, что он стал необщителен; и с листом бумаги, лежащим передо мной, я начну это обсуждение; когда же я закончу, я позволю Вам быть единственным судьей...

Но Вы будете повсюду искать оправданий, не так ли? Вместо оправданий Вы будете отделываться шутками... и скажете мне, что это не Вы, но ваш двойник... Я вполне согласен; но, по крайней мере, Вам придется признать, что тот, поддельный, двойник играет весьма жалкую роль, и что Юпитер, который дергает двойника за нитки,— большой мошенник... Но от таких оценок наши доспехи не страдают... и нам доставляет удовольствие их получать... Тогда убеждены ли мы, что именно так следует позднее представлять все в хорошем свете?.. Что ж, сударыня, прежде чем Вы уедете, я заклинаю Вас оказать мне последнюю услугу и заверить меня, что это не так... В противном случае, клянусь всем, что для меня дороже всего в этом мире, что, когда я выйду отсюда, в моем сердце будет одна лишь ярость и величайшее желание дать ей выход.

Но хватит об этом, давайте вернемся к нашей теме, самое время это сделать. Самый простой из всех секретов, который, я полагаю, хорошо известен каждому двенадцатилетнему школьнику, состоит в том, что, когда перечеркивают строку, такая строка приобретает особый смысл в любом абзаце, что запутанные письма приобретают смысл, когда читаешь то, что перечеркнуто, и что не теряется ни одной запятой, когда это делается внимательно; те, кто вымарывают строки в моих письмах, слишком

хорошо образованны, чтобы не знать, что они делают; они просто хотят меня еще чем-нибудь занять... Я благодарю их, поскольку нет ничего хуже праздности. Ваши строки, которые я сейчас собираюсь расшифровать и сопоставить, и которые находятся прямо перед моими глазами, взяты из двух различных писем, датируемых примерно одним и тем же периодом; и, не подвергая их ни малейшему изменению, я вернул каждому из них его настоящий смысл. Я буду хранить их очень бережно, и Вы будете удивлены, когда их увидите. Вот каков мой текст, сударыня, и, начав отсюда, я смогу убедить Вас не только в вашей отвратительной лжи, но и в вашей жестокости по отношению ко мне, и, прежде всего, в вашей ужасной непоследовательности. Я не ошибусь, назвав ее *плодом вашего сердца*, но не вашей души, поскольку замысел слишком искусно соткан, чтобы не распознать в нем истинное желание причинить боль и вред: план, столь же бесчестный, сколь и гнусный, плод злого сердца, если он принадлежит Вам, чрезвычайно подлый и отвратительно услужливый, даже если Вы всего лишь были сообщником в этом преступлении. Я предпочел бы думать именно так.

1-е письмо... сентябрь 78-го
(Перечеркнутые строки восстановлены
для воссоздания их смысла.)

«Я видела высшую жрицу. Я увижусь с ней снова, я не испытываю досады; действовать слишком поспешно — значит обречь свои действия на неудачу, в умах все еще царит предубежденность. Продвигаясь медленно, но уверенно, и используя веские аргументы, мы выиграем, и ваше заточение не продлится *в самом худшем случае*, дольше весны. Г-жа де Сад менее хорошо осведомлена, чем я, они все от нее скрывают».

Весна заканчивается 22-го июня, и, соответственно, до этого времени нам нечего сказать, кроме как о фразе в *самом худшем случае*. Но не будем придираться к таким мелочам. Не будете ли Вы любезны сказать мне, сударыня, что я не должен вывести из этой фразы, что меня совершенно точно освободят в июне?

2-е письмо... январь 79-го
(Перечеркнутые строки восстановлены для воссоздания их истинного смысла.)

«Я не могу сказать Вам, когда Вас выпустят... в худшем случае, у нас есть в запасе один ход,— это чтобы ваша жена и дети бросились в ноги королю: одна будет умолять вернуть ей мужа, другие — их отца, и проч.»

Доказанное противоречие

Первое: если мое заключение не должно продлиться дольше весны *(в крайнем случае)*, что, как Вы говорите, Вам точно известно, тогда почему, учитывая, что Вы лучше осведомлены, чем г-жа де Сад, Вы говорите, что Вы *не можете мне сказать, когда меня выпустят?* и, если Вы не можете мне сказать, когда меня выпустят, почему Вы мне говорите, что *мое заточение не продлится (в самом крайнем случае) дольше весны?* Второе: если в крайнем случае я не должен оставаться здесь долее чем до конца весны, почему Вы говорите мне, что *для того чтобы меня освободили, моя жена и дети собираются броситься в ноги королю?* И если для того, чтобы меня освободили, моя жена и дети должны броситься в ноги королю, почему Вы говорите мне, что мое заточение *не продлится (в крайнем случае) дольше весны? Г-жа де Сад менее хорошо осведомлена, чем я, они все от нее скрывают?* Попробуйте

выпутаться из этого, сударыня, используйте все ваши *многоталантливые* запасные ходы, для того чтобы выбраться из этого лабиринта. Неужели нельзя найти своему уму лучшее применение, нежели использовать его для того, чтобы искать оправдания своему сердцу?

Чистая ненависть, доказанная без всяких сомнений

Я иногда говорил себе, что вполне возможно, что меня постигнет даже еще большее несчастье, чем те, которые я до сих пор испытал... Что бы это могло быть? Это могло бы быть получение письма, в котором меня уговаривают попытаться совершить побег, если это возможно, или если бы кто-нибудь передал мне яд или напильник... Было бы раз и навсегда доказано, что, если бы я был приговорен к пожизненному заключению, это были бы единственные оставшиеся средства, которые позволили бы мне покончить с горестным положением, в котором я оказался, и я бы ими воспользовался. Тогда ситуация была бы ясна...

Если есть на свете что-нибудь синонимичное *напильнику*, *яду* или *совету*, то это, без сомнения, хитроумный и милый *запасной ход*, который Вы, похоже, с таким удовольствием открыли, сударыня, и заключающийся в том, *чтобы моя жена и дети бросились в ноги королю*. Если бы я прочитал эту фразу до того, как поехать в Экс, если бы я не видел и не слышал то, что я *увидел и услышал* в этой части света, я клянусь Вам своим словом чести, и находясь в полном сознании, что воздействие вашей фразы привело бы к тому, что я без лишней суеты взял бы кусок стекла из моего окна и проглотил бы его, запив стаканом воды... и в этом я снова клянусь Вам моим самым подлинным словом чести.

Но, будучи уверенным тогда и сейчас, что физически невозможно, чтобы мое заточение было вечным, по тысяче причин, которые слишком долго здесь перечислять, лучшие из которых состоят в том, что, если говорить о пожизненном заключении, тогда сам процесс и его результаты были совершенно бессмысленны, и что, если бы должно было последовать пожизненное заключение, этот самый приговор, если предположить, что они взяли бы на себя труд его вынести, был бы бесконечно менее суровым. Будучи уверенным, повторяю, в здравости этого аргумента, подтвержденного мне здесь господами Симеоном, Рено, Гофриди, генеральным адвокатом и г-ном дю Бурже[69], я ограничился тем, что сказал самому себе, увидев, как г-жа Руссе в качестве прощального подарка предлагает мне средство, к которому прибегают лишь в самых крайних случаях и тогда, когда пожизненные заключения выносятся без надежды на досрочное освобождение: *вот друг, который меня оставляет, который становится эхом и марионеткой тиранов, и который, когда-то откровенный и честный человек, превращается в кого-то чрезвычайно безнравственного и чрезвычайно вероломного.* Да, сударыня, именно так я и сказал себе, окропляя эту речь, по поводу вашего отъезда, несколькими слезинками,— не из страха, об этом в данном случае речь не идет, испытывая печаль при виде того, как друг добровольно берет на себя таким образом миссию воткнуть в меня нож в момент, когда я столь уязвим, видя, что пустые соблазны моих палачей могли возместить ей потерю несчастного друга, который приучился любить ее как сестру.

Моя жена и дети бросаются в ноги королю! А Вам известно, сударыня, что я настолько люблю своих детей, что скорее бы предпочел провести всю жизнь в тюрьме, чем подвер-

гать их явному бесчестью, а такой маневр обесчестил бы их навечно? Неужели Вы считаете г-жу де Монтрей полной дурой, женщиной, способной обречь своих детей на полное разорение; неужели Вы думаете, что, как только мое дело было бы заслушано, мой суд закончен, она скорее не наняла бы пятьдесят вооруженных людей, если бы это потребовалось бы тогда, чтобы освободить меня, чем (для достижения той же цели) подвергнуть риску и свою дочь, и ее детей? Женщина по имени г-жа де Сад бросается в ноги королю, вместе со своими детьми... Ах! Вам известно, сударыня, что такой поступок вошел бы в историю, при том, что подобных ему немного найдется в любое царствование?.. Эпоха Людовика XV предлагает лишь один пример: некоего г-на де Лалли[70]...

Но я проявляю большую любезность, тратя свое время на доказательство несостоятельности такой фантазии... которая обязана своим существованием только тому отвратительному пристрастию, которое Вы имеете к тем, кто меня преследует, и кто, вне сомнений, говорил Вам: «*Напишите ему это; это будет мило, Вы увидите, какое воздействие это окажет на его ум*». Они заблуждаются, сударыня, это причиняет боль не моему уму... Это немного ниже... (как Вы, бывало, говаривали в более счастливые времена), да... именно туда вонзился нож, и вонзился глубоко, и сделал не булавочный прокол, а глубокую рану, и яд, которым было заражено лезвие, сделает рану неизлечимой.

Я сказал все, что должен был сказать, сударыня... Теперь мне остается лишь пожелать Вам хорошего и приятного путешествия... Если бы я хотел завести волынку на одну и ту же старую тему, я бы сказал, что, раз уж Вы уезжаете без меня, несмотря на свое обещание, это самое очевидное указание на то,

что мои горести еще не заканчиваются. Конец вашего письма — *наступит время... позаботьтесь, чтобы я услышала, как Вы поживаете, и проч.*— отдает сильным душком, и это приводит меня к мысли о том, что мне все еще долго страдать в этой омерзительной тюрьме, и что Вы обманули меня самым жестоким образом, когда дали понять, что истечение срока совпадет с окончанием весны.

Но я не хочу придавать еще больший оттенок желчи и черноты мыслям, которые и так уже довольно мрачны... Вам и самой должна быть хорошо знакома боль, которую причиняет мне этот отъезд... Я *чувствую ее до глубины своего сердца!..* И (несмотря на ваше поведение) для меня было некоторым утешением дышать одним с Вами воздухом... Но нечестно с моей стороны так долго злоупотреблять Вашей терпимостью... Кроме того, какую пользу Вы можете мне принести, оставаясь здесь? Вы видите, как все это тянется, так же, как видите, что предстоит пройти немалый путь, прежде чем все закончится!

Поезжайте, сударыня... поезжайте... возвращайтесь к своим собственным делам... После того как Вы посвятили время своим друзьям, правильно и должно подумать о себе... Все-таки думайте обо мне время от времени... даже в разгар своих наслаждений; поезжайте в Ла-Кост в августе месяце, я приговариваю Вас сделать это, посидите на скамейке — Вы знаете, о какой из них я говорю?.. Да... и, когда будете сидеть там, скажите: «Год назад он был здесь, рядом со мной... да, я была здесь... а он — там... Он раскрыл мне свое сердце, с той прямотой и наивностью, которые ясно доказали, как много я для него значила... Я попросила его обещать мне... он взял мою руку и произнес: "Мой дорогой друг, я клянусь вам"... "Ах,— сказала я,— это будет для вашего же собственного счастья..."

И ответом его было: “Ах! разве никакого иного ответа вы не могли бы мне дать?”»... И затем Вы пойдете в маленькую зеленую гостиную... и Вы скажете: «Мой стол был вон там... именно там я писала ему все письма, ибо его жизнь была для меня открытой книгой... Иногда он сидел в том кресле...» — Вы знаете, какое кресло я имею в виду?— «И, сидя там, он говорил мне: “Пишите... *Мы сделаем...*” — “Но, сударь, *мы*?” — “Да, дорогой друг, *мы*: наши фразы должны быть, как наши сердца... Поэтому, пожалуйста, поставьте *мы...*”» А потом Вы подойдете к часам и заведете их... потом Вы обойдете два или три раза большую гостиную и скажете: «Даже если бы я потеряла его навсегда, все равно... как дороги для меня все эти места!..» Да, сделайте все это, и я, навсегда опечаленный и несчастный, навсегда попавший в ловушку между надеждой (возможно, весьма легкомысленной надеждой)... и желанием покончить со своими несчастьями... Я буду бродить с Вами во время всех этих прогулок и этих воспоминаний... возможно, я смогу снова сжать вашу руку... Вы знаете, какую власть может иметь иллюзия над чувствительной душой?.. Вы подумаете, что видите меня, а это будет ваша собственная тень... Вы подумаете, что слышите мой голос... а это будет лишь голос вашего сердца... Кто знает, не начнут ли надвигаться на Вас какие-нибудь дурные предчувствия: Вы вспомните эти письма... да, эти жестокие письма, которые Вы оставляете со мной... и которые будут всем, что останется у меня от Вас... как те бедняги, которых нищета вынуждает есть самую несовместимую с их организмом пищу; я буду читать их... потому что их написали Вы... Я буду дорожить ими, потому что знаю: Вы писали их, не думая...

Прощайте, сударыня... да, прощайте... По крайней мере, я говорю это без слез на глазах... Передайте мне известия о себе че-

рез г-жу де Сад, а она передаст Вам мои... Но, пожалуйста, будьте так добры написать мне еще одно короткое письмо перед своим отъездом... чтобы сказать мне день... да, день... Ибо я непременно хочу знать день, когда Вы уезжаете. Еще раз, прощайте. Вы можете видеть, что я отказываюсь прибегать к принятой концовке.

Раскройте... раскройте мне свое сердце, и Вы увидите чувство, которое ее заменяет.

Де Сад

À Carteron

К Картерону, он же Юность, он же Мартен Киро

[4 октября 1779 г.]

Мартен Киро... ты ведешь себя весьма нахально, сынок, если бы я был там, я бы сыграл с тобою пакостную шутку... Я бы сорвал с тебя этот твой драный парик, который ты каждый год пополняешь волосами с задниц, собранными с биде на дороге между Куртезоном и Парижем, что бы ты тогда сделал, старая ты обезьяна, дабы выправить положение? Эй, давай, говори, что бы ты делал? Стал бы бегать, как какой-нибудь пикардиец, рыщущий в поисках орехов, свалившихся с дерева, и выщипывал бы и выдергивал налево и направо среди всех этих черных старых штуковин, выстроившихся вечером вдоль лавок от одного конца улицы Сент-Оноре до другого, а потом, на следующий день, с помощью некоторой толики сильного клея напялил бы парик обратно на свой чешуйчатый лоб, так чтобы он был незаметнее вошки на бороде потаскухи, не так ли, мой мальчик... Ладно... давай немного потише,

если не возражаешь, так как я устал так долго выслушивать оскорбления черни. Верно, я поступаю так, как поступают собаки, и, когда я вижу, как свора дворовых сук облаивает мои пятки, я поднимаю ногу и мочусь им на нос.

Е...ть меня, послушай, ты образован, как фолиант, где ты набрался такого множества прелестных вещиц? Эти слоны, убивающие Цезаря, этот Брут, крадущий скот, этот Геракл, эта Прюнельская битва и этот Варий!.. О, это действительно отличная штуковина! Все это ты украл в один прекрасный вечер, по пути домой со своей хозяйкой, после того как сводил ее на ужин с ее мамочкой, ты совал это ей сзади под юбки, по одной штуке, по мере того, как это попадало тебе в руки, а потом сделал вид, будто ешь вишни, так что бедная маркиза прибыла в тот вечер домой со слонами, Гераклами и кормилами под платьем, отчего держалась напряженно и прямо, как стрела, словно она вовсе и не дочь судьи. Иногда ты болтаешь мне о какой-то женщине с ребенком — ах, да... я ведь не научил тебя своим трюкам для беременных дам, нет, но для тебя... У тебя ребенок, мой мальчик? Это не г-жа ли Пату? Или это Милли ВЕСНА? Скажи мне... скажи мне, кто это, в таком случае, кто забеременел в твоем доме? Разумеется, пусть беременеют, если это им нравится, и помни о моей песенке: «*Дни коротай в утехах страсти плотской...*» Что ж, именно эту самую песенку я напеваю здесь — по шесть раз на день. И четыре раза насвистываю.

Что, никчемная ты обезьяна, с лицом, похожим на сапожную щетку, запачканную ежевичным соком, ты, шест в винограднике Ноя, ты, ребро в чреве кита Ионы, ты, обгоревшая спичка из бордельской трутницы... ты, зловонная грошовая свечка, ты, гнилая подпруга осла моей жены... что, ты не нашел мне никаких островов? Ты осмеливаешься мне сказать, что ты

и четверо твоих товарищей с фрегата, обойдя берега вблизи марсельского порта, не сделали ни малейшей попытки открыть для меня никаких островов и не нашли мне штук семь за одно утро? Ага, ты, старая тыква, маринованная в клоповьем соке, ты, третий рог на голове дьявола, ты, тресковая голова с двумя устрицами вместо ушей, ты, старый, изношенный башмак сводницы, ты, грязное белье, полное красного *невыразимого* Милли Весны, ага! если бы я сейчас до тебя добрался, как бы извозил я в нем твою грязную физиономию, это твое печеное яблоко, которое всему миру кажется обгорелым каштаном, чтобы отучить тебя рассказывать такое вранье.

Как мило с твоей стороны напомнить мне, что ты никогда не испытываешь приступов морской болезни. Что я могу сказать тебе по этому поводу, мой мальчик? Мне уже давно известно, что ты переносишь вино и воду лучше, чем я. Но пока ты притворяешься, какой ты храбрец, стоя на палубе, достаточно было бы картонного морского змея, чтобы ты улетел в воду или в ад, если бы он разверзся под твоими ногами... У каждого из нас есть свои маленькие недостатки, Киро, мой мальчик... Счастлив тот, у кого их меньше всех... Но что это за разговоры о Венеции? Я никогда не был в Венеции; это единственный город в Италии, с которым я не знаком, но однажды я поеду туда, по крайней мере, я так надеюсь. Что же до шкипера Равиоля, это совсем другое дело. Я действительно его знаю. Я имел честь иметь его под своим командованием в течение трех недель, я помню, как мы вместе атаковали мост при Арле, в битве при котором мы понесли серьезные потери, и я был вынужден с позором выйти в отставку без всякого пансиона. Ты, так же, как и я, не умеешь плавать и, следовательно, не имеешь склонности к морским баталиям, так вот, ты крался вдоль бере-

га, с седлом на спине, словно черепаха, глубоко засунув руки в сапоги, будто в перчатки, пытаясь встретиться с неким нетерпеливым господином; ага, я не забыл все твои замечательные подвиги и достижения.

Я был весьма доволен, узнав, что моя эскадра находится в пути. Я вскоре к ней присоединюсь со своим шлюпом «Бранящийся». Все, чего я сейчас дожидаюсь, это шестьдесят или восемьдесят пушек, и я хочу, чтобы на вершине моей мачты развевалось сорок ослиных елдаков, дабы мы производили более грозное впечатление. А затем я распущу свои паруса и этой весной отправлюсь в поход.

Значит, ты считаешь, Мартен, мой мальчик, что тебе не нравится, как я пишу? Выслушай меня по этому вопросу и проследи ход моих рассуждений.

Я пишу только для своей жены, которая очень хорошо умеет разбирать мой почерк, как бы плох он ни был. Те, кто без малейших полномочий или права делать это хотят сунуть свой нос в этот почерк, который так тебе не нравится, если он им не по нраву, могут идти на... Если в этом месте ты хотел бы несколько расширить свою эрудицию, что ж, тогда вот тебе урок, мой мальчик: как мужчины, так и женщины, которые важничают в таком духе, отнюдь не обижаясь на то, куда я рекомендую им отправляться, если они осмелятся быть честными сами с собой, ответят мне, как ответил регент одной женщине, которая пожаловалась ему, что кардинал Дюбуа послал ее туда, куда я посылаю их. «*Мадам, кардинал — грубиян. Но иногда он дает дельные советы*». Прощай, Киро. Мои наилучшие пожелания Готрюшу, когда ты его увидишь; скажи ему, что я совершенно счастлив его воскрешению; и я свидетельствую свое особенное почтение Милли ВЕСНЕ.

Сего вечера 4-го числа по получении твоего 3-го письма или, как говорит Милли Весна, практически мгновенно.

À madame de Montreuil

К г-же де Монтрей

[29 октября 1779 г.]

Сударыня, я пытался, насколько это возможно, и, несмотря на все, что мне приходится выносить, избегать того, чтобы надоедать Вам просьбами, надеясь, что, если я буду действительно очень редко брать на себя такую смелость, Вы будете более восприимчивы к тем важным причинам, которые могли бы вынудить меня нарушить молчание. Несмотря на вашу злобную ненависть ко мне, коей имеется слишком много признаков, чтобы оставались еще какие-то сомнения, я льщу себе надеждой, что только в качестве чрезвычайно несчастного человеческого существа, которое не просит у Вас ничего, кроме молока человеческой доброты, которую даже самый последний из людей мог бы справедливо ожидать от вашей доброй души, я могу надеяться, что Вас тронут моя боль и страдания и подвигнут Вас на то, чтобы облегчить невзгоды, которые к настоящему моменту они, должно быть, утомились причинять мне так долго и так бессмысленно.

Воздух в этом месте, сударыня, и образ жизни, который решил испытать на мне комендант, настолько пагубны для здоровья, что моя грудь уже поражена до такой степени, что я харкаю кровью, и я по-настоящему боюсь, что может последовать серьезная и, возможно, смертельная болезнь легких, от которой я могу и не оправиться, если буду иметь несчастье провести зи-

му в этом отвратительном месте. Если Вы спросите меня о причине этого физического расстройства, которое они, вне сомнения, держат от Вас в тайне, и о стадии, до которой она развилась,— вся она объясняется мелкими эгоистичными причинами, которые Вы можете легко представить; я буду иметь честь, сударыня, изложить Вам суть в четырех словах, надеясь, что ваши многочисленные добрые дела в прошлом дадут Вам возможность не придавать значения банальности этих подробностей, сделают Вас более восприимчивой к усилившимся страданиям, таким реальным, как эти, и наконец склонят Вас принять меры, дабы их исправить.

Во время моего первого заточения сюда я находился в благоприятном для здоровья и просторном помещении, я ел в три часа и мог соответственно соединять этот прием пищи с молоком, которое я привык пить каждое утро в течение более чем десяти лет. Во время еды рядом кто-нибудь находился, составляя мне компанию, что скрашивало мне обед и позволяло легче усваивать пищу. Тогда, когда я отправился в Экс, г-н де Ружемон, солдат, которого поистине следует наградить за его справедливость, которая делает ему честь, заверил меня, что, если я буду иметь несчастье вернуться сюда,— что тогда было совершенно неизвестно,— со мной будут обращаться несравненно лучше по моему возвращению, и я буду иметь все удобства и условия, которые только пожелаю. И тем не менее, этот господин, которому нужно было лишь быть честным в отношении того, что он мне обещал, так, словно наслаждаясь тем, что изображает из себя мошенника, не только тем, что не сдержал ни одно из этих обещаний, но даже зашел так далеко, что лишил меня тех немногих удобств, которые были у меня прежде, он по собственному почину поместил меня в другое помещение,

лишил меня удовольствия даже минутного отвлечения за едой и заставил меня обедать в одиннадцать утра; и все это для того, чтобы облегчить жизнь другим заключенным, и особенно для удобства и удовольствия своих верных церберов, чьим интересам здесь все приносится в жертву.

Результатом всего этого, сударыня, явилось то, что из-за того, что прошлую зиму я провел в очень плохой комнате, где никогда бы не высохла свежая штукатурка, полностью лишенной воздуха, комнате чрезвычайно сырой, в которой совершенно невозможно развести огонь, от того, что я лишился некоторого разнообразия, которым я наслаждался во время ужина, и более, чем от чего-либо другого, из-за упорного нежелания изменить время этого обеда, что делало для меня невозможным пить молоко, как и прежде, и вынудило меня более чем на год прекратить его употреблять,— из-за всего этого, повторяю, мое здоровье полностью и напрочь разрушено, и я харкаю кровью. Этот недуг, сударыня, который в любом другом месте можно было бы вылечить хорошим уходом и осуществляемой под наблюдением диетой, здесь не только не уменьшается, но становится еще хуже с каждым днем, как по причинам нравственным — о которых Вы знаете больше меня, поскольку Вы питаете змей, которые вызывают эти причины,— так и из-за физической ущербности этого места, ибо, вдобавок ко всему прочему, что я уже описал, во всех этих комнатах присутствует еще какой-то изъян, склонный порождать эту болезнь в тех, у кого ее еще нет: только подумайте, что должно происходить с теми, у кого она уже есть! Изъян, на который я ссылаюсь, сударыня,— это то, что полы в этих помещениях не покрыты плиткой, и невозможно ступить и шагу, чтобы не поднять ужасное облако пыли, штукатурки и селитры, смертельно опасной

для груди и легких. Таким образом, сударыня, Вы можете видеть, что здесь, вместо того чтобы уменьшаться, болезнь имеет лишь склонность все более воспаляться и ухудшается во всех смыслах. Если этот ужасный недостаток присутствует здесь в течение веков, то он все равно остается весьма реальным и весьма опасным, и, если они не исправляют его, причина очевидна: удобно себя чувствует человек или нет, не имеет ни малейшего значения, смысл в том, что ты *здесь*. Это как те содержатели постоялых дворов, которые никогда не ремонтируют свои дома из опасения, что постояльцы перестанут у них останавливаться, пока там работают каменщики.

Таким образом, исходя из этих соображений и взывая к чувствам вашего сердца, которые мои страдания должны пробудить в Вас, даже если это сердце отвратили мои недостатки, я беру на себя смелость, сударыня, указать Вам, что мои страдания продолжаются уже весьма долгое время, и что настало время, как мне кажется, чтобы мне, наконец, позволили спокойно вздохнуть. Но поскольку у меня есть все основания полагать, что ваш пакт непоколебим и что ничто не может ни увеличить ни на день, ни уменьшить те договоренности, которые Вы заключили, я бы поэтому попросил Вас, находясь в ожидании свободы, на которую после восьми лет страданий я имею все основания надеяться, чтобы меня по крайней мере перевели в другую тюрьму. В этой любезности, сударыня, никому не отказывают, когда она оправдана причинами здоровья.

Итак, могут ли быть какие-либо более настоятельные или более законные основания, чем те, за которые поручится тюремный врач; поскольку я поставил его в известность о своих симптомах, он посещал меня и, после того, что увидел, предписал диету, которой я придерживаюсь; какие могут быть лучшие

основания, повторяю я, чем тот факт, что я харкаю кровью в результате моей неспособности переносить образ жизни и воздух того места, где оказался? Этот перевод не будет никому в тягость, сударыня, я заплачу за него из своего собственного кармана. Если они боятся за мою сохранность, пусть вместо шести человек назначат мне в сопровождающие еще дюжину, если им угодно,— я их оплачу. Если им все равно, куда меня пошлют, как, я представляю себе, и должно быть, я прошу, чтобы предпочтение было отдано Лиону, хотя мне и известно, что г-на де Бори[71] там больше нет. Тот воздух, которым так долго дышал там такой приличный человек, должен быть пропитан его добродетелями, некоторые следы которых должны еще оставаться. Кроме того, сударыня, существует еще одна причина, связанная с предыдущими: это воздух в этом городе, обогащенный и сгущенный туманами реки Роны и испарениями минерального угля, которые особенно рекомендуются людям, страдающим от инфекции легких.

Нет ничего легче, чем этот перевод, сударыня; отсюда до окраины, где проходит лионский дилижанс, недалеко. Меня можно препроводить туда в окружении сорока человек, если им будет приятно это сделать. Я согласен на такую договоренность и беру на себя расходы, твердо веря, что никогда бы не смог заплатить слишком много за вызволение отсюда, пусть бы я оказался в результате в самом аду. Что же до путешествия из Парижа в Лион, все, что им нужно сделать,— это набить весь дилижанс людьми, которые бы меня охраняли. Если я не убежал, когда приехал сюда с пятью стражниками, вряд ли я попытаюсь убежать при наличии восьми или десяти.

Заканчивая свое письмо, сударыня, в котором мои настоящие страдания не позволяют мне вдаваться в дальнейшие по-

дробности, и которое, возможно, уже и так содержит более чем достаточно, чтобы подвергнуть испытанию ваше терпение, я со всей искренностью и настойчивостью повторяю свою просьбу устроить мой перевод, и заклинаю Вас, если этому суждено случиться, пусть это будет сделано до наступления холодной погоды, поскольку позднее я не смогу перенести ни холодный воздух, ни путешествие. Не желайте смерти грешнику, сударыня, возможно, он еще прозреет; мне кажется, что его обращение окажет большее воздействие на гордыню или восприимчивость, чем его гибель. Одним словом, сударыня, я умоляю Вас принять во внимание, что то, о чем я Вас прошу, служит не для сокращения моего срока и не для возвращения всего, что было глупо отобрано у меня, но для перевода в благотворное для здоровья место, такое, где я, хотя и находясь взаперти, смогу по крайней мере время от времени видеть мельком человеческие существа, дышать свежим воздухом, когда захочу, и жить в соответствии со своим собственным ритмом, а не с ритмом других,— это то, в чем не отказывают никому после столь многочисленных судов и несчастий и такого долгого заточения; что, в самом худшем случае, я бы предпочел башню Монбуазье в Пьер-Ансизе всей Венсеннской тюрьме. И если Вы откажете мне в такой малой услуге, мое умонастроение таково, что, если бы я имел несчастье провести в этом месте еще одну зиму, я искренне верю, что она была бы последней, и в этом случае, сударыня, весьма вероятно, что это последний раз в моей жизни, когда я имею честь быть, сударыня, вашим послушным и самым покорным слугой.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы заверить г-на де Монтрея в моем искреннем уважении и поблагодарить его

за книги, которые он так любезно одолжил мне прошедшим летом.

Это письмо написано 29-го октября, но будет отослано только тогда, когда я буду знать точно, что они намереваются заставить меня проводить здесь зиму, что будет определено, когда я увижу, какие из последних предметов, которые я просил, действительно переданы.

À madame de Sade

Г-же де Сад

[2 декабря 1779 г.]

Но правде сказать, сударыня, мне кажется, что, по Вашему мнению, я жалуюсь без всяких на то оснований... чтобы казаться более интересным. Ах! великий Боже, чего бы я мог добиться, прибегнув к такому глупому трюку? Какая польза могла бы быть тому, кто в не меньшей степени, нежели в собственном существовании, убежден, что его срок установлен и определен, и что, если бы даже он лежал на смертном одре, ничто не могло бы ни сократить этот срок, ни заставить кого-нибудь назвать ему дату освобождения? Неужели я не осознаю со всей остротой, к чему может привести упрямство старой идиотки? Не опасайтесь, что я когда-либо попытаюсь его преодолеть... Это легло бы пятном на мое чувство собственного достоинства... Поскольку Вы совершенно не можете поверить, что неприятности, на которые я жалуюсь, истинны, необходимо, дабы оправдать отсутствие у Вас интереса к ним и ваши продолжающиеся удары в спину даже в моем нынешнем состоянии,

необходимо, повторяю, чтобы те, кто должен описать Вам эти неприятности в том виде, в котором они действительно присутствуют, вместо этого предлагали Вам размытую картину... И с их стороны это меня не удивляет...

По правде сказать, они не такие глупцы, чтобы точно живописать ситуацию: это бы вызвало у людей озабоченность и стоило бы им их заключенного... А вместе с ним и их жалованья! Должна ли кровь вечно литься в глотку каннибала, который ею питается? Что бы с ним стало, если бы поток был бы перекрыт?

Да, сударыня, я страдаю, и, что хуже, с каждым днем страдаю все больше и больше. По этому поводу не хотите ли послушать небольшую историю, которая иллюстрирует правила гуманности, царящие в этом заведении? Вчера вечером, почувствовав себя хуже в течение последних нескольких дней, я подумал, что надо бы написать хирургу записку и попросить у него новое лекарство, которое, как я надеялся, могло помочь мне почувствовать себя лучше. Я лег в постель и заснул, почувствовав себя несколько спокойнее, в надежде, что он вскоре даст мне то, что я просил. Проснувшись утром, я спросил: «Ну что, Вы принесли то, о чем я просил?» — «Ни слова больше,— последовал ответ,— я возвращаю Вам вашу записку».— «Мою записку?» — «Да, сударь, вашу записку: вы адресовали ее хирургу, а это преступление... Записка должна была быть адресована коменданту».— «А лекарство?» — «Ах, лекарство! Когда Вы направите вашу просьбу должным порядком...»

Ну что?! что Вы на это скажете? Это хорошо? Это доброе отношение? Внимательное? Однако, по совести говоря, это не вина тех, кто выполняет приказы, и я сберегаю свои проклятия для непростительной глупости тех, кто эти приказы отдает... Не хотите ли еще один примерчик, с пылу с жару?.. Три или

четыре дня назад из-за холода я не смог пойти гулять в сад. В один из дней погода сделалась теплее... Я пошел туда... Когда я там находился, мне говорят, что пришел хирург. «Очень хорошо,— говорю я,— пусть он придет в сад». «Сударь,— отвечают мне,— ничего подобного он не сделает; правила строго запрещают ему это делать. Выбор, сударь, за Вами: или пропускайте посещение хирурга, или пропускайте прогулку».— «Увы! — был мой ответ,— дело в том, что и то, и другое принесло бы мне огромную пользу».— «Это вполне возможно, сударь, но нас здесь заботит не чья-то польза, а правила...»

Так что Вы скажете на это, г-жа маркиза? Хирург не может навестить в саду больного человека!.. Как будто непременно нужно находиться на пороге смерти, чтобы получить право посоветоваться с врачом! Какая низость!.. И неужели взор правительства совершенно слеп к таким отвратительным вещам? И неужели нет никого, кто мог бы сделать выговор маленькому нижнему чину, способному подвергать достойных господ любой тирании, которая только существует, любой прихоти, которая мелькнет в его идиотском воображении? И весь мир в один прекрасный день об этом не услышит? Я бы скорее отдал на отсечение обе руки, чем не оказал бы услугу нации, просветив ее в отношении таких нарушений... А как может не быть нарушений, когда лицо, от которого все зависит, г-н Ленуар, чья обязанность — следить за подобными вещами, слепо действует по указке подчиненного, у которого имеются все основания на свете его обманывать? О! Я сорву с них маски, в самом деле, я это сделаю, я разоблачу эти ужасные деяния, эти отвратительные козни, эти заговоры, состряпанные алчностью и ненасытностью! Теперь я со всеми ними знаком, я узнал о них на собственном опыте: вся Франция тоже должна о них знать.

Отчего Вы не послали мне книги из нового списка, который я Вам передал? Очень странно, что Вы не получили старые, потому что я отослал их Вам больше двух недель назад. Это был трактат об инквизиции в нескольких томах; я не удивлюсь, если его перехватил Достопочтенный Отец Инквизитор; но, какие бы ужасы ни содержались в этом трактате, какой бы чудовищный закон ни находился бы в нем, какие бы меры каждая мудрая нация ни могла бы предпринять, чтобы запретить этот орган правосудия,— пусть попробует найти в нем что-нибудь, чего он еще не знает, и после прочтения он все еще сможет сказать, как крестьянин в басне: «*Ах! Мне было известно об этом гораздо больше!*»

А вот еще один поразительный пример. Как раз, когда я писал Вам это письмо, мне возвратили мою записку к хирургу, потому что адрес, где сначала было написано его имя, а потом г-на де Ружемона, оказался неразборчивым. *Внимательнее надписывайте письмо, или не получите никакого лекарства...* Я действительно думаю, что этот милый человек сходит с ума; следует смеяться над своим мелким тщеславием, и это я собираюсь сделать в письме, которое прилагаю к другому. Вы сказали, что мне дозволено писать, кому мне заблагорассудится. Было бы весьма необычно, если бы я мог писать своим друзьям, и, тем не менее не мог послать записку о состоянии своего здоровья врачу. Никому вовсе не нравится иметь дело с сумасшедшими, которые лопаются от гордости, слыша, как солдаты и тюремщики называют их «*Комендант*», и полагают, что наделены правом навешивать еще более тяжелые оковы на тех, кто лучше их самих, когда случай или несчастье приводят таких людей на их постоялый двор. Будьте любезны заставить их принять решение — да или нет — могу я или нет сообщать в письмен-

ном виде о состоянии своего здоровья врачу в иное время, нежели предписано, или когда я не чувствую необходимости для того, чтобы он наносил мне визит, но только лишь хочу справиться у него по какому-нибудь вопросу. Что за место! Что за человек! Если бы он только знал, как я его презираю и ненавижу! Если бы только он понимал, насколько глупость противна тем, кто наделен хоть толикой здравого смысла! Но я надеюсь, что однажды получу возможность высказать ему все это. Только эта сладкая надежда и поддерживает меня.

Так все-таки пошлите мне книги, перечисленные в той маленькой записке, которую я Вам недавно передал. Невероятно, что Вы не хотите их послать. Я был расстроен, узнав, что автор *«Французского путешественника»*[72] болен. Он очаровательный писатель. Почитайте эту книгу, если хотите замечательно провести время. Я не встречал ничего более поучительного и в то же время приятного для чтения. Я обещаю Вам, что это будет первая книга, которую прочитает мой сын. Пошлите мне все, что Вам удастся разузнать об этом авторе. Я особенно им интересуюсь из-за тех восхитительных вечеров, которые он мне подарил, как прошлой зимой, так и этой...

Какой-нибудь Отец Инквизитор, завсегдатай святой палаты, овернский точильщик ножниц, все эти отвратительные отбросы человеческой расы будут жить до восьмидесяти лет, поскольку хорошо известно, что характерная черта всех бесполезных и вредных животных — это то, что они живут дольше других, и некий аббат де ля Порт, восхитительный и очаровательный автор, который должен очаровывать все общество так же, как он очаровывает тех, кто его читает, покинет нас в разгаре своего творчества и не познает наслаждения, которое дает человеку завершение своего труда!.. И еще говорят, что

Провидение справедливо!.. О, клянусь честью, нет! Моя грудь? хуже, чем когда-либо... Как можно поправиться, когда день за днем происходят такие сцены? И все же однажды это закончится и у меня все еще будут в полном распоряжении обе мои руки.

Умоляю Вас, если еще не слишком поздно, пожалуйста, включите в посылку горшочек мази из костного жира или обычную мазь, фунт пудры, не штукатурку, как в прошлый раз, и пару тонких кожаных перчаток, подобных тем, что Вы посылали раньше.

À Carteron

К Картерону, он же Юность, он же Мартен Киро

[начало февраля 1780 г.]

Спешу воспользоваться случаем, г-н Киро, в начале Нового года, чтобы пожелать Вам и всем тем, кто близок и дорог Вам, счастливейшего из годов. Наконец, мои испытания и несчастья подходят к концу, г-н Киро, и, благодаря многим добрым делам и мощной защите г-жи президентши де Монтрей, я надеюсь, г-н Киро, иметь возможность предложить Вам те же самые добрые пожелания *во плоти* через пять лет после послезавтрашнего дня.

Да здравствует влияние, г-н Киро! Если бы моя несчастливая звезда соединила мою судьбу с какой-либо другой семьей, это бы означало, что я остался бы здесь на всю жизнь, ибо Вам известно, г-н Киро, что во Франции тот, кто выказывает неуважение к шлюхам, не остается безнаказанным. Можно дурно

отзываться о правительстве, короле, религии: все это не имеет значения. Но шлюха, г-н Киро, ну что Вы! Будьте осторожны и никогда не обижайте шлюху, или в мгновение ока Сартины, Мопу[73], Монтреи и другие любители борделей примаршируют *строем* и храбро встанут на защиту шлюхи, и *бесстрашно* посадят ваше превосходительство в тюрьму на двенадцать или пятнадцать лет, и все из-за шлюхи. Так что нет ничего лучше *французской полиции*, сами видите.

Если у Вас есть сестра, племянница, дочь, г-н Киро, посоветуйте ей стать шлюхой; пусть попробует найти профессию лучше! И в самом деле, как может девушка устроиться лучше, чем в ситуации, когда, в добавление к роскошной и легкой жизни, плюс постоянное опьянение распутства, она так же обладает такой же поддержкой, влиянием и протекцией, как самая благородная горожанка? Вот то, что они называют поощрением высоких моральных стандартов, мой друг; вот что подразумевается, когда приличных девушек удерживают от того, чтобы они оказались в канаве. Хвала Господу! Хорошо придумано! О, г-н Киро, в какой просвещенный век мы живем! Что же до меня, то я даю Вам слово чести, г-н Киро, что, если бы волею небес я не родился бы в таком положении, чтобы иметь возможность прокормить свою дочь, я клянусь Вам всем, что почитаю самым святым на свете, что я в то же мгновение превратил бы ее в шлюху.

Я надеюсь, г-н Киро, что Вы позволите мне предложить Вам в качестве новогоднего подарка новое произведеньице, выбранное маленькими лакеями вашей хозяйки и полностью стоящее их вкусов. Я был вполне убежден, что это творение будет для Вас интересно, и поэтому я уступаю его в вашу пользу. Оно анонимно; великие авторы, как Вы знаете, предпочитают появ-

ляться тайно. Но поскольку любители книг, такие, как мы, любят угадывать, кто прячется под маской анонимности, мне кажется, что мне удалось это выведать, и, если эта вещица принадлежит не перу несчастного работяги, проживающего на углу вашей улицы, по крайней мере, не боясь ошибиться, можно сказать, что это никто иной, как Альбаре. Этот достойный ребенок должно быть имел отцом того или иного из тех двух великих людей, *рынка или суда*, ничего иного быть не может. Моя ошибка проистекает из того факта, что они выглядят настолько похожими, и так легко приписать одному то, что исходит от другого, что велики шансы совершить ошибку. Это — как картины Караччи и Гуидо: эти два прославленных мастера в такой равной степени поднимаются до великого, что иной раз можно спутать их кисти. Боже мой! Г-н Киро, что за удовольствие обсуждать с Вами изящные искусства! Пальмиери, Альбано, Солимено, Доминикано, Брамант и Герчини, Микеланджело, Бернини, Тициан, Паоло Веронезе, Ланфранко, Эспаньоле, Люка Джиардино, Калабрезе и проч., все эти люди также известны Вам, как шлюхи — Сартину и сводники — Альбаре.

Но здесь, когда я пытаюсь говорить о таких вещах, никто не может поддержать со мной беседу. Есть только великолепный *лейтенант Шарль*, весьма ученая личность, который скажет Вам в один момент, что в *двенадцатом столетии* главная башня его крепости была взята с помощью орудий. Однако, к сожалению, возможность побеседовать с ним выпадает не так часто, как хотелось бы... Он — как *Моле*[74], он выступает только по важным дням.

Для того чтобы обогатить прилагаемую книгу, я сопроводил ее некоторыми примечаниями в попытке разъяснить текст, что, я надеюсь, не вызовет вашего неудовольствия, г-н Киро, и я хочу

думать, что Вы сохраните этот небольшой подарок на всю жизнь. Я приложил к нему маленькую песенку, несколько староватую и несколько непристойную, но даже при всем этом она должна оживить ваш вечер, когда Вы и ваши друзья, г-н Киро, приедете в Венсенн, чтобы насладиться за ужином тушеной телятиной или кроликом с ветчиной в «Ла-Рапе» или в «Ла-Редут».

Кстати, г-н Киро, будьте любезны сказать мне, идете ли Вы в ногу с веяниями моды, есть ли у Вас туфли для бега, пряжки-упряжки, или же Вы носите на голове ветряную мельницу. У меня имеется огромнейшее желание увидеть Вас в таком наряде, и я уверен, что это придало бы Вам весьма интересный вид. Только вчера я был не прочь нарядиться в одну из этих ветряных мельниц. Она принадлежала лейтенанту Шарлю, который в этот день как раз *выступал* (день был непростой); так вот, г-н Киро, Вы бы никогда не поверили, насколько я стал похож на рогоносца, как только мой лоб был покрыт кусочком фетра. О, да! Отчего же я стал похож на рогоносца, г-н Киро (ибо отчего-то ведь стал я на него похож)? Из-за шляпы? Из-за моего лба? Из-за лейтенанта Шарля? Это вопрос, который я оставляю для ответа Вам.

Я был бы очень признателен, г-н Киро, если бы в ответ на все те многочисленные услуги, которыми я Вас осыпал, Вы были бы так добры послать мне, в бумажном виде, маленькую модель дурацкого колпака вашего друга г-на Альбаре. У меня появился каприз, как у беременной женщины, посмотреть на образчик этой короны. Пожалуйста, разузнайте адрес его шляпника, ибо первое, что я намерен сделать, выйдя отсюда, это прямиком направиться туда и украсить свою голову подобающей шляпой.

А как обстоит дело с вашими удовольствиями, г-н Киро?

И кто же, Бахус или Купидон,
Венчает день ваш новою победой?
За каждого из двух бокал опорожнен —
*Так не двойной ли слава блещет метой?**

Я всецело уверен, что Вы на это полностью способны, и вина мерсо, шабли, эрмитаж, кот-роти, ланерт, романе, пафос, токай, херес, монтепульчьяно, фалерно и бри сладострастно щекочут ваши органы, когда Вы сидите, обнимая за целомудренные бока свою Памфилию, свою Аврору, Аделаиду, Розетту, Зельмиру, Флору, Фатиму, Пупонну, Гиацинту, Анжелику, Августину и Фатьмэ. Замечательно, г-н Киро! Поверьте мне, именно так следует проводить свою жизнь; и когда мать Природа создала вина, с одной стороны, и п...ды — с другой, можете быть уверены, что она предназначила их для наслаждения.

Что же до меня, г-н Киро, у меня тоже есть свои маленькие удовольствия, и хотя они, возможно, не такие радостные, как у Вас, но для меня не менее дороги. Я расхаживаю по своей комнате; чтобы поддержать мое настроение в обеденное время, у меня есть человек (и они считают, что оказывают мне этим огромную услугу), который регулярно и без малейшего преувеличения берет десять щепоток нюхательного табаку, чихает полдюжины раз, дюжину раз сморкается и отхаркивается не менее четырнадцати раз, предварительно добывая из глубин своей глотки сгусток мокроты, и все это за полчаса. Способствует очень приятному и занимательному приему пищи, особенно когда я сижу с подветренной стороны, Вы не считаете?.. Правда, чтобы я не скучал, есть высокий солдат-инвалид, который приходит раз в две недели и приносит мне официальный бланк, который я должен заполнить, а раз в год меня навещает лейте-

нант Шарль, который расхаживает взад-вперед, как кичливый павлин.

Ладно уж, г-н Киро, Вы должны признать, что эти удовольствия ничуть не хуже ваших: ваши только марают Вас во всех пороках, в то время как мои ведут ко всем добродетелям. Пойдите спросите г-жу президентшу де Монтрей, есть ли на свете лучшее средство, чем замок, чтобы поставить человека на правильный путь. Я прекрасно знаю, что существуют животные — Вы, например, г-н Киро (и прошу Вас простить меня),— которые говорят и утверждают, что можно попробовать для исправления тюрьму, но если она не поможет в первый раз, то пробовать снова — опасно. Но это чистая глупость, г-н Киро. Вот как правильно следует думать: тюрьма — это единственное средство, которое известно у нас во Франции; отсюда, тюрьма может быть только хороша; а поскольку тюрьма — это хорошо, ее следует использовать во всех случаях. Но она не сработала: ни в первый раз, ни во второй, ни в третий... Ну и что? В таком случае, отвечают они, это хорошее основание для того, чтобы попробовать ее в четвертый раз. Виновата вовсе не тюрьма, поскольку мы только что если не доказали, то, по крайней мере, установили, что тюрьма — это хорошо. Следовательно, проблема заключается в объекте и, соответственно, его снова следует посадить в тюрьму. Кровопускание благотворно для лихорадки; во Франции мы не знаем лучшего средства; поэтому пускайте кровь, кровопускание правит бал. Но для г-на Киро, к примеру, который обладает тонкими нервами или редким типом крови, кровопускание — это не выход: для него необходимо найти что-нибудь другое. «Вовсе нет! — возразит Ваш доктор,— кровопускание — великолепное средство для лечения лихорадки, это-то мы знаем совершенно точно. У г-на Киро ли-

хорадка: следовательно, необходимо пустить ему кровь». И все это называется силой разума...

В этом отношении люди, гораздо более разумные, чем Вы, г-н Киро, который (примите мои самые глубокие извинения) — не кто иной, как настоящий осел, эти люди говорят: «Язычники! Атеисты! Нечестивые души! Неужели Вы не можете увидеть разницу между физическими болезнями и болезнями души! Неужели Вы не понимаете, что не существует связи между душой и телом?» В доказательство этого в качестве примера беря Вас, шлюшьего угодника, пьяницу: ведь Вашу душу забрал дьявол, в то время как Ваше тело гниет в погребе в «Св. Евстахии»! Значит, имеется весьма огромная разница между душой и телом: следовательно, никак нельзя поставить знак равенства между способами лечения одного и способами лечения другого. Кроме того, я, врач, зарабатываю свои деньги тем, что пускаю Вам кровь, мне платят столько-то за каждый укол ланцетом; следовательно, Вам следует пустить кровь. А я, Сартин, зарабатываю деньги тем, что сажаю Вас в тюрьму: мне платят столько-то за каждого заключенного; следовательно, Вас следует посадить в тюрьму.

Что Вы можете сказать на такую логику, г-н Киро? Если хотите моего совета, держите язык за зубами и не пытайтесь прибегнуть к вашим избитым возражениям: тюрьма — это самое справедливое заведение, которым украшена монархия... Если бы я не держала за решеткой своего зятя, скажет Вам г-жа президентша де Монтрей, как бы я соединила пятерки, тройки и восьмерки, могла бы, возведя в квадрат 9, получить 23? и так все бы выстроила, чтобы, когда моя дочь пойдет навестить своего мужа в первый раз, когда пойдет к нему в последний раз, и, когда наконец она пойдет к нему, чтобы забрать его домой, более чем восемьдесят цифр будут одним и тем же? Эй, ты, здо-

ровенный дурень, продолжит президентша, разве я могла бы это сделать, если бы постоянно не беспокоилась мыслями о счастье своего зятя, о том, чтобы очистить его мысли или попытаться вернуть его на путь истинный?

И разве мои числовые сравнения не стоят гораздо большего, чем эти глупые рассуждения, которые Вы сейчас мне предлагаете? *Счастье, добродетели, средства для излечения головы* — Вы видите это ежедневно. Но возведение чисел в квадрат, вычисление их отношений и сходств — только мой Альбаре и я можем выполнять такие вещи. Столкнувшись с такими глубокими доводами, г-н Киро, ваши руки виснут плетьми, ваш большой рот расплывается от уха до уха, ноздри расширяются, правая бровь сдвигается к левой, лоб покрывается потом, колени стучат друг о дружку, и Вы восклицаете, охваченный восторгом: «*Ах! Я всегда говорил, что эта стерва сообразительнее меня и моего кузена Альбаре тоже!*» Теперь давайте, г-н Киро, кашляните, сморкнитесь, пукните и намурлыкайте мне несколько тактов из «*Марго попала в штрафную роту*»[75].

* Перевод С. Шелкового.

À monsieur de Montreuil

К г-ну де Монтрей

6 января 1780 г.

Прошу Вас сердечно, г-н президент де Монтрей, будьте настолько добры, чтобы передать г-же маркизе де Сад, своей дочери, сумму в сто ливров, в которой я отчитаюсь перед Вами тем способом и в то время, которое Вы пожелаете выбрать; указанная сумма предназначена для исполь-

зования упомянутой маркизой де Сад, моей женой, для освобождения из тюрьмы одного или двух лиц, находящихся там за долги; сумма, оставшаяся после освобождения одного или обоих, предназначена для использования ею для той благотворительной цели, которую она пожелает; все это в прославление величайшего и чрезвычайно приятного известия на свете, и прекраснейшего акта правосудия, мудрости и прозорливости, который лучший из королей мог бы осуществить в ходе своего царствования: выход из милости, отстранение, позор, падение и разорение Сартина.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[после 21 апреля 1780 г.]

Не знаю ничего, что лучше доказывает недостаток и стерильность вашего воображения, чем невыносимое однообразие ваших скучных знаков. Что? камердинеров все еще тошнит от чистки сапог, рабочие впали в безделье? И это все, на что Вы способны, при том, что дюжина из вас тяжко трудится, напрягая мозги, постоянно что-то делая, и только для того, чтобы выдавать каждый день одну и ту же бессмыслицу? Какая глупость. Я краснею от стыда за вас всех.

Намедни, поскольку Вам нужно было 24, какой-то малый, посланный для того, чтобы сыграть роль г-на Ленуара и для того, чтобы удостовериться, что я пишу г-ну Ленуару, пришел 4-го: и получилось 24!

Недавно, поскольку Вам нужно было 23, прогулки, уменьшенные на одну и ограниченные временем между 2 и 3, дали в результате ваши 23. Великолепно! Потрясающе! Какой гениальный ход! Какая сила!

Ах! Боже мой, продолжайте трудиться, и, если бы Вы не читали ничего, кроме «*Мальчика-с-пальчика*» и проводили все свое время, учась вязать узелки, ваше время было бы в меньшей степени потрачено впустую, чем при занятиях подобными глупостями. Если правда, что человек должен отчитаться перед Господом за время, проведенное на земле, какой позор ожидает Вас в следующем мире!

Но если Вам необходимо делать эти ваши знаки, по крайней мере делайте это с честным намерением, а не так, чтобы они постоянно вызывали лишь раздражение! Только палач мучает заключенного или издевается над ним. Разве это та профессия, которой намерены заниматься Вы или ваша семья? Неужели подлость или чистая глупость мешает Вам превратить ваши знаки в источник утешения, вместо того чтобы постоянно делать их источником раздражения? Если это первое, то мне нечего сказать, и я отплачу Вам той же монетой, в этом я даю Вам свое слово. Какая будет мне польза от вашего урока, если я не научусь от него чему-нибудь? Если это последнее, тогда, пожалуйста, обратите ваш взгляд на этот маленький пример и Вы увидите, как легко сделать те же самые вещи должным образом, вместо того чтобы делать их со зловредностью и глупостью.

Если бы я хотел получить 16 — поскольку, если следовать вашей логике, *seize* и *cesse* — это одно и то же, и поскольку Вы безосновательно берете на себя право искажать как язык, так и идеи до такой степени,— если бы, повторяю, я хотел полу-

чить 16, среди тридцати или сорока одинаково глупых цепочек, которые имеются у г-на де С., когда я отниму одну, получится *cess-ation*[76]. Он желает получить открытую дверь: когда встречается 16, я открою для него дверь, чтобы 3 человека принесли ему еду, как принято с сумасшедшими; он находит это неинтересным и глупым. Когда появится 16, я прекратил бы эту глупость.

Если бы я хотел получить девять, я бы сообщил ему какую-нибудь новость или сделал бы какое-нибудь шутливое замечание. И то же самое со всеми остальными цифрами. Нужно 24? 4-го числа я бы доставил ему удовольствие поболтать с кем-нибудь 2-го. Мне нужно 33? Я даю ему три часа прогулок, и он пишет мне в ответ: «3-го у меня была трехчасовая прогулка», и вот мои 33.

Я хочу отметить какое-нибудь выдающееся событие, скажем, четверть, треть и проч.: я бы сделал так, чтобы он погулял в обществе майора или врача в течение двух или трех часов в каком-нибудь другом саду; вот Вам и событие. И почему из того несчастного клочка земли, площадью менее чем полгектара, который здесь предназначен для прогулок, комендант насильственно забирает для себя три четверти? Разве это справедливо? Вы видели, чтобы г-н де Бори прибегал к таким подлостям?

Вот в чрезвычайно сокращенном виде тот способ, с помощью которого Вам следует подходить к деланию знаков. Этот маленький пример может служить как для двух цифр, так и для пятисот; по крайней мере, я не стану впадать в состояние полнейшего изнеможения, как я это делаю сейчас, оттого что никого не вижу или оттого что мне не с кем поговорить. Да, именно так Вам следует поступать, если в Вас осталась хотя бы частичка доброты, а в вашем уме — какие-либо другие проекты или желания, кроме тех, что подражают всем палачам ада или сводят меня с ума.

Когда Вы делаете знак, Вы не только должны подходить к этому со всей искренностью, он должен совершенно и очень отчетливо выделяться из обычных частей письма, в противном случае — это только ужасный, гнусный и отвратительный поступок, заслуживающий возмездия.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[апрель 1780 г.]

Итак, раз и навсегда решено, что Вы не хотите посылать мне те две комедии, которые я прошу у Вас так настойчиво и в течение столь долгого времени. Или же, если Вы их посылаете, они просто должны дождаться своей очереди и совпасть с высшими знаками, которые всем управляют. Я умолял Вас послать их самым простым способом, не утруждая себя вложением письма, ничего не прилагая, просто послать их в обычном конверте,— ничего не могло бы быть легче. Но, очевидно, Высочайший Совет решил по-другому. Ладно. Тогда, поскольку теперь мне ничего не остается делать, я вполне могу Вам написать. Это займет меня на час, и останется на один час меньше.

В качестве первой новости я настоящим уведомляю Вас, что мое здоровье становится все хуже и хуже. Позавчера печка наконец победила меня и вызвала у меня такую ужасную головную боль, что я занемог. Я бы отдал десять луи, чтобы получить возможность прогуляться пятнадцать минут на свежем воздухе; и, конечно, я подумал, что это недомогание было бы хорошей

оказией сделать исключение из правил, но это был не мой день, и люди, которые считают, что они по меньшей мере рискуют быть повешенными, если каким-то образом отступят от своих обязанностей или предпримут малейшую инициативу, такие люди, как Вы хорошо можете себе представить, и пальцем не шевельнут, чтобы вам помочь, даже если вы будете находиться на пороге смерти. Но в данном случае, господин Верховный Директор, кичливый маленький деспот, который, без сомнения, думает, что вы заведуете зверинцем, а не людьми, которые стоят выше Вас — позвольте адресовать это Вам,— но в таком случае вы должны оставаться дома, чтобы, когда случается такая срочная необходимость, как та, что произошла со мной, вы могли дать необходимые указания. И не удирайте в шесть часов вечера, так, что никто не имеет ни малейшего представления, где Вас можно отловить до конца дня. И все для того, чтобы вы могли прочистить ваше маленькое гадкое тельце *где-то с другой стороны горы. Мы вас знаем, хитрый Вы плут, мы все о Вас знаем!* Чем можно заниматься в Париже в шесть утра? Это не то время дня, когда приличные люди открывают свои двери. Наоборот, это время подлейших из подлых, и именно их Вы ищете, не так ли? Да, Вам нужны именно они, и мы знаем, за какую плату Вы безнаказанно посещаете таких людей, и как Вы достаете суммы, необходимые, чтобы заплатить им за доставляемые Вам удовольствия. Да, мы все это знаем, и знаем уже давно. И поэтому, когда кое-кто предпочитает не оставаться дома, ему, по крайней мере, следует иметь адъютанта, который может действовать вместо него и принимать решения, если у кого-то возникнет острая надобность. Но при условии, что Вам говорят утром или раз в неделю, что никто из ваших подопечных не *убежал* или не *умер*,—

это все, что Вам требуется. Ибо, поскольку это единственное, что гарантирует ваш доход и соответственно *ваши маленькие удовольствия в шесть часов утра*, больше Вас ничего не интересует.

О! ну и бардак же у нас здесь, дорогой друг! Боже милостивый, если бы Вы только могли сами это увидеть! Но кто когда-нибудь даст Вам точный отчет о подобных махинациях и о моем здоровье? Ах! Забудьте о мысли когда-либо узнать правду! Можете ли Вы надеяться получить ее у того автомата, который дважды в день приносит мне еду и питье, словно псу в будку? Конечно, нет! Мошенник, который имеет с меня больше сорока монет в день, будет последним, кто скажет Вам, что я нахожусь на грани безумия и что это постепенно загоняет меня в могилу. Вы думаете, что узнаете это от его высочества *Главного Тюремщика?* Еще менее вероятно. Ах! Господь милостивый, поскольку никто не собирается делать ни малейшего движения для того, чтобы их всех выпустили, и, пока не просочится слух, что все уже на грани смерти, мы имеем возможность неплохо заработать! Мне иной раз кажется, что я слышу, как он говорит:

«Вы надоели мне до слез, сударь, со всеми вашими разговорами о человеческой доброте; мне не испытать к Вам сочувствия. Мне, сударь, мне нужно есть, пить, спать и еще... бриться. Я младший сын в своей семье, *слегка обделенный*, которому эта должность досталась в те дни, когда все доставалось сводникам, каковым я и был, как и все остальные. Я попал туда, где сейчас нахожусь, трудясь в поте лица, и в такие опасные для нас времена, как нынешние, учитывая, что государство уже не пользуется больше тем уважением, которого оно заслуживает, Вы хотите, чтобы я поддался глупой человеческой доброте

и сообщал вашей семье о тех вещах, которые могут быть им интересны, и таким образом лишил себя своих нескольких оставшихся удовольствий! Ах! можете быть уверены, я ничего подобного делать не буду».

Короче говоря, смысл всего этого заключается в том, что ваша, как всегда остроумная, президентша дала маху на полном ходу два раза кряду; в первом случае, с ланжакскими[77] фортелями можно по крайней мере уладить дело с помощью отступных, но здесь все обстоит гораздо хуже, поскольку содержание здесь одного человека — это источник дохода для другого. О, достойная женщина, добрая женщина, хитроумная женщина, эта ваша президентша! Какой острый ум, какой гений, как искусно она умеет все устроить! Иногда, когда я раздумываю об обширных способностях этой женщины — я имею в виду ее гений,— я просто поражаюсь. Как быстро она предвидит вещи, как только они случаются! Какой у нее талант отвращать бедствия, когда они уже произошли!.. Это у нее одержимость, поистине врожденная склонность! То, что хочет эта женщина,— это не предотвратить зло, а чтобы оно произошло, а уже потом она имела удовольствие отомстить... О, это самая щедрая из душ! Она напоминает мне того безумца из Афин, о котором говорит Плутарх, который стоял на улице и смотрел, как горит его дом. «Что такое, ты разве не хочешь спасти свой дом?» — закричали на него люди. «Вовсе нет,— холодно отвечал он.— Я хочу, чтобы дом сгорел дотла, тогда потом я получу удовольствие, наказывая тех, кто его поджег». Этот человек и ваша мать похожи, как две капли воды. Вспомните почти все события в истории поведения этой ханжи по отношению ко мне, ее лживые заявления, ее уловки, ее постыдные маневры, как прошлые, так

и *нынешние*, и Вы увидите, то же это самое или нет, слово в слово.

Да, кстати, пожалуйста, расскажите мне, что означает это маленькое «*буквально*» в вашей ремарке: «Буквально все в доме остается в том же состоянии, в котором я его оставила». Мне весьма любопытно узнать, что это означает. Это еще одно остроумное замечание Вашей *прелестной мамочки*? О, я уверен, что это так и есть, но ничего не получится, моя дорогая президентша, просто не получится. Все Ваши усилия на этом фронте тщетны... Это дело шести месяцев самое большее... Разве Вы не знаете, как паук плетет свою паутину? И это было бы лучше, ибо ваш план был бесформенным, недоработанным, нечто вроде грубо намалеванного холста, того, что мы, живописцы, называем *грубым наброском*. Это накипь, которая поднимается из горшка, перед тем как получается чистый бульон. Если бы Вы были чуть более терпеливы, Вы бы, возможно, достигли бы чего-нибудь *благородного*, чего-то *замечательного*, добились чего-то *чистого*... Но Вы предпочитаете, чтобы ваше творение обладало близким сходством с Вами самой, не так ли? Поэтому Вы так сильно стремитесь к уничтожению. Мое самоуважение страдает от этого, но, моя возлюбленная президентша, я с радостью приношу его в жертву вашим вкусам.

Еще один вопрос, который я хотел бы, чтобы Вы наконец для меня разрешили, мой дорогой друг,— ибо, несмотря на мои дерзкие отступления, это письмо все время обращено к Вам,— и объяснили бы мне раз и навсегда, как можно снова и снова прибегать к одним и тем же старым трюкам, тем же маневрам, тем же методам, когда человек ясно увидел, что они все позорно провалились уже в первый раз? Какую пользу принес мне Пьер-Энсиз? Какую пользу принес мне Миолан? Какую поль-

зу принесло мне мое первое заточение в Венсенне? Все, что он сделал, это еще больше ухудшил мой нрав и мой рассудок, разгорячил мою желчь, мой мозг, мой темперамент, снова привел меня к тем же ошибкам,— по той простой причине, что я по своей натуре никогда не признаюсь и не скажу, что наказание влияет на меня каким-то иным образом, кроме как делает меня хуже. Раз уж выяснено, раз доказано и понято, что я скорее погибну, чем признаю обратное, и что, в то же время, если в моем отношении будут использованы более мягкие и совершенные средства, меня можно превратить во что угодно, то для чего тогда вечно прибегать к одному и тому же старому трюку?.. Потому что С[артин] должен оплачивать своих шлюх, верно? Конечно!

À madame de Sade

К г-же де Сад

[май 1780 г.]

Нет на свете ничего более забавного, ничего настолько же курьезного, чем те механические болваны, которые настолько идиотичны, настолько тупоумны, что не могут придумать ничего лучше, чтобы отказать в просьбе, чем сказать: «*Так никогда не делают, я за всю свою жизнь не видел, чтобы это делали*». Ради Бога, если случай когда-либо сведет Вас с такими неотесанными людьми, ответьте им следующее: «Тупое животное,— а Вы таковым и являетесь,— если необычные вещи оказывают на Вас такое впечатление, то Вы

и сами не делайте ничего удивительного, ибо, если Вы не хотите быть удивлены, Вы не должны удивлять других».

Здесь так никогда не делают, и я никогда не слышал, чтобы это случалось, к примеру,— это то же самое, как если в возрасте восьми или шестидесяти лет человек надел зеленую, как яблоко, куртку и завил волосы шестью рядами локонов.

Здесь так никогда не делают, и я никогда не слышал, чтобы это случалось, к примеру,— это выставить на панель собственную жену, для того чтобы сажать людей в тюрьму и кормить их как своих собственных детей, которых никогда не имел способности произвести на свет.

Здесь так никогда не делают, и я никогда не слышал, чтобы это случалось, к примеру,— это взять грязного и отвратительного тюремщика и превратить его в своего мальчика-педераста, и настолько ему доверять, что сделать его и своей любовницей, и своим читателем, и своим писцом, и своей наперсницей.

Ружемон, мой старый друг, когда человек доводит странность до таких пределов, он не должен удивляться незначительными эксцентрическими поступками других людей, если он не готов, чтобы его воспринимали как сраное животное. Но Вас страшит не это, не так ли? В этом отношении Вы уже давно приняли решение; и это достойное решение с вашей стороны — единственное ваше достоинство, которое я в Вас вижу.

Теперь, когда я совершенно в этом уверен, благодаря вашим собственным признаниям, что почерк подделан, Вы поймете, если я не стану больше ничего ни подписывать, ни посылать. Когда имеешь дело с негодяями и мошенниками, нужно постоянно быть начеку. Вы можете быть уверены, что я так и сделаю. В Провансе делайте все, что хотите: *хватайте, грабьте, обре-*

зайте, перекраивайте, как вашей душе угодно. Что бы Вы ни делали, как только я пойму, что это сделали Вы, я отнесусь к этому с одобрением и встречу аплодисментами, потому что я доверяю лишь Вам одному. Но при этом это доверие полное: бóльшим оно быть просто не может.

Обязательно пошлите мне все, о чем я просил, к первому июня. Я никоим образом не могу сократить этот список, за исключением шести банок варенья. В случае необходимости, двух будет достаточно, пока не появятся фрукты. Вечером во вторник или не позднее, чем в пятницу утром, книга о военной кампании и «*Путешествие на Цейлон*» будут внизу в конторе.

Если это приложение или постскриптум вызовут неудовольствие, по крайней мере пропустите хотя бы эти полстраницы: это важно для моих повседневных дел[78].

À madame de Sade

К г-же де Сад

[начало июня 1780 г.]

У нас здесь снова наступила ужасная зима. Я советую Вам снова взять с собой всю вашу теплую одежду, если, быть может, Вы ее уже сменили, ибо этот чрезвычайно необычный перепад температур после той теплой погоды, которая была у нас до этого, может только непременно привести к тому, что люди заболеют, если не предпримут надлежащих предосторожностей в связи со столь несоответствующей времени года погодой.

Что же до меня, то я знаю, что моя бедная грудь страдает от нее, от подробностей чего я Вас избавлю, зная, какой *огромный* интерес Вы проявляете к таким вопросам. Результатом посещения врача стал травяной чай, которым я должен себя пичкать и который, как я имею сейчас все основания утверждать, не окажет никакого иного воздействия, кроме того, что окончательно расстроит мой желудок. Однако, судя по тому, что мне удалось вычислить из смущенных замечаний врача (а могли ли они быть еще какими-нибудь, как не смущенными, учитывая, что он говорил так, словно его со всех сторон окружала толпа шпионов, и также то, что после того, как все уже сказано и сделано, его гораздо больше заботил тот, кому выгодны мои страдания, чем пациент, к которому он пришел, чтобы облегчить его боль!), из всего этого, повторяю, единственное, что мне удалось вычислить, было то, что только воды и большое количество физических упражнений — две вещи, которые, разумеется, как Вам известно, совершенно мне недоступны, были бы мне хоть как-нибудь полезны, учитывая, что мне необходимо *кормить моих маленьких свиней.*

Поэтому полностью очевидно, что тюрьма не только испортила мое здоровье, но также мешает мне предпринять необходимые шаги для того, чтобы его улучшить. Может быть, обратимся к ее моральным воздействиям? Хорошо, Вы можете совершенно не сомневаться, Вы и ваше окружение, что это яд, который с наибольшей вероятностью посеет разрушение в душе, приведя к разрушению качеств характера; что, за исключением тех, кто зарабатывает на этом средства к существованию и кто с их помощью платит своим любовницам, на свете нет ни одного человека, который не сказал бы Вам, что Вам никогда не удастся заставить убедить человека в поддержании связей

с обществом, полностью эти связи отрезав; и что такое средство вполне может послужить к тому, чтобы ухудшить человека, но уж точно никогда не исправит его.

Я вспоминаю время, когда ваша мать была полностью убеждена в этих принципах: но в те дни она еще была человеком самостоятельным и еще не усвоила (ибо опыт всегда нас чему-то учит), что гораздо лучше продать или принести в жертву своего зятя и собственных внуков, чем лишить себя единственной чести породниться с полицией по *женской линии* и иметь возможность сказать вместе с *судебными приставами, караульными начальниками* и *дамами из борделей:* «Я выступаю здесь от имени королевского суда».

Я помню, в те счастливые дни, о которых я говорю, эта достойная страсть находилась лишь на своих ранних стадиях развития, результаты которого оказались впоследствии такими блестящими. Это проявлялось в глубоком восхищении высшими официальными постановлениями судов и, особенно, той разновидностью самодовольного шарлатанства, которое претендует на всеведение и которое глупцы и провинциалы всегда находят таким удивительным...

Но какой шаг вперед мы совершили с тех пор! Теперь мы хотим, чтобы нашими жертвами стали наши собственные плоть и кровь, и, раздутые от торжествующей гордости, мы сами ведем их на алтарь, и головы их украшены повязками бесчестья, которыми удостоила их наша глупость.

Просто замечательно! Так давайте выслушаем эти несчастные жертвы, поскольку мы должны их выслушать и поскольку уже стало непреложной истиной, что, при каком бы правительстве мы ни жили, лучшим из законов будет закон сильнейшего! Но, по крайней мере, пусть будут какие-то вариации; ибо Вы

несомненно согласитесь со мной, что тяжело работать, если жертвы всегда одни и те же. Я согласен с Вами, что нужно следить за тем, чтобы *кладовочка* всегда была заполнена, ибо в противном случае как можно содержать свой *экипаж* и находить средства на *гардероб?*.. И даже при этом, пусть будут некоторые различия в подходе к выбору жертв! А! Я слышу, как Вы отвечаете: «Таких идиотских матерей, как моя, еще поискать; редко найдешь человека, который, застуканный дважды на одном и том же, будет достаточно глуп, чтобы позволить себя поймать и в третий раз». Приходится довольствоваться тем, что есть. Например, Вам требуется выполнить норму в пятнадцать человек, так? И где, черт возьми, мы, по-вашему, должны найти, учитывая желаемые вариации, шестьдесят или восемьдесят семей в год, которые находятся в состоянии такого же ступора, как и моя мать?»

Да, мой дорогой друг, я очень хорошо Вас понимаю, и, смиряясь перед лицом таких безупречных аргументов, я вскричу, как это сделал царь-пророк: *Quot sunt dies judicium? Quando facies de persequentibus me: judicium?* (Псалом 118)[79].

[К данному письму прилагалась записка, датированная 15 июня 1780 г., с просьбой выслать следующие продукты и вещи:]

Последующие тома д'Аламбера, если не возражаете. Я верну их назад незамедлительно. Что-нибудь легкое для дополнительного чтения, поскольку я совершенно неспособен читать вечером что-либо серьезное, учитывая периодическую головную боль, которая возникает у меня сразу же после еды, и то, что мне не дают заниматься никакими физическими упражнениями,

к которым, как Вы знаете, я привык. Немного алтейного сиропа, с умеренным добавлением йода и того же типа, что и раньше, потому что тот был очень хорош.

Самое главное — немного варенья, которое я привык употреблять в пищу и которое на самом деле Вам следовало послать мне вместо маленьких свечек, в которых мне нет надобности, поскольку у меня их больше, чем нужно, и коротких, и длинных, до 1-го июля.

Пожалуйста, свяжитесь с дантистом, ибо я боюсь, что он мне понадобится в течение ближайших двух недель, и, как только нужда будет настоятельной, я напишу Вам короткое послание, чтобы Вы тотчас же его ко мне направили.

Я припоминаю, что 15-го июня прошлого года Вы послали мне великолепный пирог с угрем, который, несмотря на теплую погоду, весьма удался. Поскольку и жареное, и вареное мясо мне разрешают употреблять в пищу лишь в небольшом количестве, я вынужден думать, что можно также добавить в мою диету некоторое количество рыбы, но следует проявлять исключительную осторожность в отношении одной вещи, которая ускорит ее порчу, а именно: нужно проследить за тем, чтобы не добавлялось никаких специй, ибо, если есть хоть малейшая их толика, я просто откажусь это есть. Она не сохранится, я это знаю; и в этом случае единственное мудрое решение — сделать очень маленький пирог, и я использую его наилучшим образом. Если Вы хотите, чтобы я попробовал первую землянику в таком сезоне и считаете, что у Вас есть возможность это сделать, я буду чрезвычайно доволен; но это просто чистая фантазия с моей стороны, на которую Вам не следует обращать внимания.

Обнимаю Вас от всего сердца.

À madame de Sade

К г-же де Сад
25 июня 1780 г.

«Когда Вы выйдете, я запру Вас в моей спальне», и проч. «Когда Вы выйдете, Вы поедете за границу», и проч.

«Когда Вы выйдете, Вы сможете сами порыться в книжных лавках», и проч.

О, Боже мой! как же у меня будет полно забот, и как же мне удастся со всеми ними справиться! Отчего Вы не добавили: «Когда Вы выйдете, Вы сядете на корабль»? «*И когда Вы доберетесь до порта, я буду счастлива безмерно*» — эта фраза настолько же емкая, как и та, в которой говорится: «*Тысяча семьсот семьдесят девятый год будет для меня очень счастливым*».

Признайте, да, прошу Вас, сделайте это, что это последнее «когда Вы выйдете» — именно то, что Вы от меня скрываете. Несколько предложений в ваших письмах, подобные тем, что я только что процитировал,— те же самые старые песенки, напетые для Юности и также появляющиеся в его собственных письмах, записка, завизированная «*rigolei d'aqui*»[80] и со штемпелем Булонь-сюр-Мер, как обычно нафаршированная числами (записка, которую они случайно оставили в моей комнате в марте 1778 г.), вопрос, который Маре задал мне мимолетом по дороге, *не боюсь ли я моря*, и, прежде всего, нечто аналогичное тому прожекту, о котором Вы упомянули после одного из Ваших возвращений из Парижа, на ранних стадиях моего дела,— все это основания для моих подозрений, которые, увы, без всякого сомнения, слишком обоснованны, в отношении того, чем

в конце концов закончится это ужасное дело: зловещий итог, на который Вы так явно мне намекали во всех ваших письмах, во всех их действиях в моем отношении, в посылках, которые Вы посылали, и проч.

Пожалуйста, обратите самое пристальное внимание на то, что я собираюсь сейчас сказать, и помните: я пишу это письмо в состоянии полнейшего спокойствия и делаю совершенно все, чтобы оно непременно дошло до Вас, избегая употреблять какие-либо выпады, чтобы цензоры не могли найти никаких достаточных оснований для того, чтобы его конфисковать; поэтому, еще раз, пожалуйста, обратите пристальное внимание на то, что я собираюсь сказать.

Я всегда боялся моря и испытывал к нему поразительную нелюбовь. Юность, который видел, как я себя веду на борту корабля, знает, что эта антипатия основана на сущности моей натуры и что я совершенно не переношу морских путешествий. Вы можете быть уверены, что, при удручающем состоянии моей уже истощенной грудной клетки, этого хватит, чтобы меня доконать. Если бы даже вопрос стоял не то что о назначении меня на какую-нибудь должность или о выполнении приказа, но о возложении на меня короны правителя какого-нибудь острова, я бы отказался. Я чувствую, что обязан заявить об этом весьма недвусмысленно; к этому же я добавляю еще кое-что, в отношении чего, можете быть уверены, я останусь непреклонен и от чего я ни в коем случае не отступлю. Я твердо уверен, что подобное предприятие не сулит мне ничего, кроме очень быстрой смерти, и я совершенно определенно никогда не соглашусь на него по собственной воле. Если же меня силой вынудят это сделать, меня скорее изрубят на куски на берегу, чем заставят подняться на какой-нибудь корабль, и я скорее предпочту

из двух возможных смертей ту, которая избавит меня от страданий одним махом, чем ту, которая, просто продлевая их, будет с моей точки зрения более чем ужасна. В удостоверение чего я подписываю настоящее письмо, чтобы те, кто, возможно, задумали против меня такой мрачный план, убедились бы в моей позиции.

Де Сад

Я не часто просил Вас развеять все страхи или кошмарные фантазии, которые вселило в меня мое несчастье. Кроме того, у этого глупого плана, который Вы мне подкинули, существуют пять или шесть других неприятных аспекта, по поводу которых я не прошу у Вас никаких *уверений*, если можно так сказать. Но что касается упомянутого момента, то он причиняет мне страдания так долго и так сильно, что я считаю, что беспокойство, которое это у меня вызывает, и бессонные ночи, которые я вынужден проводить, вне сомнения, являются причиной моего ухудшающегося здоровья; и я прошу Вас с величайшей настоятельностью успокоить меня в этом отношении. Если Вы не ответите мне, если Вы предпочтете сохранять по данному поводу молчание, я буду вынужден думать, что это правда, и в таком случае я не стану скрывать от Вас тот факт, что...

Ради Бога, устраните это сомнение из моего разума, я прошу Вас со всей смиренностью. Меня не удивляет, что мошенник*, чье положение так непрочно, что он рискует быть высланным в колонии за малейший проступок или быть сосланным на галеры, возможно, оттого, что сам не раз в жизни испытывал страх [перед морскими путешествиями], дал вашей матери такой совет. Желание, которое он всегда высказывал, что Вы и сами признали, приехать к нам в имение и управлять им вместо меня, для того чтобы красть сколько его душе угодно, более

чем оправдывает этот совет. Но я надеюсь, что ваша мать не будет настолько слаба, чтобы молча на это согласиться. Вам прекрасно известно, насколько сложный и нелегкий вопрос — управление моей собственностью, и Вы должны постоянно прилагать все усилия, чтобы напомнить об этом своей матери, а также о том, какую исключительно легкую возможность Вы с нею предоставляете для воровства, что ощутил на себе мой отец, поскольку в последние годы жизни — пусть Господь хранит его рядом с собой или отошлет его обратно ко мне,— он не получил от нее совершенно никакой выгоды.

Во время последнего отсутствия Вы и сами это видели, так как аренда на соседних участках поднялась на треть, в то время как на моих упала на четверть. И тем не менее, несмотря на все это, я клянусь, под угрозой любого наказания, какое Вы пожелаете, что хочу, чтобы после того, как я оставлю ее своему сыну, ее стоимость удвоилась по сравнению с тем, сколько она стоила, когда я унаследовал ее от своего отца, если в первый раз в жизни меня оставят в покое и позволят жить там, когда я выйду отсюда. Вот то, о чем Вы должны постоянно напоминать своей матери, которая, я полагаю, если примет все это во внимание, увидит, что гораздо выгоднее позволить мне мирно оставаться дома, чем отправлять меня в какое-то отдаленное место.

Я полагаю, что Гофриди, еще один первостатейный мошенник,— в отношении которого, я думаю, у Вас имеется более чем достаточно доказательств,— продолжает посылать вашей матери всевозможные прожекты и предложения, дабы убедить ее в том, что, как бы ни далеко я находился, она может сама прекрасно всем управлять, и что каждое ее желание — это закон для него. Но на это ему нужно сделать лишь одно-единственное замечание: «*Сударь, а как насчет лакостской аренды?*» — и Вы сразу увидите, как он смешается и замолчит.

Одним словом, я прошу у Вас только лишь заверить меня в том, что, когда меня освободят отсюда, мне будет позволено трудиться во имя будущего своих детей: в отношении же следующего шага в моей жизни, позвольте мне решать самому, это форма существования, к которой я уже привык, и которая убедила меня в том, что можно приспособиться к любой обстановке. Все, что я прошу, это то, чтобы Вы развеяли мои опасения в отношении *единственного вопроса отправки меня за море*, что я считаю намеренным актом умерщвления меня несправедливо медленным образом. Гораздо проще было бы послать мне изрядную дозу опиума, и дело было бы кончено. Если понадобится, я подпишу просьбу об этом своей собственной кровью.

До тех пор, пока я не получу от Вас положительного ответа по этому вопросу, я буду находиться в состоянии ужасной тревоги. И если Вы будете продолжать хранить молчание в течение более чем приемлемого периода, предупреждаю, что в будущем отдам указание, чтобы мне больше ни при каких обстоятельствах не приносили ваших писем. Мне не нужна корреспонденция, которая не приносит мне ничего, кроме беспокойства, при этом даже не успокаивая меня в отношении каких-либо вопросов. Я уже давно предупреждал Вас о своем желании прервать нашу переписку, но до сего момента проявлял терпение и теперь с большой уверенностью предвижу день, когда она останется в прошлом, если Вы не удовлетворите мое желание.

Как только я запрещу дальнейшую переписку, не решат ли они все равно мне передавать ваши письма? *Горе тому, кто осмелится это сделать*, это дорого ему обойдется: отчаяние ни перед чем не останавливается. Что из этого выйдет? Я буду лишен вашей любезной благосклонности?.. Неважно! Я и раньше легко без нее обходился, прекрасно обойдусь и еще раз...

До тех же пор я заклинаю Вас посылать мне раз в две недели — по крайней мере до того момента, когда Вы, желая поставить посылки в зависимость от обмена письмами, посчитаете себя оскорбленной моим нежеланием получать ваши послания и перестанете меня снабжать,— до тех пор, повторяю, пожалуйста, посылайте мне книги, свечи — как большие, так и маленькие, варенье, хлопчатобумажные чулки и, как всегда, обе разновидности алтея. Врач, в разговоре с которым я очень высоко отозвался об алтее, был бы признателен, если бы Вы прислали адрес, где его можно достать. Ваш паштет был настоящей раскаленной головешкой из-за напичканных в него специй, и я предоставил наслаждаться им тем, кто меня здесь обслуживает. При сем прилагаю свои благодарности и крепкую любовь.

* Разумеется, я имею в виду Альбаре, хотя и обещал удерживаться от невольного употребления в этом письме выпадов, нацеленных на тех, кто полагает, что от них защищен. Но я полагаю, что можно хорошо представить, что эта личность никогда не сможет избежать, чтобы к нему относились так, как он того заслуживает. (*Примечание Сада*)

À madame de Sade

К г-же де Сад

[27 июля 1780 г.]

Так, так, так, вот, значит, как обычно, погрузились в молчание... Молодец; временами совершенно правильно и необходимо почивать на лаврах. Я только что сделал нечто в этом роде. Но разница между нами заключается в том, что мне не о чем рассказывать и, соответственно, писать мне мало смысла

или вообще бессмысленно; тогда как Вы, если бы Вы того пожелали или если бы могли, могли бы сказать многое. Пожалуйста, заметьте, что я говорю: «если бы могли»,— по этому замечанию Вы можете увидеть, что я полностью отдаю Вам должное, и судить, до какой степени я убежден, что Вы не более вольны избегать всех нелепостей, которые Вас заставляют совершать, чем я — выслушивать их.

Это должно было бы заставить Вас раз и навсегда четко уяснить, что все это никогда не повлияет на мои чувства к Вам. Ваша доля моей ненависти останется не разделенной; если бы она была разделена, боюсь, что часть ее могла бы пропасть, а я испытываю слишком большое желание сохранить всю ее до последней капли для той, кто полностью ее заслуживает.

Что бы ни вышло из всех этих любезностей и всех милых знаков, я могу сказать Вам, что они ускорят ухудшение моего здоровья. Для меня невозможно существовать без свежего воздуха, особенно в такое время года. Я совершенно не способен ни есть, ни спать. По крайней мере, если они собираются лишать меня свежего воздуха, им следовало бы ночью оставить меня в покое. Но вызывать у меня целыми днями ужаснейшую головную боль, лишая меня сна и не давая дышать свежим воздухом, который является единственным средством против этой боли, значит навлекать на меня всевозможные хвори, и эта милая тактика не будет забыта — она останется запечатленной в моем мозгу.

По крайней мере, пошлите мне флакон одеколона, который я уже так давно Вас прошу: если бы только он был у меня в течение этих нескольких дней, когда я так страдал от нервов и головной боли, это было бы для меня большим утешением. Вы должны признать, отказывая мне даже в такой незначительной

помощи, что одно только это — пример того, как во мне без всякой нужды вызывают раздражение. Ах! какой это для меня прекрасный урок! И как хорошо я им воспользуюсь! Помните, когда я говорю, что скорее размозжу себе голову о стену, чем лишу себя возможности услышать, как ваша противная мамаша в один прекрасный день скажет: «*Как он был прав; я сожалею о том, что я сделала. Это были не те методы, которые следовало использовать, имея дело с такой головой, как у него*».

На днях я пришел к твердому выводу, не только о том, насколько сильно они хотят заставить меня страдать, но также как бы они расстроились, если бы болезнь помешала всем тем подлостям, которыми они терзают меня. Фактически я провел семнадцать ночей, как говорится, не смыкая век ни на минуту. Я выглядел так, словно восстал из могилы, причем настолько соответствовал этому описанию, что мой вид напугал меня самого. Прибегает врач и спрашивает, как я себя чувствую. «Мое лицо скажет Вам об этом лучше, чем я»,— отвечаю я.— «Ну что Вы, вовсе нет, вовсе нет,— заверяет он меня.— По правде говоря, я нахожу, что Вы выглядите в полном здравии». Ладно, сказал я себе, это все, что мне нужно, чтобы удостовериться, что этот человек смотрит на меня так же, как врач инквизиции, который щупает пульс жертвы во время пыток, чтобы проверить, можно ли их продолжать, и который непременно говорит: «Вы можете продолжать». Этому человеку (так я полагаю) велели узнать, в каком я состоянии; но можете ли Вы хоть на минуту поверить, что он не видит по их тону, что им нужно всего лишь, чтобы он признал меня здоровым, дабы они могли продолжить пытку? В связи с чем этот человек, которому на все совершенно наплевать, всегда будет отвечать, что со мной все в порядке, пока не обнаружит, что меня хватил удар.

И кроме того, Вам следует уяснить относительно этих мерзких людишек, что всем им очень выгодно заставить родственников поверить, что их подопечные прекрасно себя чувствуют, и поэтому обманывают этих родственников; одним словом, ужасные нарушения, которые под прикрытием этой милой секретности — обычное дело в подобных заведениях, это еще одна вещь, к которой больше всего следовало бы привлечь внимание людей в высших кругах, если бы во Франции действительно было какое-то равенство, и если бы заинтересованные стороны не следили за тем, чтобы заглушить любой возглас возмущения золотом и хорошенькими женщинами, подсунутыми кому надо.

Все хорошо, все в порядке, все на свете замечательно, когда в постели красивая женщина, а в кошельке — полно золота. Золото и п... — это боги-близнецы моей родины, и я еще должен здесь оставаться, я, у которого никогда не было достаточно первого и который ни в малейшей степени не заинтересован в том, чтобы обесчестить себя до такой степени, чтобы продавать последнее тех, кто мне дорог? Нет, нет, я не останусь здесь!.. Клянусь, что не сделаю этого, скорее я поеду жить в Японию; там, я уверен, я нашел бы больше искренности и, без сомнения, не увидел бы так много ужасов... Тем более что тех, кто творит подобные ужасы, там наказывают.

Чего я больше всего хотел бы, так это того, чтобы кто-то хотя бы раз сопоставил жизнь несчастных жертв, которых здесь держат под замком, и подлости тех, кто за ними надзирает; и тогда мы посмотрели бы, кто больше достоин распоряжаться ключами от камер! Несчастное стечение обстоятельств, бесстыдный поступок, какое-либо предательство со стороны слуг или друзей — положите это на одну сторону, а на другую — тысячи несправедливостей, тысячи притеснений, тысячи жесто-

ких поступков, которые прикрываются и скрываются от общества с помощью денег или связей...

С этим письмом я возвращаю Вам огромное множество книг. Два тома аббата Прево[81], остальные произведения г-на д'Аламбера[82]... Какой человек! Какое перо! Именно таких людей я хотел бы иметь своими арбитрами и судьями, а не тех презренных людишек, что осмеливаются управлять моей судьбой! Я бы без особых сложностей восстановил свое честное имя в судах, составленных из подобных им людей, потому что также, как человеку мало чего опасаться, когда он находится в руках философов, так же он должен испытывать трепет, когда видит, что стал добычей ханжества и алчности...

Также первые два тома «*Церемоний*»; как мне кажется, я возвращаю их Вам довольно быстро. Я никогда не говорил Вам, что эту книгу можно прочитать за две недели, и, когда Вы ее мне прислали, я сразу увидел, что это остроумный способ намекнуть мне, что мои страдания далеко не закончены. Но теперь я вполне привык ко всему вашему идиотскому жаргону, я остаюсь к нему безразличным; он больше не влияет на меня ни в малейшей степени. Еще надо посмотреть, являются ли попытки огрубить способность человека чувствовать разумным способом вернуть его на путь добродетели, добра, или нет; и, что бы еще ни было сказано о ваших «*Церемониях*», они настолько мало меня пугают, что, если это то, что хотят люди, я соглашусь остаться здесь до тех пор, пока книга не будет прочитана: доказательство того, что мои расчеты выходят далеко за пределы этого срока.

[Что касается] остальных книг, которые до сих пор находятся у меня, [я] не намерен, предупреждаю Вас, читать их, глотая страницы, потому что, так же, как и «*Церемонии*», они мо-

гут составить только мое основное чтение. Поэтому продвижение будет медленным. Что касается дополнительного чтения, у меня остались только ваши «*Трубадуры*»: у меня уйдет на них около двух недель, то есть я закончу до 15-го августа. Для вышеупомянутого дополнительного чтения я бы попросил Вас, с согласия аббата Амбле, постараться найти для меня какие-нибудь романы, которые были бы одновременно интересными и философичными, но не слишком тоскливыми и не слишком вялыми, поскольку я не терплю обе эти крайности. Повторяю: романы; поскольку вечером невозможно читать что-либо серьезное.

В первой посылке в следующем месяце: плитка алтея (никакого сиропа) и, самое главное, умоляю Вас, бутылку моего одеколона; не забудьте, прошу Вас, преклонив колено. Если бы Вы могли прислать мне немного фиг, я был бы чрезвычайно признателен: те, которые Вы посылали мне в прошлом году, примерно в это же время, если меня не подводит память, дошли хорошо и принесли мне большую пользу. Я предоставляю Вам возможность снова осыпать меня благословениями и заклинаю не забыть обо мне, когда персики созреют и станут круглыми.

В дополнение, Вы оказали бы мне огромную любезность, если бы смогли уговорить их снова разрешить мне гулять, ибо я уже тысячу раз сообщал Вам, что ужасно страдаю от отсутствия свежего воздуха и что это подлость — лишать человека его основного права, которое дается даже самым низким из животных. Достаточно ли одного дополнения для того, чтобы получился знак? И разве не будет так же остроумно и эффектно, если не включить этот дополнительный эпизод?

По шею в отбросах и грязи, пожираемый заживо клопами, блохами, мышами и пауками, обслуживаемый как свинья, из-за той скорости, с которой эти люди исчезают из моей комнаты,

как только поставят на стол еду, у меня никогда не бывает достаточно времени ни для того, чтобы вспомнить, что мне нужно, ни чтобы попросить это, и три поваренка хозяина нашего постоялого двора, всегда готовые открыть огонь, как только отодвинется засов на моей двери,— разве вся эта картина не составляет прекрасный знак?.. Поистине жалостный и трогательный знак? Может быть, следует добавить пытку пневматической машиной? Я даже не упоминаю о своих волосах, которые постоянно выпадают еще с момента одного из знаковых эпизодов, который сделал уход за моими волосами делом бессмысленным: я даже не стану затрагивать эту тему, потому что в том, что касается волос, я уже больше не льщу своему тщеславию, слава Богу, и потому что, как только я выйду отсюда, я, скорее всего, буду носить парик... Это твердое решение...

Ах! поистине, моя истинная любовь, разве годы не взяли свое?.. Больше нет никаких иллюзий, я достиг возраста сорока лет, этого прекрасного возраста, в котором, как я ранее всегда обещал, я был должен отречься от Сатаны и всей его роскоши... Сорок лет наступили и прошли, и пора начинать медленно и постепенно приобретать *легкий оттенок могилы:* встреча с нею станет не так неожиданна, если человек заранее к этому приготовится... Пусть смерть приходит, пусть приходит, когда ей угодно; я жду ее, не желая ее, но и не боясь. Только тем, кто обласканы судьбой, жалко уходить из этой жизни: но человек, который, подобно мне, считает свои годы только по своим невзгодам, волей-неволей с нетерпением ждет своей кончины как лишь счастливого момента, когда его оковы наконец спадут. Пусть горячо любимый друг, единственный, кто мог бы еще облегчить конец моего жизненного пути, не оставит меня переживать его с болью и печалью, и пусть те несчастные созданья, ко-

торые обязаны нам своим существованием, насладятся более счастливой участью, чем мы! Таковы единственные молитвы, которые я осмеливаюсь обратить к Вечному, и единственные, чье исполнение заставило бы расцвести еще несколько роз среди колючек моей жизни.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[17 сентября 1780 г.]

Моя дорогая, я уже собирался написать Вам прелестное письмо, чтобы поблагодарить за то, что Вы позаботились о возобновлении моих прогулок. Но я оказался совершенно не прав; мне только что сообщили, что я ошибаюсь.

Сегодня утром прибыл так называемый адъютант, который сообщил мне, что *король* разрешил мне возобновить прогулки. «Весьма признателен, сударь; я благодарю и Вас, и Его Величество».— «Э... но это еще не все, сударь, поскольку у Вас нет права...» — «Что такое? — вставил я,— небольшая проповедь? Прошу уволить меня; в вопросах морали я знаю все, о чем следует знать».— «Но, сударь, это лишь только то, что...» — «Сударь,— добавил я,— пока человек, о котором Вы говорите (тюремщик), будет держаться в рамках приличий, он найдет меня вежливым донельзя; если же он перестанет это делать, он будет иметь дело с человеком, который будет весьма не прочь преподать ему пару уроков, поскольку я скроен так, что не потерплю дерзости ни от кого, а тем более от негодяя-тюремщика...»

И на этом осада была снята; и, поскольку я отказался, по их утверждению, выслушать до конца лекцию о нравственности... ру назад слова признательности и приберегбольше никаких прогулок. И таким образом, дорогой друг, я беу свою благодарность до тех пор, пока эта любезность не будет дарована мне без всяких условий и, самое главное, без лекций о нравственности.

Был момент, когда я понял, что если продолжу разговор, то они, похоже, не прочь были бы попросить меня *извиниться*... Но кто, в конце концов, эти люди, и с кем, по их мнению, они имеют дело, или, скорее, с кем они привыкли иметь дело?

Кроме того, я пишу все это так, чтобы было ясно, что я сказал, слово в слово, чтобы они не начали извращать мои слова, что этот неотесанный болван — старый солдат — вполне способен сделать. Когда я пишу Вам о них, я заново переживаю этот разговор, и торжественно заявляю и клянусь всем, что есть самого святого на свете, что, если бы они живьем меня потрошили, я бы ни на йоту не изменил сказанные мною слова: *мягкий и вежливый донельзя, пока остальные ведут себя со мной так же; колючий и очень строгий, когда остальным недостает по отношению ко мне должного уважения.*

Я все получил. Я планирую отослать назад большое количество книг между 20-м и 22-м, и тогда же я напишу Вам о книгах и поручениях. До той поры обнимаю Вас от всего сердца.

Утро 17-го

P. S. Насколько я мог разобрать, судя по начальному периоду ораторской речи высокого худого индивидуума, которого они напустили на меня сегодня утром, в своем шедевре он предполагал затронуть нравственную и физическую сущность того презренного атома, которого называют тюремщиком. Я увидел,

что оратор намеревается быть холодным и нудным, что его речь будет до краев набита катахрезами[83], полностью лишена метафор и в равной степени насыщена плеоназмами[84], что его текст плохо построен, а эпиграф неправилен, что все члены будут однообразны, тяжеловесны и лишены той соли и тех нюансов, которые так необходимы для души рассуждения, как настоятельно рекомендовал Цицерон[85]; кроме того, что тема, сама по себе довольно сухая, совершенно чужда моему бытию и тому искусству, которым я занимаюсь. В связи с чем я и послал оратора подальше. Однако, если бы было совершенно необходимо, чтобы я знал все, что можно, о нечистой душонке, которая зарабатывает на жизнь, занимаясь тем, что было бы позором для любого честного человека, тогда, дабы избавить себя от последствий и украсить этот неприятный урок несколькими цветками, велите, чтобы Вам переписали для меня статью из «Энциклопедии»[86], я выучу ее напамять; это самое большее, что я могу сделать. И пусть мне все-таки разрешат прогулки! Я умоляю об этом, преклонив колено, ибо они мне чрезвычайно необходимы, а мой разум, как я уже Вам сказал, никогда не созреет в тени.

À madame de Sade

К г-же де Сад

14 декабря 1780 г.

Сегодня, во вторник, 14 декабря 1780 г., на 14 000-й день, 200-ю неделю и в конце 46-го месяца, как нас разлучили, по получении от Вас шестидесяти восьми ежедвухнедельных посылок с провизией и ста писем, и по написании мною

этого, 114-го письма. Последние три пункта относятся только к моему нынешнему заточению. Что же до первых трех, для меня они одно и то же, поскольку я веду отчет своих настоящих несчастий с того дня, когда началась наша разлука; всегда делал и делаю все мои вычисления, начиная с этого времени.

Или я не понимаю, о чем говорю, или совершенно точно указываю Вам на настоящие даты! И поэтому, моя дорогая, я отвечаю на ваше сотое письмо, которое я получил в эту самую минуту. В нем я с самого начала увидел доказательство того, что мои рукописи дошли до Вас, и это мне приятно. Вы выбрали весьма странные стихи; я бы сказал, что в них содержится одна существенная истина: они представляют изречение, новый принцип для сценического искусства, как мне кажется, однако, как и прочие, которые звучат на сцене ежедневно, никогда не окажут ни на кого положительного эффекта. Что же до прозаической строки, то Вы, несомненно, выбрали не самую выдающуюся в этой сцене, которая относится к одной из наименее плохих в пьесе; тем не менее мне нравится тот факт, что Вы ее выбрали, ибо это показывает, что Вы всегда соглашаетесь со мной, когда речь заходит о счастии наших детей.

Будьте уверены, что я всегда соглашусь с Вами, но также знайте, что мои взгляды редко совпадут со взглядами моих тиранов; я всегда буду с подозрением относиться ко всему, что они предлагают сделать в интересах наших детей; они предоставили слишком много доказательств своей неугасающей ненависти к их отцу, чтобы я когда-либо поверил, что они могут любить его детей, и Вы можете поверить мне на слово, что или я должен прекратить относиться к своим детям как к собственной плоти и крови, или этим скверным людям никогда не следует позволять вмешиваться в их дела. Так что можете судить сами; просто посмотрите на те замечательные результаты, которые

все это уже принесло: ненависть в семье, бесконечные распри, вещи и имущество испорчены так, что уже не подлежат восстановлению, неисправимый беспорядок, испорченное образование, семья, лишенная всякого уважения со стороны общества, и дети, навсегда обреченные на жизнь в невзгодах.

И все это потому, что одна женщина, испытывая яростное желание увидеть последствия события, которое у нее не хватило ума предвидеть, разозлившись, заявила перед собранием трех-четырех приятелей (то, что называется семейными посиделками): «*Да, что бы из этого ни вышло, какими роковыми ни были бы последствия для моей дочери и внуков, какой бы неминуемой ни была их гибель, я буду ждать десять, двенадцать, пятнадцать лет и проч., пока не увижу конец этой истории*». О! Великий Боже, разве гуроны, готтентоты когда-либо рассуждали подобным образом? И разве эти варвары в своих грубых хижинах, разве они дают нам когда-либо примеры подобной жестокости? Но давайте вернемся к нашей теме, ибо я сам не свой, когда начинаю подробно останавливаться на таких подлых вещах. Меня невероятно поражает, насколько мне не повезло, что я родился только лишь для того, чтобы провести треть жизни в качестве игрушки женской ярости — вдобавок идиотской,— поражает настолько, что я должен постоянно напоминать себе, чем я обязан тем узам, которыми связал себя с ними, чтобы вообще их не проклясть.

И вот я снова возвращен Вам, дорогой друг, Вам, которую, несмотря ни на что, я буду любить как самого лучшего и самого дорогого друга, которого когда-либо даровал мне мир.

Я обожаю смотреть на страницы, написанные вашей рукой; Вы не поверите, какое удовольствие это мне доставляет. Я всегда буду помнить, что, когда я был в Италии, Вы начали переписывать для меня «Холостяка», потому что посчитали, что не-

которые отрывки могут мне понравиться; такое внимание Вы оказывали мне сотни раз. Когда Вы переписываете мои собственные стихи, мне это нравится еще больше. Как бы мне хотелось, чтобы Вы своей собственной рукою переписали всю мою пьесу в стихах, прибавив небольшие заметки на полях с похвалой или критикой определенных отрывков, и если бы Вы сделали это без посторонней помощи. Я готов биться об заклад на что угодно, что такая рукопись, если бы ее показали человеку сведущему, полностью пришлась бы ему по душе. Но я даже не думаю об этом; не пытайтесь этого делать, это бы утомило Вас и отняло много сил. Мы обсудим эту идею, когда увидимся в следующий раз, когда место и время будут более подходящими.

Я, мой друг, собираюсь снова обратиться со своей старой просьбой, и, поскольку она совершенно обоснованна, надеюсь, что Вы сделаете все, что в ваших силах, чтобы убедить тех, кто, возможно, станут ей противиться, изменить свое мнение. Годы проходят, а мне до сих пор так и не представилась возможность почитать «Ле Меркюр»[87]; когда я выйду отсюда, мне понадобится целый год, для того чтобы прочитать все прошлые номера, а ведь мне придется заняться и многими другими вещами.

По этому поводу я предлагаю вот что — причем мне думается, что я не требую слишком многого. Я находился на свободе [частично] в 1777 году и в конце 1778-го. Соответственно, я имел возможность следить за основными событиями этих двух лет, что я и делал,— кому повредит, если мне пришлют номера за эти два года, чтобы мне не пришлось так много читать, когда я выйду? Это все, что я прошу. Мериго дает их на прокат, Вы можете взять их у него; пожалуйста, пошлите их мне, прошу Вас. В то же время, если случится, что в одном из номеров в разделе текущих событий, который я не читал, повторяю, если в одном из выпусков будет содержаться сообщение о ка-

ком-то событии, о котором Вы не хотели бы, чтобы я прочитал, вырвите эту страницу и заплатите Мериго за весь номер; тридцати су хватит за это с лихвой. Вы видите, что мне наплевать на такие вещи. Все, что меня интересует, это раздел, имеющий отношение к театру и литературе. Какую бы работу ты ни избрал, совершенно невозможно сделать что-либо толковое, если не следишь за газетами. Наверное, есть издания и получше, но я в течение многих лет читал «Ле Меркюр» и он пришелся мне по душе.

Итак, в качестве одолжения, причем очень большого одолжения, мой дорогой друг, пришлите мне «Ле Меркюр» за два года — 77-й и 78-й, вырывайте из них страницы, перечеркивайте, как вашей душе будет угодно, и можете быть уверены, что я никогда не стану жаловаться, и даже не стану спрашивать, почему Вы убрали ту или иную страницу. Кроме того, я прошу Вас прислать мне к первому числу следующего месяца три ежегодника: военный, королевский и еще один, посвященный театру, которые Вы любезно посылали мне каждый год. Эти две вещи будут в верхней строке списка моих поручений, которым я закончу это письмо или приложу на отдельном листе.

Сегодня, слава Богу, уже третий день подряд, когда я обхожусь без огня в моем замечательном очаге, и одному Богу известно, сколько я кашлял и в каком ужасном состоянии находится моя грудь. Нужно быть таким, как Какамбо, только не на четверть испанцем, а на четверть англичанином[88] или немцем, чтобы даже подумать о том, чтобы запереть несчастных в помещении, которое снабжено зловонным очагом, вызывающим головную боль; и это при том, что за каких-нибудь пару луи, никоим образом не повредив толстые стены, можно установить в этом помещении камин. Я готов за него заплатить; скажите только когда; а еще лучше, пусть дадут мне кирпичей

и раствору, я сам все сделаю, если они именно этого хотят. Такое неудобство во внешнем мире — всего лишь пустяк, потому что нужно только лишь распахнуть дверь или перейти в другую комнату: но только подумайте, каково приходится несчастным, которые не могут ни перейти в другое помещение, ни распахнуть дверь.

Вы постоянно мне говорите (под видом знака) в свойственной Вам милой манере, что они собираются дать мне другое помещение и снова разрешить прогулки и проч. Но все это произносится на мотив «Давай, малыш, давай, посмотри, не идут ли они» и проч., вследствие чего я рассматриваю такие заявления в числе других вещей, которые я просто отказываюсь читать в ваших письмах. Тем не менее так далее продолжаться не может, просто не может; Вы не представляете, насколько эта [печка] на меня действует. От дьявольского запаха раскаленного металла у меня возникают такие головные боли, что я схожу с ума, а дым выедает глаза и совершенно портит зрение. Я бы с удовольствием заставил этого ублюдка пристава провести здесь три-четыре часа и чтобы он сплясал мне *английскую сарабанду*. О боги! Ну и здорово бы было! Как бы он тут скакал!

Я получил все ваши посылки; на этот раз они очаровательны, любовь моя, и я благодарю Вас от всего сердца: свечи, фазан, достойный украсить стол *начальника замка или тюрьмы*, изысканный цветок апельсина и тщательно отобранные консервы. Отбросив шутки в сторону, все великолепно во всех отношениях; я полагаюсь на Вас, что Вы будете так же хорошо выполнять мои поручения и в будущем.

Вы правильно поступили, что приказали побрить наголо вашего старшего сына, и было большой ошибкой не поступить так же и со вторым. Я обязан своей шевелюрой исключительно тому факту, что предпринял те же меры предосторожности, как

только заболел ветряной оспой. Что же касается лица старшего, не бойтесь, все закончится прекрасно; я как сейчас вижу — он будет худым, гибким, ловким, хорошо сложенным; он будет умен, как дьявол. С такими качествами у мужчины женщин всегда будет более чем достаточно, чтобы обеспечить ему несчастную жизнь. Большее количество привлекательных черт только удвоят количество невзгод; они нежелательны. После того как я переболел ветрянкой, я выглядел гораздо непригляднее его; можете спросить у Амбле; я бы напугал и самого Сатану; и тем не менее я думаю, что могу сказать без малейшего хвастовства, что из меня вышел вполне симпатичный сукин сын.

Итак, отошлите мне остальные комедии. Не сделать этого — значит совершить незаслуженно злой поступок: пока у меня была здоровая грудь и добрая пара легких, те, кто сегодня имеют наглость отказывать мне в этих пьесах, прекрасно знают, что я использовал и то, и другое, чтобы читать им вслух, поскольку — и здесь снова нет ни тени хвастовства — никто в их блистательном обществе не был так наделен даром читать вслух, как я. Теперь я могу об этом сказать, поскольку больше не могу декламировать, слава Богу. Это как шестидесятилетняя старуха, которая повесила у себя над головой портрет, написанный, когда ей было пятнадцать, и которая говорит всем, кто приходит к ней в гости: «*Видите, какая я была раньше*». Поэтому пришлите мне эти комедии; не заставляйте меня говорить, что у вашей семьи нет никакого чувства благодарности, и можете быть уверены, что все произведения, о которых я прошу, без всякого сомнения, есть в продаже. Кроме того, если Вы захотите придержать их у себя, дабы использовать для составления какого-нибудь знака, не утруждайтесь это не последнее из моих поручений, и, как только Вы выполните все из нынеш-

него списка, вскоре появится новый: у меня не бывает недостатка в идеях.

Я чрезвычайно доволен, что Вы купили «*Отца семейства*»[89]. Я в должное время внесу исправления в это произведение и вскоре перешлю [*sic*] их Вам. Их будет немного: несколько слов, новый поворот, к сожалению, никаких настоящих изменений. Говоря об этом, мне кажется, судя по присланным Вами пьесам, что в наше время не принято церемониться, и когда люди заходят так далеко, что заимствуют целые стихотворения из Расина, то, я считаю, можно оставить в пьесе определенную ситуацию, даже если она, возможно, напоминает ситуацию из какой-нибудь другой пьесы. Тем не менее я изменю основной элемент сюжета и пошлю его Вам. Пожалуйста, не забудьте приложить эту страницу к рукописи и проверить те изменения, которые внесет г-н Жозеф Киро.

Кстати, об этом «Отце семейства»: Вы не читали эпиграф? это просто шедевр. Прочитайте его; хотя он обращен к принцессе, это свод предписаний для всех матерей, и он поистине грандиозен. Когда будет возможность, прочитайте его вашему сыну. У Вас создастся впечатление, что это написал Дидро.

Спасибо Вам за медицинский совет; я собираюсь ему последовать. Врач ко мне не приходил. Этот недуг не мешает мне ходить, но причиняет сильную боль, когда я нахожусь в постели, а еще хуже сидеть; и продолжается это уже два месяца. Вы были совершенно правы, предостерегая меня от использования *свинцовой примочки*, потому что мне чуть было не прописали это средство. Воспаления нет, это больше похоже на сильную ссадину.

Так, давайте посмотрим, о чем Вы пишете дальше в вашем письме?.. «*платежное поручение, выписанное на имя моей матери...*» Ах да! *Знаки?*

Песенка, песенка

Ах, цыпочка моя, Вы просите так сладко,
мол, чтоб набрать жирок и сделаться пухлей,
Вам нужно порученье? Фуй!
Клянусь, Вы от него не станете милей.
К тому же все у Вас имеется в достатке,
и в том числе большой и толстый х...

Ну, что скажете, я прав или нет? И все же, думаю, что не прав; пусть лучше меня заберет дьявол, если мне придется когда-либо услышать насмешку по этому поводу!

Не говорите больше ни слова о моей *толстушке-служанке*; Вы постоянно сбиваете меня с толку. Сперва Вы описываете ее как уродливую: с этим можно смириться и сказать себе, что существует вероятность, что она утешится, с большим рвением поклоняясь алтарю добродетели. Теперь же Вы говорите, что она хорошенькая и, следовательно, шлюха. Ладно, я попытаюсь примириться и с этим; но больше не путайте меня в этом отношении; ибо чрезвычайно трудно менять собственные представления с каждой новой луной.

Я же, со своей стороны, дорогой друг, также заверяю Вас, что единственные мгновения счастья для меня, это когда я думаю о том, как мы снова окажемся вместе. Но, черт возьми, как же долго меня заставляют этого ждать! О! слишком долго, мучительно долго, и когда видишь, что все становится значительно хуже, и когда доказано, что из этого, как в физическом смысле, так и в душевном, не выйдет ничего, кроме величайшего вреда и величайшей опасности, не следует доводить все это до такой степени. Черт бы все это подрал! — я Вам уже говорил: мы платим этим людям, и не будем больше об этом! Деньги, деньги, столько денег, сколько хотите! Ущерб, нанесенный

кошельку, не смертелен; но иное дело то, что приводит к разрушению рассудка, нрава, характера и основных элементов, из которых складывается человек. Такие вещи не подлежат восстановлению, и невозможно думать, что они принесены в жертву женской мстительности и используются для того, чтобы свинья-полукровка стала еще жирнее[90].

Доброй ночи, я и так уже достаточно наболтал. Меня вдохновило ваше письмо, одно из тех, которыми я более всего дорожу; но мне не следует перегибать палку и напоследок вызывать у Вас меланхолические настроения. Поэтому здесь и остановлюсь; я больше не стану писать, только лишь подтвержу получение тех вещей, которые я попросил прислать к первому числу следующего месяца, и список которых я здесь прилагаю.

<...>

[*Остальная часть письма отсутствует.*]

À madame de Sade

К г-же де Сад

[30 декабря 1780 г.]

«Несомненно, это последнее новогоднее письмо, которое я пишу Вам в Венсенн, мой милый...»

«О! Я уверяю Вас, что год не закончится без того, чтобы я не имела удовольствия обнять Вас...»

«Никогда не следует отчаиваться, год еще не закончился, и я не вижу ничего, что могло бы помешать осуществлению надежд в отношении 79-го года, которые я в Вас вселила».

«Этот год, без сомнения, будет благоприятным, и нашим горестям придет конец...»

«Начальник полиции и все его люди только что заверили меня, что 79-й год будет для меня очень счастливым, причем сказал это таким образом, что я вполне ему поверила». (В это я верю, потому что Ваше счастье заключается в том, что я нахожусь за решеткой; это деликатный вопрос!)

Вот, сударыня, достаточный образчик ваших ужасающе лживых заверений. И не сваливайте вину за них на других, тех, которые Вам лгали. Вам или следовало вообще промолчать, или говорить лишь тогда, когда Вы уверены в тех фактах, которые Вы излагаете. Короче говоря, Вы тупица, которая позволяет водить себя за нос; а те, кто Вас водит,— чудовища, которых бы следовало повесить и не снимать с виселицы, пока вороны не сожрут их до последнего кусочка.

Я иногда представляю вашу отвратительную мамашу перед тем, как гнойник ее зловонной черной желчи лопнет и начнет капать на меня. Она, должно быть, раздулась бы, как тот крестьянин из «Доктора Криспина», который проглотил три бушеля пилюль[91]. Меня поражает, как она не померла от этого двадцать раз кряду, но, увы мне, небеса рассудили иначе. Я сделал небольшой набросок на эту тему и хочу заказать по нему гравюру, когда выйду отсюда.

На этом рисунке президентша лежит голая, на спине, и выглядит как одно из тех морских чудищ, которые иногда море выбрасывает на берег... Г-н Н... который щупает ей пульс, говорит: «Сударыня, Вам нужно сделать прокол, иначе Вы задохнетесь от желчи». После чего призывается щеголь Альбаре, который делает прокол своей милой хозяйке. Маре, который держит свечку и который время от времени пробует на язык эту субстанцию, проверяя, хороша ли она; и еще там присутствует малютка Р... который держит тарелку и который — хотя она и наполнена до краев — кричит фальцетом: «*Мужайтесь! му-*

жайтесь! Этого количества не хватит даже на то, чтобы оплатить трехмесячное проживание в моем домике...»

Из этого получится восхитительная гравюра.

Почему Вы не послали мне «Театральный», «Военный» и «Королевский» альманахи, а также номера «Меркюра», которые я у Вас просил? Если я не получу их обратной почтой, то протестую и заявляю, что откажусь принимать от Вас дальнейшие письма. Жестоко испытывать нежелание делать что-либо иное, кроме того, что причиняет мне боль, и никогда не делать того, что приносит мне хоть какое-то утешение. Вот ваш прошлогодний ... венец вашей фальши и лжи: я посылаю Вам вместе с ним, сударыня, мои наилучшие пожелания в Новом году.

Пусть всех Вас — Вас, Вашу отвратительную семейку и всех их подлых лакеев — посадят в мешок и бросят в пучину океана. А потом пусть мне как можно скорее сообщат об этом, и, клянусь небом, это будет самый счастливый момент в моей жизни. Итак, сударыня, я посылаю свои наилучшие пожелания и поздравления, включая те, что обращены к вашей шлюхе Руссе, осыпая Вас ими с головы до ног.

À monsieur Le Noir

К г-ну Ленуару
20 февраля 1781 г.

Сударь,

до тех пор, пока мое наказание ограничивалось периодом времени, который можно было посчитать относительно соизмеримым с небольшим проступком, я страдал молча. Но теперь, когда я вижу, что это выходит за рамки того, что, вне всяких со-

мнений, могли бы рекомендовать справедливые и беспристрастные люди, и по причине чего я полностью убежден, что правительство покровительствует лишь мести и клевете, я имею право умолять Вас, сударь, приехать сюда и повидаться со мной, чтобы я мог доказать Вам, не оставив и тени сомнений, что не заслуживаю такого сурового наказания, как то, которому меня подвергают.

Вам достаточно известно, сударь, что королевская конституция, которой полностью противоречит все то, что называют *lettre de cachet*, вступает в еще большее противоречие, когда кто-либо осмеливается использовать их единственно как орудие тайной ненависти между семьями или, возможно, чтобы способствовать особенным интересам их друзей. Не секрет для Вас и то, что в нашей стране мы живем не по законам инквизиции, и, тем не менее, в отношении меня за последние четыре года используются именно инквизиторские методы, при этом никто не соблаговолил явить мне законы короля.

Одним словом, сударь, Вам лучше меня известно, что наказание одного из подданных короля без должного рассмотрения его дела является нарушением наших законов, осмелюсь сказать, даже неподчинением власти монарха. Если бы Вас несправедливо оклеветали подлые враги, сударь, разве бы Вам пришлось по душе, если бы Вам отказали в какой-либо возможности привести доводы в свое оправдание? Такое оправдание снова возводит прославленного судью на свое судейское место. Таким образом, пусть ваше сердце подскажет Вам, что и мои оправдания следует выслушать и что это возвращает государству того, кто, хотя и не так любим и ценим, по крайней мере является подданным, который, как и Вы, тем не менее, считает своей величайшей честью посвятить свое внимание, свою жизнь и своих детей своей стране.

Если я заслужил того, чтобы окончить свою жизнь на виселице, я не прошу помилования, но, если я повинен только в том, чем занимаются все, и сотни примеров чему Вы, на той должности, которую Вы занимаете, наблюдаете каждый день, со мной не следовало поступать так несправедливо.

Если бы Вы не нашли в своем сердце возможности ответить личным свиданием на мое письмо, Вы бы заставили меня думать, что, вместо того чтобы быть отцом и защитником униженным, Вы являетесь пособником тирании их родственников. И в этом случае Вам не следует удивляться, если, как только я выйду отсюда — даже если я буду вынужден пасть в ноги королю для того, чтобы отомстить,— я возьму все в свои руки и сделаю все, что понадобится для того, чтобы восстановить честь, которой Вы, похоже, намерены меня лишить, и чтобы подвергнуть моих притеснителей такому же обращению, которому они подвергли меня.

Имею честь быть вашим наипокорнейшим и наипослушнейшим слугой.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[20 февраля 1781 г.]

МОЕ БОЛЬШОЕ ПИСЬМО

Мой дорогой друг, я поистине думаю, что в ваши намерения должно было бы входить привитие мне такого же уважения к вашим маленьким божествам, которым Вы сами обладаете в такой глубокой степени. И поскольку Вы со-

бираетесь раболепствовать перед всем этим сборищем, Вы хотели бы потребовать от меня того же! чтобы ... ... и ... стали моими богами так же, как они стали вашими! Если по несчастливой случайности Вы вбили себе в голову эту мысль, я умоляю Вас полностью ее выкинуть. Превратности судьбы никогда не заставят меня пасть так низко;

Как бы скован я ни был, мое сердце остается свободным
(Арзакиды).

и останется таковым навсегда. Даже если эти проклятые оковы, да, даже если они сведут меня в могилу, Вы всегда будете видеть меня таким же. По печальному стечению обстоятельств, я получил от рождения непреклонный характер, который никогда не сгибался и никогда не согнется. Я не страшусь ни обидеть, ни озлобить кого бы то ни было, кем бы он ни был. Вы представили мне слишком много доказательств того, что мой срок установлен раз и навсегда, чтобы у меня оставались какие-либо сомнения на этот счет: соответственно, никто не может ни удлинить его, ни сократить. Кроме того, если бы он не был установлен, я бы зависел не от этих людей, но от короля, а он единственный в стране человек, которого я уважаю,— его и принцев королевской крови. Ниже их я не вижу ничего, лишь некое размытое пятно, такое неясное, что в нынешних обстоятельствах мне лучше не присматриваться слишком пристально, ибо это выявило бы такое превосходство с моей стороны, что только еще более укрепило бы мое и без того уже глубокое презрение.

Вы должны понимать, что просто невозможно обращаться со мной так, как это делают они, и после всего этого ожидать,

что я не стану жаловаться; ибо давайте на мгновение сложим два и два: если заключение должно быть таким продолжительным, как мое, разве поистине не отвратительно делать его еще более ужасным с помощью всего того, что ваша мать решила придумать для того, чтобы мучить меня здесь? Что?! Недостаточно лишить человека всего, что делает жизнь приятной и ради чего стоит жить, недостаточно не давать ему даже дышать чистым, свежим воздухом, заставлять его наблюдать, как его желания навсегда разбиваются о четыре стены, заставлять проводить дни, настолько похожие друг на друга, что они напоминают те, которые мы ожидаем проводить в могиле? Этой ужасной пытки недостаточно, по мнению этого жуткого существа: нужно еще более усугубить ее всем тем, что она может придумать, чтобы удвоить весь этот ужас. Но Вы согласитесь со мной, что только чудовище способно так далеко зайти в своей мстительности...

Все это существует лишь в вашем воображении, скажете Вы; люди не делают таких вещей; все это плоды вашего воображения, которые часто возникают у людей, оказавшихся в вашем положении. Плоды моего воображения? Неужто! Я загляну в начало своей записной книжки, где записываю свои наблюдения и в которой содержится не менее 56 доказательств того рода, что я собираюсь Вам процитировать, из которых я возьму лишь одно, и Вы увидите, не ядовитая ли злоба одиозной строптивицы скрывается за всем тем, что я вменяю ей в вину, и можно ли действительно назвать это плодом воображения.

Вы можете ни минуты не сомневаться, что заключенный, пусть даже у него есть веские основания полагать, что его освобождение все еще далеко, станет как голодное животное хвататься за все, хотя бы отдаленно говорящее о том, что его срок

может быть не таким долгим: такова человеческая природа, в этом нет ничего плохого: поэтому это не то, за что следует наказывать человека, скорее, стоит его за это пожалеть. Таким образом, разжигать, лелеять, порождать мысли, которые склонны вводить его в заблуждение,— это намеренная жестокость. Следует с исключительной осторожностью делать совершенно противоположное, и элементарная гуманность (если бы таковая присутствовала в данном случае) должна была бы все время служить постоянным напоминанием о том, что не нужно [играть] с самым тонким из чувств несчастного; ибо ясно, что причина всех самоубийств — это обманутая надежда. Таким образом, не следует вселять подобную надежду, если она неосуществима; и тот, кто так поступает,— очевидное чудовище.

Надежда — это самая чувствительная часть души того, кто страдает и испытывает боль; тот, кто дает ему такую надежду, а затем убивает ее, поступает словно те адские демоны, которые, как говорят, постоянно открывают одну и ту же рану и которые старательно теребят уже открытую рану, не трогая другие. Это в точности то, что делает со мной ваша мать в течение четырех лет: множество свежих надежд месяц за месяцем. Судя по тому, что говорят эти люди, по содержанию ваших посылок и писем и проч., постоянно оказывается, что мое освобождение рядом, буквально за углом; когда же я дохожу до этого угла, внезапно следует хорошо нацеленный удар кинжалом: и снова следует длинная череда шуточек и насмешек. Создается впечатление, будто этой злой женщине более всего нравится заставлять меня строить карточные домики, чтобы потом иметь удовольствие развалить их, как только они построены. Если забыть на мгновение все отрицательное влияние, которое это оказывает на надежду, не говоря уже о большой вероятности изме-

нения ее, не говоря о том, что человек непременно оставит надежду до конца своей жизни, существует еще, с чем Вы согласитесь, гораздо более серьезная опасность окончательно переполниться отчаянием; и в настоящее время я ни на минуту не сомневаюсь, что это и есть ее единственная цель. И именно этим, когда ей не удалось погубить меня, оставив меня в ужасном положении, в котором я находился в течение пяти лет до того, как оказался в тюрьме, она решила заняться, засадив меня, возможно, еще на пять лет, при более благоприятных условиях. Из множества доказательств, которые, как я только что сказал, у меня имеются, эта варварская игра, которую она со мной затеяла и которая состоит в том, чтобы приподнять меня с колен, а затем сбить с ног, я приведу Вам одно из самых последних, дабы убедить Вас в моих словах.

Примерно полгода назад Вы прислали мне занавески для моей комнаты; я постоянно просил здешних людей повесить их; они все время отказывались. Какой вывод я должен сделать из этого? *Что в них нет нужды*, а это, в свою очередь, дает надежду; они не станут ничего делать, пока не решат, что у меня было довольно времени, чтобы построить свой карточный домик, а когда этот день настанет, они повесят занавески — и мой замок развалится в прах. Таковы игры, в которые играет г-жа президентша де Монтрей, игры, которыми она наслаждается в течение четырех лет вместе с лакеями, которым она платит, дабы они помогали ей и содействовали в этих добрых делах, людьми, которые смеются у нее за спиной (по крайней мере, так в совершенно ясных выражениях сообщил мне Маре, который, вне сомнения, злится, что не принадлежит к близкому кругу), как только получают свои подарки или деньги. Таковых маневров насчитывается 56, не считая тех, что еще впереди; причем

это не значит, что я имел возможность насладиться 56 различными мнениями в отношении моего освобождения.

Боже упаси! Я бы потратил всю жизнь на вычисления и подсчеты, от какового занятия я тщательным образом воздерживаюсь (у Вас есть доказательства моих более серьезных способов времяпрепровождения), но я внимательно слежу за тем, что происходит, и должным образом отмечал, что, по всей вероятности, вместо постройки песчаного замка номер четыре, которым я сейчас занят, и который, хотя до этого еще далеко, несомненно разрушится, подобно трем предыдущим; итак, повторяю, она занимается тем, что пытается вместо четырех замков заставить меня построить добрых 56. Я не могу не задаться вопросом, так ли должна поступать разумная женщина, умная женщина и женщина, которая, только лишь ради связующих нас уз, должна была бы уменьшать мои страдания, вместо того чтобы увеличивать их?

Но Вы говорите мне, что *она оскорблена*. Во-первых, я это отрицаю; ей не было причинено никакого вреда, кроме как до той степени, в которой она сама того хотела, и если на этот счет у нее есть какие-то претензии, то только своим собственным талантам она обязана тем, что воспринимает как личное оскорбление. Но давайте предположим, что она в самом деле оскорблена: означает ли это, что она должна искать мщения? Такая набожная женщина, которая *внешне* полностью соответствует церемониальным требованиям своей религии, должна ли она отворачиваться от самой главной и самой основной из ее догм?

Но давайте смиримся с ее местью, я допущу это; но такое длительное тюремное заключение, такой суровый приговор, разве не являются для нее достаточной местью? Неужели ей нужно еще больше? *О! Вы не понимаете сути*, заметите Вы; *все*

это было необходимо; именно это требуется нам для того, чтобы выиграть! Выиграть! Полноте, будьте справедливы: даже если предположить, что я вышел бы завтра на свободу, осмелились бы Вы сказать, что я выиграл, не опасаясь, что я обвиню Вас в вопиющей наглости? Выиграть! — посадить человека в тюрьму за *обычную вечеринку с несколькими девицами*, точно такую же, как и восемьдесят других, которые происходят в Париже каждый день! И после этого заявлять ему, как ему повезло, что он отделался всего лишь пятью годами тюрьмы, и что если он и доведен до безумия, то только для того, чтобы выиграть! Нет, я отвергаю саму эту мысль, ибо она вызывает у меня слишком сильное отвращение, и я вполне уверен, что у Вас никогда не хватит наглости снова о ней упоминать.

Давайте снова обратимся к тому, о чем я только что говорил, а именно об *обычной вечеринке с несколькими девицами*, которая, как мне видится отсюда, пугает тех, кто испытывают отчаяние от того, что не могут убедить меня в том, что все клеветнические измышления против меня, которые они допускают, это сущая правда. Мои приключения можно свести к трем эпизодам.

Первый из них я пропущу: он полностью лежит на совести г-жи президентши де Монтрей, и если кого-то и следовало за него наказывать, то именно ее; но во Франции не наказывают тех, кто имеет сто тысяч ливров годового дохода, а ниже них стоят *маленькие жертвы*, которых они могут выдать тем прожорливым чудовищам, чья профессия состоит в том, чтобы жить, питаясь кровью несчастных. Они потребовали своих *маленьких жертв* — они их получили, и долг погашен. Поэтому я сейчас нахожусь в тюрьме.

Вторым приключением был Марсельский инцидент: я полагаю, что обсуждать его также не имеет смысла. Я думаю, что

было в достаточной степени установлено, что там речь не шла ни о чем ином, как о либертенстве, и что, какие бы свойства уголовной природы они ни решили придать этому делу, для того чтобы утолить жажду мести моих провансальских врагов и прожорливость судьи, который хотел получить мой титул для своего сына,— это было всего лишь чистым измышлением. И поэтому, так же, как и в первом случае, за это я расплатился полностью заточением в Венсенне и запрещением на въезд в Марсель.

Давайте теперь перейдем к третьему эпизоду. Прежде чем приступить, я прошу у Вас прощения за те выражения, которые я вынужден буду использовать; я постараюсь умерить их силу, прибегнув к сокращениям. Кроме того, между мужем и женой дозволено, когда того требуют обстоятельства, выражаться более свободно, чем в общении с чужими людьми или обычными знакомыми. Я также прошу извинить мои признания, но предпочитаю, чтобы Вы думали обо мне как о либертене, чем о преступнике, и изложу голые факты, не сделав со своей стороны никаких попыток приукрасить их даже на йоту.

Поскольку я был вынужден провести достаточное количество времени в удаленном замке, почти полностью лишенный вашего присутствия и имея небольшой недостаток (необходимо признать), который состоит в том, что я, возможно, несколько больше, чем следовало бы, люблю женщин, я обратился к известной лионской сводне и сказал ей: я хочу взять себе в дом трех-четырех служанок, мне нужно, чтобы они были молодыми и хорошенькими; найдите мне таких. Сводню звали Нанон, и эта Нанон была в Лионе сводней известной, что я докажу, когда наступит срок. Она обещает мне найти таких девушек и находит их. Я отвожу их домой; я их использую. Полгода спустя приезжают родители и просят вернуть этих девиц, уверяя меня,

что это их дочери. Я передаю их родителям; и вдруг мне предъявляют обвинение в похищении и изнасиловании! Но это вопиющая несправедливость.

Вот правила в этом отношении, которые сообщил мне сам г-н де Сартин; он был так любезен, что однажды лично мне их объяснил, о чем он будет счастлив вспомнить: во Франции сводням совершенно запрещено торговать девственницами, и если предоставленная ею девица окажется девственницей и подаст жалобу, то судят не мужчину, а сводню, которая подвергается суровому и немедленному наказанию. Даже если мужчина попросит девственницу, наказывают не его: он делает только то, что делают все мужчины. Опять-таки, наказывают сводню, которая предоставила ему девушку и которая прекрасно знала, что это совершенно запрещено. Таким образом, первое заявление, которое на меня подали в Лионе, за похищение и изнасилование, не было юридически оправданным; я никоим образом не виноват; следовало наказывать не меня, а сводню, к которой я обратился.

Но они знают, что из камня крови не выжмешь, а родители надеялись выжать из меня деньги. С этим все ясно. Ранее у меня было любовное приключение в Аркёе[92], когда женщине, также лгунье и лицемерной мошеннице, пришлось, дабы получить деньги (которые были по глупости ей заплачены), распустить слухи по всему Парижу, что я проводил всевозможные опыты и что сад за моим домом — это кладбище, где я хороню тела, использованные в моих опытах. Эта небылица была слишком хороша, чтобы быть правдой: она была состряпана как на заказ для моих злобных врагов, и они с удовольствием вспоминали о ней, украшая живописными подробностями всякий раз, когда со мной что-нибудь случалось.

Вследствие чего, во время Марсельского дела, было заявлено, что я снова якобы пытался провести какие-то опыты, и здесь снова предметом моих опытов, вне всякого сомнения, стала одна из девиц, которую после этого больше никогда не видели. Но если все девицы и не оказались после этого снова в Лионе, то все они раньше или позже появились где-то еще. Давайте рассмотрим эту ситуацию. Этих лионских девиц было всего пять, это нам известно. Одна, напуганная одиночеством, в котором она содержалась (не для того, чтобы провести над ней какие-то опыты, а потому что я был вынужден поступить так из соображений приличия), сбежала и укрылась у моего дяди. *Таким образом, в отношении ее мы отчитались.* Одна осталась у меня дома в качестве прислуги, и там она умерла естественной смертью, на виду у всей провинции, которая прекрасно об этом знала; ее лечил врач из департамента общественного здоровья. Таким образом, *мы отчитались по поводу еще одной.* Две были переданы своим отцу и матери. *Мы отчитались еще в двух.* Что же до *пятой* и последней, то она откровенно грозилась убежать, как и ее подружка, и распространить всевозможные сплетни, если ее будут держать под замком, а поскольку у нее не было родителей, которые могли бы ее забрать, я передал ее одному крестьянину в Ла-Косте — которого я назову в должное время и которого Вы очень хорошо знаете,— и тот, в свою очередь, поместил ее в качестве прислуги в доме одного из своих родственников в Марселе; и, поскольку я должен предоставить полное доказательство вышесказанного, я признаюсь, что буду более чем счастлив предоставить таковое доказательство. И, таким образом, о ней позаботились, взяли на службу и оставили в доме, в отношении чего мне было представлено достоверное свидетельство, которое я храню в надеж-

ном месте и также предъявлю, когда возникнет нужда. Позднее до меня дошли известия, что сие создание покинуло этот дом и занялось сводничеством.

Итак, вот что произошло с пятью девицами из Лиона, подробности жизни которых установлены настолько ясно, что я могу бросить вызов самому умному или, скорее, самому ловкому юрисконсульту, чтобы он попытался доказать мне что-либо обратное.

Теперь давайте пойдем дальше. Три другие девицы, того возраста и положения, которые выводят их из-под юрисдикции их семей, до или после этого периода в течение нескольких недель жили в Лакостском замке. Давайте поведаем их полную историю, и пусть это послужит моим признанием, ибо таково мое искреннее намерение, и я желаю, если это возможно, раз и навсегда уничтожить даже малейшее подозрение в отношении всех тех ужасных вещей, которые некоторые люди с таким удовольствием обо мне выдумывали и которые заставили г-жу де Монтрей обращаться со мною так, как она это делает, как из-за ее исключительной склонности верить всему, что она слышит, так и из-за орудий, которые эти лживые измышления дали ее жажде мести.

Первую из этих девиц звали *Дюплан*; она была танцовщицей в Марсельской опере. Она открыто жила в замке, без всякого инкогнито, имея звание домоправительницы; и когда она покинула Ла-Кост, то сделала это открыто. Более года спустя я снова случайно встретился с ней в Бордосской опере, и она все также жила в маленьком провинциальном городке, который мне показали, когда я ездил в Экс. Таким образом, о ней беспокоиться нечего.

Вторая приехала из Монпелье; звали ее *Розеттой*. Она провела в замке около двух месяцев, в основном избегая общения. В конце этого периода она сказала, что хочет уехать, и тогда мы оба договорились, что ей следует написать одному своему знакомому в Монпелье, чтобы этот человек, который, как мне помнится, был столяром по профессии и ее домохозяином в упомянутом городе Монпелье, лично приехал и забрал ее, не заходя за ограду замка. Назначенный час, место, день, встреча,— все было особо оговорено. В назначенный день этот человек прибыл, как и было условлено, и я лично передал девицу вышеупомянутому человеку, девицу по имени *Мари* (она была той лионской девицей, которая оставалась у меня в услужении), вместе со свертком ее личных вещей, которые также были переданы этому человеку. У него был с собой мул, он посадил на него девушку и поместил на него же ее багаж, получил от меня сумму в шесть золотых луи, которые девушка попросила меня ему дать,— это та сумма, которую она заработала, находясь у меня на службе,— и они уехали. Это событие произошло в июне 1775 года.

В октябре 1776-го, как Вам известно, я провел в Монпелье две недели и оттуда привез с собой третью из упомянутых девиц. Розетта — ибо ее звали так — совершенно очевидно жила в то время в Монпелье, доказательством чего является то, что я сам ее там видел, *видел ее там во всяком случае или, говоря более откровенно, виделся с ней*, и именно она предложила этой третьей девушке, которую звали Аделаидой, последовать по ее стопам, заверив ее в присутствии двух или трех других женщин, не все из которых, возможно, выразят нежелание дать свидетельские показания, когда мне придет срок возвысить свой голос. Повторяю, заверив ее, что не может сказать

обо мне и своих отношениях со мной ничего, кроме хорошего. Только лишь рекомендациям Розетты я обязан второй девушкой, которая, ничего обо мне не зная, в противном случае наверняка бы со мной не поехала.

Итак, Аделаида приезжает и остается до третьего скандала г-жи де Монтрей, в каковой момент куртезонский почтмейстер увез ее из замка без дальнейших хлопот. Таким образом, судьба этой третьей девушки ясно установлена. Две или три другие девицы, или поварихи, или буфетчицы, включая тех, кого мы с Вами привезли из Парижа в различное время, когда я не являлся в суд, жили в Лакостском замке, но находились они там в течение такого короткого срока и их приезды и отъезды настолько хорошо документированы, что я не вижу необходимости даже упоминать о них. Также среди них была племянница Нанон, сводни, о которой мы только что говорили, и которую мы послали в монастырь. Г-жа де Монтрей забрала ее оттуда; таким образом, она знает, что с ней стало. Вот и вся история. Таково мое признание, в том виде, в каком я сделал бы его перед Богом, если бы находился на смертном одре.

Каков же итог всего этого? А итог заключается в том, что г-н де Сад, которого они, вне сомнения, обвиняют во всевозможных ужасах, раз уж так долго держат его в тюрьме, и который имеет самые веские основания бояться находиться в тюрьме, как по тем причинам, которые он вскоре раскроет, так и потому, что он уже в двух случаях испытал на себе, на что способна пойти злобная молва, чтобы ему навредить, однако не более виновен в *опытах, экспериментах* или *убийствах* в этой самой последней истории, что и во всех остальных; что г-н де Сад сделал все то, что делают все на свете; что он имел отношения с теми женщинами, которые или уже были распутны-

ми, или были предоставлены ему сводней, и, следовательно обвинение в совращении просто неприменимо, и, тем не менее, г-на де Сада наказывают и заставляют страдать, словно он повинен в самых гнусных преступлениях.

Теперь давайте посмотрим на доказательства, выдвинутые против него. Первое: *признания виновной сводни*. Но разве личные причины, которыми она себя оправдывает, не достаточно вески, чтобы я подумал, что в ее лучших интересах взвалить как можно большую часть вины на плечи человека, которого она считает своим сообщником? Второе: *отсутствие девушек в природе*. В этом я готов биться об заклад головой и готов лишиться ее, если окажется, что я ошибаюсь. Третье: *человеческие кости, обнаруженные в саду:* они были представлены в качестве доказательства девицей по имени Дюплан, она жива и в добром здравии, ее можно допросить; в качестве шутки, то ли хорошего, то ли дурного толка (в любом случае я предоставляю Вам решать самой), они использовали эти кости для того, чтобы украсить небольшую комнату; они действительно были использованы для этой цели, а затем вынесены в сад, когда шутка или, скорее, пошлая выходка, закончилась. Пусть пересчитают и сравнят то, что они нашли, с имеющимся у меня списком, написанным рукою Дюплан, с количеством и типом тех костей, которые она сама привезла из Марселя: они увидят, было ли их найдено хоть на одну больше.

Все эти подтверждения и сопоставления, тем не менее, необходимы в такого рода делах: удосужился ли кто-либо сделать хотя бы одно? Разумеется, нет! Поистине, их интересовала не правда: они просто хотели меня посадить в тюрьму — где я и оказался. Но, возможно, в один прекрасный день я выйду, и, когда я это сделаю, возможно, люди поверят мне в достаточ-

ной степени, чтобы понять, что я знаю, как отомстить за себя и как вынести приговор тем, кто поступает со мной таким образом; или, по крайней мере, если из-за их богатства и покровительства мне не удастся добиться в этом успеха, то, повторяю, по крайней мере я знаю, как публично покрыть их бесславьем, позором и поставить в неловкое положение.

Давайте продолжим: я не хочу, чтобы оставались какие-то недомолвки. Что еще можно прибавить ко всем этим доказательствам? *Свидетельство ребенка?*[93] Но этот ребенок был слугой: в качестве ребенка и слуги его свидетельство недопустимо. Кроме того, здесь присутствует еще один очевидный элемент предубежденности: этот ребенок находился на иждивении матери, которую никак нельзя назвать лицом незаинтересованным; эта женщина считала, что, заставив своего ребенка сообщить о тысяче ужасных вещей, она на всю жизнь обеспечит себя хорошенькой суммой на черный день; она знала все о сотне аркельских луи.

«*Ах,*— может возразить кто-нибудь,— *но почему Вы так уверены, что этот ребенок свидетельствовал против Вас? Значит, ребенок действительно видел определенные вещи, раз уж Вы боитесь признания судом его заявлений?*» Да, я ждал, что Вы это скажете, ибо именно это является самым верхом подлости. Прежде всего, кто должен его бояться, зная, что он был найден таким же образом и такими людьми, как те, кто уже поднял такой шум в Лионе? Это первая причина, по которой я должен отнестись к этому в высшей степени скептично и убедиться, что все это он выдумал, точно так же, как и остальные, и преследуя те же самые цели.

Но это далеко не вся история, и вот что я узнал и что мне сообщил во время моей поездки в Прованс человек, который,

похоже, настолько хорошо осведомлен, что его нельзя заподозрить в том, что он это придумал. Я дал ему слово чести, что никогда его не выдам, и поэтому, без всякого сомнения, сохраню его личность в тайне. Но я также дал слово чести, что эта тайна не останется таковой навсегда. Если, когда я выйду, окажется, что он умер, я больше не буду связан словом и раскрою его имя; если же он все еще будет жив, я почти уверен, что смогу уговорить его освободить меня от данного мною обязательства сохранять эту тайну, и тогда Вы узнаете, кто это.

Я расскажу Вам то, что он сообщил, его собственными словами, чтобы они имели полную силу: «Вам нечего опасаться,— сказал он мне,— пусть даже ваше Эксское дело закончено. Тот ребенок, который был у Вас в секретарях в 1775 году, сразу после того, как покинул замок, направился со своей матерью к генеральному прокурору в Экс, чтобы сделать заявление, и там, в чем я могу заверить Вас с такой же уверенностью, как если бы слышал это сам, им обоим разъяснили, что именно должны они говорить. Г-н де Кастильон[94], опасаясь, что, как только ваше дело будет завершено, Вы можете обратиться против его кузена, г-на де Менда, который выдвинул против Вас чудовищный Марсельский иск, и, отнюдь не удовлетворенный тем, что ему сообщили из Парижа на этот счет, не имея возможности предположить или узнать, каковы могут быть ваши намерения и прекрасно понимая, что г-н де Менд будет погублен, если Вы выдвинете против него встречный иск,— решил опередить Вас. Тогда они научили мать и ребенка говорить множество ужасных вещей, дали им денег, а те сказали и написали все, что их попросили. После этого г-н де Кастильон, дабы придать себе вид человека, который, отнюдь не думая о том, чтобы затеять ссору, хочет лишь ее предотвратить, надлежащим образом уведомил вашу тещу

и, действуя сообща с ней, распорядился, чтобы мать и ребенка отправили в Париж, причем так хорошо им заплатил и вселил в них такие надежды на будущее, а также так хорошо их натаскал, что, по всей вероятности, в Париже они повторили те же самые обвинения, которые зазубрили в Эксе».

Вот что мне рассказали, *в чем я даю Вам свое слово чести*, и рассказал человек, который, несомненно, имел все основания знать об этом. Что бы ни случилось, я клянусь, что однажды я получу от него разрешение раскрыть его имя, и Вы увидите, какое впечатление это произведет.

Таким образом, в столь важном вопросе, как этот, против меня свидетельствуют сводня, которая однажды на меня работала, и ребенок, который тоже состоял у меня на службе; сводня, которой только выгодно оправдать себя за мой счет, и ребенок, которому явно заплатили мои худшие недруги. Здесь, совершенно независимо от моих собственных утверждений, позвольте предложить Вам следующую мысль: разве не было явно продемонстрировано, яснее, чем день, что те люди в Эксе были мастаками по своей части и спровоцировали мое падение, когда это было сочтено необходимым? Поскольку в более раннем эпизоде в Эксе Вы сами видели тому доказательство, опять-таки более ясное, чем день, почему Вы желаете отвергнуть те доказательства, что могли бы существовать во втором эпизоде? Вы должны признать, что эта посылка очень сильна и во многом свидетельствует в мою пользу. Скажите, Вы стали бы по своей воле заходить в лес, в котором у Вас однажды уже отобрали кошелек? И если бы у Вас отобрали его во второй раз, разве не имели бы Вы более чем полное право думать, что воры были теми же самыми? Если бы я был на месте г-жи де Монтрей, од-

ного только этого было бы достаточно, чтобы я отверг все обвинения против моего зятя, идущие из этого города.

Давайте продолжим: еще кое-что осталось, и я хочу, чтобы все вопросы были разрешены. В моей записной книжке были найдены, или предположительно найдены, три улики, которые были использованы против меня. Давайте тщательным образом рассмотрим каждую из них.

Одной из этих улик был рецепт того, как избавить беременную женщину от плода. Это было ошибкой с моей стороны, и, несомненно, иметь при себе такую вещь — опрометчивый поступок, это я признаю. Вне сомнения, я ни разу им не воспользовался, равно как и не намеревался им воспользоваться, когда его записывал. На протяжении своей жизни мне доводилось встречать двух-трех женщин или девиц — больше я уточнять не стану,— которые по настоятельным причинам были вынуждены скрыть результат неблагоразумного поведения со своими возлюбленными, [что и] привело их к совершению преступления. Они признались мне в этом и в то же время сообщили по секрету те весьма опасные средства, которые люди известной профессии использовали на них, средства, которые, как мне кажется, представляли угрозу для их жизни. В Италии я услышал о том средстве, которое обнаружили в моей записной книжке, и, посчитав его исключительно щадящим и не опасным, я из простого любопытства его записал. Я полагаю, что в глазах любого здравомыслящего человека в этом нет ничего, что могло бы причинить вред, и что любой мальчик из церковного хора знает, что можжевельник[95] оказывает такое же действие.

Второй документ появился в результате спора, который возник у меня с маленьким доктором[96] в Риме. Он утверждал, что древние делали железные клинки ядовитыми с помощью того

средства, о котором он рассказывал, и я это записал; и я заявлял обратное, уверяя его, что, как мне кажется, я читал где-то о совершенно другом способе. Весь этот разговор возник по поводу отравленного старинного оружия, которое мы с ним видели в арсенале Замка Святого Ангела. Поскольку я хотел включить несколько слов об этом в мое описание Рима, я записал его мнение, пообещав прислать ему свой способ, как только вернусь домой, а затем уже в своем труде решить, какой из двух более вероятен. По сути, я действительно нашел мнение, которое вступало в противоречие с его точкой зрения, в одной из присланных Вами книг, в четвертом томе *«Истории кельтов»*. Они получали из растения, называемого *linveum*, и, согласно Плинию и Авлу Геллию, *hellebore*[97], средство, которым древние натирали клинки, которые хотели сделать отравленными. Таким образом, я предпочел это мнение, оспаривая то, которое мне предложили. И есть еще вопрос о том, что было выяснено в этой связи. Ну что, это еще один простительный грех?

Но теперь мы приходим к самому важному моменту: *целое юридическое мнение в отношении вопросов, весьма сходных с теми, в которых Вас обвиняют*. Да, изобличающее доказательство, но оно заставляет меня вспомнить старую историю о сороке, которая тащила в свое гнездо все подряд; Вы ведь знаете эту историю, не так ли? Так вот, из этой истории, из истории о Каласе и его сыне, и из многих других, подобных им, Вы узнаете, Вы, которые походя сажаете людей в тюрьмы, что никогда не следует судить о людях по их внешнему виду и наказывать их, даже не выслушав, особенно в такой стране, которая, в лице своих судей и правительства, думает, что свободна от всех инквизиторских притеснений; что, одним словом, нет ни одного гражданина, которого Вы бы имели право упечь в тюрь-

му без справедливого суда, или который по крайней мере не будет иметь права, после того как выйдет, отомстить за себя тем способом, который он сам выберет, лишь бы он наказал Вас за вашу несправедливость.

Да, кто бы Вы ни были, пусть эта мысль ясно проникнет в вашу голову, и послушайте то, что я собираюсь сказать по этому жизненно важному вопросу. Этот документ — признание бедняги, который, как и я, искал убежища в Италии. Мысль о возвращении домой даже не приходила ему в голову; и, видя, что я намерен вернуться, перейдя через Альпы, он вручил мне свое мнение по юридическому вопросу, попросив показать его одному юристу во Франции и потом сообщить, как тот его воспринял. Я обещал ему это сделать. Двумя днями спустя он пришел ко мне и стал умолять вернуть ему эту бумагу, говоря, что, поскольку она написана его собственной рукой, она может служить свидетельством против него; он хотел, чтобы ее кто-нибудь переписал, но не нашел в тех местах никого, кто писал бы по-французски. Я сам переписал для него весь документ, не думая ни о чем другом, как сделать ему одолжение, и даже не вникая в смысл этого текста. Это еще один факт, в отношении которого я *поручусь своим словом чести* и который я готов бесспорно доказать, когда придет срок.

Вот и все мои так называемые оплошности, а также то, что я могу сказать о них и в ответ на обвинения в них, и что, клянусь, я докажу с помощью различных доказательств и других средств, настолько неопровержимых, что будет совершенно невозможно опровергнуть их истинность. Таким образом, я повинен лишь в либертенстве и в таком простом его проявлении, которым занимаются все мужчины в большей или меньшей степени, в зависимости от темперамента или склонности, которыми

их наградила Природа. У всех есть свои недостатки; давайте не будем заниматься сравнениями: от таких сравнений мои палачи могут проиграть.

Да, я либертен, в этом я признаюсь. Я постиг все, что можно постичь в этой области, но безусловно я не осуществлял на практике все, что постиг, и безусловно никогда этого не сделаю.

Я либертен, но я не преступник, и не убийца, и поскольку я обязан присовокупить к своему оправданию свое извинение, я поэтому скажу, что вполне возможно, что те, кто так несправедливо меня осудили, не имеют возможности компенсировать свои низкие поступки добрыми делами, такими же очевидными, как те, что я могу противопоставить своим проступкам.

Я либертен, но три семьи, проживающие в вашем районе города пять лет, существовали на мои пожертвования, и я спас их из пучины бедности.

Я либертен, но я спас от верной смерти дезертира, человека, которого весь его полк и командир бросили на произвол судьбы.

Я либертен, но в Эври, на глазах у всей вашей семьи, я, рискуя собственной жизнью, спас ребенка, который чуть не погиб под колесами повозки, которая мчалась, влекомая испуганными лошадьми, и я сделал это, бросившись под эту повозку.

Я либертен, но я никогда не подвергал риску здоровье своей жены. Я никогда не занимался ни одним из других ответвлений либертенства, из-за которых дети так часто лишаются наследства: разве я растрачивал свои деньги в азартных играх или тратил их на другие вещи, каким бы то ни было образом лишая их наследства или уменьшая его? Разве я неправильно распоряжался своими вещами и имуществом, пока они находились в моем ведении?

Одним словом, разве я в юности давал основания полагать, что обладаю сердцем, способным на те чудовищные поступки, в которых меня ныне обвиняют? Разве я не любил всегда все, что заслуживало моей любви, и все, чем мне следовало дорожить? Разве я не любил своего отца? (Увы, я все еще каждый день проливаю по нему слезы.) Разве я когда-либо вел себя плохо по отношению к своей матери? И разве не тогда, когда я приехал, чтобы побыть с ней, она испустила свой последний вздох, и, чтобы отдать ей последнюю дань признательности, Ваша мать устроила, чтобы меня отволокли в эту ужасную тюрьму, где она оставила меня чахнуть в течение последних четырех лет?

Посмотрите на мою жизнь после ранних лет детства. В Вашем окружении находятся два человека, которые сопровождали меня в этот период, Амбле и г-жа де Сен-Жермен[98]. Затем бросьте взгляд на мою юность, за которой наблюдал маркиз де Пуайян[99], который лично видел, как я развивался, затем перейдите к тому возрасту, когда я женился, и оглядитесь по сторонам, посоветуйтесь с тем, с кем пожелаете, расспросите, выказывал ли я какие-либо признаки жестокости, которой я якобы наделен, и совершал ли я когда-либо проступки, которые можно было бы посчитать предвестниками тех деяний, которые мне приписывают: что-то же должно было быть, ибо, как Вам известно, преступление не появляется из ничего.

Таким образом, как можно предположить, что после таких невинных детства и юности я вдруг достиг самых глубин злонамеренного кошмара? Нет, в это Вы не верите. И те, кто сегодня тиранят меня так жестоко, также в это не верят. Мстительность затуманила ваш разум, вы действуете, не задумываясь, но ваше сердце понимает мое, судит его лучше и прекрасно знает, что оно невинно. Когда-нибудь я буду иметь удовольствие

видеть, как вы это признаете, но это признание не возместит мои мучения, и я не буду мучиться из-за этого меньше... Одним словом, я хочу, чтобы меня оправдали, и меня оправдают, как только меня выпустят отсюда, когда бы это ни произошло. Если я убийца, то я не совершил достаточно убийств, а если нет, то меня наказали слишком строго и я имею все права на то, чтобы потребовать сатисфакции.

Письмо получилось исключительно длинным, не так ли? Но я был обязан его написать и обещал себе написать его в конце четвертого года страданий. Эти четыре года подошли к концу; и вот обещанное письмо, написанное словно в момент смерти, так, чтобы, если бы смерть забрала меня до того, как я имел утешение снова обнять Вас, я мог бы, хватая последний глоток воздуха, передать Вам те чувства, которые я выразил в этом письме в качестве последних мыслей, обращенных к Вам ревнивым сердцем, которое желает сойти в могилу, зная, что Вы почитаете его.

Вы извините сумбурность этого письма; оно не продумано заранее и не содержит острот; все, что Вам следует в нем искать, это естественность и правда. Я вычеркнул несколько имен, упомянутых ранее, чтобы письмо прошло, и от всего сердца молю, чтобы его Вам доставили. Я не прошу от Вас подробного ответа; все, чего я прошу, это чтобы Вы дали мне знать, получили ли Вы *мое большое письмо*: вот как я его назову; да, именно так я его назову. И когда я упомяну Вам о тех чувствах, которые в нем содержатся, тогда Вам следует его перечитать... Ты поняла меня, мой дорогой друг? Ты перечтешь его и увидишь, что тот, кто будет любить тебя до могилы, был вынужден подписать его собственной кровью.

Де Сад

[Приложенная записка:]

Я нечасто пишу письма такой великой длины или такие важные, когда речь идет о том, чтобы оправдать свои поступки; и безусловно, это больше не повторится. Соответственно, я умоляю тех, через чьи руки должно пройти это письмо, чтобы они были так любезны и позаботились, чтобы оно дошло к моей жене в целости и сохранности. Я надеюсь, что они это сделают, и что они не захотят дать мне основания думать, что они задерживают настолько важные письма, как это; одним словом, письма, в которых я излагаю свою позицию; ибо, если бы они перехватывали их и не допускали, чтобы они дошли до адресата, тогда им пришлось бы согласиться, что у меня есть полное право в один прекрасный день обратиться с судебным иском против таких методов и изобличить их, показав ту очевидную заинтересованность, которая заставляет их держать меня в тюрьме, поскольку они препятствуют любым средствам, которые имеются в моем распоряжении для своего оправдания, и таким образом сократить свой срок заключения.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[4 марта 1781 г.]

Не знаю, что Вы подразумеваете под проспектом Бомарше[100]. Я о нем не слышал, и, вне сомнения, Вы, должно быть, его не посылали, поскольку они всегда очень щепетильны в таких вопросах и приносят мне все, что Вы присы-

лаете. Если целью всех этих маленьких изъявлений доброты является доставить мне лишний повод для беспокойства, при этом, вне сомнений, понимая, что в моем ужасном положении у меня и так достаточно предметов для беспокойства, Вы просто понапрасну тратите свое время. Ибо я клянусь Вам, что никогда не беспокоился и не буду беспокоиться, сколько буду жив, о тех посылках или рецептах, которые Вы мне направляете. Все это — славная машинка, пружине которой нужно дать достаточное время, чтобы она раскрутилась; в отношении чего я предупреждаю Вас, что с этого момента, когда бы я ни услышал все эти разговоры о беспокойствах, рецептах или посылках, о том, что произошло с той или иной вещью, когда, повторяю, я бы ни услышал эту болтовню, я не промолвлю в ответ ни единого слова. Я буду просить какой-либо предмет, если он мне не послан, я дам подтверждение о его получении, как только его получу. Более мне нечего сказать по этому вопросу, кроме того, что я уже Вам говорил три или четыре раза подряд: купите мне эту книгу, я буду счастлив ее иметь: и об этом я упоминаю в последний раз.

Сегодня утром, 4-го, они пришли ко мне в комнату, чтобы снова поговорить о моих прогулках. Возможно, это всего лишь еще одна глупая шутка, как в последний раз, когда они являлись по тому же поводу полгода назад. Однако они заверили меня, что это серьезно. Говоря об этом, я должен Вам признаться, что иногда, когда я уютно располагаюсь в своих испанских замках, выкинув из мыслей как можно дальше эту отвратительную идею по поводу знаков, которые вполне могут быть самой отвратительной глупостью, которая когда-либо приходила в голову ханжи с тех пор, как Природа впервые приступила к сотворению ханжей,— я постоянно говорю себе: *они держат меня*

в заточении, отобрали у меня прогулки, несомненно, руководствуясь какими-то положительными причинами; я нахожусь в тяжелом положении, но все закончится раньше,— и эта мысль приносит мне некоторое успокоение.

Но нет, вовсе нет. Это всего лишь еще один период знаков; они снова возвращаются, и, более того, с таким натиском и напором, что пытаются убедить меня, что единственная причина, по которой я лишился прогулок, заключается в том, что г-жа де Монтрей заплатила какому-то тюремному лакею, самому презренному существу на свете, чтобы он мне нарочно досаждал. Лакей мне досаждает, а виноват оказываюсь я! Можно ли использовать столь одиозные предлоги, чтобы скрыть свои подлые маниакальные устремления! Должно быть, эта женщина одержима злостью, должно быть, в ее душе скрывается бездна злобы, низости и подлости! Да, повторяю, я убежден, что она бы умерла от отчаяния, если бы меня не схватили, и она лишилась бы возможности копить свой яд в течение стольких лет.

Поистине, настоящий приступ расстройства желудка! Боже милостивый, какое извержение! Какое обильное излияние! О! она бы уже тысячу раз умерла, это совершенно ясно. И на этом свете еще существует правительство, которое желает терпеть такие подлости, правительство, которое, не прилагая ни малейшей попытки разобраться, и только потому, что *это масло, которое смазывает колеса машины*, отдает в жертву этой женщине человека, который, если мне позволено быть таким откровенным, имеет в тысячу раз большие заслуги перед этим правительством, чем она, перед правительством, которому он служил[101] и которое она позорит; что я говорю? Такое ужасное положение вещей — реальность, и при этом человек не хочет уехать к ди-

карям и поселиться среди них! О! это то, чего я просто не могу понять.

Итак, это еще один знак. Замечательно. Ладно, можете отправить его к остальным, я его все равно не понимаю и не стану пытаться. В этом я даю Вам слово. Ибо когда все сказано и сделано, Вы лучше меня это знаете, но, по крайней мере, я должен спросить хотя бы один раз: как, по-вашему, я могу составить хоть какое-то здравое представление из подобного нагромождения бессмыслицы, от которого несет желчью этого уцелевшего служителя инквизиции? Мне нужно знать вашу отправную точку; а это именно то, что Вы так любите скрывать со всей возможной тщательностью. Вот десять различных отправных моментов:

Время моего отсутствия: это то, на что я ссылаюсь как на дату, когда мы разлучились. — 1.

Все тюрьмы и ничего более: Венсенн в первый раз, Экс и Венсенн во второй раз. — 2.

Только два Венсенна.— 3.

Два Венсенна плюс тринадцать дней поездки сюда во второй раз. — 4.

Одно только возвращение минус поездка. — 5.

И одно только возвращение плюс поездка. — 6.

Все это, как Вы видите, приводит к весьма различным выводам и совершенно исключает какую-либо возможность что-либо установить или, соответственно, необходимость тратить время на ваши головоломки. Таким образом Вы добиваетесь совершенно противоположного тому, чего намеревались достичь. А поставив перед собой слишком непомерную задачу, Вы ничего не добиваетесь. Так всегда случается с теми, кто учился искусству зла и коварства. Ибо, в конце концов, эти знаки могут

преследовать лишь две цели: или чтобы я их понял, или чтобы я их не понял.

Если это первое, сделайте их яснее и дайте мне хотя бы одну отправную точку, скажите мне, откуда Вы начинаете; если это последнее, то для чего Вы вообще посылаете мне эти знаки? Ибо Вы должны быть достаточно знакомы с живостью моего ума, чтобы наверное знать, что я никогда не стану тратить впустую время на то, что, как мне совершенно ясно, полностью абсурдно.

Если бы, когда она организовывала все это — ваша мамаша,— вместо того, чтобы только лишь выместить свою злобу, и вместо того, чтобы полагаться только лишь на лакеев, которые смеются за ее спиной, как только спрячут в карман ее денежки; если бы она имела бы достаточно здравомыслия, чтобы поручить эту работу человеку умному, тот мог бы придать ему такую форму, что я трудился бы днями и ночами, пытаясь его вычислить, и, что еще хуже, я бы не смог оторваться от этого занятия ни на мгновение. И если бы я был на ее месте, именно так бы я и поступил.

Всем известно, насколько увлекательная наука геометрия: пример Архимеда, который во время осады Сиракуз был убит, потому что не мог оторвать глаз от листа бумаги, представляет наиболее убедительное тому доказательство. Так как же насчет геометрической задачи, чье решение должно включать открытие того, что человек более всего заинтересован узнать? Это, в буквальном смысле, свело бы его с ума. Поэтому я бы скрыл свою головоломку, оснастив ее ловушками настоящей математической задачи. Истина находилась бы в конце; единственным вопросом было бы, как до нее добраться; но сами принципы были бы обоснованными и верными; отсюда не стоит опасаться,

что все произведение будет звучать фальшиво, как это неизбежно случится в данном случае для того, кто будет достаточно глуп, что попытается ее изучить. И тогда он так будет ею околдован, что попадет в ее плен.

В таком случае с этим по крайней мере можно было бы смириться, в то время как то, что она сделала,— это самый верх глупости. Но для того, чтобы сделать то, что я предлагаю, ей бы пришлось прибегнуть к помощи какого-нибудь разумного человека. В любом случае, я чрезвычайно ей благодарен, что она этого не сделала, ибо вместо того, чтобы потратить в общей сложности четыре месяца, которые я потерял во время двух заключений[102], я бы провел всю свою жизнь, пытаясь разгадать головоломку, и мне было бы еще более жаль потерянного времени. «О,— скажете мне Вы,— Вы должны решать эту головоломку не сейчас, а когда выйдете, чтобы можно было иметь удовольствие сказать Вам: “Как? Вы хотите сказать, что Вы этого не видели? Вы не догадались?” и проч.»

Я уже имел честь сообщить Вам, и повторю это в последний раз, что любой, кому взбредет в голову упомянуть мне об этих избитых штуках, как только я выйду, может или получить от меня серьезное оскорбление, или же я больше никогда не увижу этого человека. Я заявляю, что это то, по поводу чего я отказываюсь выслушивать какие-либо шутки, пока я жив. Кто предупрежден — тот вооружен: если Вы вообще испытываете ко мне хоть какие-то добрые чувства, позаботьтесь о том, чтобы держаться подальше от подобных головоломок.

Кроме того, я искренне прошу Вас, чтобы мне снова разрешили гулять; к сожалению, я вынужден влачить жалкое существование в этом отвратительном заточении, пока я здесь, я предпочитаю наслаждаться этим удовольствием, чем быть его лишен-

ным. Невозможно выразить словами, насколько мне нужны эти прогулки. Я не могу написать и двух строк, чтобы кровь не бросилась мне в голову; в такой степени, что Вы не можете даже представить; и я уверен, что напугал бы Вас до полусмерти, если бы Вы меня увидели. В этот самый момент, когда я пишу Вам эти строки, я вынужден останавливаться после каждой фразы. Если мне дадут дышать свежим воздухом и прекратят разводить огонь, это, я надеюсь, позволит мне почувствовать себя немного лучше.

Полотенца должны быть не из хлопка, а льняные: они предназначены для бритвы, а не для пудры; Юность это прекрасно знает.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[ближе к 28 марта 1781 г.]

Дорогой друг, боже мой, в каком же я восторге от проповедей отца Массийона![103] Они поднимают мне настроение, они восхищают меня, они доставляют мне огромное наслаждение. Это не слепой фанатик, этот человек, который обращается к тебе лично и который, выстраивая истину со всех сторон, которые отрицают нечестивые, использует не острие, но плоскую часть своего клинка для того, чтобы донести свою мысль. Это не педант, чья речь изобилует софизмами и который пытается завоевать Вас исключительно запугав до смерти. Свои изречения этот проповедник направляет прямо в сердце; именно сердце он стремится завоевать, и именно сердце он постоянно поко-

ряет. С каждым словом обретаешь ласкового отца, который ищет благополучия своим детям; каждая фраза такова, каковую друг может обратить к другу, которого он ведет на краю пропасти.

Какая чистота! Какая нравственная мощь! и какое удачное смешение силы и простоты! Временами его быстрый слог подобен потоку, который смывает с души все изъяны; в следующее мгновение его нежное сострадание, словно испуганное тем великим смятением, которое оно только что произвело, омывает раны ничем иным, как душистым и успокаивающим бальзамом, посредством которого он завоевывает как сердце, так и разум.

Великий Боже! как могло случиться, что при Людовике XIV в Севенне перерезали горло многим его подданным[104], в то время как Массийон говорил ему: «Сир, короли даны нам Вечным, дабы быть спасением их народам; утешьте их, Вы будете их отцом и дважды их господином; будьте миротворцем, Сир, самые выдающиеся победы — это те, которые завоевывают сердца». И в течение этого периода не было и дня, чтобы двенадцати-пятнадцати несчастным не ломали хребты на колесе в Ниме или в Монпелье только лишь потому, что они отказывались поверить в то, что посещать мессу необходимо. И здесь мы наблюдаем воздействие самых прекрасных и самых святых истин на сердце человека, находящегося во власти своих страстей! Ничто не может изменить их нечестивость, и, когда он вынужден залиться краской стыда за них, в конце концов, его гордыня, быстро придя к нему на помощь, снабдила его постыдными отговорками, чтобы украсить эти страсти набожным рвением...

Какой пример перед моими глазами! Разве мы не увидим, две недели спустя, как палач моей жизни тащится прямо к алтарю, чтобы там приветствовать своего Бога, с таким спокойствием, с такой невозмутимостью, словно ее душа, опьяненная жаж-

дой мести, не покрывала себя ежедневно позором, жертвуя своей дочерью, своим зятем и своими несчастными внуками! Да, мы увидим, как она безнаказанно приближается к Богу, которого она прогневила, и даже не трепещет от свершенного святотатства; мы увидим, как ее нечестивые губы, те самые губы, которые каждый день осмеливались еще более усугублять бесчестье всей ее семьи, встречаются с небесным владыкой, который одновременно являет осуждение виновным и утешение праведным. И, украшая свои преступления лицемерной софистикой беспристрастности, чьей маской она прикрывается только лишь для того, чтобы успокоить свою совесть, она скажет: «*Я праведна, как Божество, потому что наказываю подобно Ему*».

О ужас, проклятие Природы, неужели ты осмеливаешься зайти в своем богохульстве настолько далеко? Неужели ты осмелишься не увидеть в Божестве ничего иного, как тирана? Неужели ты посмеешь сотворить его по подобию своей грязной души? И неужели ты настолько ослепишь себя, что поверишь, что подражаешь Его суду, когда ты всего лишь поддаешься адским наущениям врага, которого Бог создал для того, чтобы наказать людей твоего пошиба? Трепещи! Бог наконец устал от преступлений смертных, и молния уже сверкает над твоей головой; грозовая туча сгущается даже тогда, когда ты, ни о чем не подозревая, куешь орудия своего мщения, и возмездие небес падет на тебя даже когда ты упиваешься торжеством! Хотя бы раз оглянись и оцени свое поведение: посмотри, что за эти прошедшие девять лет стало со всеми наемными пособниками, которые служили этой злобе; окинь взглядом этот список и посмотри, как Провидение предупреждает тебя об участи, которая уготована подобным тебе за твои подлые дела, когда оно мстит за меня:

Участь пособников г-жи президентши де Монтрей за те девять лет, что она подкупает их, чтобы они меня погубили. Имеющий уши да услышит.

Канцлер Мопу: *полностью опозорен, и ему еще повезло, что голова осталась цела;*

Герцог де Ла Врильер[105]: *умер;*

Г-жа Ланжак: *умерла безумной;*

Г-н де Менд, королевский прокурор в Марселе: *снят с должности, проклинаем по всей своей провинции и ныне не имеет ни собственного дома, ни иного пристанища;*

Иностранный монарх, которого она умоляла стать орудием ее мести[106]: *умер;*

Комендант Савойской крепости[107]: *лишен своей должности;*

Тюремщик: *повешен;*

Единственный из моих родственников, которого она привлекла на свою сторону, единственный, который ей служил[108]: *умер;*

Лакей-полицейский, которого она послала меня арестовать: *за решеткой до конца жизни;*

Человек, который управлял моими делами в Провансе, и которому она заплатила, чтобы меня арестовали: *опозорен в своей провинции, всеми почитаем за негодяя, человека, который теряет своих лучших клиентов;*

Форейтор, который привез ее в Компьень, чтобы она совершила свою пресловуто известную капитуляцию перед Мапу: *раздавлен колесами своей кареты.*

Не говоря о том, что выходит за рамки моей осведомленности, и том, что я опускаю.

И разве все это не знак Божьей милости? И разве не рука Господа постепенно опускается на нее, рука Того, кто в своей бесконечной доброте обращает ее к себе, прежде чем уничтожит ее полностью? О, справедливость Вечного, горе тому, кто закрывает на Тебя глаза свои!

À madame de Sade

К г-же де Сад

Вечер 1-го апреля [1781 г.]

Хотя это было бы самой простой вещью на свете, самой легкой, самой похвальной — одурачить заключенного, хотя бы это было чрезвычайно подлым занятием, которое безусловно доказывает наличие чрезвычайно подлой и чрезвычайно низкой душонки, хотя все уже сказано и сделано,— это не может быть ничем иным, как глупым и смехотворным занятием очень старой женщины и исключительно слабоумного существа; Вы не наживете на этом славы, и, к тому же, я не попался на эту удочку; мне понадобилось примерно полчаса для того, чтобы увидеть это дело насквозь, должен Вам признаться. В мелких удовольствиях высочайшей и всемогущей г-жи де Монтрей всегда присутствует элемент благородства! Первого апреля обманывают лакеев и тупиц, одурачим-ка мы и нашего зятька. Бог мой, какое благородство характера, какая высота духа, какая возвышенная сила чувств! Ах! всегда, всегда, истоки остаются незамутненными! Совершив один героический подвиг, внебрачный сын великого Тюренна выделился из целой

армии! Чистота нашего происхождения всегда себя проявляет, и кровь никогда не предает.

Какого дьявола Вы подразумевали под вашей Монтелимарской крепостью?[109] В Монтелимаре никогда не было крепости. Если бы была, то ее личный состав был бы упомянут в «*Военном альманахе*», а в статье о «*Монтелимаре*» упомянут лишь *маркиз де Шабрийян*, а под его началом уж точно нет никакой тюрьмы. Я просмотрел все три своих альманаха: во всех Монтелимар просто упомянут, в то время как в статьях о всех других городах, где имеются форты или цитадели, рядом с названием города содержится упоминание *такого-то форта* или *такой-то цитадели*. Кроме того, я достаточно знаком с Монтелимаром и окрестностями (поскольку провел там целый месяц с маркизом де Шабрийяном, чей замок примыкает к городским воротам), чтобы быть вполне уверенным, в том что в Монтелимаре никогда не было крепости. Возможно, там есть какая-нибудь старая башня, населенная несколькими летучими мышами или совами, но что касается королевской крепости для содержания заключенных, то ничего подобного там нет.

Я поклялся бы в этом на целой стопке Библий. Тем не менее давайте попытаемся подвергнуть этот вопрос серьезному рассмотрению. Вблизи Монтелимара имеется башня для заключенных, называемая Высокой Башней, и, возможно, Вы неправильно поняли: именно о ней Вам говорили и именно на нее Вы ссылаетесь. Приняв это допущение, прошу Вас уволить меня от написания г-же де Соран этого замечательного благодарственного письма, чей стиль, в отношении которого я так Вам обязан за то, что Вы его для меня сымитировали, абсолютно такой же, в каком мог бы писать ее слуга, если бы она выгнала его

вон, а он пытался бы выпросить, чтобы она снова взяла его в услужение.

Высокая башня — это совершенно определенно более страшная тюрьма, чем Венсенн, и вдобавок исключительно вредная для здоровья; единственные, кого туда помещают, это те, от которых хотят побыстрее избавиться. Это омерзительная клоака, куда редко проникает дневной свет, и находится она посреди смертоносного болота. Если это именно то место, которое Вы хотите мне предложить, и за каковую любезность я предположительно должен нижайше благодарить г-жу де Соран, тогда я возьму на себя смелость отклонить оба эти предложения; и, напротив, умоляю Вас использовать и ее, и все ваше влияние, чтобы самым настоятельным образом просить, дабы я претерпел остаток своих несчастий и страданий прямо здесь, где я сейчас нахожусь: теперь я уже привык к этому месту и предпочитаю оставаться здесь, нежели в какой-то другой тюрьме.

Поверьте, мы уже обеспечили Дофин и Прованс вполне достаточными спектаклями. *Валенса* хранит меня в своих архивах рядом с Мандреном; *Вена*, *Гренобль* и проч. записали мое имя золотыми буквами. Давайте на этом и остановимся. И, как бы Ваша божественная и остроумная мамаша ни радовалась, устраивая публичные сцены, совершая промахи, ошибки и разыгрывая фарсы, пожалуйста, заставьте ее пообещать ради чести своих детей, чтобы она не устраивала их так часто. Если таким образом постоянно подливать масло в огонь, то он никогда не погаснет. И Вы можете быть уверены, что общество, которое всегда смотрит на вещи с темной стороны, в один прекрасный день заставит эти невинные маленькие создания почувствовать на себе полную тяжесть абсурдной глупости их бабушки. Еще раз, давай-

те все так и оставим, поверьте мне. С нас уже и так более чем достаточно.

Это г-н Ленуар предложил эту идею, в соответствии с практикой всех лейтенантов полиции, чтобы дать своим прихвостням немного лишних денег? Предложите эту сумму в качестве подарка, и пусть оставят нас в покое. Предложите эти деньги, заплатите их,— я предоставляю Вам в этом отношении свободу действий, если Вам будет угодно, выпишу Вам свою доверенность. Я самым решительным образом не хочу, чтобы меня переводили куда-либо, кроме моих владений, и когда я поеду туда, то хочу сделать это один, без охраны, или только с Вами, но без сопровождающих лиц. Независимо от того, что Вам могут предложить в этом отношении, предлагайте или деньги, чтобы выкупить нас из лап этих дикарей, или мое слово чести, что я предпочту оплатить этот долг прямо здесь. Я самым настоятельным образом заверяю Вас, что именно это я и скажу г-ну Ленуару, если он ко мне придет. Так что можете сказать ему то же самое.

Далее, Вы обещали, что я увижу своих детей, когда выйду отсюда. Если я не увижу их, это будет для меня подобно удару ножом в сердце. Я Вас об этом предупреждаю. Знайте, что нет ничего на свете, что могло бы причинить мне большее горе. Я умоляю Вас, какие бы договоренности ни были достигнуты в отношении меня, позаботиться, чтобы я мог провести с ними сутки, где Вам будет угодно, чтобы я мог заключить их в свои объятия. В противном случае, я клянусь, что у меня возникнет к ним неугасимая неприязнь, и я откажусь с ними встречаться до конца своей жизни. Известия о посещении г-на Ленуара показались мне самым замечательным моментом в вашем письме, и тем не менее...

Пусть будет так, как будет; если этому суждено случиться, то пусть это произойдет как можно скорее, прошу Вас, чтобы я мог получить обо всем этом ясное представление, ведь неизвестность заставляет меня жутко беспокоиться без всяких причин и лишает возможности проводить свое время тем образом, который, каким бы фривольным он ни был, все же бесконечно лучше, чем окунание меня в желчь и брюзжание вашей одиозной мамаши, чем Вы занимаетесь на протяжении четырех лет.

Подведение итогов

1. Я прошу, чтобы меня не переводили куда бы то ни было и, тем более, без конного эскорта. Я пожертвую до десяти тысяч франков, чтобы откупиться от такого перевода. Это, полагаю, дает Вам достаточное представление о том, какой анафемой для меня являются обе эти идеи.

2. Я даю согласие и предпочитаю оставаться здесь в течение всего срока моего наказания, каким бы долгим он ни был, предпочитая это место, пусть оно и ужасно, любому другому, которое может быть мне предложено, даже если мне предоставят всю крепость в мое распоряжение; единственным исключением при этом являются мои владения, куда я готов отправиться, когда им будет угодно, даже пусть это будет ссылкой, как бы болезненно это для меня ни было, но, в любом случае, без эскорта.

3. Я напишу все, чего требуют правила этикета, г-же де Соран, когда она добьется отправки меня назад в мои владения, но не перевода в другую тюрьму, потому что, повторяю, если речь идет о том, чтобы сменить одну тюрьму на другую, то я предпочитаю эту другой; и устроить еще одно представление в этих провинциях было бы одиозной вещью, и этого следует избежать любой ценой.

4. Вы заметите, что, хотя я и указываю свои предпочтения и мои условия, тем не менее, я не формулирую закон, прекрасно понимая, что я не в том положении, чтобы это делать. Но я повторяю, что предпочитаю Венсенн, и прошу, чтобы меня оставили здесь, а не в каком-либо другом месте, за единственным исключением моих собственных владений.

Я умоляю Вас, дабы не расстраивать меня, уведомить меня за двадцать четыре часа, когда Вы с г-ном Ленуаром хотите приехать и повидаться со мной. Бумага — весьма посредственного качества, это совсем не то, что я просил. Неважно, она сгодится для моих рукописей. Если Вы не можете взять напрокат «Путешествия» Бугенвилля[110], купите мне все тома, я, без всяких сомнений, хочу их получить. Вот список покупок, который был составлен до того, как мне пришел в голову этот последний каприз. Я отсылаю его Вам так, как есть; мне не кажется, что что-то следует изменять.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[11 апреля 1781 г.]

Искренне умоляю Вас, дорогой друг, хотя Вы и заняты всеми вашими первоапрельскими розыгрышами, не забывать, что список поручений, которые следует выполнить на 14-е число сего месяца, настолько для меня важен, что даже если бы я был призван исполнить свои обязанности в качестве отца и гражданина в казармах Монтелимара через две недели после 14-го, дня, когда мне потребуются все эти вещи, они бы

все равно мне понадобились. Мое белье в буквальном смысле валяется на полу из-за недостатка ящиков, в которых его можно было бы хранить (те, что у меня имеются, уже предназначены для других целей и не могут служить для хранения белья).

Что до свечей, сегодня я использую последнюю; то же касается всего остального из моего списка. Посему посылайте их, умоляю, и помните, что если я их не получу, то вовсе не смогу упаковать свои вещи. Кроме того, будет ли иметь какое-то значение или повредит кому-то, если я даже оставлю после себя несколько ящиков и пару фунтов свечей для человека, который мне прислуживает? По правде говоря, бедняга честно их заработал. И посему посылайте, посылайте. Посылайте, посылайте, умоляю, и особенно материалы для дополнительного чтения: у меня не осталось ни одной дрянной книжонки. Вы получите огромную посылку, которая будет приложена к рукописи.

Когда я перечел ваше последнее письмо, я поистине решил, что Вы сошли с ума и думаете, что я отказываюсь. Если бы у Вас была хотя бы малейшая капля здравого смысла и человечности, разве Вы бы не почувствовали, что я здесь как слепой, что я ничего не вижу и ничего не слышу, привыкнув к тому, что меня уже в течение десяти лет обманывает во всем чудовище, которое, похоже, испытывает удовольствие, потворствуя всем самым омерзительным и самым низким порокам, а именно лжи, обману, жульничеству и проч., проч., проч., проч., проч., проч., проч., проч.,— всему, что ввергает меня в состояние страха и душевного трепета.

Если то, что Вы делаете,— в моих лучших интересах, то нужно ли Вам советоваться со мной или верить тому, что я говорю? Разве спрашивают у больного его мнения насчет того, ставить ему пиявки или нет, если это необходимо для его вы-

здоровления? Я тоже не хотел ехать в Экс. Это было, как Вы говорили, необходимо — хотя я до сих пор еще не полностью убежден, что это было действительно так; разве это помешало Вам осуществить эту поездку, несмотря на меня и мои жалобы?

Если этот переезд принесет не больше пользы, несомненно Вы проявите благоразумие и не предпримете его. Но если он принесет пользу — а Вам это должно быть известно лучше, чем мне,— действуйте и не обращайте на меня внимания.

Смотрите в будущее, думайте о Ваших детях, и не ставьте меня в такое положение, когда я считаю, что должен Вас упрекнуть, как я это делаю сегодня в отношении различных вопросов; не следует Вам ставить и детей в такое положение, когда они позднее станут Вас обвинять. Это мое последнее слово на эту тему. Я отдаю себя в ваши руки. Поступайте, как Вам угодно, и давайте больше не будем этого обсуждать.

Упреки включают:

То, что Вы устроили мой арест в «Отель де Данемарк».

То, что Вы участвуете в извращенных заговорах и подлостях своей матери.

То, что Вы написали мне тридцать писем невидимыми чернилами, только лишь для того, чтобы рассказать мне какие-то досужие сплетни.

То, что Вы вовлекли в эти подлости Ваших невинных детей и подвергли их опасности.

То, что Вы спасли меня в Эксе только лишь из удовольствия устроить мой повторный арест в Ла-Косте.

То, что Вы ничего мне не сказали во время моего пребывания там, несмотря на тот факт, что у Вас ранее была такая великолепная возможность сделать это через посредничество Шовена,

который встречался с Вами наедине на протяжении нескольких месяцев кряду и который также виделся со мною без присутствия посторонних в течение нескольких дней кряду; по меньшей мере, Вам следовало воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить мне о длительности моего срока, что было единственной вещью, которую, как Вам было известно, я больше всего жаждал узнать.

То, что Вы заставили меня с нетерпением ждать все, что я у Вас просил, так, словно я просил милостыни, словно Вы не платили за это из моего собственного кармана, и проч.

Настала пора и Вам сделать признание, такое же полное, как и это. Присовокупите к нему свое покаяние, затем пообещайте больше не грешить, и Вы попадете прямо в рай.

Пусть настоящее письмо послужит в качестве уведомления, что рукопись[111] непременно будет ожидать Вас в конторе вечером 19-го или утром 20-го сего месяца.

À monsieur Le Noir

К г-ну Ленуару

[12 апреля 1781 г.]

Сударь,

несмотря на то что г-жа де Сад самым нежным образом заверяет меня, что подавать даже самые незначительные жалобы о тех подлых делах, жертвой которых делает меня ее одиозная мать, это самая бесполезная вещь на свете, я, тем не менее, отважусь предложить несколько мыслей по всему этому вопросу

в целом, которые я постараюсь сделать насколько возможно более краткими, и умоляю Вас прочитать их.

Когда детей так жестоко обижают, как обидели моих в этот раз, в результате самого последнего бесчестья, в которое я снова был ввергнут, и поскольку они будут обижены в будущем, из-за ненависти, которую я, естественно, чувствую к ним, из-за своего полнейшего убеждения, что меня приносят в жертву посредством ложных маневров, роковые последствия которых не может предвидеть никто; когда, повторяю, целая тьма подобных несчастий готова обрушиться на нас всех, разве Вам не следовало бы, сударь, использовать ваше доброе влияние, дабы все расставить на свои места?

Стали ли бы Вы, сударь, питать иллюзии или — учитывая, что я никогда не делал ничего, кроме как почитал Вас как мудрого судью,— стали ли бы Вы в самом деле до определенной степени одобрять несправедливые методы, используемые чудовищем, которое меня тиранит, не почувствовали ли бы Вы, насколько гнусно таскать меня в течение десяти лет из тюрьмы в тюрьму, не поняли ли бы то, что это не может преследовать иной цели, нежели снова возобновить мои несчастия и сделать их достоянием всех и каждого во Франции?

Кто лучше меня чувствует мое положение? И насколько глубоко это ощущение должно проникнуть в мое существо, до какой степени я должен страшиться пятой сцены ужасного позора, которому меня должны подвергнуть только лишь потому, что я на одно мгновение предпочел ненавистное место моего нынешнего пребывания жестокому унижению этого, еще большего, несчастья?

Будьте так любезны, сударь, и на мгновение задумайтесь об этом. Своими действиями они пытаются устроить мне здесь ло-

вушку. Г-жа де Монтрей прекрасно знает, что я не переживу ужаса этого последнего подлого дела, этого нового посмешища, объектом которого она хочет меня сделать; она очень хорошо знает, что я попытаюсь совершить побег, что приведет к исполнению ее самого пылкого желания, а именно желания получить таким образом чудовищное и гнусное право — право, полностью противоречащее законам и конституции, потворствовать получению которого недостойно для любого судьи,— право, я повторяю, держать меня под отвратительной властью *lettre de cachet* до конца моей жизни.

Но она не долго будет наслаждаться своим маленьким триумфом, ибо я говорю Вам, сударь, что единственной целью моего побега будет попасть за границу, чтобы закончить там мои дни. И таким образом, поддавшись прихотям ужасной женщины, которую, если бы Вы знали ее так же, как я, то скорее заковали бы в кандалы, чем стали защищать, повторяю, таким образом Вы сделали так, что человека уничтожили, лишили его детей, отняли у него имущество, а на семью его пали позор и несчастье.

Исправьте все это, сударь, умоляю Вас, учитывая два момента в моем письме, которые рассказывают то, к чему это приведет.

Несомненно, у меня нет права устанавливать законы, и, когда я сам об этом пишу, бесполезно снова и снова повторять это утверждение, как происходило со мною вчера в течение всего дня, но я вправе дать выход своим обидам, подать жалобу; до сих пор не отказывали самым презренным людям на этом свете, даже тем, кого мы осмеливаемся называть дикарями, потому что их король не имеет привычки тратить миллион на то, чтобы выведывать, что его подданные делают с женщинами его страны. И, имея право пожаловаться, учитывая положение, в ко-

тором я оказался, к кому я должен обращаться с этой жалобой, если не к тому самому судье, чья задача — заботиться о том, чтобы всем гражданам гарантировались их равные права? Фатальный пример слепого правосудия? Вы бы послали на виселицу беднягу, который, дабы накормить своего отца и детей, украл крону у прохожего, и Вы называете это соблюдением порядка в Париже, и, без малейшего сомнения или угрызений совести, Вы бы отдали невинного человека в руки его палачей, чьей единственной целью является опозорить его, свалить его, унижать его достоинство до конца его дней.

И все же, сударь, с которым из двух, по вашему мнению, обходятся с большей несправедливостью, с тем, кто украл крону, или со мной, которого в течение десяти лет лишают *принадлежащих ему по праву собственности и имущества, жены, детей, чести, влияния, репутации, ответственности, счастья, спокойной семейной жизни и проч.*? Как различно Вы решите судьбу этих двух правонарушителей! Одного Вы пошлете на виселицу, второго осыплете почестями. Нет, сударь, нет, это не несчастье, это не лишение быть изгнанным навсегда, потерять навсегда страну, которую человек считает недостойной, страну, где правосудие вершится над теми ее гражданами, которые с честью ей служили, над военными, которые стали с оружием в руках на ее защиту. Я не заслуживаю пытки, настолько длительной, как та, которой меня подвергают. Пусть сам Господь Бог попробует доказать, что я ее заслуживаю. Таким образом, я единственная жертва бешеной злобы чудовища, и Вам не следует с ней мириться.

Вот мое последнее слово по этому вопросу, и это не создаваемые мною законы, это молитвы и мнения, которые я предлагаю по поводу того, что случится, если их отвергнут.

Условие первое. Я прошу, чтобы мне разрешили провести две недели с моей женой в Париже, чтобы проконсультироваться с врачами в отношении своего здоровья, которое находится в весьма плохом состоянии, ибо не проходит и дня, чтобы я не кашлял кровью, и чтобы повидаться со своими детьми; и отправиться оттуда со своей женой, под гарантией своего честного слова, и без всяких расходов на полицейский эскорт, потому что семьи не должны оплачивать этих мошенников, которых всех следует вздернуть: король сам должен заботиться об оплате услуг таких мерзавцев и негодяев в своем королевстве; отправиться, повторяю, в свои владения, на столько, на сколько будет угодно, в ссылку или нет,— мне все равно. Ибо я не имею желания покидать свои собственные владения в течение весьма длительного времени.

В обмен на это условие, если оно будет мне даровано, я даю Вам свое слово чести, Вам и любому, кому необходимо его дать, должным образом подписанное и скрепленное печатью, со всеми самыми настоящими документами, которые Вы можете потребовать, что я буду вести до конца своих дней такой образ жизни, который будет трезв, упорядочен и примерен во всех возможных отношениях; собственно говоря, он будет настолько примерным, что даже ангел не мог бы вести себя более подобающе. Я далее клянусь, что посвящу свое время и энергию счастию своей жены и детей и исправлению, насколько это в моих силах, как моих невзгод, так и ущерба, нанесенного моему состоянию. Более того, я подпишу любой юридический документ, который Вы можете потребовать, наделяющий г-жу де Монтрей правом действовать от имени и по поручению моих детей, в связи с чем я готов и испытываю желание передать ей ту часть моего имущества и собственности, которую она в связи с этим

посчитает нужным; и я согласен одобрить ее выбор образования, профессии, места жительства, брачной партии и проч. и предоставить ей все, даже выходящее за рамки того, на что я уже согласился. Я также согласен забыть все прошлое, о котором я ни словом не обмолвлюсь в будущем; коротко говоря, я согласен дополнить все, что я упустил здесь, тем, что Вы посчитаете нужным или полезным, для полного удовлетворения всех заинтересованных лиц.

Условие второе. Если, вместо всего вышесказанного, будет решено продолжить Монтелимарский проект, и если от него не откажутся раз и навсегда, то я поеду, я готов уехать, и я заявляю это в самых недвусмысленных выражениях, так что Вы можете быть уверены, что я не нахожу Венсенн предпочтительным, как моя жена по ошибке написала мне вчера.

Но если решение будет именно таким, то запомните, что я попытаюсь совершить побег как можно скорее и добьюсь успеха, какие бы меры предосторожности Вы ни предприняли, чтобы мне помешать; я перееду в другую страну; один из принцев готов меня принять, можете быть в этом уверены, сударь, и это монарх, который не сажает своих подданных в тюрьму из-за проституток, поскольку не отдает их в руки сутенеров; и там я сделаю все от меня зависящее, чтобы расстроить все без исключения прожекты г-жи де Монтрей самым жестоким из известных мне способов; я публично опозорю ее своими сочинениями, в которых будет содержаться настолько очевидная правда, что никто никогда не сможет их опровергнуть. Я раскрою, как и почему во Франции раздаются почести, и расскажу всем, что если и покинул страну, то только потому, что у меня нет ста тысяч франков в год на то, чтобы дать взятку прихвостням Фемиды, как это сделали те, кому государство принесло

меня в жертву, то самое государство, которое в моем нынешнем несчастии должно было поступить со мной по-отечески, поскольку я провел свою молодость, служа ему верно и хорошо, тому государству, которое отплатило мне только тюремными оковами и питало меня только лишь моими собственными слезами.

И это не все, что я сделаю. Какие бы меры предосторожности ни были предприняты, у меня все еще есть один верный способ лишить своих детей их права по рождению — по крайней мере двух из них, вне всякого сомнения,— и я воспользуюсь им, могу Вас заверить. Я не оставлю им ничего, кроме дыхания жизни, которое они получили от своей матери, и единственная причина, по которой я его им оставлю, это для того, чтобы они провели жизнь, проклиная отвратительное существо, которое не позволяло им иметь отца.

Соизвольте подумать об этом, сударь. Для чего, когда Вы можете вылепить человека по своему желанию, используя для этого соответствующие методы, отдавать предпочтение методам несоответствующим? Неужели это справедливо или разумно? И неужели именно это судьба уготовила нам обоим, добрый сударь, мне — служить кормом для обанкротившейся женщины, опозоренной в глазах всякого мыслящего человека, и Вам — отдавать меня ей для этих целей?

Мое счастье находится в ваших руках, сударь, я полагаюсь на ваше посредничество. Подумайте о том внутреннем удовлетворении, которое почувствует такой добродетельный человек, как Вы, зная, что он осушил слезы несчастного, зная, что он возвратил этого человека к его обязанностям и его семье, понимая, что вся эта семья любит Вас, вспоминает ваше имя в своих молитвах, думает о Вас как о наставнике, что она наслаждается меньше счастьем, которое она снова обрела на земле, чем

радостным осознанием того, что это произошло только благодаря Вам, и Вам одному. Тогда Вы сыграете здесь на земле роль самого Господа Бога. Только подумайте, сударь, подумайте, что если Всемогущий случайно возложил на Вас некоторые из своих святых обязанностей, то Он сделал это для того, чтобы Вы явили воплощение не его гневных молний, но его бесконечной доброты.

Имею честь быть, со всеми должными чувствами, сударь, Вашим покорнейшим и самым послушным слугой.

Де Сад

À Gaufridy

К Гофриди

[12 апреля 1781 г.]

Мне сообщили, сударь, что Вы, возможно, будете настолько наглы, настолько дерзки, что приедете навестить меня в Монтелимаре, в месте, куда, несомненно, меня посылают не без вашего участия, чтобы еще больше меня обманывать, еще больше у меня красть и еще больше заставить меня соглашаться со всем, что Вы совершаете вопреки моим наилучшим интересам и на благо вашим собственным. Я согласен, что это место было бы наиболее подходящим для этого, однако же настоятельно советую воздержаться от приезда; ибо, к несчастью, у меня нет крепкой палки — всего лишь рука, для того чтобы встретить предателя, негодяя и мошенника подобного сорта,— я устрою Вам такую выволочку, с использованием такой брани в присутствии всех, кто окажется в пределах слыши-

мости,— брани, которой, я бы сказал, Вы полностью заслуживаете,— что Вы, без сомнений, весьма пожалеете, что у Вас вообще хватило нахальства приехать, и поспешите побыстрее убраться прочь.

À monsieur Le Noir

К г-ну Ленуару
20 апреля 1781 г.

Сударь,

мой разум уже давно бы испытал величайшее облегчение... Вместо отчаяния и боли, которые так давно меня окружают, я бы снова ощутил, как моя душа наполняется добродетелями, которые люди так желают снова в ней увидеть, если бы только встреча, которой Вы удостоили меня позавчера, случилась раньше.

Проблеск надежды, которую Вы породили во мне в отношении возможного смягчения моего приговора посредством некоего перевода, о котором хлопотали г-жа де Соран и моя жена, цель которого — поставить меня в лучшее положение для того, чтобы восстановить некоторый порядок в моих делах, и невозможность того, что таковой перевод может быть осуществлен в одну из тюрем, расположенных по соседству от моих владений, тюрем, менее варварских, чем та, где меня в настоящий момент содержат, такую, как Высокая Башня и проч., вынуждает меня самым настоятельным образом просить, чтобы Вы незамедлительно уведомили министра о следующем:

1. О том, что у меня нет никакого желания менять одно плохое положение на другое.

2. О том, что, какой бы замок или тюрьму они ни выбрали поблизости от моих владений, было ясно продемонстрировано, что я никоим образом не могу управлять оттуда своими делами.

Поскольку первый из этих пунктов настолько очевиден, что не требует объяснений, я ограничусь обоснованием второго.

Мои дела, сударь, в настоящий момент находятся в руках человека, который пользуется моим отсутствием, чтобы гораздо в большей степени способствовать улучшению своих дел, чем моих. Так как я вынужден принимать решения на основании тех отрывочных и неясных представлений, которые могу получить из сообщений, кои такой мошенник, как он, может дать мне во время посещений тюрьмы, где я не могу увидеться и посоветоваться ни с кем, кроме него, Вы можете хорошо представить, насколько поразительно легко для него убедить меня сделать все, что он ни пожелает. И поскольку я могу обратиться лишь к нему, я вынужден принимать решения, подписывать необходимые бумаги и в результате целиком отдаю себя в его руки до конца своих дней; ужасно неудобное положение, которое может привести лишь к полной утрате моего имущества и собственности и неизбежному разорению моих детей.

Невозможно выразить ту степень ужасающего беспорядка, в котором находятся мои дела, и то, насколько мое присутствие на месте стало абсолютной необходимостью. Таким образом, именно по этой причине, сударь, я самым настоятельным образом прошу, чтобы Вы оказали мне любезность, и устроили, чтобы мне назначили таковое место пребывания, которое удовлетворит все заинтересованные лица и будет соответствовать тем ограничительным мерам, которые на меня наложены, и учиты-

вать доброе снисхождение, которое король, возможно, проявит, чтобы сделать их менее суровыми.

В Провансе я владею четырьмя поместьями: два из них, Соман и Мазан, находятся в Конта-Венессене; третье — участок земли вблизи Арля, который остается незастроенным; и четвертое, которое обычно служит мне резиденцией, называется Ла-Кост и расположено недалеко от маленького городка Апт.

Мое присутствие в каждом из четырех поместий в равной степени важно, и я никогда не смогу разобраться с проделками и уловками людей, которые уже на протяжении ряда лет меня обманывают, если не смогу на месте выслушать друзей этих мошенников и их врагов, чтобы подумать и принять новое административное решение, которое будет не столь неблагоприятно для моих собственных интересов. Ибо Вам лучше меня известно, что это единственный способ узнать правду. Но для того, чтобы это случилось, нужно там находиться. Невозможно принять верное решение, если приходится довольствоваться лишь сообщениями, посылаемыми совершенно ненадежным человеком своему хозяину в тюрьму; а в этом случае, слыша лишь его, приходится следовать тем курсом, который тот предлагает, дела же не только не приходят в порядок, а становятся еще более запутанными, причем до такой степени, что уже невозможно разобраться, что к чему.

Поскольку как Соман, так и Мазан находятся в Конта-Венессене[112], мне кажется, что было бы неправильно и неуместно просить, чтобы мне разрешили там жить, пока я нахожусь под действием указов короля. В поместье вблизи Арля нет жилища. Таким образом, остается Ла-Кост, который в определенном смысле является главным городом, местом, где я всегда жил, где хранятся мои документы и проч. Там, если это необходимо,

я могу находиться под надзором того лица, которое назначит суд, и в течение такого срока, который понадобится для того, чтобы министр решил забыть, что он имеет дело с военным и дворянином, для которого в обоих ипостасях нет ничего более святого, чем его собственное слово чести.

Я ни на что не буду жаловаться: сам проблеск королевских щедрот, которые Вы мельком явили моим глазам, навсегда отвергает любую горечь, которую могла таить моя душа, не оставляя место ни для чего, кроме благодарности. Однако же, если возникнет желание избавить меня от постыдной неловкости находиться под постоянным надзором и от соответствующих ненужных расходов, я вверю себя королевскому решению любым способом, который Вам будет угодно оговорить от его имени. И я буду настолько скрупулезен в выполнении различных условий королевского указа, что ни у кого никогда не возникнет ни малейшего сожаления по поводу того, что мой приговор сделан менее тяжелым. В этом случае г-н Бланкар, младший лейтенант конной полиции, который проживает в Арле, городке вблизи того поместья, в котором я прошу меня поселить,— честный и неподкупный человек, которого в самой высокой степени ценил покойный маркиз де Мюид, под командованием которого он служил,— может приезжать и проверять меня так часто, как может потребоваться, и докладывать в отношении моего поведения тому, кому Вам будет угодно.

Что же касается длительности моего заключения, предписанного королевским письмом, вот мои мысли по этому вопросу и причины, по которым я умоляю суд подвергнуть их серьезному рассмотрению. Четыре лье — это слишком большое расстояние, если речь идет о том, чтобы ограничить мое пребывание стенами замка; в окружности поместье составляет не более двух

лье, и в этом случае двух лье будет вполне достаточно. И в случае, если возникнет желание позволить мне получить доступ ко всем моим делам, что я считаю совершенно необходимым и что я только что попросил, четырех лье будет недостаточно. Соизвольте выслушать меня, сударь, и используйте главный город в качестве нашей отправной точки. От *Ла-Коста до Сомана* четыре лье, восемь от *Ла-Коста* до *Мазана* и двенадцать от *Ла-Коста до Арля*.

Итак, вот что я предлагаю в качестве подходящего способа, который удовлетворит все стороны: необходимость расширить действие королевского письма на жилища в *Мазане* и *Сомане* и прилегающие к ним территории кажется мне настоятельной, ибо без этого, повторяю, я никоим образом не смогу управлять ничем, кроме единственно того поместья, в котором буду проживать. Однако двенадцать миль — это слишком много.

Во всех моих прошениях Вы никогда не увидите попыток воспользоваться всем тем, что предлагается, или обманом внести в свои предложения что-либо недопустимое. Вы, конечно, должны помнить, сударь, мои мысли по этому вопросу, которые я изложил Вам несколько дней назад. Всякий, кто воспользуется малейшим актом доброты, заслуживает не только того, чтобы в будущем ему больше ничего не предлагали, но должен быть наказан, поскольку, поступая подобным образом, он служит дурным примером для всех тех достойных и несчастных людей, которые без исключения вынуждены подобным образом подчиняться суровым мерам, которые правительство сочло нужным к ним применить.

Таким образом, я считаю, что на меня должны быть наложены различные ограничения: с одной стороны, в отношении трех моих жилищ и их соответствующих территорий, которые должны подпадать под одну равную категорию, а с другой —

в отношении моих поездок в Арль, где мое присутствие требуется не чаще, чем раз в полгода, и это должно быть ясно оговорено в *lettre de cachet*; однако там же должно содержаться и специальное разрешение, дозволяющее дальнейшие посещения, если они станут необходимы, без каких-либо других требований с моей стороны, за исключением чести уведомлять Вас за несколько дней о таком предстоящем посещении, с возложением на меня обязанности ставить в известность ранее упомянутого офицера конной полиции в Апте как о моем отъезде, так и о возвращении. Что, таким образом, будет означать, если сформулировать мою просьбу еще более ясно, что у меня будет право жить в том месте и на протяжении того периода времени, которые я посчитаю нужным, в каждом из трех моих поместий, в которых уже существуют жилища, и что я буду посещать принадлежащие мне в Арле владения только один раз в каждые полгода после получения специального на то разрешения. В этом отношении я хочу заметить, что состояние дел в упомянутом поместье требует наиболее настоятельного моего вмешательства, и прошу, чтобы первое из этих упомянутых разрешений было дано мне на сентябрь этого года, и соответственно, чтобы оно было выдано почти одновременно с указом короля, отправляющим меня в ссылку в три моих поместья.

Теперь же, могу ли я просить, чтобы все договоренности сохранялись под покровом полного молчания? Какова необходимость, чтобы общество узнало о моих делах? Служащий конной полиции или тот, кого назначат его представителем, кажется мне единственным, кого следует об этом уведомлять, срок коего уведомления Вы решите сами. Предписать этим людям хранить молчание будет просто. После всех тех несчастий, которые я вынес в этой провинции, разве не понятно, что я испытываю величайшее желание снова появиться там, пусть и не на самом

деле, но хотя бы внешне как человек свободный? От такого ограничения моих передвижений, которое будет на меня наложено, даже может возникнуть некоторое положительное благо в глазах местного населения, которое, не зная, почему я так явно внимателен к местным делам, возможно, постепенно снова дарует мне почет и уважение, которых лишили меня мои несчастья. Если можно из случайного стечения обстоятельств извлечь какую-то пользу, почему бы этого не сделать?

Я оставляю это размышление на суд вашей исключительной мудрости, сударь, будучи убежден, что, если Вы сочтете его справедливым и объективным, ваши многочисленные проявления доброты в моих интересах убедят министра разрешить осуществление этого плана, особенно учитывая, что я не вижу в нем каких-либо отрицательных моментов. Мое уважение к королевскому письму ни в коем случае не станет меньше, пусть даже его содержание не будет известно всему миру, и я не стану заходить столь далеко, чтобы отрицать само его существование. Кроме того, служащий конной полиции всегда сможет сообщать о соответствии и аккуратности моего поведения.

Позвольте теперь, если не возражаете, сударь, приступить к обсуждению вопроса о моем нежелании отправляться в поездку под конвоем, о времени отправления и маршруте, коим я буду следовать, о просьбе повидаться с детьми перед отъездом и о настоятельной необходимости, которую ощущают как моя жена, так и я, как можно скорее оказаться в моих владениях. Давайте, если позволите, рассмотрим каждый из этих моментов в том же самом порядке, в котором я их Вам изложил.

Пункт первый: поездка под гарантию моего слова чести.

Вы слишком справедливы, сударь, чтобы не согласиться, что отвозить меня под эскортом полиции в то самое место, куда я сам желаю поехать,— это самая бессмысленная вещь на све-

те. Когда я вырвался из своих оков, то удалился именно в свои владения. Таким образом, какой смысл препровождать меня туда под конвоем? Это было бы ненужными расходами для меня и вообще чрезмерными мерами, которые совершенно излишни в данном случае.

Пункт второй: в отношении отъезда и маршрута следования.

Всем известно, сколько дней занимает поездка из Парижа в Апт в Провансе. Я прошу, чтобы меня не вынуждали ехать слишком быстро, как по причине того, что этого не позволяет мое нынешнее состояние здоровья, так и потому, что я уже в течение некоторого времени не совершал такие переезды и отвык от них. Давайте предположим, что мне дадут на дорогу в Ла-Кост, что вблизи Апта, время с первого по четырнадцатое июня, что на четыре дня больше, чем обычно требуется на такое путешествие, детали которого мы вскоре изложим. Г-н де Ружемон выписывает меня 1-го июня; если возникнет желание проверить каждый из промежуточных пунктов моих остановок на ночлег, можно привлечь для этого необходимое количество бригадиров конной полиции, после чего г-н Бланкар может четырнадцатого числа засвидетельствовать факт моего прибытия в поместье.

Мне кажется, что это позволит соблюсти букву закона. Если будет сочтено, что необходимы большие меры безопасности, это будет означать, что мне нужно давать сопровождение, как я уже говорил. Но я должен признаться, что у меня были бы веские основания испытывать от этого глубокое огорчение, если бы я увидел, с самого начала, что кто-то может предполагать, что я способен с такой легкостью относиться к обязательству, коим я буду связан в течение срока гораздо большего, чем просто время самой поездки. Но в этом отношении я подчинюсь вашему решению, как уже говорил. Я всего лишь обращаюсь с прось-

бой, ни в коем случае не ставя условия, и мое сердце наполнено лишь благодарностью, и ничем более.

Пункт третий: встреча с детьми.

Именно этот пункт будет содержать объяснения в отношении тех четырех лишних дней, которые я прошу.

Я самым настоятельным образом прошу встречи с детьми, и вот что, по моему мнению, будет наиболее честным и справедливым как для того, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности, так и осуществить мое желание, чтобы детей не увозили слишком далеко от того места, где они воспитываются и которое находится вблизи Фонтенбло. Таким образом, пункт, где мы могли бы встретиться, может быть или Мелен, почтовая станция сразу за Фонтенбло, или Немур, станция, находящаяся непосредственно перед Фонтенбло. Давайте, в порядке дискуссии, предположим, что это Немур. Гувернантка сыновей привезет их туда из Фонтенбло, моя жена привезет свою дочь оттуда, где она будет находиться, а я прибуду туда из Венсенна; и днем встречи будет тот самый день, на который назначат мое освобождение. При этом поездка в почтовой карете из Венсенна в Немур бесконечно легка, каким бы свободным темпом она ни совершалась. Оказавшись на месте, я незамедлительно уведомлю бригадира конной полиции, который сможет подтвердить мое прибытие, и у которого, после этого, дважды в день, я буду отмечаться вплоть до моего отъезда.

В этом отношении следует добавить, что, когда подойдут к концу те четыре дня, которые я проведу со своими детьми, он сможет также засвидетельствовать, что я действительно отбыл в направлении Прованса, и ни в каком ином направлении; кроме того, поскольку я буду свободен как в пределах наших жилищ, так и в самом городе, мы с женой можем вполне решить вывести наших детей погулять на свежем воздухе. Ибо в том,

что касается полицейского эскорта, я недостаточно подробно остановился на этом вопросе, когда он был поднят при нашей с Вами встрече. Ибо прежде всего, если, как я надеюсь, мне поверят на слово, охранять меня в Немуре будет не больше необходимости, чем в любом другом месте на дальнейшем протяжении пути. Если случится так, что мне придется в течение трех-четырех дней оставаться в одной из гостиниц на пути следования, это не представит большего затруднения, чем если бы мне пришлось провести одну лишнюю ночь в других гостиницах: это совершенно одно и то же.

Таким образом, это всего лишь формальность; вопрос заключается в том, чтобы слегка обойти правила, чтобы поездка заняла чуть больше времени. В остальные вечера я буду отмечаться у бригадира только один раз, поскольку на следующее утро снова буду находиться в пути. Но при первоначальной остановке я буду отмечаться восемь раз, поскольку буду находиться там четыре дня.

И кроме того, сударь, позвольте мне на мгновение воззвать лишь к вашему сердцу. Охранник... постороннее лицо, стоящее между отцом и его детьми! Какая помеха! Какое невероятное препятствие для свободного потока тех счастливых слез, которые Природа предписывает в такие драгоценные моменты! Слезы, которых, если мне будет позволена такая дерзость, самих по себе достаточно, чтобы вновь пробудить в любой чувствительной душе как сожаление о собственных прошлых ошибках, так и голос добродетели. Ах, сударь! Не мешайте этим слезам! они будут более убедительными, чем все засовы Венсенна. Позвольте им литься свободно, пусть они оросят грудь этих любимых детей, и свидетелем их будет лишь мать. Я, наверное, откажусь от божественного наслаждения, которое, как я постоянно себе обещаю, принесут эти слезы, если за ними будут наблюдать или

заставят застыть или какие-либо оковы, или отвратительное присутствие любых лиц, чей единственный талант состоит в том, чтобы эти слезы провоцировать.

Пункт четвертый: необходимость того, чтобы в моих владениях вместе со мною находилась и моя жена.

В том, что касается состояния моих дел, то, хотя она, возможно, в меньшей степени, чем я, способна управлять нашими делами, по той простой причине, что она существо простодушное, неспособное даже представить зло, вообразить, что кто-нибудь станет или даже сможет захотеть поступить в отношении нее нечестным образом; тем не менее, она более осведомлена, чем я, и одна всем занимается уже в течение почти десяти лет: как в период моего заочного приговора, так и самого заключения, она полностью руководила нашими делами. Поэтому для меня совершенно невозможно предпринять что бы то ни было без ее совета. Даже мысль о том, что мы будем обмениваться мнениями в письмах, находясь друг от друга на расстоянии ста пятидесяти лье, неприемлема как для нее, так и для меня. Нам бы пришлось на переписку тратить целые дни и ночи, а кроме того, ни одно письмо не сравнится с мнением, советом, предложенным на месте. Такой совет, такое мнение часто определяют решение относительно какого-либо важного вопроса, например, предложения об аренде, где человеку заинтересованному нужно, чтобы ему дали ответ сразу, и, если попросить у него отсрочки для обдумывания ответа, он вполне может отказаться от своего предложения. Завершая обсуждение этого вопроса, прошу Вас, сударь, пусть никто не обвиняет меня по поводу того, что я сейчас скажу, или в злом умысле, или в попытке установить закон. Но если моя жена не поедет со мной, то, что касается моих владений, там я смогу управлять ими не лучше, чем если бы я все еще находился в Венсенне или в Высокой Башне.

Могу ли я быть столь дерзок, сударь,— и пусть это останется только лишь между нами — и указать еще одну причину, более важную для моего душевного равновесия, общего спокойствия и моего сердца, и моего рассудка, чем те первостепенные и необходимые моменты, о которых я говорил? Мое сердце, которое Вы любезно позволили обнажить перед Вами, в течение того периода, пока я был разлучен с нею, было наполнено сожалением из-за того, что я не распознал полную степень нежности, привязанности к различным ее обязанностям, любви к своим детям,— одним словом, не увидел всех ее многочисленных добродетелей, которые я едва ли заслужил и которые я так сильно недооценил. И когда меня охватывали муки сожаления, то иногда вдруг пронзала пугающая мысль. *Что, если бы я имел несчастие потерять ее, так и не получив возможности исправить свои ошибки!* И эта жестокая мысль сразу ввергала меня в пучины самого мучительного отчаяния. Во мне возникла надежда искреннего возвращения к объекту, настолько достойному всех тех чувств, коими полна моя душа, надежда исправить ошибки, которые давно следовало исправить, что сейчас, похоже, представится возможным. Могу ли я удержаться от того, чтобы не признаться Вам в том, что желание воспользоваться этой возможностью — одно из самых жгучих, которые мне доводилось испытывать?

Ах! Сударь, я бы плохо отозвался на всю проявленную Вами доброту, если бы отказался таким образом со всей искренностью раскрыть перед Вами свое сердце, с искренностью, которая, как я надеюсь, Вы понимаете, происходит из моего ужасного положения. Да, сударь, я желаю видеть ее, любить ее, осушить ее слезы, которые мои проступки заставили ее проливать , и испытать наконец то нежное и умиротворенное состояние, которое человек может познать лишь через добродетель,

и к которому лишь добродетель может по-настоящему его подготовить в сладких наслаждениях Гименея.

Прошу извинить меня, сударь, за столь большое количество подробностей и столь большую искренность. Позавчера Вы заставили меня поверить, что я доверяюсь лишь отцу или другу. Эта успокоительная иллюзия подвигла меня на это письмо, письмо, явившееся произведением моего сердца, которое Вы, вне сомнения, не станете отвергать. И, тем не менее, я завершаю его, заклиная Вас сделать все, что в ваших силах, чтобы убедить всех, от кого это зависит, полностью уступить всем моим самым настоятельным просьбам, и клянусь Вам так, словно бы я находился у подножия алтаря, что у них никогда не будет каких-либо оснований сожалеть о том, что они так поступили. Именно с этими искренними чувствами, к которым я прилагаю самую глубокую благодарность, я имею честь быть, сударь, Вашим покорнейшим и самым послушным слугой.

Де Сад

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

[20—25 апреля 1781 г.]

После того как я провел неделю, работая как зверь, чтобы не использовать во зло ту десятидневную передышку, о которой я попросил, я льстил себе мыслью, что могу, по крайней мере, подобно творцу неба и земли, сделать воскресенье днем отдыха. И должен со всей откровенностью признаться, что этот отдых мне был необходим. Ужасно необходим. Послушайте-ка! Кто еще прибыл из Монтелимара, как не молодой

человек, у которого еще молоко на губах не обсохло, для того чтобы заставить меня снова взяться за перо. Посему, моя милая барышня, можете читать в этом письме все, что Вам будет угодно, ибо у меня нет ни сил его сочинять, ни намерения сделать его связным.

Как может быть, чтобы такой умный и полный здравого смысла человек, как Вы... Вы, которая своими собственными глазами видела те свойства, о которых я веду речь, как Вы можете говорить, по крайней мере по словам других людей, что я могу управлять своими делами из Монтелимара? Сказать по правде, это такая глупость с Вашей стороны, которую я не смогу простить, если только не окажется, что Вы просто повторяли чьи-то слова. Но мне это слишком напоминает ту же старую песенку, чтобы я мог быть ею обманут. Все, что исходит из этого источника, настолько очевидно, что можно угадать содержание письма, даже не распечатывая его. *Управлять моими делами из Монтелимара!* Я могу управлять своими делами из Монтелимара точно в такой же степени, в какой могу управлять ими из Венсеннской тюрьмы. Мои дела таковы, что ими можно заниматься только лишь на месте. Если бы даже меня сослали в мой замок в Ла-Косте, но не позволили посещать все остальные владения, эта задача была бы невыполнима.

И Вы прекрасно знаете, что, когда рабы *президентши* приехали разыскивать меня, чтобы устроить второй или четвертый из *ее каннибальских банкетов*, я находился на пути в Соман. Вы слышали, как я день ото дня повторял Пепену[113]: «Невозможно, сударь, следить за всем этим и принимать решения, кроме как находясь на месте. Я должен туда ехать». Я не могу должным образом вести свои дела, выслушивая доклады како-

го-нибудь советника по деловым вопросам, который рассказывает мне ровно столько, сколько он посчитает нужным.

Собственно говоря, вполне возможно, что, поступая таким образом, я принесу больше вреда, нежели пользы, основывая свои решения на том, что он решит мне рассказать... Я доверяю ему... я верю ему на слово... я соглашаюсь и подписываю, и таким образом связываю себя этим решением. Дабы привести все это в некое подобие порядка, нужно не только физически присутствовать, но необходимо также обращать как можно меньшее внимание на своего советника. В любом конкретном деле нужно говорить со всеми, кто имеет к нему отношение, выслушивать, что все они могут сказать, встретиться как с врагами, так и с друзьями, затем соединить все это с тем, что говорит ваш советник, и принять решение, которое будет одновременно мудрое и справедливое. Хотите пример того, о чем я говорю, такой, который, мне кажется, Вы сочтете бесспорным, пример, который Вы видели своими собственными глазами?

Давайте предположим, что ситуация такая же точно, как была, когда Вы приезжали навестить меня в Ла-Косте, и давайте далее представим, что я нахожусь в Монтелимаре, и ко мне туда приезжает Гофриди, чтобы уладить тот же самый вопрос и попросить меня принять решение. Теперь давайте посмотрим, как это могло бы происходить.

«*Сударь,*— начинает он,— *Шовен — самый честный человек на свете. Я не могу найти ни единого недостатка в том, как он управляет фермой. Его поведение, одним словом, безукоризненно. Когда Вы приедете в Ла-Кост, Вы, возможно, найдете таких людей, которые будут говорить о нем дурно, но Вам не следует обращать на них внимание: это — его недруги. Учитывая все это, сударь, я возобновил его*

аренду. Слегка потеряв при этом, если быть точным, но, как человеку чести, мне не оставалось иного выбора».

Что же мне делать, мне, который видит и слышит только Гофриди, мне, который связан по рукам и ногам и вынужден пребывать в стенах своей почетной тюрьмы в Монтелимаре; мне, который не может увидеть ни самих земель, ни крестьян, которые на них обитают, ни друзей, ни врагов Шовена? Я заверяю г-на Гофриди, что он прав, что Шовен ведет себя как ангел, и в результате подписываю новое разрешение на аренду и обязан его чтить. Теперь давайте также предположим, что после этого я приезжаю в Ла-Кост, и что же я узнаю? Я совершил совершенно глупую ошибку, и совершил ее, потому что г-же президентше де Монтрей нравится не удовлетворяться десятью годами мести, и поэтому, независимо от того, приведет ли *это к разорению моих детей*, ее злоба, которая не знает ни границ, ни здравомыслия, волей-неволей требует даже еще большей расплаты.

Пусть одного этого единственного примера, сударыня, будет достаточно, чтобы убедить Вас раз и навсегда, что совершенно невозможно должным образом управлять моими делами иначе, чем находясь на территории моих поместий, а также, что мне необходимо физически присутствовать в течение нескольких месяцев подряд в каждом поместье, чтобы удостовериться, что все снова встало на свои места. Таким образом, становится ясно, что принятие решений в Монтелимаре не приведет ни к чему, кроме абсурда, и что, по всей вероятности, я не только еще более усугублю состояние своих дел, но, возможно, ухудшу их до такой степени, что потом их уже не смогут исправить ни я, ни мои дети.

Или Гофриди — честный человек, или нет. Если честный, тогда он вполне может справиться и без меня; если же нет, тогда мне следует обойтись без него, и в таком случае мне нужно находиться на месте. Итак: я высказался по этому вопросу, корот-

ко и по существу, но, полагаю, в достаточной степени, чтобы Вы поняли, когда захотите взглянуть на это своими собственными глазами, а не глазами гнусного животного, которое отравляет мою жизнь, что для меня невозможно физически и нравственно сделать что-либо, находясь в Монтелимаре, кроме как продолжать исполнять те же глупые песенки и пляски, которые я исполняю здесь.

Настоящим я заявляю Вам, что это будет моим единственным занятием, и в связи с этим даю Вам свое самое торжественное слово чести, что у меня нет никакого намерения вмешиваться в какие-либо иные дела, кроме тех, которыми я занимался здесь. Таким образом, совершенно бессмысленно заставлять Гофриди сюда приезжать. Я клянусь всем святым, что не только откажусь с ним встречаться, но и, если меня вынудят это сделать, увижусь с ним с единственной целью осыпать его всеми оскорблениями, которые имеются в моем распоряжении, облить его потоками всей ругани, которую заслуживает такой мошенник,— ибо он поступил как мошенник и предатель, когда, прекрасно зная об ожидающей меня участи, явился ко мне, чтобы сидеть за моим столом и пить мое вино,— Вы там были и видели его — не предупредив меня о молнии, занесенной над моей головой и готовой поразить меня, и в связи с этим, если мне позволено будет использовать такое выражение, гнусный плут *подготавливал серу*.

Нет, я никогда не прощу тех, кто предал меня, и не удостою их ни взглядом, пока я жив. Если бы мое дело было таковым, что продолжалось бы в течение полугода или даже года, и это было бы той ценой, которую я должен был бы за это заплатить,— да, тогда я, возможно, и забыл бы; но когда это подрывает как мой рассудок, так и мое здоровье, когда это навсегда покрывает позором меня и моих детей, когда, одним словом, это приво-

дит — как Вы увидите — к самым ужасным последствиям в будущем, те, кто каким бы то ни было образом приложили к этому руку,— двуличные, лицемерные лжецы, которых я буду ненавидеть всем сердцем и душою до своего смертного дня.

Единственная, для кого я сделаю исключение,— это моя жена, которая, как я знаю, также меня предала, однако она была введена в заблуждение тем, что говорили ей люди, и в противном случае никогда бы не сделала то, что она сделала,— в этом я могу поклясться, сунув руку в огонь. Как Вы видите, я полностью способен отдать ей в этом должное.

Методы, которые предлагают использовать по отношению ко мне, постыдны; они чудовищны; они недостойны. Какой смысл устраивать из меня посмешище, ссылая в поместье, принадлежащее одному из моих двоюродных братьев? Ведь приводить в порядок нужно мою собственность, а не его. Разве меня недостаточно выставляли напоказ, разве меня недостаточно показывали по всему Провансу и соседним провинциям? Разве обо мне недостаточно говорили за последние десять лет? Не настала ли пора погасить пламя, а не раздувать его заново?

Есть только одна злобная сила — сила, вырвавшаяся из ада на погибель мне и моим детям, которая, возможно, имеет по поводу всего этого иное мнение. И кроме того, разве не следовало бы ей — этой недостойной женщине — знать, что чем больше она сосредоточивает внимание на мне, тем больше она сосредоточивает его в обратной пропорции на самой себе и на всем, что ее касается? Наши интересы слишком тесно связаны во всем этом, чтобы она не понимала важность обуздания острого любопытства общества в отношении меня, что может только лишь способствовать ее дурной репутации. Но она чудовище, которое отдалось людям, которые обдирают ее до нитки и смеются у нее за спиной, полицейским лакеям, бездельникам, набранным с ули-

цы, а также целой куче других, которых, если бы у нее была хоть капля самоуважения, она не подпустила бы и на пушечный выстрел к самым незначительным из своих слуг. Вот ей совет.

И г-н де Сартин, мой злейший враг на земле, человек, которому я обязан всеми несчастьями своей жизни и который в тот период моей жизни, когда все открывалось передо мной,— *двадцати лет от роду, только что женившийся, уже в столь молодом возрасте успевший сразиться за свою страну в шести кампаниях, уезжавший в Фонтенбло на встречу с министром, который только что обещал мне полк королевских солдат,*— да, я бы сказал, в ситуации, когда у любого бы голова пошла кругом, поймал меня в этой ситуации, которую он рассматривал как ступеньку на лестнице его карьеры, и поверг меня на землю, принес меня в жертву исключительно для того, чтобы люди сказали: «Какой замечательный лейтенант полиции! Он не взирает на лица!»

И поэтому меня бросили на съедение ему и ему подобным! И поэтому меня отдали в руки негодяев, которые позорят мое достоинство, уничтожают мое состояние и моих детей. Бедные, несчастные создания! Однажды Вы поймете, насколько я прав. Пусть мои письма попадут к Вам в руки и откроют Вам истину, и пусть Вы узнаете из них, как ваш отец любил Вас и как ваши враги наносили Вам предательские удары в спину!

Приложение

В конце концов, если Монтелимар лишь пойдет мне во благо, для чего скрывать от меня тот способ, которым меня туда переправят? После всех тех страданий, которые я перенес, почему так сложно объяснить мне подробности моего перевода? В данном случае речь не идет о деле государственной важнос-

ти, и, тем не менее, Дамьен[114] никогда еще не испытывала большего беспокойства, не вела себя более уклончиво, не напускала на себя более таинственный вид. Что? Из-за того, что слова «правительство» и «министр» заставляют это отвратительное существо раздуваться как жаба, я вынужден проводить свою жизнь как болван и жертва ее извращенных махинаций?

Если, повторяю, этот Монтелимар предназначен для того, чтобы изменить мою участь к лучшему, тогда почему бы не прийти и не сказать мне это в лицо? И если он улучшит мое положение, тогда для чего везти меня туда под конвоем? Кто, если моя участь таким образом улучшится, стал бы сомневаться, что я поеду туда по собственной воле? Но ведь лизоблюдам г-на Ленуара необходимо дать взятку, разве не так?.. Ах да, в самом деле, ведь именно таким образом эти господа прикарманивают тот миллион, что король выделяет на содержание парижской полиции. *Прикарманивают, а нас заставляют платить.* Невообразимо! И они еще отправляют на виселицу беднягу, который украл пять *су*!

Еще один момент, сударыня: я прошу, чтобы меня не везли туда под конвоем. Я никогда не соглашусь оплачивать эту официальную охрану, даю Вам свое слово. Пусть следят за мной на расстоянии, если они так настаивают, я не возражаю; и, если я отклонюсь хоть на йоту от согласованного маршрута, пусть на меня набросится вся французская конная полиция. Но для чего сопровождать меня под конвоем? Для чего? Я совершенно убежден, что все, что они хотят, это украсть у меня еще шесть или семь тысяч франков, когда я предлагаю эквивалентную гарантийную сумму, которая станет мне не больше чем в пятьдесят *луи*...

Речь здесь идет лишь о том, что полиция проявляет излишнее рвение!.. Но что мне за польза просить и умолять? Когда я это делаю, г-н де Ружемон говорит, что я *пытаюсь устанавливать законы!* Первоначально я ответил на это замечание, что обращаюсь с просьбой, а отнюдь не пытаюсь устанавливать какие-либо законы, и буду благодарен, если они сейчас же прекратят перекручивать мои слова так, как им требуется. Существуют люди, которые рады, когда Вы сами подсказываете им реплики, поскольку сами они совершенно не способны придумать их самостоятельно. *Et beatus...*[115]

P. S. Вы знаете латынь.

Какое значение имеют мои мнения и советы? Сегодня утром я сказал г-ну де Ружемону, что не хочу, чтобы меня перевозили под охраной, и, если они совершенно на этом настаивают, будет необходимо связать меня и везти туда силой. И он, как человек поистине благородный, ответил — я цитирую: «*Это не должно вызвать затруднений!*» Так что, Вы сами можете судить, после такого замечания, какое значение имеет мое мнение? Пусть приходят, когда угодно, но я до последнего издыхания буду без устали говорить и писать, что я никогда не соглашусь, чтобы меня везли под конвоем, и что если это произойдет, то произойдет вопреки моей воле. Кроме того, это всегда будет служить мне бесспорным доказательством того, что я никоим образом не должен за это платить, на том самом основании, что я никогда на это не соглашался по собственной воле.

Вы говорите, что меня будет сопровождать туда очень приличный малый. Черт возьми, что Вы имели в виду, когда это писали? Вы не хуже меня знаете, что людей, занимающихся этой профессией, вряд ли можно назвать «приличными». Той

наглой манеры, в которой вел себя инспектор Маре по отношению к Вам, должно было быть достаточно, чтобы убедить Вас в этом. Знайте, моя прелестная юная барышня, что приличных людей, которые занимаются этой профессией, не существует. Те, кто там подвизается, это уличный сброд, многим из них едва удалось избежать петли палача, например (приведу лишь один пример) мошенник по имени Мюрон, который был главарем воровской банды в Лионе и который все еще весьма активно занимается этим ремеслом, по крайней мере занимался до самого недавнего времени. Он сбежал в тот самый момент, когда полиция окружала его банду, и он был достаточно умен, чтобы изменить внешность и записаться в армию, как только снова вернулся в Лион. И именно там его откопали и взяли на ту почтенную должность в Париже, которую, как Вы говорите, занимают приличные и честные люди. Причем это пример из первых рук, которому я сам был свидетелем; он может послужить для того, чтобы показать Вам, каким высоким почетом пользуется эта должность в сегодняшнем мире.

Еще один пример: пехотный офицер, уволенный в 48-м, когда война закончилась, как непригодный для службы, каким-то образом ухитрился несколькими годами позже, в начале следующей войны, получить должность инспектора полиции, в каковой роли он в один прекрасный день приехал в Страсбург для сопровождения заключенного. К несчастью для него, его бывшие товарищи по полку были расквартированы в том же самом городе. Офицеры собрались, уговорили своего бывшего, ничего не подозревающего коллегу встретиться с ними, после чего содрали с него форму и повели к укреплениям, защищавшим город, всю дорогу нанося ему удары тростями и плоской частью клинков.

Так что Вы видите, каким высоким почетом пользуются эти «приличные люди», из которых состоит весь тот благородный орган, о котором Вы говорите. И, по правде говоря, кое-кому к настоящему моменту уже должно было наскучить постоянно отдавать меня в руки этим мошенникам. Эта женщина, которая с таким высокомерием произносит слова «министр» и «правительство», гораздо менее высокомерна, когда речь заходит о ее собственных поступках,— это все, что я могу сказать. Однако есть одна поговорка, которая звучит так: «*От сапожника всегда пахнет кожей*».

«*Вас посылают в Монтелимар, для того чтобы устроить Вам испытание; ваше будущее и ваше счастье зависят от того, как Вы выдержите это испытание*». Позвольте ответить на эту милую фразу. Во-первых, мне уже устраивали испытание, повторять его не имеет смысла; они видели, как я вел себя в Ла-Косте в тот период, когда я считал себя свободным. Пусть снова меня освободят: я буду вести себя точно так же, всегда достойно и как подобает честному и чувствительному человеку, хорошему мужу и хорошему отцу, до тех пор, пока буду оставаться свободным и находиться во Франции. Но пока я буду оставаться в неволе, я буду настолько плохим, насколько возможно. Это вопрос доверия, на который Вы можете рассчитывать, и в подтверждение которого я даю Вам свое слово чести.

Кроме того, как они могут судить о моем поведении в Монтелимаре? Или я буду свободен, или нет. Если нет, как можно оценить человека, местопребывание которого ограничено стенами его комнаты? Если я буду свободен, возникнет та же самая проблема, ибо я не буду покидать территорию. Как Вы можете хорошо себе представить, поскольку я ненавижу устраивать сцены, так как ненавижу привлекать к себе внимание людей,

я не стану стремиться поскорее оказаться на виду у публики, показывая ей рубцы от цепей на своей спине. Таким образом, как кто-либо сможет оценить мое поведение?

Кроме того, эти так называемые испытания — чистой воды софистика, и я постараюсь убедить Вас на сей счет, доказав Вам, что я не лицемер и не испытываю желания навязывать свою волю, поскольку собираюсь посвятить Вас в одну маленькую тайну. Человек исправляется или нет: промежуточных вариантов не существует. Если он исправился, он будет вести себя достойно; если же нет, то будет достаточно умен, зная, что от этого зависит все, чтобы сдержать себя на определенный период времени, пока люди не поверят, что он исправился. Тогда пусть мир и оценивает его поведение. Все это, сударыня, чепуха, глупость, протокол, говорю я Вам, и для чего? Для того, чтобы полицейские лакеи получали взятки, это одна-единственная цель.

Посему забудьте о самой мысли, что мое будущее и счастье зависят от Монтелимара. Я снова Вам повторяю, причем это не приступ дурного настроения,— я могу сказать, что, возможно, испытываю сегодня менее дурное расположение духа, чем когда-либо в жизни,— что я намерен покинуть Францию не позднее чем через полгода после своего освобождения: это совершенно решено.

Вспомните об одном обстоятельстве: я был совершенно свободен в Ла-Косте и убежден в том, что таковым и останусь. И как же я использовал этот первоначальный период свободы? Разве через две недели после своего освобождения я не стал предпринимать первые шаги к выполнению своего плана? И, как Вы, возможно, помните, я настоятельно умолял Вас связать меня с неким консулом, которого Вы знали в Чужих Государствах.

Справьтесь у Шовена и спросите его, не приказывал ли я ему, в тот раз, когда он ехал в Марсель, заехать в Ла-Кост, чтобы выполнить для меня очень важное поручение. Если бы у меня было чуть больше времени, Вы бы знали, что это было за поручение: *привезти в Ла-Кост представителя одной из этих трех стран, который находится в Марселе, чтобы я смог с ним все обговорить*. И тем не менее, я был в то время свободен и время меня не поджимало — по крайней мере я так считал. Да, сударыня, или там, в Чужих Государствах, или в Пруссии наступила бы развязка романа моей жизни. И Вы можете быть вполне уверены, что я говорю это без малейшего злорадства и не заканчивая фразу каким-либо саркастическим замечанием, что вполне легко и вполне естественно могло бы случиться, если бы я прислушался к своему сердцу.

Поэтому Вы можете ясно увидеть, что все, что они делают,— совершенно бессмысленно, и было бы несравненно лучше позволить мне провести с пользой те несколько лет, которые мне остались, строя соответствующие планы в отношении своей мрачной старости — если я до нее когда-нибудь доживу,— подарив мне свободу, чтобы я смог уладить несколько дел, важных для благополучия моих детей, а затем уехал как можно быстрее. Это было бы несравненно лучше, чем заставлять меня понапрасну тратить свое время, как они это сейчас делают, ибо если они рассчитывают на то, что я передумаю, то им следовало бы знать, что я этого никогда не сделаю. Я уже давно принял решение, и не изменю его, будь я за решеткой или на воле, и осуществлю свои планы или умру, пытаясь их выполнить, и тогда все, что понадобится,— это всего лишь шесть футов земли: да приведет меня поскорее Господь к этому благословенному моменту! Я освобожусь не только от моей доли невзгод.

Есть ли на свете что-либо более очаровательное, чем Ваше заявление о том, что «они предпримут меры предосторожности, чтобы обеспечить мое инкогнито во время перевозки»? Так, так, так! Что же это означает? Эта милая фраза — очень милое издевательство. «Обеспечить мое инкогнито во время перевозки», только лишь для того, чтобы прибыть в Монтелимар с большой помпой! Это несколько напоминает того глупца, который, направляясь на бал в оперу, надел на себя маску в дальнем конце улицы Св. Оноре только лишь для того, чтобы снять ее, войдя в театр. Вы понимаете, что в советах г-жи де Монтрей иногда содержатся проблески здравого смысла, вспышки мудрости, которые производят поистине пугающее впечатление? Сначала старательно скрывать мое присутствие на всем протяжении пути, и по прибытии в Монтелимар всем об этом сообщить! Боже милостивый, представьте разум, способный состряпать такой план! Как, по-вашему, на меня будут после всего этого смотреть? И чтобы они еще знали, что это я! Совершенно невозможно!

Единственный способ избежать скандала, сударыня, и единственный разумный способ осуществить это мероприятие заключается в том, чтобы просто разрешить мне ехать в мои владения одному, под гарантией моего слова чести. Если они боятся, что я могу отклониться от своего маршрута, пусть пустят за мной соглядатая с приказом привлечь все полицейские силы, дабы выследить меня, если я отклонюсь в сторону хоть на йоту. Мне кажется, что это предложение более чем разумно.

Ваш Монтелимарский прожект настолько чудовищно глуп, настолько лишен воображения, настолько неуклюж и настолько дебилен, что, признаюсь, бывают времена, когда он просто не укладывается у меня в голове; и посему вот что я предлагаю взамен:

В Монтелимаре сопровождающий меня полицейский сообщит мне, что ему приказано доставить меня к месту моего проживания. И в этом случае это все, что им нужно: «*сопроводить меня*», дабы удостовериться, что я не стану нигде останавливаться, особенно в Париже или Лионе; «*сопровождать меня*», чтобы неопытный сопровождающий меня полицейский мог еще раз узнать все основные и прочие пути к месту моего проживания, и таким образом выяснить различные перевалочные пункты, ибо так работает высокоразвитое мышление президентши: подкупить вассалов, подкупить домашнюю челядь, превратить их в шпионов.

О! Видите ли, после того как она это делает, она считает, что больше ничего и не требуется, и думает, что у нее на руках все карты. Эта гадкая привычка появилась у нее еще с тех пор, когда ее дорогой муженек, президент, начал ей изменять, позволяя себе *маленькие — ну, совсем маленькие — шалости*; она вела себя так, словно была ревнивой женой, чтобы получше скрыть свои блядские склонности, и, хотя сама, со своей стороны, не колеблясь, угощалась тем, кого ей хотелось,— основным доказательством чего, говорят, служит то, что г-жа де Сад — единственный ребенок из двенадцати детей, произведенных ею на свет, о котором можно с точностью утверждать, что он родился на законных основаниях,— итак, повторяю, чтобы лучше скрыть свое собственное поведение, она подкупила слуг президента, наняла шпионов следить за его экипажем и проч., и именно отсюда происходит ее навязчивое увлечение *шпионами, полицейскими лакеями и полицейскими сопровождающими*.

Да, здесь таится его источник. Таким образом, становится ясно, как день, что единственная причина всего этого будет состоять в том, чтобы помешать мне совершить остановку где-либо

на моем пути и чтобы подкупить какого-нибудь негодяя, дабы он за мной шпионил. Давайте рассмотрим тщетность обоих прожектов. Какой смысл предпринимать так много мер предосторожности, чтобы не дать мне задержаться в таком-то и таком-то городе, если, как только меня отпустят, я сам смогу решать, куда мне направиться, и Вы можете быть уверены, что именно так я и сделаю. И какой смысл держать шпионов в моих владениях, если я не намерен оставаться там дольше, чем понадобится для того, чтобы организовать свой переезд за границу до конца жизни? Буду ли я рассматривать их в качестве таковых — то есть в качестве шпионов — или просто подозревать — мне следовало бы в любом случае переломать им все руки. Президентша уже вынуждала меня прибегать к таким мерам в отношении двух или трех ее негодяев в Париже, о чем она, уверен, хорошо помнит! Опять начинать с новых скандалов, возможно, новых неприятностей того или иного сорта,— вот, что это такое. Что! Эта гнусная потаскуха не захочет оставить в покое раз и навсегда? *Она не хочет понять, что, пока я буду чувствовать, что меня удерживают хоть самые слабые оковы, я буду совершать одно оскорбительное действие за другим:* неужели я не убедил ее в этом за десять лет, в течение которых ей так нравилось затягивать разрешение моего дела? И не по этой ли причине она хочет еще больше его затянуть, чтобы она смогла набрать еще больше доказательств? Нет, я утверждаю, что никогда еще свет не видел настолько упрямого, настолько одержимого злом существа, как она.

И почему, таким образом, Вы не хотите, чтобы я писал своей семье, и что Вы подразумеваете под «моей семьей»? Единственная семья, которую я признаю, это те люди, которые связаны родством с моим отцом[116], и ничто на земле или на небесах

не смогло бы помешать мне им написать или любить их. Тем более что они напоминают мне об обожаемом существе, которое, несомненно, не позволило бы мне страдать так долго, как я страдал, и если мне и будет чего-то не хватать, когда покину Францию, то именно их, и только лишь их. И я отвечаю Вам, что первое, что я сделаю,— это напишу им, как только смогу, о том, как сильно я их люблю. Одним словом, сударыня, вот результат моих размышлений, разделенных по пунктам. Я помещаю их в конце своего письма, чтобы было легче на них сослаться, когда возникнет такое желание, тем более что это, по всей вероятности, будут мои последние размышления и последние молитвы.

Да будут они прочтены в таком же настроении, и не в смысле установления каких-либо законов, ведь я прекрасно знаю, что в моем ужасном положении я не могу на это рассчитывать, и заверяю Вас, что, если бы я мог это сделать, первый закон, который бы я установил, гласил бы, что *президентшу следует приковать к столбу и сжечь на очень медленном огне.*

Подведение итогов

1. Я готов уехать и желаю этого, поскольку у меня не остается иного выбора, и, кроме того, поскольку надеюсь оказаться в лучшем положении, чем сейчас, в обмен на что я согласен уехать, когда угодно; при этом единственная моя просьба состоит в том, чтобы мне дали время до четверга завершить то, что я начал.

2. Я самым настоятельным образом прошу, чтобы во время моей поездки меня не сопровождала охрана. Если кто-либо будет совершенно настаивать на этот счет, я, тем не менее, поеду, поскольку вынужден буду подчиниться силе, однако ни за что не стану оплачивать полицейский эскорт и *отомщу тем, кто ответственен за этот оскорбительный поступок, всеми воз-*

можными способами, включая самые худшие, которые только смогу придумать.

3. Я прошу, чтобы мне позволили направиться в мои владения, а не в Монтелимар, и, если кто-либо будет настаивать на осуществлении неинтересного и нелепого Монтелимарского прожекта, я буду оставаться в своей комнате в течение всей поездки, даже не выходя из нее, и в результате не предоставлю никому милого удовольствия оценить мое поведение, и даю слово, что ни на мгновение не стану заниматься своими делами, и также прошу, чтобы Гофриди сообщили, что он ни при каких обстоятельствах не должен меня навещать, ибо, если он осмелится это сделать, его ожидает плохой прием.

4. Если же, напротив, моя просьба будет удовлетворена, то есть две недели в Париже в доме моей жены, чтобы повидаться с детьми, и после этого отъезд в мои владения, в ссылку или нет, тогда я даю самое торжественное слово чести, что буду вести себя так, что все будут полностью довольны моим поведением. И я заканчиваю, сударыня, клятвой, что те, кто распоряжаются моей судьбой, будут иметь все основания быть довольными и удовлетворенными, разрешив мне то, что я желаю, и все основания *жестоко пожалеть*, если они мне откажут.

Если бы я написал двадцать писем, я повторял бы то же самое снова и снова, в этом я уверен; посему говорить об этом еще — пустая трата времени. В среду, и совершенно точно не позже четверга, я пошлю свою рукопись г-же де Сад. Если до этого времени мне придет в голову еще что-нибудь, я включу это в свои указания в отношении рукописи. Если же, напротив, я больше ничего не придумаю, то просто напишу в конце письма, что основываю свою позицию на своем письме к Вам, и с того самого момента не промолвлю на эту тему более ни слова. Это будет служить доказательством того, что я не имею на-

мерения менять свое мнение: следовательно, совершенно бессмысленно снова говорить со мной об этом. И в этом случае пусть приезжают, когда хотят,— я буду готов; я уеду мирно, даже не произнеся ни слова, но посмотрим, как дела пойдут дальше.

Я нежно обнимаю Вас, моя милая барышня, и лишь надеюсь, что, прежде чем покину эту самую проклятую из стран, получу удовольствие обнять Вас еще раз, но уже не в письме.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[30 апреля 1781 г.]

Судя по вашему потрясающему письму от 26 апреля, полученному 30-го, Милли Руссе — не единственная, чей разум взрослеет, клянусь Богом! На какие же расходы Вы только что пошли! По крайней мере, будьте осторожны, ибо ничто так не ослабляет ум, как подобные усилия; человек удивляется, когда в сорокалетнем возрасте с его уст срывается невнятная болтовня, и затем по дальнейшем размышлении видит, что именно от этого все и происходит!

Я пошлю Вам рукопись завтра или послезавтра. Я хотел послать с нею небольшой трактат, над которым я работаю,— ибо мой разум также взрослеет весной,— *трактат об опасностях одиночества и убийственном воздействии тюрем, где одиночество в порядке вещей*. Но он не будет готов к этому сроку. Это, возможно, единственное сочинение, при работе над которым мне не пришлось обращаться к справочным материа-

лам; достаточно было *лишь моего собственного опыта*, и, поскольку он написан весьма умеренно и без малейших следов дурного настроения, я не испытываю никаких терзаний, посылая его Вам, по поводу передачи его властям для проверки.

Я уже отвечал в отношении бумаги, различных вещей, которые мне нужны, предположительного отъезда и проч., тех, что необходимы, поскольку я все еще нахожусь здесь, и отъезд еще не происходит. То же самое касается верхней одежды, платья, и проч., и поскольку все это было изложено в очень простых и недвусмысленных письмах, которые, уверен, Вы получали. Таким образом, если Вы решили сделать вид, что не слышали о том, что я прошу, то так тому и быть, в ответ на что я просто скажу, что для меня это практически неважно. Если Вы пошлете их, я их получу; если же нет, я обойдусь и без них; Вы прекрасно знаете, что мне нужно; этого достаточно, и я об этом больше упоминать не буду.

Вы понимаете, что сильно рисковали, вмешиваясь в эти злосчастные дела? Я знаю их, как свои пять пальцев, и меня обеспокоило, когда я узнал, что Вы находитесь среди них, но было бессмысленно Вам говорить; Вы бы ответили пустой болтовней. Увы! я не более чем самый ничтожный из ничтожнейших, и у меня никогда не было ни малейшего представления о том, как следует управлять государством, а тем более городом; но, поскольку я верю в метемпсихоз[117], если бы я перевоплотился в теле какого-нибудь муниципального или государственного чиновника, я бы обнародовал закон, по которому мужчины *могли бы делать со шлюхами все, что им заблагорассудится*, и также бы предписал, что властям запрещается пытаться выкапывать грязь и таким образом подвергать риску жизни семи или восьми тысяч граждан, особенно учитывая, что в поддержку своего решения я привел бы поразительные примеры, включая при-

мер 1778 г. Но, повторяю, это только потому, что я самый ничтожнейший из ничтожных.

Я никогда еще не встречался ни с чем, подобным тому факту, что Вы сделали вид, что ничего не знаете о копии письма, которую я попросил Вас передать г-ну Ленуару. Увы! Боже милостивый, если это письмо не было идеальным, то какие письма, скажите, должны ныне писать? Я ничего не могу в этом понять. Похоже, Вы намерены довести меня до отчаяния. Непоследовательность того, что Вы делаете, превосходит только лишь его глупость. Становится все более очевидно, что президентша стареет; ибо в последнее время в ее махинациях отсутствует та свежесть, блеск, изобретательность, которыми они ранее отличались! О! нет, поистине, сейчас ее произведения едва можно узнать; в былые времена они были гораздо более впечатляющими! Самое главное, не забудьте послать за день до того, как меня должны переводить, большой сундук, полный провизии, поскольку, как Вы помните, это именно то, что она сделала в Пьер-Ансизе; мы должны, по крайней мере, показать, что остаемся верны себе.

Вы знаете, кто раньше владел тем домом, что находится на той стороне Люксембургских садов? О! Я уверен, что Вам это известно не хуже меня. Это был старый особняк семьи Мэй. Мои бабушка и дедушка жили там во времена царствования Людовика XIII. Там жило не одно поколение Мэй, и сегодня я бы не удивился, если бы хотя бы арендатор-простолюдин захотел повесить там свою шляпу.

Но какой Вам смысл встречаться со мной, если окончательное решение в отношении моей участи уже принято? В это время я должен уезжать, и Вы вместе со мной, это совершенно необходимо; и если мне откажут в этой просьбе, то, что они делают, вынуждает меня совершить еще одну глупость, какой бы

она ни была, ибо Вы можете быть уверены, что я приеду и заберу Вас, даже если Вы будете находиться в самой преисподней. Не по этой ли причине Вы отказываетесь сообщить мне, где Вы остановились? О! это меня не волнует, будьте уверены, мне понадобится не более получаса, чтобы Вас отыскать.

Да, весьма странно, что от мужа скрывают то место, где живет его жена! Если бы я таил недоброжелательный или злой умысел, и если бы я захотел однажды разворошить старые угли... какое бы оружие оказалось у меня в руках!

Я собираюсь вернуть Мериго все шесть томов. Можете передать ему от меня, что он не получит ни одного, даже если бы меня заперли здесь еще на десять лет, если он не пришлет мне еще десять-двенадцать томов для дальнейшего прочтения. Я не могу и не стану читать по вечерам «*Ментенон*»; купите мне хотя бы Бугенвиля, я прошу у Вас его уже целых сто лет. Я повторял Вам тысячу раз, это неслыханно, что меня заставляют выпрашивать книги. За последние две недели я покупаю, книга за книгой, по яркой свече, за которую они берут с меня по кроне; и в течение последних же двух недель Вы об этом знаете; поэтому пошлите мне запас свечей, или я буду собирать свои вещи. Я могу делать это без малейших опасений: сегодня уже месяц, как *г-н комендант де Ружемон* сказал мне, чтобы я это сделал. Но, к сожалению, четырехлетний опыт научил меня, что истина и де Ружемон — это две самые несовместимые вещи на свете, и что ему нравится обманывать бедняг, которые находятся у него в подчинении, точно так же, как другим нравится охота или рыбная ловля. Таким образом, его уведомление о том, что мне следует собирать вещи, было тем толчком, который был необходим, чтобы начать приготовления для того, чтобы провести здесь лето, о чем мне даже в голову бы не пришло, если бы не его благотворительный поступок. *Omnis homo mendax*[118]. Этот чело-

век — настоящий лжец. Не думаю, что кто-либо из смертных более заслуживает этой поговорки, чем он. Но пусть даже так, я обещаю, что в следующий раз, когда мы увидимся, я расскажу Вам кое-что смешное. Вам прекрасно известен мой талант придумывать различные штуки; Вы увидите, как я им пользовался, *когда постился, после ужина* и проч.

Что это за последняя чушь, которую я слышу уже бесконечное количество раз? *Попросить увидеться с Милли Руссе, где бы я ни был?* Или я буду в своих владениях, или здесь,— иного не дано. Я более чем достаточно обсуждал этот вопрос с г-ном Ленуаром; он также пришел к такому мнению и говорил со мной на эту тему как судья, как мне показалось, с исключительной искренностью, мудростью и, я бы сказал, с гуманностью. Я могу лишь похвалить его за это. Я в самом деле считаю, что он не может мне солгать. И в таком случае, если я останусь здесь, г-жа Руссе отлично знает, что не сможет приехать и увидеться со мной. А если я буду в одном из своих поместий, она, если захочет, может получить разрешение *приехать и попытаться за мной поухаживать*. И я удовлетворю ее просьбу, но только на *определенных условиях*, которые бессмысленно здесь излагать, поскольку это Вас не касается. Я разрешаю Вам предупредить ее об этом.

Во всем этом я ясно усматриваю, что Вы не поедете со мной. В таком случае, мой ангел, мы постараемся Вас заменить, и это все, что я скажу. Поскольку мне совершенно нечего будет делать — так как без Вас совершенно невозможно даже пытаться разобраться в моих делах,— поскольку мне нечего будет делать, кроме как отдыхать, я украшу этот мирный отдых несколькими цветками с помощью г-жи де Руссе, *с одной стороны*, и приятным окружением — *с другой*; а Вы можете приезжать, когда

Вам заблагорассудится: Вы обнаружите, что мы ждем Вас, затаив дыхание и находясь в прекрасном расположении духа!

Да, я хорошо могу представить, что слухи в отношении управляющего моими делами вполне могли измениться: до настоящего момента его считали не более чем обычным плутом; теперь, естественно, его, должно быть, считают лицемерным мошенником и предателем. И если судить по той дорожке, на которую он явно стал, то он вполне может оказаться кандидатом на виселицу. Во всяком случае, я именно так рассматриваю этот вопрос, и обнимаю Вас.

Пожалуйста, попросите, умоляю Вас, чтобы рукопись передали Вам без промедления, и, самое главное, прочитайте примечания автора до того, как приступите к чтению самой пьесы. Можете читать ее вслух вместе с г-жой Руссе, которую я прошу продолжить свои попытки в отношении критиков.

Обнимаю Вас.

Однако самым настоятельным образом прошу, чтобы Вы не показывали пьесу никому, кроме г-жи де Руссе или Амбле. Не далее чем через месяц мне понадобится встретиться с зубным врачом. Помните, Вы обещали мне об этом позаботиться.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[21 мая 1781 г.]

Нет ничего прелестнее вашего милого плана, но в нем Вы выказываете излишнюю злобу: во всяком случае, именно так мне представляется. Без злобы он был бы в высшей степени замечательным. Давайте рассмотрим его поближе. Вы

(или ваши) испытываете желание улучшить мою участь или положить конец моему наказанию; единственная загвоздка в том, что Вы не уверены, чем этот план обернется в результате. Возможно, все получится хорошо, возможно, нет: тогда вообще зачем мне о нем говорить? Вам следовало оставить меня в неведении и делать свое дело.— Ваш план осуществился? Тогда следовало сообщить мне о нем одновременно с известиями о его успехе. Он закончился неудачей? В таком случае, я все равно о нем ничего не знал.

Смысл в том, что, если все, что, по вашим словам, Вы сделали, правда — чего требует в таких случаях здравый смысл,— тогда, разумеется, это то, что Вам следовало сделать: сообщить мне о результатах. Поступить наоборот — значит со всей очевидностью обнаружить скрывающийся за ним лицемерный обман и показать, что все это не более чем откровенная насмешка, о чем я, к счастью, догадался уже с самого начала. Еще 3 или 4 апреля я спрашивал Вас об этом и впоследствии повторял ту же самую просьбу множество раз, без значительных вариаций. И тем не менее, визит г-на Ленуара был предназначен для того, чтобы вызвать такой же эффект. Судья, респектабельности которого у Вас есть все основания верить, приходит к Вам и говорит: Ваше наказание закончено, Вы заплатили за ваши проступки,— кажется, что его слова следует воспринимать на веру. Он предал меня.

Итак, что мы получаем в результате? Он унизил себя больше, чем я, поскольку разница между мошенником и его жертвой поистине велика, и, безусловно, не в пользу мошенника.

И тем не менее, во всем этом деле прослеживается один мотив. Судьи, деловые партнеры, друзья, *прислужники или старший начальник* (что сводится к одному и тому же),— все соглашаются

говорить как один; инструмент, на котором они играют, имеет лишь одну струну: и все они играют на ней одинаково. Некоторые (я имею в виду тех, кого я подчеркнул выше), подобно раздутым от собственной значимости деревенским мужланам, которыми они и являются; другие — несколько менее откровенно, но все они говорят как один, и все полностью соглашаются в одном: *ему следует лгать и лгать самым подлым образом.* И вот результат: я постоянно возвращаюсь к письму от графа де ла Тура, на которое я случайно наткнулся в кабинете коменданта Миоланской крепости:

В намерение президентши де Монтрей, которая получила у министра соответствующие полномочия, согласно которым в ее ведение передаются все вопросы, касающиеся г-на де Сада, входит, чтобы она обманывала его на каждом шагу, от рассвета до заката; вследствие чего Вы можете продолжать говорить ему, что его дело вскоре закончится.

Отсюда очевидно, учитывая эти роковые договоренности, что план моего наказания заключался или заключается в том, чтобы лгать мне и дурачить примерно в течение десяти или двенадцати лет. Что ж, на это я отвечу утверждением, что существует и может существовать только одно лицо, ответственное за таковое положение дел,— лицемер, негодяй и скверный мошенник по имени г-н С[артин]; только он мог рекомендовать такой ужас, только такой негодяй, как он, мог быть способен послать двести невинных людей умирать в оковах или иным образом (и однажды я это докажу); только от него мог поступить такой совет. Мерзкое чудовище не удовлетворилось тем, что погубило меня, когда я находился в полном расцвете юности;

нет, он жаждет, чтобы конец моей жизни напоминал ее начало, чтобы он мог поздравить себя с тем, что до самого конца был моим палачом; он, который заслуживает того, чтобы самому испытать на себе пытки Дамьен, потому что он, посредством известной особенности, думал, что сможет перевернуть все государство; он, который приговорил к смерти на колесе несчастного, о невиновности которого знал каждый, который просто не мог быть виновен в тех преступлениях, в которых его обвиняли, и чьими последними словами, прежде чем он испустил дух, были: *«Я расскажу во всех подробностях о подлости того, чья ложь привела меня на этот путь, перед судом Господа, который будет единственным моим судией».*— Замечательные слова, которые, будь я королем, приказал бы выгравировать на экипаже этого человека, если бы ему когда-либо пришло в голову его приобрести, и таким образом выделить его среди его предков, которые были счастливы заработать несколько жалких грошей, предавая порке несчастных, заточенных в тюрьмах Мадрида во времена Инквизиции. Поэтому здесь мне приходится иметь дело с чудовищным созданием, гнусным типом, к которому мы обращались за помощью и к которому ваша омерзительная мамаша обратилась с еще большей радостью, поскольку хорошо знала, что он мой враг, что он показывал множество раз, и поскольку она знала, что он даст ей только такой совет, который удовлетворит ее мстительность.

Любое наказание, которое не приводит к исправлению, которое может только отвратить того, кому оно предназначено,— это не имеющая оправдания подлость, которая делает тех, кто его налагает, еще более виновным и в глазах человечества, здравого смысла и рассудка, в тысячу раз больше, чем тот, кого этому наказанию подвергают. Эта истина слишком очевидна, чтобы

ее можно было опровергнуть. Что ж, тогда на что Вы надеетесь? И чего Вы смеете надеяться добиться от всего, что Вы делаете, если только не удостовериться, что Вы лишаете меня всякого признака характера, делаете меня злонравным, превращаете меня в негодяя, раздражительного мерзавца и отъявленного мошенника, такого же, как и все вы?

Ибо когда все сделано и сказано, точно это сравнение или нет, Вы должны признать, что в основном оно попало в точку: но то, что Вы делаете со мной, это в точности то же самое, что делают с собаками, чтобы они стали более злобными.— «*О! мы всегда сможем заставить Вас повиноваться, когда мы этого захотим! для этого нам всего лишь стоит упомянуть о том, что мы отпустим Вас на свободу, и это именно то, что мы хотели увидеть, когда посылали к Вам г-на Ленуара. Вы были кротким как овца, потому что он приходил Вам польстить*». Такова ваша система, не так ли? Что ж, тогда мне только остается сказать, что я надеюсь, что Вы этим гордитесь!

Одним словом, существует множество примеров моих преступлений, но во всей вселенной не найдется ничего, что хотя бы приблизилось к тем издевательским мерам, которые Вы предприняли против меня. Это крайне несправедливо, незаконно во всех отношениях, и не может быть, чтобы король или королевский суд могли это приказать, в связи с чем я имею все права просить об отмщении или, в случае, если моя просьба будет отклонена, добиваться отмщения по-своему, следуя вашему замечательному примеру.

Мне нет никакой нужды просить о встрече с г-ном Ленуаром. Я все еще достаточно им восхищаюсь, чтобы не желать отягощать его совесть еще одним несправедливым деянием в отно-

шении меня. В один прекрасный день он скажет мне за это спасибо. Что же до Вас, то это совершенно другое дело; я испытываю самое настоятельное желание Вас увидеть. Учитывая то, как долго Вы об этом говорите, у Вас, должно быть, была тысяча возможностей, чтобы ваша просьба была удовлетворена или отклонена. Поэтому я совершенно недвусмысленно предупреждаю Вас, что если к Троицыну дню не увижу Вас, то буду полностью убежден, что все это фарс, что меня вот-вот выпустят, и буду готовиться соответственно.

Таким образом, в этом отношении можете поступать, как Вам угодно. Или Вы обязательно приедете, или я сделаю вывод, что меня выпустят; здесь все вполне ясно. Г-н Ленуар не изменился, ничто не изменилось, и за последние десять лет все предопределено, оговорено, дни назначены, что врать — решено, фарсы выучены наизусть, и единственное, что изменилось, это то, что все это набирает все больше и больше веса, по мере того, как у вашей мамаши все больше разгорается аппетит, и она, покинутая целой вселенной (которая и так никогда не была о ней высокого мнения), видит, как сползает в могилу. Судя по всему, взяв себе за образец скользкую змею, она вынуждена и намерена выпустить весь свой запас яда, прежде чем испустит дух. Тогда продолжайте, пусть потеряет как можно больше времени, чтобы нас не отравил весь оставшийся яд, которым наполнены ее отвратительные внутренности. Пусть поспешит и без дальнейшего промедления испустит последнее дыхание, и ее отвратительная душа превратится в грязь.

Вы говорите мне, что мое заточение — это объект огромного скандала в Провансе. Ах! в этом у меня не было ни малейшего сомнения; Вам нет нужды говорить мне об этом, разве что для того, чтобы пролить немного бальзама на мои кровоточа-

щие раны этим добрым деянием. Что ж, раз так, то как получилось, что ваша мать может испытывать такое явное удовольствие от того, что лишает своих внуков отца? И, учитывая это, почему Вы хотите, чтобы я не называл ее чудовищем, недостойным жить на этом свете? Как, по-вашему, Вы можете убедить кого-либо в Провансе, что изгнание из Марселя не было равносильно изгнанию из всей провинции? — О! были приняты меры, да, меры, чтобы люди не болтали языками! О! Вы были бы чрезвычайно умны, если бы смогли догадаться, что это были за меры,— что же до меня, то я клянусь, что мне на это наплевать; мои намерения в точности таковы, как и раньше. Как только я выйду, то вскоре буду защищен от образа мыслей своих соотечественников, ибо вскоре окажусь далеко от них.

Что касается того, что я сказал Вам о Милли Руссе, то добавить мне больше нечего. Раз у нее хватило терпения ждать меня три года, она с таким же успехом может подождать еще три, если речь действительно идет о таком сроке, как можно предположить из визита г-на Ленуара, ибо у него явно имеется привычка отмечать половины моих сроков. Это попытка заставить меня поверить, что я буду сидеть здесь до скончания веков, и это недостойно ее; это все, что я могу сказать на эту тему. Вам также не следует приезжать и говорить мне: «Но ведь Вы сами виноваты в том, что Вас не выпускают, Вам предложили перевод в Монтелимар, Вам нужно было лишь согласиться туда поехать...» Ваш Монтелимар был сказкой для детей, для этого не было никаких реальных оснований; и, чтобы доказать Вам это, я не сходя с этого места заявляю, что я соглашаюсь и готов уехать отсюда, под конвоем или без него, и ничто меня здесь не держит. Посмотрим, что Вы на это скажете и увидим, детская ли это сказочка или нет. А что касается того,

что я Вам говорю, то это не для того, чтобы выяснить ваше мнение или посмотреть, что произойдет дальше: когда я снова обращаюсь с просьбой о переводе в Монтелимар, я говорю совершенную правду, и настоящим заявляю, что предпочитаю скорее поехать туда, какие бы ни были отрицательные последствия, чем оставаться в этом омерзительном доме, где подлость, низость и гнусные унижения доведены до крайности.

Раз уж мы коснулись этого предмета, я приведу Вам три примера, которые еще свежи в моей памяти. Недавно мне захотелось отведать ягненка, а Вы хорошо знаете, что в это время года мясо молодого барашка можно в изобилии найти даже на самых скромных столах. Меня заставили платить за него из собственного кармана! Что Вы об этом думаете? Есть ли предел Вашей подлости? Вчера, услышав, что в меню есть зеленый горошек, и не имея удовольствия в течение долгого времени даже увидеть это блюдо, я попросил, чтобы мне его принесли; они же прислали мне размазню из сухого гороха прошлогоднего урожая, которую я проглотил так, словно это был свежий горошек, столь велико было мое желание попробовать его. И в результате уже дважды за последние сутки меня тошнило, как пса, в то время как, если бы они дали мне свежего зеленого горошка, я бы чувствовал себя прекрасно. Хотите еще один пример, и того хуже? В течение последних трех лет меня заставляют пить воду, взятую из стоячего водоема, который распространяет ужасное зловоние; в то время как в покоях г-на де Ружемона в большом количестве имеется великолепная свежая вода из источника: однако эта вода стоит каких-то денег, и, если бы он предлагал ее заключенным, это означало бы на несколько крон в год меньше из тех сумм, которые этот мошенник уже у них крадет.

Более того, Вы можете поверить, что пять или шесть писем и столько же личных бесед не смогли заставить этого мужлана понять следующую цепь рассуждений? Обычный режим питания здесь состоит из пяти блюд в день, включая суп, и я могу Вам сказать, что сам дьявол отказался бы их есть, настолько они отвратительны, а причина заключается в том, что больше остается тюремщикам, которые вошли в сговор с поваром. Поэтому я сказал: «Ладно, не нужно давать мне пять блюд, давайте только два, но потратьте на эти два столько же денег, сколько бы Вы потратили на пять. Мне это кажется вполне разумным. Если моя семья тратит на мою еду шесть ливров в день, то у меня есть полное право просить, чтобы эти шесть ливров, после вычета суммы, причитающейся за стирку моего белья, потратили на два блюда, поскольку я прошу именно два блюда. Если Вы откажете в этой просьбе, комендант, тогда произойдет одна из двух вещей: если окажется, что те два блюда, которые я попросил, столь же плохи, как и пять, тогда Вы сами крадете у меня те три блюда, от которых я отказался, или же Вы открыто признаете, что ваш повар вошел в сговор с вашими тюремщиками, для того чтобы украсть их у меня; третьего здесь не дано». — Так вот, именно такую нить рассуждений г-ну де Ружемону никак не удается вбить в свою тупую башку. Два блюда, действительно, так же отвратительны как и прежние пять, — свидетельством тому зеленый горошек, который чуть не свел меня в могилу. Я умоляю Вас подать от моего имени самую настоятельную жалобу по этому поводу г-ну Ленуару, или, если Вы считаете, что мое недовольство не вполне оправдано, я напишу письмо этому несчастному маленькому бездельнику де Ружемону, которое заставит его покраснеть от стыда, если предположить, что в нем осталась хоть капля стыдливости.

Вам необходимо самым настоятельным образом указать г-ну Ленуару, что поскольку я не пью вина и не использую свечей, что поскольку у меня вполовину меньше мебели, чем у других, и вообще нет постельного белья и проч., то я имею полное право этого требовать, за единым исключением расходов на стирку, и без того, чтобы что-то попадало в карманы тюремщиков, чтобы вся сумма, которая выделена на мое питание, была потрачена на те два блюда, которые я ем, что, по крайней мере, должно обеспечить их удобоваримость. Ибо, повторяю еще раз, этот маленький выкидыш, этот ублюдок, этот отвратительный полукровка, эта одна четвертая англичанина, короче, это жалкое подобие человеческого существа должен узнать, что жизнь в целом не состоит в том, чтобы устраивать розыгрыши или заставлять других устраивать их для него.

Конечно, этот маленький проказник скажет: «Но ведь именно Вы постоянно устраиваете нам розыгрыши; поэтому именно Вы должны взять на себя все расходы».— На это я могу ответить две вещи: прежде всего, это президентша должна платить за эти розыгрыши, поскольку именно она за ними стоит; и, во-вторых, я настоятельно советую, чтобы она платила за них как можно меньше, ибо они исполнены чрезвычайно слабо. Прежде всего, есть один тюремщик, который, когда ему приходит в голову разыграть одну из своих буффонад, начинает с того, что отворачивается в сторону, поскольку не может заставить себя смотреть мне в глаза, когда врет; и есть еще один (это мой любимчик), который, когда приходит ко мне утром, чтобы сделать укол, который приказал ему сделать его капитан, всегда лукаво тыкает своих приятелей под ребро, давая им понять, что сейчас выдаст потрясающе лживую историю, и что приказ это сделать исходит свыше, и что они, соответственно, должны делать то же самое...

Идиоты! они мне еще будут врать! А бедная президентша, завернутая в свой маленький кокон, пребывает в убеждении, что все идет в точности, как запланировано! — Что же касается де Ружемона, тут совсем другое дело: он гораздо более тонок и актер получше. Он единственный из всей шайки, чье каждое выступление стоит не менее двадцати су; иногда даже стоит заплатить и все тридцать, когда он является после обильного обеда, когда его язык все еще покрыт крупинками жирной субстанции, которая застряла у него в зобу, и он начинает излагать свои мысли примерно в такой манере, при этом невообразимо грассируя:

«*Ах, нет, говорю я Вам! Вы все еще ко мне несправедливы. Вы находитесь под бременем ошибочного мнения, что слова предназначены для того, чтобы облегчить понимание; совершенно неправильно: Вам не следует верить ни единому слову, которое я имею честь Вам сказать, поскольку слова абсолютно бессмысленны...*»

«Ах, нет, говорю я Вам...» И здесь его охватывает приступ жестокой икоты, и он не может долее продолжать. Вы должны признать, что у меня терпение как у Иова, и что у меня хватает присутствия духа, чтобы вспомнить, где я нахожусь, иначе бы я выгнал этого холопа из комнаты несколькими меткими пинками в живот.

Но в должное время он получит тот десерт, которого заслуживает, это я Вам обещаю.

Во всяком случае, позвольте мне завершить свой рассказ следующей аксиомой, которая порождена ничем иным как здравым смыслом, и звучит так: не посредством порока и не невообразимым ужасом, который порождает порок, можно наказать или исправить порок; только добродетелью можно этого добиться, причем добродетелью в ее самой чистой форме. Это задача не для

президентши де Монтрей — кузины, племянницы, родственницы, крестницы и сплетницы всего маленького обанкротившегося клана из Кадиса и Парижа; не для президентши де Монтрей, племянницы пройдохи, которого выгнал из Инвалидов не кто иной как сам г-н де Шуазель[119], за воровство и финансовые нарушения; это не для президентши де Монтрей, чья семья включает, со стороны мужа, деда, которого повесили на Гревской площади[120]; это не для президентши де Монтрей, которая подарила своему мужу не менее семи или восьми ублюдков и выступала сводней для всех своих дочерей; это не ей судить и подавлять страсти, наказывать или исправлять недостатки характера, в которых человек вообще не виноват и которые, более того, никогда не причинили никому ни малейшего вреда. Это не для дона С[аритиноса], который в один прекрасный день неожиданно появился ниоткуда в Париже, и никто не знал, откуда он возник, словно те ядовитые грибы, которые неожиданно встречаешь на краю леса; это не для дона С[аритиноса], который, когда кое-кто более пристально заинтересовался его происхождением, оказался с одной стороны потомком отца Торквемады и еврейки, которую вышеупомянутый Торквемада соблазнил в тюрьмах мадридской инквизиции, которую он сам и придумал; это не для дона С[аритиноса], чье состояние во Франции было основано на том, что он приносил в жертву людей, словно каннибал, который, находясь во главе апелляционного суда, колесовал несчастного, о котором я ранее рассказывал, только лишь для того, чтобы укрепить свою собственную репутацию и показать, что он никогда не ошибается и не способен совершить судебную ошибку; это не для дона С[аритиноса], который, когда он занимал несколько более высокое положение, придумывал всевозможные издевательства и отвратительные тиранские выходки, связанные с публичными удовольствиями и развле-

чениями, для того чтобы составить *распутные списки*, с помощью которых можно было украсить ночные пирушки в Парк-о-Серф; который, дабы снискать расположение каждой из правящих верхушек, последовательно сменявших друг друга, послал на смерть двести невинных людей, или замучив их пытками, или сгноив в тюрьме, и эту цифру я получил из весьма достоверных источников, а именно от тех самых людей, которые были непосредственно с этим связаны; и, наконец, не для дона С[аритиноса], с политической точки зрения, самого большого мошенника и, вообще, самого замечательного пройдохи, какого когда-либо видывал свет, и, возможно, первого, кто, с тех пор как возмутительное поведение стало общепринятой нормой жизни, ухитрился продемонстрировать самое чудовищное злоупотребление властью, а именно, позволил проститутке вступать в отношения с заключенными,— нет, не такому ужасному защитнику преступности пытаться осуждать, подавлять или напоминать о тех самых ошибках, которые служили источником его собственных величайших наслаждений в тот период, когда он крал по пятьсот тысяч франков в год из миллиона, выделенного ему королем, дабы он снабжал двор пикантными подробностями, и который, в то же самое время, не только безнаказанно крал, но также чудовищно злоупотребил своим положением, чтобы заставить некоторых несчастных предаться различным порокам — тем самым порокам, от которых он сегодня взял себе за правило предостерегать! — И эти сведения я получил непосредственно от самих женщин.

Одним словом, не маленькому ублюдку де Ружемону, мерзкому олицетворению порока, этому распутному злодею в камзоле и коротких штанах, который, с одной стороны, торгует своей женой, чтобы увеличить количество заключенных, которые находятся под его надзором, а с другой — морит их голодом,

чтобы набить карманы еще несколькими кронами и оплатить услуги отвратительных пособников своих оргий; короче говоря, не холопу и негодяю, который, если бы не прихоти судьбы и удовольствие, которое, похоже, получает Госпожа Удача, свергая с пьедестала тех, кто заслуживает более высокого положения, и поднимая тех, кто рожден лишь ползать, и который, если бы не такие превратности судьбы, повторяю, несомненно, был бы счастлив служить у меня на кухне мальчиком на побегушках, если бы мы оба остались в том положении, которое было дано нам от рождения; не такому бродяге, как он, пытаться выдавать себя за блюстителя нравственности и грозу пороков, и, по сути, тех самых пороков, которыми он сам обладает даже еще в более чудовищной степени, поскольку, как нам известно, человек становится еще более омерзительным и смешным, когда пытается вытащить соринку из глаза других, когда в его собственном глазу в тысячу раз большее бревно, точно так же, как не хромому насмехаться над теми, кто прихрамывает, и не слепому быть поводырем у одноглазого.

Это все, что я хотел сказать, и желаю Вам всего хорошего.

À monsieur Le Noir

К г-ну Ленуару
22 мая 1781 г.

Сударь,

Вы оказали мне честь, навестив меня и заверив, что *мои ошибки искуплены*, заставив меня поверить в то, что моя грядущая свобода убедит меня в этом; Вы предложили, чтобы я на-

писал письмо, дабы получить эту свободу; я написал его слово в слово в соответствии с вашим добрым советом; Вы сказали мне, что довольны содержанием письма, точно так же, как довольны мною.

Тогда отчего же, после всего этого, сударь, свобода, на которую Вы ссылались, как оказалось, ошибочно, все еще остается лишь обещанием? Не пытаетесь ли Вы заронить в мои мысли мнение, настолько противное порядочности и честности, которые я всегда связывал с Вами, что единственной целью вашего визита было обмануть меня, и что и Вы, сударь, также всего лишь еще одно орудие мести этого мерзкого создания, ибо человеческая месть — это явно квинтэссенция ее существования. Наказывая меня за свои собственные грехи, тем самым эта женщина старается их искупить?

Одним словом, могло ли быть единственной причиной Вашего визита ничто иное, как намерение преподать мне урок, урок, состоящий в том, что дозволено как угодно играть теми, кто страдает и испытывает боль, что эти несчастные ведут себя как легковерные глупцы, когда, поверив, обещают исправиться или делают шаги в этом направлении; одним словом, мог ли ваш визит быть чем-то иным, нежели уроком порока, в то время как я имел все основания ожидать от Вас урока добродетели? Те, кто вынудил Вас предпринять такие шаги, чудовищно Вас унизили уже тем, что вообще осмелились предположить, что Вы способны на подобные поступки.

Посему прошу Вас, окажите мне честь и сообщите, письмом или лично, конкретные причины того, почему переговоры, предпринятые по вашему совету и подкрепленные тем интересом, который Вы, как мне показалось, проявили к моему делу, привели к отказу? В то же самое время, сударь, я прошу Вас сообщить мне, действительно ли тот момент, когда меня выпустят, все еще далеко.

Пока же, сударь, я со всей искренностью прошу, чтобы мне позволили увидеться с женой, в возможность чего Вы заставили меня поверить, и чтобы ей разрешили увидеться со мною наедине, умоляю Вас, сударь. Поскольку единственной темой наших бесед будут наши личные дела, и поскольку ни государство, ни правительство никогда не имели отношения к этим вопросам, я полагаю, что можно вполне обойтись без той нарочитой демонстрации строгости, которую следует применять только лишь к глупцам и простакам, и что вмешательство третьего лица между мною и моей женой, особенно такого, как г-н де Ружемон, будет самой бессмысленной и самой одиозной вещью на свете. Кроме того, чтобы заставить этого *уважаемого* коменданта потратить впустую драгоценные моменты, когда его разум и милая душа ухитряются изо дня в день находить другое применение времени, гораздо более его достойное, посвящая себя вопросам культуры, улучшая свои познания в науке или художественной литературе, или стараясь утешить несчастного, чей образ находится перед самыми его глазами.

Имею честь быть, с выражением моих самых высоких чувств, вашим покорным и самым послушным слугой.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[между июлем и октябрем 1781 г.]

Не могу выразить, насколько я Вам благодарен, мой дорогой друг, что Вы были так добры, что послали мне то письмо, о котором я Вас просил, слово в слово. Несо-

мненно, это письмо ободрило меня, однако скрытые ужасы, коварные подлости, которые я обнаружил в тех омерзительных письмах, которые ваша ненавистная мать заставила Вас написать,— что, к счастью для меня, я первоначально не заметил,— снова наполнили меня новой порцией скорби и тревоги, которые оказались сильнее, чем ободряющее содержание вашего письма. Тем не менее, в целом, несмотря на мое новое возбужденное состояние, и не учитывая душевные страдания и ужасные приступы тревоги, я буду ждать вашего посещения в надежде, что ваши слова будут иметь даже еще больший успокаивающий эффект, нежели ваши письма, хоть они и были осквернены желчью вашей мамаши, и что ответ, который Вы дадите на те вопросы, которые я Вам задам,— а Вам следует знать, что я буду зорко следить за выражением вашего лица во время ваших ответов,— надеюсь, повторяю, что ответ будет более осмысленным, чем все, что Вы когда-либо писали. Итак, я жду.

Значит, раз и навсегда решено, что Вы никогда не сможете успокоить меня в одном отношении, не возбудив, одновременно, состояние глубокой обеспокоенности в другом. Почему Вы не отвечаете мне по поводу моей самой искренней просьбы, чтобы Буше не сопровождал Вас, когда Вы меня навещаете? Может быть, кто-то заставляет его приходить вместе с Вами? Впрочем, я не собираюсь это комментировать, ибо мне кажется, что из вашего письма следует, что Вы прилагаете все усилия, чтобы он не приходил, и я на этом закончу и больше не стану поднимать этот вопрос, разве что повторю:о если Буше все-таки будет Вас сопровождать и если Вы будете одеты в ваш проститутский наряд, как это случилось в прошлый раз, я клянусь своей честью, что даже не намерен к Вам спускаться. Это первое, что я спрошу, когда они придут за мной: *«Буше тоже там? Она вырядилась так же, как и в прошлый раз?»* Если

ответы будут утвердительными, я не пойду. Если нет, тогда, не исключено, что они просто пытаются меня одурачить; в таком случае я спущусь, но как только увижу или Буше, или ваше белое платье и вашу прическу, то сразу же поднимусь обратно к себе, и клянусь Богом и своей честью, что пусть меня посчитают самым трусливым человеком на свете, если я когда-либо возьму свои слова назад.

Де Сад

Что означает эта отговорка: «*Вы бы посмотрели на остальных?*» Мужья «остальных» не сидят в тюрьме, а если и сидят, и эти женщины ведут себя подобным образом, тогда все они потаскухи, которые заслуживают только оскорблений и презрения! Скажите, Вы пошли бы на Пасхальную мессу, вырядившись как какой-нибудь бродячий актер или шарлатан? Разумеется, нет, разве я не прав? Что ж, тогда следует проявлять такую же уравновешенность; боль и горе в данном случае должны породить то, что вызывают во втором случае благочестие и религиозное уважение. Какой бы скандальной ни стала современная мода, Вы никогда не сможете меня убедить в том, что она подобает шестидесятилетним женщинам. Именно они и должны служить Вам примером, какой бы большой ни была разница в возрасте между вами.

Не забывайте о том, что мои несчастья сделали нас ближе к тем, кто старше нас, и они — старшие — должны служить нам образцом как нашего поведения, так и манеры одеваться. Если Вы приличная и почтенная женщина, тогда Вам следует стремиться доставлять удовольствие только мне, и больше никому, и единственный способ, которым Вы можете этого добиться, это быть, как в своей внешности, так и в поступках, совершенно скромной и в высшей степени достойной.

Одним словом, я требую, если Вы меня любите (а это, разумеется, я смогу определить; в том, о чем я Вас прошу, нельзя мне отказать без того, чтобы полностью себя не разоблачить своими знаками и сигналами и всеми Вашими идиотскими и запутанными оборотами речи), я, таким образом, требую, как уже говорил, чтобы Вы приезжали ко мне в того рода платье, которое Вы, женщины, называете закрытым, и с большим, очень большим капором, прикрывающим волосы, которые я бы предпочел, чтобы Вы просто зачесали,— чтобы не торчали всякие легкомысленные кудри. Не стоит и говорить, что никаких накладных буклей тоже не должно быть. Простой шиньон и никаких кос. Также на вашем бюсте не должно быть никаких незакрытых участков, чтобы Вы не выставляли его бесстыдно напоказ, как в прошлое посещение; что же до цвета вашего платья, то чем темнее, тем лучше.

Я клянусь Вам всем, что почитаю самым святым на этом свете, что приду в состояние необузданной ярости, и последует самая ужасная сцена, если Вы не выполните слово в слово все то, что я сейчас изложил. Вам следовало бы залиться краской стыда за то, что Вы не понимаете, что те, кто вырядил Вас так, в каком виде Вы явились в последний раз, сделали из Вас дуру и от души повеселились за ваш счет. О! Только подумайте, как они потешались, говоря друг другу: «*Какая хорошенькая марионеточка! Мы можем заставить ее делать все, что захотим!*»

Хотя бы раз в жизни будьте самой собой. Я чувствую, что есть некоторые ситуации, когда обстоятельства вынуждают Вас играть в их маленькие игры; но я столь же уверен, что Вас просят и о таких вещах, которые непристойны и нелепы, возможно, даже отвратительны, и в них, мне хочется верить, Вы отказываетесь принимать участие! Что же касается первых, то Вам следует просто отказаться, а что до последних, то Вам нужно при-

грозить, что Вы скорее покончите с собой, чем хотя бы даже станете слушать малейшее о них упоминание.

Дело в том, что мне слишком хорошо известно, в чьи гнусные руки Вы попали! Ибо, и хорошенько это запомните, я никому не позволю себя одурачить, тем более Вам, и я знаю, что Вы живете у своей матери; у меня есть все основания содрогаться от трепета, когда я задумываюсь о том, что Вы там! Да, я без колебаний скажу, что я гораздо больше предпочел бы, чтобы Вы жили у г-жи Гурдан[121]: по крайней мере, находясь там, Вы бы знали, с кем имеете дело, и были бы настороже, в то время как, живя у своей матери, Вы никак не сможете угадать, какие подлые ловушки она может расставлять. Вы думаете, что я смогу когда-либо забыть это замечание, пока я жив? «*Я дам пятьдесят луи любому, кому удастся развратить эту молодую барышню?*» — Нет, нет, этого я никогда не забуду, и, если бы Вы только вспомнили те места, ситуации, все мои так называемые проступки сразу же стали бы понятны! — Мой дорогой друг, запомните: отчаяние женщин, которые поглумились над добродетелью,— это уважение, которое выказывают добродетели те, которые постоянно ее почитают; они подобны тем несчастным существам, которые публично делают вид, что не верят в Бога, и которые призывают других поносить его, хотя их сердца взывают о том, чтобы принять его.

Подобным же образом примите добродетель, крепко держитесь за нее! Именно добродетель заставляет меня краснеть от стыда за мои опрометчивые поступки, и одна лишь добродетель заставит меня возненавидеть их. Человек от природы склонен к подражательству; в характере чувствительного человека судить и брать себе за образец то, что он любит.

Именно порочные примеры всегда были источником моих несчастий; не усугубляйте их, предоставляя мне доказательство

самых жутких пороков, которые только возможны. Это бы меня убило; или, если моя любовь к жизни победит мужество убить себя (во что я не верю), это приведет лишь к тому, что заставит меня очертя голову пуститься в самые дикие плотские грехи, что, так или иначе, приведет к скорейшему окончанию моих дней. Непостоянство или неверность, говорят, может служить для того, чтобы снова разбудить желание в любовнике или муже; да, в душе, подлой и низкой.

Но пусть Вам даже на мгновение не придет в голову мысль, что и моя душа такого же сорта. Я никогда не прощу преступления против собственности, как и не соглашусь никогда снова увидеть кого-то, кто когда-то был моим, а затем перестал им быть. Сама мысль о том, что кто-то еще мог иметь отношения с тем, кого я сжимаю в своих объятиях, всегда вызывала во мне отвращение, и я никогда в жизни больше не встречался с женщиной, которую я хотя бы заподозрил в неверности по отношению ко мне. Я верю, что все это к Вам не относится, но дело в том, что Вы заронили во мне подозрения, и теперь эта мысль глубоко укоренилась в моей душе.

Когда они это сделали, какой замечательный совет они Вам дали! Я рассмотрю этот вопрос самым тщательным образом, я проверю его истинность: я ничего не обнаружу (по крайней мере, я так надеюсь), но подозрение уже посеяно, а для такого характера, как мой, это медленный яд, воздействие которого будет день ото дня разрушать меня, и нет ничего на свете, что бы могло остановить его прогресс. Я повторю еще раз: «*Когда они это сделали, какой замечательный совет они Вам дали!*» Моим величайшим утешением было по крайней мере предвкушать перспективу счастливой старости на груди верного друга, который ни разу меня не подвел. Это было, увы, моим единственным утешением, единственной вещью, о которую тупились

те острые ножи, что сейчас кромсают меня на части. И у Вас еще хватило наглости пожалеть для меня этой сладкой надежды моих преклонных лет!

Я не могу продолжать: подозрение посеяно; фразы слишком прозрачны для меня, чтобы я мог закрывать глаза на их истинный смысл. О, мой дорогой друг, верно ли, что я не могу больше питать к Вам самое высокое уважение? Скажите: неужели Вы так жестоко меня предали? Если да, то какое ужасное будущее лежит впереди! О великий Боже! Да останется навсегда закрытой дверь моей темницы! Я скорее умру, чем выйду отсюда, чтобы узреть свой позор, ваш позор, и позор тех чудовищ, которые предложили Вам свой совет! Пусть я скорее умру, чем унижу себя, чем погружусь в крайние эксцессы самых чудовищных преступлений, которые я буду искать с великой радостью, дабы утопить свои горести в моральном падении! Я изобрету такие чудовищные преступления, что они не будут поддаваться воображению.— Прощайте, видите, насколько я спокоен и насколько мне нужно увидеть Вас наедине. Умоляю Вас, сделайте все, что требуется, чтобы все устроилось.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[между августом и октябрем 1781 г.]

Ах! как же они мне только что доказали, что моя жизнь для них всего лишь игрушка! Как им только что удалось убедить меня в том, что на свете нет ни одного человека, которому я был бы хоть сколько-нибудь небезразличен! Ах! великий Боже,

великий Боже! самое ужасное несчастье, которого я так долго страшился, свершилось!

Вы спрашиваете, каковы основания для моих подозрений: они следующие.

Вы — орудие моей пытки. Поскольку это так, то как они предполагают заставить Вас выполнить эту роль, не сделав исключительно несчастной? Если у Вас были хоть малейшие дружеские чувства ко мне, было необходимо их насильно подавить, ибо они хорошо знали, что Ваша дружба была моим единственным утешением, и они добились в этом успеха, дав Вам любовника. Следовательно, омерзительная политика самых гнусных советчиков вашей матери такова: *поощрять преступление, оправдать его, дабы наказать зло.* Какая отвратительная мысль! Какая постыдная идея! И как могло случиться, зная Вас, как знаю я, со всеми Вашими добродетелями, всей вашей порядочностью, всей Вашей искренностью, что Вы не почувствовали ту западню, которую они Вам подстроили? Как получилось, что Вы не смогли ее избежать? Увы! Ваша отвратительная мамаша теперь нанесла мне решающий удар; она лишила меня всего: имущества, чести, состояния, свободы... Я бы вынес все, не стал бы ни о чем жаловаться: но украсть у меня ваше сердце!.. О! мой дорогой и божественный друг, о! моя бывшая наперсница, этого я не переживу!

Я разгадал ее, Вашу отвратительную загадку. Меня освободят 7 февраля 82-го или 84-го года (это огромное различие, и Вы можете видеть, что я больше ничего не могу разобрать); идиотская игра слов — имя нынешнего святого, который оказался Св. Арманом, и, поскольку в слове *февраль* содержится «*февр*», Вы связали имя этого негодяя с цифрами 5 и 7. И из Вашей игры слов, настолько же банальной, насколько и глупой, следует, что мое освобождение состоится в конце пятилетнего

срока (или 57 месяцев) 7 февраля. День св. Армана, *Лефевр*, связанный с цифрами 7 и 5, означало вашего любовника[122].

Но неужели Вы хоть на мгновение могли поверить, что такая банальность может в конце концов избавить меня от моих подозрений? Э, нет, нет! Не обманывайте себя: *этот человек оказался полезен для осуществления Ваших замыслов, и Вы им воспользовались*, и именно на правде, на истинной правде, об этом Вы построили свою загадку, а не на игре слов.

Если Вы боитесь, что, успокоив меня, разоблачите Вашу несчастную загадку, то Вы жестоко ошибаетесь. Наоборот, существует период времени, в котором я уверен и к которому неизменно обращаются мои мысли. Благодаря тому, что Вы не смогли успокоить меня, я, по крайней мере, знаю наверняка дату своего освобождения; уничтожив мои подозрения, Вы разрушаете все построение, как загадки, так и подозрений. И здесь я прихожу к тому выводу, что все понимал неправильно, и мой рассудок начинает колебаться. Поставьте тогда его в такую же ситуацию, поскольку она Вам больше всего нравится, и успокойте меня в отношении Вашего поведения. Я полностью готов забыть о дате своего освобождения или даже предположить, что оно никогда не наступит, но я не хочу терять Ваше сердце.

Одним словом, я со всей искренностью умоляю Вас увидеться со мной; речь идет о моей жизни. Если Вы откажете мне в этой просьбе, не подтверждайте, что моя жизнь ничего для Вас не значит, и, следовательно, что мне не на что больше надеяться на этом свете, не подтверждайте, что Вы более не испытываете даже жалости ко мне. Я заслуживаю, по крайней мере, этого, ибо я оплакиваю свои грехи, я раскаиваюсь в них, и, единственная причина, по которой я желаю остаться в живых и быть свободным, это для того, чтобы исправить все мои неправиль-

ные поступки и снова постараться (если мне будет дарована такая возможность, ибо таковой вовсе не представится, если Вы изменились), снова постараться сделать Вас счастливой.

О, мой дорогой друг, не отказывайте мне в этом, умоляю Вас, преклонив колено! Почему Вы упорно доводите меня до отчаяния и становитесь источником моего падения? Я все еще имею на Вас одно драгоценное право, звание, в котором не может отказать мне вся вселенная: я *отец Ваших детей*. Хорошо, смягчитесь хотя бы ради них, если не ради меня! Если я Вам более не нравлюсь, тогда я готов умереть, я согласен, я избавлю Вас от своего присутствия. Но прежде, чем я это сделаю, позвольте на мгновение броситься к Вашим ногам и заплакать, позвольте в последний раз обнять Ваши колени, позвольте услышать свой приговор из Ваших собственных уст, и я уйду из этого мира успокоенным.

Мое ужасное несчастье заключается в том, что Вы так тесно и близко увязали свои посещения со структурой своих знаков, что не можете подарить мне одного, не опасаясь просветить меня в отношении другого. Но ныне это опасение должно рассматриваться как чистая фантазия, поскольку Вы видите, что я признался Вам в той тайне, которую я раскрыл, и я торжественно заявляю Вам, что теперь ничто не заставит меня изменить свое мнение. Ну что ж! Вы хотите получить еще большую уверенность в том, что меня волнует вовсе не мое освобождение, но исключительно необходимость, крайняя необходимость увидеть Вас? Умолите министра от моего имени даровать мне эту любезность, и взамен он может добавить еще два года тюрьмы к самому дальнему сроку окончания моих двух приговоров: если потребуется именно это, я соглашаюсь безоговорочно. Они хотят половину моего состояния? Я отдаю его в обмен на час,

проведенный с Вами, и пусть во время нашей встречи с Вами будет любой, кого Вы назовете. И почему, Бога ради, Вы сообщили, что это посещение вот-вот состоится, если на самом деле оно намечено на совсем отдаленное будущее, если мое освобождение произойдет еще через двадцать четыре месяца, то есть в 84-м?

О, боги! Как же Вы заставляете меня страдать! И как же продуманны и ужасны ваши пытки! Ах! именно так душу наполняют отчаянием и горечью, но едва ли таким способом можно вернуть ее на прямой путь! Во имя Господа, приезжайте и побудьте со мною час, или я не отвечаю за свою жизнь.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[октябрь 1781 г.]

Вы хорошо можете себе представить, дорогой друг, что, после той краткой передышки, которую Вы даровали моей душе в отношении ужасной тревоги, которую я испытывал по поводу столь долгого заточения, как то, о котором я Вам недавно упоминал, основываясь на предоставленных Вами цифрах и, особенно, после Св. Ора, который означает 58 и который выпадает в этот период точно на июнь 1783 г.,— Вы, повторяю, хорошо можете себе представить, что после этого я находился в ужасном настроении.

Особенно примечательна одна вещь, которую я, несомненно, вынужден рассматривать как ужасное проявление изощренной жестокости в этом отношении: ни слова утешения, ни единый

человек не дает мне даже малейшей надежды на то, что я ошибаюсь и что я зашел слишком далеко в своих предположениях. После этого Вы вполне можете понять, что единственный вывод, к которому я мог прийти, заключался в том, что мое заточение по меньшей мере продлится в течение этого срока, не считая двух лет ссылки, которые должны привести к завершению всего этого дела и растянуть мои страдания до наступления старости. Таким образом, я проведу свои дни в постоянных муках. Всю свою жизнь я буду жертвой ее ярости и неослабной мстительности.

А ведь эта женщина еще считается набожной прихожанкой, ходит в церковь и причащается... Одного подобного примера достаточно, чтобы превратить самого набожного человека во вселенной в атеиста. О! как я ее ненавижу! Боже милостивый, как я ее презираю! И какой наступит для меня благословенный момент, когда я узнаю, что это отвратительное существо испустило последний дух! Я торжественно клянусь со всей искренностью раздать бедным двести луи в тот день, когда я узнаю об этом благословенном событии, и дам еще пятьдесят слуге, который принесет мне это известие, или служащим той почтовой службы, которая возвестит об этом событии по почте. Я согласен на любые мучения, которые Богу будет угодно наслать на меня, если я когда-либо нарушу условия этой клятвы, письменную копию которой я ношу при себе уже более трех лет. Я признаюсь, что никогда никому не желал смерти, за исключением этой женщины! Ах! мой дорогой друг, я прошу у Вас снисхождения в отношении этой легкомысленной иллюзии; но, поскольку она на краткое мгновение облегчает мои печали, позвольте мне потешить себя немного такими полетами фантазии.

Давайте предположим, что небеса пощадили моего отца и мать, как они пощадили обоих ваших родителей, что их состояние, которое они только начали накапливать, не пострадало от серьезных спадов или колебаний, и давайте также предположим, что форма этого самого состояния не позволила его попусту растратить; что оба они еще живы и занимают такое положение в обществе, которое должны были бы занимать по праву; и теперь давайте предположим, что сиротой оказались Вы, и что Вы вели себя в той манере, которую мы назовем сомнительной.

Скажите мне, мой дорогой друг, скажите, зная ту силу характера, которой они оба обладали, Вы верите, что они когда-либо могли бы обращаться с Вами так, как обращается со мной ваша семья, и можете ли Вы представить, что, если все-таки допустить, что они бы так поступили, я бы примирился с этим хоть на секунду? Каков же результат этих печальных мечтаний? Таков, что я жертва судьбы и мести, и что в самой глубине моего сердца я нахожу утешение в том, что могу сказать себе: «*О, мои родители, вы бы никогда не позволили ей быть такой несчастной, даже если бы она была столь же виновата!*»

Я бы никогда не пожелал Вам такой участи, но, если бы Господь покарал Вас ею, как бы доволен, как бы рад я был броситься на Вашу защиту, сплотить людей для Вашей поддержки, сделал бы все, что в моей власти, чтобы защитить Вас. Можете быть уверены, мой дорогой друг, что они бы тщетно искали меня в тот день, когда мы вернулись в Париж, мой герб и мои комнаты стали бы убежищем, которое никогда бы не осквернила ничья злоба. И им бы пришлось тысячу раз проткнуть меня своими шпагами, прежде чем они смогли бы добраться до Вас. Я бы сказал, с радостью в сердце: «Она потеряла все, во всей вселенной у нее остался лишь я один; я ее единственный шанс

и ее утешение. Но ведь у нее на совести есть грехи? Тем лучше. Если бы их не было, разве она была бы тогда признательна мне за то, что я встал на ее защиту?»

История, которую Вы поведали мне о своем сыне, очаровательна. Соблаговолите рассматривать ее в качестве урока. Особенно этот урок поучителен для Вас: он не хотел, чтобы его брата побили; Вы же позволили заковать в оковы своего мужа.

Поэтому, когда приедете меня навестить, будьте добры уволить меня от всех этих лживых отговорок: *я не знала; это случилось само собой; я сразу же послала кого-то за экипажем, и проч.*, когда речь заходит о проекте, о плане, который одновременно неинтересен и глуп, о проекте, который подготавливался и планировался вот уже добрых десять лет и от которого — если бы даже ударила молния и уничтожила половину вселенной — те, кто за ним стоит, не отошли бы ни на йоту. Вы прекрасно знаете, что я отказываюсь иметь отношение ко всему этому, что если я ничего не делаю, пока Вы продолжаете Вашу утомительную бессмыслицу, то это потому, что я не хочу, чтобы что-то уменьшало то удовольствие, которое я получаю, встречаясь с Вами, или мешало ему, так же, как не хочу давать им какой-либо повод отменить ваши посещения, но это не означает, что я стал менее убежден в том, что Вы лжете, так же, как мне доставляет безмерную боль, когда я вижу, что Вы прибегаете к этому распространенному недостатку, который обычно встречается на продуктовых рынках, в лавках менял или в приемных.

Откажитесь от всякой подобной неестественности, умоляю Вас. Вы не представляете, до какой степени это в конечном счете развращает и унижает душу. Двойственность приводит не-

посредственно к утрате добродетели. Какой смысл прибегать к ней, если можно добиться того же, просто нацепив маску?

Да, я повторяю Вам то, что говорил на этот счет несколько дней назад: если все грязные деяния, все потоки писем, которые представляют собой не более чем слегка подогретые повторения гадостей, задуманных во время оно, дабы быть использованными против Вас, тех же самых, которые используются сегодня против меня; если бы это заточение, чрезмерно длительное и бесконечно жестокое, принесло какую-то пользу Вашей семье и было необходимо для того, чтобы я исправился, и сказалось благоприятно на моих детях,— я бы охотно принес себя ему в жертву немедленно, не промолвив и слова.

Но каков результат этого заточения, и каков единственный возможный результат? Неужели Ваша мать настолько слепа, что совершенно не видит его? Неужели она настолько глуха, что даже не подозревает о том, что говорят люди? Я вполне охотно поверю, что люди намеренно воздерживаются от того, чтобы что-то ей говорить, но означает ли это, что говорить нечего? И Вы увидите, когда наступит пора устраивать жизнь наших детей, что именно тогда она пожалеет обо всех своих прошлых оплошностях и осознает, что иметь удовольствие бесконечно строить расчеты — это значит покупать по самой дорогой цене всю ненависть к самой себе, которую она ощутит в то время, разумеется, при условии, что ад даст ей время до этого дожить.

Продление срока моего тюремного заключения за пределы того, который положен согласно приговору суда Экс-ан-Прованса,— это беспримерная подлость, и произошло это потому, что она получала наслаждение от того, что служит источником моей погибели и погибели моих детей, преследуя единственную цель — причинить зло. Какое чудовище! Как же я ее ненавижу!

Что бы ни говорили все эти подхалимы, которые ее окружают, или все те, кто на этом наживается, ей следовало бы ясно понимать, что, когда ее имя упоминается в обществе, когда она появляется на каком-нибудь приеме, люди, которые думают или о ее, или о моих детях, сразу же вспоминают о моих несчастьях. Ей следует об этом хорошенько поразмыслить и подумать, чего она добьется, продлив мою агонию!

Ну что ж! значит, Вы говорите, что в Вашем последнем посещении не было никаких 17, и в этом числе нет ничего особенно священного — я сошлюсь на ваше письмо от 17 мая 1777 г. О! оно всегда присутствовало в Ваших посещениях, и последнее из них было тогда, когда я в семнадцатый раз встречался с комендантом. Мне на это наплевать, это единственный раз, когда я закрыл свои глаза на числа. Вы пообещали мне последовать за мной, Вы обещали мне, целуя меня на прощание, Вы поклялись мне в этом, и я поверил Вам; и если бы речь шла о тысячах 17, я знаю язык Вашего сердца, как своего собственного, и когда Вы давали это обещание, то это говорило ваше сердце. Если Вы не сдержите свое слово, Вы заставите меня совершить тысячу безумных поступков, когда я выйду отсюда, ибо я торжественно клянусь Вам на всем, что почитаю самым дорогим на свете, что ничто меня не остановит, ничто не помешает мне прийти и вырвать Вас из нутра земли, если именно туда они упрячут Вас, чтобы я не смог добраться до Вас. Пусть все молнии небес обрушатся на меня, пусть они поглотят мое состояние вместе со мной, моими детьми, всем, что у меня есть на этом свете, пусть я не смогу ни шагу ступить без того, чтобы не встретить на своем пути кинжалы или бездонные пропасти, если, сбросив оковы, я проведу восемь дней *без Вас*.

À madame de Sade

К г-же де Сад
[25 октября 1781 г.]

Не стану терять ни минуты, пока не отвечу на Ваше письмо, мой дорогой друг. Оно переполняет меня такой ужасной тревогой, что я не могу сдержаться ни на мгновение. Ради Бога, не наносите мне таких ударов: они слишком глубоко меня ранят. Я Вам угрожаю! Пусть в этот же самый миг небеса обрушатся на мою голову, пусть я никогда снова не увижу света дня, если я когда-либо угрожал Вам хотя бы один раз. Ах, боги! угрозы единственному существу, которое я обожаю, той, которую я почитаю самой дорогой на свете! Прочитайте последнее мое письмо Вашей матери; она знает мое сердце лучше, чем кто-либо другой. Я говорю ей, думаю и повторяю снова и снова, что даже если бы увидел Вас с кинжалом в руке, то бросился бы к вашим ногам и упивался вашей местью.

Ах! пусть я буду страдать столько, сколь им будет угодно, я не обмолвлюсь об этом ни словом, но пусть они не отвращают меня от вашего сердца подобными неоправданными донесениями. В моем сердце поселится глубокая печаль, пока Вы не скажете мне, что больше не верите ни слову из того, что они говорят. Не медлите и скажите мне об этом, умоляю Вас. И, пожалуйста, убедите в том же г-на Ленуара. Те, кто выдумали такую мрачную и ужасную ложь,— всего лишь негодяи и мошенники. Все, кто здесь находится, если захотят сказать правду, подтвердят тот факт, что даже когда я пребываю в самых глубоких пучинах отчаяния, я ни разу не произнес Вашего имени иначе, как с любовью, которой я не только обязан Вам, но и ощущаю со всей глубиной в своем сердце. Полноте, покарайте меня ка-

кими угодно грехами, это причинит мне смертельную боль, это сделает мою и без того несчастную жизнь еще более жалкой, но никогда не испытывайте опасений, что я стану мстить за себя или даже упомяну об этом снова, если Вам это будет неприятно. Я прошу у Вас лишь, чтобы Вы не настраивали свое сердце против меня.

И знайте, не испытывая и тени сомнений, что собственная жизнь менее дорога мне, чем Ваша, и что я не прожил бы и минуты, если бы думал, что из-за меня Вы потеряли хотя бы час сна. Мои угрозы и мое так называемое дурное поведение были направлены на человека, который мне прислуживает. Какое это имеет к Вам отношение? Во имя Бога, приезжайте и встретьтесь со мной, а пока постарайтесь договориться, чтобы Амбле также смог со мной повидаться. Если будете продолжать думать, что я произнес в Ваш адрес хотя бы единственную угрозу, я немедленно распрощаюсь с жизнью.

À madame de Sade

К г-же де Сад

26 октября 1781 г.

Вчера вечером, после того, как отправил Вам письмо, люди, которых я немедленно позвал и опросил недвусмысленно заверили меня, что никогда не заявляли о том, что я когда-либо отзывался о Вас дурно; и как бы они могли это сделать, ответили они сами,— если никогда не слышали от меня подобных замечаний? Я попросил, чтобы они просветили г-на де Ружемона на сей счет, и нелепая реакция, о которой мне

передали сегодня утром, прояснила этот вопрос и чрезвычайно меня успокоила. Этот милый господин мстит; этого должно быть довольно, чтобы убедить Вас в том, что все, что он мог Вам сказать, это всего лишь паутина лжи, клеветнические измышления, которые он выдумывает, мстя тем, кого он, несомненно, считает моими близкими, и, пока мы не получим возможность увидеться и все расставить на свои места, я знаю, Вы будете достаточно справедливы и беспристрастны, чтобы не поверить ни единому слову из этого.

До той поры, я повторяю, ручаясь своим самым настоящим словом чести, что я не делал никаких замечаний и не произносил никаких угроз, и что я люблю Вас и обожаю до такой степени, мой дорогой и единственный друг, что скорее изрежу себя на куски, чем скажу Вам или о Вас что-либо, что могло бы Вам не понравиться. Увы! неужели тогда, когда моя цель и единственное желание — искупить столь великое множество неправедных поступков, я буду пытаться еще увеличить их число? Разве я не говорил Вам, когда Вы приезжали ко мне, что я считаю Вас моим единственным другом, и что я твердо убежден, что Вы — все, что у меня осталось на земле? Разве я не писал Вам, двадцать раз подряд повторяя одно и то же? Вы ответили на мои заверения, в доказательство этого у меня есть Ваши письма. Тогда какой же мне смысл, если таково мое умонастроение и состояние моего сердца, пытаться вызвать у Вас раздражение или оскорбить Вас?

Нет, мой дорогой друг, Вы не верите ни слову. И я убежден, что Вы все еще сохранили в своем сердце довольно доброты и жалости ко мне, чтобы не осуждать меня, пока не получите возможность выслушать. До той поры я буду испытывать адские муки, но я к настоящему времени уже слишком хорошо

знаком с неприятностями и невзгодами, и моя уверенность в том, что Вы справедливо рассудите, поможет мне перенести эту новую несправедливость, зная, что в конце концов Вы узнаете, что я прав.

О боги, если бы только Вы могли в равной мере доказать свою собственную невиновность: это мое единственное желание, и я больше не стану об этом говорить. Все это — не более чем неприятности, притеснения, злобные уколы и вздор гадкой старой ведьмы, которая, не имея большего удовольствия, чем досаждать всякими пакостями, тратит на это исключительное занятие весь талант усталого сердца и полностью развращенного ума.

Силы, стоящие за всем этим, слишком очевидны, и я могу только добавить, что, обладая такой подлостью, она могла бы по крайней мере добавить в свой гаденький план хоть немного хитрости. Я вижу это, люди совершенно правы, говоря, что нет на земле более зловредного зверя, чем старая ханжа. Если на протяжении моей жизни что-то и заставляло меня держаться как можно дальше от благочестия и набожности, так это лицемерное ханжество, которое я ненавижу, и та ужасная привычка, которая свойственна пожилым людям: с одной стороны, исповедовать веру, а с другой — увлекаться самыми отвратительными пороками.

Что касается г-на де Ружемона, то я снова его сильно недооценил. И должен признать, что, только на основании того, что он служил в армии, я бы подумал, что он более прямой, более честный человек, и, прежде всего, не способен мстить за себя, как он это делает, длинной чередой клеветнических измышлений и бесконечным количеством мелких бытовых придирок, которые, когда о них станет известно, несомненно гораздо хуже отразятся на нем, нежели на мне. Не следует судить о моем по-

ведении здесь по моим поступкам или по моим словам. Здесь делают все, что возможно, дабы поймать меня на крючок, досадить мне: они устраивают мне всевозможные пакости, неделю за неделей изводят меня невообразимо, и после этого не хотят, чтобы я расплачивался с ними теми средствами, которые мне доступны! Они, должно быть, считают, что я сделан из дерева, и, хотя они делают все возможное, чтобы ожесточить меня и, соответственно, уничтожить во мне зачатки всех добродетелей, им все еще не удалось притупить мои чувства до такой степени, чтобы я потерял способность парировать все камни и стрелы, которыми они меня осыпают.

Если бы я был объектом нормального судебного приговора, то можно было бы судить как о моем нраве, так и поведении, но так, как поступили со мной, еще не поступали ни с кем. Судебные решения и приговоры, вынесенные в отношении тех, кто виновен в самых гнусных преступлениях, совершенных в этом столетии, бледнеют по сравнению с моими. В таком случае, мне по меньшей мере следовало бы разрешить подавать свои жалобы и мстить тогда, когда я захочу, и как я захочу. Мне дают лекарства, которые расстраивают мой желудок до такой степени, что единственная пища, которую я могу переносить, это молоко, и даже его я с трудом перевариваю. И после этого их еще шокирует, когда я устраиваю хорошую взбучку бездельнику, который решил выбрать подлое ремесло тюремщика! Они жестоко ошибаются. Пока кровь течет в моих венах, я не стану терпеть ни подлости, ни несправедливости, а это самое последнее их поведение — настоящее зверство.

Я еще никогда в своей жизни не пытался подложить комунибудь в еду что-либо вредное, и, клянусь всем, что почитаю самым святым на этом свете, что в анисовом семени, которое съели

девицы в Марселе, не было ни одного вредного ингредиента, и лучшим тому доказательством служит то, что я ел те же самые конфеты в их присутствии и в то же самое время, что и они. Они подтвердили это на слушании в Эксе, так же, как подтвердили и мне лично. Таким образом, благодаря этому признанию, с моей точки зрения, этот факт доказан вне всяких сомнений. В чем бы еще меня не обвиняли, кроме этого,— все это чистая клевета, которую я полностью опровергну, когда мне дадут такую возможность. Таким образом, также доказано, что г-н де Ружемон мстит и делает это, распространяя обо мне всевозможные лживые измышления, несомненно из-за того, что, по его утверждению, я распространял такие же измышления о нем.

Я клянусь и торжественно заявляю, что никогда не клеветал на г-на де Ружемона. Любой, кого считают клеветником,— это человек, который придумывает лживые измышления и затем распространяет их в обществе, чтобы опозорить лицо, являющееся их объектом, или причинить ему вред, как, например, он делает, когда докладывает судье, что я высказывал угрозы в Ваш адрес. Именно такого человека и называют клеветником и обманщиком. В моем же случае, я говорил лишь то, что узнал и что слыхал от людей, которые рассказывали об этом как об истинной правде. Таким образом, хотя я действительно говорил о людях плохо, это было сделано не на основании чего-то, что я выдумал сам.

У меня когда-то были четверо или пятеро друзей, которые также были знакомы с г-ном де Ружемоном. Ему об этом известно,— по сути дела, мы вместе говорили с ним об этом не один раз. Следовательно, у меня была возможность очень много узнать от них об этом человеке. В более ранние времена был семи- или восьмилетний период, когда мне доводилось два раза

в неделю обедать в двух домах на улице Феру; один из домов принадлежал г-же де..., а второй — шевалье де Шапонэ[123], и оба они граничили с домом матери г-на де Ружемона. Таким образом, у меня была возможность узнать о нем всевозможные вещи, и я хорошо их запомнил.

Во Флоренции я познакомился с человеком, который имеет самые лучшие связи на свете, который знает все входы и выходы при дворе и в министерствах, с человеком, который доказал это, открыв правду, опубликовав ее в печати, что вынудило его бежать из своей страны. Как бы то ни было, этот господин провел полгода в обществе графа дю Барри, близкого друга г-на де Ружемона, и он рассказал мне следующее: «*Я бы скорее предпочел, чтобы меня приговорили к колесованию, чем к заключению в Венсеннской тюрьме, и именно страх перед этой тюрьмой помешал мне вернуться на родину*». На что я спросил: «*Что Вы хотите этим сказать?*» И этот человек ответил мне: «*Дело в том, что граф дю Барри только что сообщил мне, что начальник этой тюрьмы — один из его бывших учеников, человек, который научился набивать себе карманы, оказывая своим заключенным услуги сутенера*».

Этих объяснений и доказательств, я надеюсь, достаточно, чтобы убедить Вас, что, хотя я действительно делал каверзные замечания, тем не менее, ничего не выдумывал, а также не говорил ничего, что не услышал непосредственно из первых уст. И следует заметить, что я никогда вообще бы не стал делать этих замечаний, если бы меня не довели до крайности, и если г-н де Ружемон ими оскорблен, то он человек военный и знает способ, посредством которого военные разбираются с оскорблениями и обидами. Я знаю, что он стар и страдает от всевозможных недугов, но на это я отвечу, что он может назвать, ко-

го пожелает, чтобы тот действовал от его имени. Найдется множество людей, которые вместо него уладят это дело и возместят нашу разницу в возрасте, и, пойдет ли речь о паре пистолетов или простой драке на кулаках, я в его полном распоряжении. Но пусть не мстит мне подлыми поступками. Я здесь буду находиться не вечно, и первое, что сделаю, снова получив свободу,— и в этом я клянусь ему словом чести — это приглашу его на обед. До той поры пусть обращается со мной с тем уважением, которого заслуживает человек, который намерен сделать такое приглашение, и пусть прекратит любые дальнейшие подлые или жестокие деяния и воздержится от них, поскольку если он будет настаивать, то тем самым докажет, что заслуживает лишь того, чтобы его бросили собакам и обошлись с ним в той же манере, в какой я обошелся с его тюремщиком.

Утром в субботу

Они отказываются брить меня или убирать мою комнату: и то и другое, тем не менее, необходимо для поддержания здоровья и чистоты, и больше нигде в мире заключенным не отказывают в таких основных потребностях. Я даже не стану упоминать о тех, кого держат в сумасшедших домах, ибо нет тюрьмы, где с сумасшедшими не обращались бы бесконечно лучше, чем с теми из здесь обитающих, кто полностью дееспособны... Я приведу в пример животных в зверинце: каждую неделю их и их клетки тщательно чистят и убирают. Таким образом, я прошу, чтобы со мной обращались не хуже, чем с ними: я подозреваю, что все, что для этого потребуется,— это немного шарма, и посему умоляю Вас поскорее увидеться с г-ном Ленуаром, чтобы он смог отдать приказ, чтобы меня брили как положено и убирали мою комнату. Я спешу отослать Вам это письмо, чтобы

Вы могли заняться этим как можно скорее, ибо борода мешает мне безмерно, а комната начинает походить на стойло. Совершенно невозможно, чтобы такие приказы исходили от короля, и мы все знаем, откуда они исходят.

Что же до того человека, которому я устроил взбучку, то ему больше не о чем беспокоиться. Я даю слово, что больше его не трону, и Вы можете поручиться за меня на этот счет. Я обнимаю Вас от всего сердца и самым настоятельным образом умоляю Вас добиться, чтобы были даны новые указания в отношении всего этого, а также в отношении починки моей печки.

À monsieur de Rougemont

К г-ну де Ружемону

[ноябрь 1781 г.]

Имею честь пожелать г-ну де Ружемону доброго дня и попросить, чтобы он оказал мне любезность и передал г-ну Ленуару прилагаемые «*Мемуары*». Я был бы также чрезвычайно признателен, если бы г-н де Ружемон своевременно уведомил меня о результатах этой просьбы. Как Вы увидите, это то, что мне искренне необходимо, и, тем не менее, если в просьбе будет отказано, я не стану из-за этого совершать самоубийство, вследствие чего утвердительный или отрицательный ответ можно передать мне без всякой опасности. Однако чрезвычайно важно, чтобы я узнал, какой именно это ответ, чтобы я не совершил опрометчивый поступок, подобный тому, что совершил вчера, когда был так бестактен, что спросил, кто осуществлял обряд крещения драгоценного дитяти, на котором

сосредоточены ныне взгляды всей нации[124] и в отношении которого какой-то зверь-заключенный имел наглость проявить интерес, словно заключенный — это человеческое существо или словно у заключенного есть потребность напоминать самому себе, что он гражданин Франции. Прошу простить меня, сударь, я приношу извинения за свою неосмотрительность и заверяю Вас, что это никогда более не повторится.

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

[ноябрь 1781 г.]

[Начало письма отсутствует.]

Если Готон оставила или какие-нибудь точные указания в своем завещании, или если у нее остались какие-нибудь дети, я намерен, чтобы первые были выполнены слово в слово и чтобы о детях позаботились. Если после нее остались какие-то долги, то я хочу, чтобы их заплатили, и, кроме того, я хочу, чтобы Вы от моего имени дали указание Гофриди выдать Вам один луи, который должен пойти на то, чтобы по ней прочитали мессу в местном приходе. Я собираюсь приказать Гофриди, чтобы он просто дал Вам этот луи, не посвящая его в какие-либо дополнительные подробности. Это самое малое, что я могу сделать в память об этой бедной девушке, и полностью намерен выполнить данное обязательство.

Кроме того, было бы разумно выяснить, отдавала ли она или позволила взять этой толпе окружавших ее прихвостней какое-либо имущество, принадлежавшее замку, и если так дейст-

вительно случилось, тогда следует предпринять все усилия для того, чтобы это имущество было найдено и возвращено в замок.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[ноябрь—декабрь 1781 г.]

Поскольку добрые поступки запечатлены в моем сердце по крайней мере так же глубоко, как и недостойные деяния, я, несомненно, был впечатлен тем фактом, насколько любезны они были в то время, когда произошел несчастный случай с моим глазом, разрешив человеку, который за мной ухаживал, ненадолго оставаться со мной, пока я ел, как это дозволялось в ранние дни моего пребывания здесь. Но, позволив мне это, они забыли одну существенную деталь: *указать мне полные рамки того, о чем мне дозволено говорить, и вещи, от обсуждения которых я должен воздержаться.*

Поскольку посредственность моего гения не позволяет мне почувствовать эти границы, необходимо было снабдить меня кодексом, относящимся к данному вопросу. Ломая себе голову над тем, как найти самые банальные и тривиальные темы для беседы, я все же имею несчастье навлекать на себя упреки, за которые, как Вам хорошо известно, как правило, приходится платить довольно дорого, даже учитывая то, что я поклялся своим словом чести позволить искать мщения в отношении меня посредством других лиц. Но, по крайней мере, пусть мстят. Я думал, что в двух предыдущих случаях меня съедят заживо: один раз за то, что я спросил *имена крестных родителей но-*

вого дофина, и еще раз, когда я спросил врача, *ожидает ли он много народу на праздничный ужин*. Как Вы можете судить после этого сами, необходимо, чтобы Вы выслали мне краткий перечень вещей, которые мне можно говорить, дабы в будущем я не подвергал себя опасности, позволяя сорваться с языка таким важным вопросам!

В этом состоит суть дела. Прежде всего, они дали мне, и я всегда об этом говорил, чрезвычайно наглого человека; густая и горькая кровь этого невежи становится еще более кислой и даже еще более воспаленной, когда речь заходит о двух предметах: первое, об обязанности оставаться со мной, то есть делать нечто, одновременно человечное и порядочное, два жестоких условия для человека подобного сорта; второе,— что ввергает его в отчаяние,— проистекает непосредственно из простоты и спокойствия — или, возможно, из банальности — моего разговора. Я не даю ему ничего, что можно было бы включить в *официальное донесение*; я не проявляю ни малейшего интереса к тому, кто на кого донес; со мной ему не удается выудить ничего пикантного, вследствие чего он приходит в совершеннейшее бешенство, и поскольку он не может проявлять грубость по поводу серьезных вопросов, то он возмещает это тем, что начинает скулить и жаловаться, и это все не делает мою жизнь легче.

Кроме того, пожалуйста, объясните мне, что этот человек хочет сказать своим бесконечным вопросом: «*Вы пытаетесь что-то из меня вытянуть?*» Я просто этого не понимаю, во-первых, потому что у меня этого и в мыслях не было, и, во-вторых, потому что мне кажется, что этот человек бестактен и туполов, если спрашивает: «*Вы пытаетесь что-то из меня вытянуть?*» У него внутри, должно быть, сидит здоровенный

глист, которым он чрезвычайно дорожит, если так боится, что его могут из него вытянуть.

И, таким образом, он неожиданно признает, своими глупыми замечаниями, две вещи, о которых я всегда подозревал, а именно, с одной стороны, что он участвует в той игре, которую здесь играют, а с другой — что существует ответ на эту загадку. Так что Вы видите, насколько они тонки, эти люди, которые состоят у Вас на службе! И тем не менее, вот Вам, с точной ссылкой на источник. Совершив такое усилие, дабы унизить нас обоих, Вашу мать и меня,— себя, отдав меня в руки тюремщика, и меня, сделав мишенью шутов тюремщика, ей следовало, по крайней мере, если в ее гнусной душе оставалось хотя бы малейшее подобие чувства, распорядиться, чтобы вышеупомянутым шутам были выданы строгие указания приличными людьми, которые, передавая их, смогли бы предписать им быть любезными, пристойными и честными в своих действиях, как ради вашей матери, так и ради меня, дабы защитить нас от такого унизительного поведения. Но ответственность за полное отсутствие учтивости со стороны этого человека, который и так уже исключительно неотесан, лежит на мошеннике, который даже еще более груб и неотесан, и эти два плута вошли в сговор, разражаясь громкими взрывами хохота, которого, несомненно, требует ситуация, поскольку это для них что-то вроде развлечения. Вы можете сами судить, насколько далеко это зашло, так же, как можете судить, каким нужно быть злобным и испорченным существом, чтобы поставить того, кто так ей близок, в подобное положение!

Я чрезвычайно редко затрагиваю такие мирские вопросы, и даже когда упоминаю о них, то делаю это с неохотой, но, поскольку больше нет других свидетелей, когда этот человек по-

ступает так, как он поступает, и, поскольку он имеет возможность говорить Вам все, что заблагорассудится, важно, чтобы я время от времени рассказывал Вам и мою версию истории, чтобы Вы, по крайней мере, могли судить, идет ли все так, как планировалось.

К примеру, сегодня выбивали мои матрасы, и при этом они украли у меня четвертую часть шерсти, которой они были набиты. Не знак ли это? Если да, тогда дайте этому человеку чаевых, ибо он проделал это не только исключительно ловко, но даже пошел так далеко, что стал заверять меня в том, что *больше нет никакого смысла выбивать мои матрасы, или, если такой смысл и есть, это следует делать именно таким образом*. Вечная и очень милая манера рассуждения! Имея дело с этими людьми, мне или приходится обходиться без того, что я прошу, или же платить за это весьма дорого, и даже тогда результат оказывается весьма дурного качества: третьего не дано.

В старые времена те, кого называли разбойниками с большой дороги, не могли с большей безнаказанностью похищать бедного крестьянина из-за выкупа, и так же не поступали в его отношении более последовательно. Справедливо сказать, что такое сравнение совершенно уместно, и они еще называют это заведение исправительным домом! Он окружен самыми грубыми и низкими из пороков, — здесь, где несчастный якобы должен научиться дорожить добродетелью! И за то, что он не выказал уважение к заднице проститутки, отец рискует никогда не познать любовь своих детей, будучи разлучен с ними, или насильно лишиться объятий своей жены, возможности позаботиться о своих владениях и имуществе; из-за этого его грабят, разоряют, покрывают позором, губят; из-за этого ему не дают равно как правильно направить своих детей по жизненному пути, так

и улучшить свою собственную участь; из-за этого его делают мишенью и игрушкой тюремщиков, добычей для трех или четырех других мошенников; из-за этого вынуждают его попусту тратить свое время, деньги, видеть, как ухудшается собственное здоровье, и из-за этого держат в течение семи лет в железной клетке, словно безумца! И все это из-за чего? Какие причины могут привести к таким чудовищным результатам? Разве он изменил своей стране? Разве он плел заговор против своей жены, детей, своего монарха? Вовсе нет; об этом не было произнесено ни единого слова. Он имел огромное несчастье твердо верить, что нет ничего менее уважаемого, чем шлюха, и что то, как ее используют, не должно иметь большего значения, чем то, как он отправляет естественные надобности. Вне сомнения, это преступные деяния, настолько серьезные, что заслуживают того, чтобы человека унизили и лишили его положения.

Если бы кто-то сказал королю Ашему, у которого в гареме не менее семисот наложниц, которым он раздает по триста-четыреста ударов плетью в день за малейшую провинность и испытывает свою боевую шпагу на их головах; или императору Голконды, который отправляется на прогулку только на спинах дюжины женщин, выстроенных в форме слона, и который умерщвляет их собственной рукой, принося в жертву, когда умирает принц королевской крови; если бы, повторяю, кто-нибудь сказал этим господам, что в Европе есть маленький клочок земли, где некий человек держит у себя на службе и день и ночь три тысячи негодяев, в чью задачу входит проверять, действительно ли граждане этого маленького клочка земли (люди, которые объявляют себя чрезвычайно просвещенными) придают величайшее значение сперматическим вопросам; и что существуют крепости и тюрьмы, сооружены виселицы, специ-

ально для тех представителей этого чрезвычайно просвещенного народа, которые не смогли осознать, какое это серьезное преступление открывать шлюзы влево, а не вправо; а также испытывать легкий перегрев головы в подобный момент, когда природа требует потерять ее полностью, и, когда некоему человеку, о котором я упоминал, захочется, чтобы мы полностью управляли своими чувствами, нарушителя приговаривают к смерти или сажают в тюрьму на двенадцать-пятнадцать лет; если бы, повторяю, если бы кто-нибудь сообщил обо всем этом тем королям, которых я только что назвал, Вам бы пришлось согласиться, что было бы совершенно естественно, если бы они, в свою очередь, посадили того, кто принес такие известия... Но это потому, что эти люди нецивилизованны, не имеют великого счастья быть просвещены пламенем христианства; они всего лишь рабы, в то время как мы, напротив, очень большие христиане, чрезвычайно цивилизованные и исключительно просвещенные.

О, создатель этого пребывающего во тьме маленького круглого шарика, ты, который одним вздохом дал жизнь десяти миллиардам других маленьких миров, таких, как наш, в необъятной бесконечности космоса; ты, для которого потеря этих десяти миллиардов миров не стоила бы и вздоха сожаления, как, должно быть, ты изумлен всеми этими идиотскими поступками со стороны крошечных муравьев, которыми тебе угодно было усеять свои планеты, как, должно быть, ты смеешься над королем Ашемом, который сечет кнутом семьсот женщин, над императором Голконды, который превращает их в почтовых лошадей, как, должно быть, смеешься и над тем мрачным человеком, который вынуждает нас оглядываться по сторонам, когда мы спускаем сперму! Прощайте, моя дорогая жена.

À l'Abbé Amblet

К аббату Амбле

[январь 1782 г.]

С г-ном де Бюффоном я более или менее согласен. Что мне нравится в любви, и это единственное, что я считаю в ней ценным, это ее кульминация. Пытаться измерить любовь метафизикой, по моему мнению, не только чрезвычайно глупо, но и чудовищно, и единственное исключение, которое я делаю в этом отношении, это когда я вынужден приправить некоторым ее количеством свои произведения, в соответствии с требованиями драматического искусства. Соответственно, я желаю самым настоятельным образом, как только выйду на свободу, чтобы несколько менее сдерживаемое проявление моих талантов на этом поприще имело не больший успех, нежели тот, что выпал на долю тех, кто заставил болтать языком г-на Амбле. И я с величайшим удовольствием, снова дав волю своей истинной натуре, оставлю кисти Мольера ради кистей Аретино[125].

Первые, как Вы сами хорошо видите, принесли мне некоторую известность и дурную славу в столице Гайаны; последние подарили мне шесть приятных месяцев некоторого снисхождения в одном из первых городов королевства и вынудили провести два месяца в Голландии, причем я не потратил ни гроша из собственных денег. Какое различие!

À l'Abbé Amblet

К аббату Амбле
[январь 1782 г.]

Немалое неудовольствие, должно быть, испытывают люди, живущие в этом мире, когда видят, что их изображают в подобном свете. Мне кажется, что не тому, кто так сильно искажает живую картину, изображать их в таких гнусных красках. Следовательно, мир значительно изменился с тех пор, как я его покинул. Насколько я помню, в былые времена утешение и духовная поддержка более или менее приберегались для тех, кто страдал или нуждался, и, исходя из этой посылки, я считал, что и сам более чем их заслуживаю.

Не буду говорить о Вас с этой точки зрения, но замечу, что Вы, тем не менее, предлагаете мне одно значительное утешение, ибо, если люди действительно таковы, как Вы их изображаете, тогда почти не стоит сожалеть, если человек нарушил законы их общества; таким образом, моя душа снова обрела покой, и за это я благодарен Вам, ибо я у Вас в долгу. За исключением того, что я мало сомневаюсь в том, что, если бы меня завтра отправили на виселицу, Вы бы написали мне совсем другое письмо. Я думал, что исключительно людям бездушным свойственно делать свое перо орудием злобной мести, но Вы убеждаете меня, что в сердце даже самого порядочного из людей существует чувство, которое временами заставляет его отвернуться от всех остальных.

Даже г-жа президентша де Монтрей, чье единственное удовольствие — делать так, чтобы я со всеми рассорился, и которая с этой целью — так же, как поступают шлюхи с солдата-

ми,— прилагает все свои таланты и усилия, часто забывая, что ее фамильное древо гораздо больше запятнано прискорбной клеветой, чем мое. Пусть просто вернется на одно-два поколения назад, не больше, по своей линии или по линии своего мужа,— я не стану углубляться далее — и найдет в себе бедное, несчастное существо, которое наверняка часто кричало из глубины ее сердца: «*Будь справедлива, даже если не можешь заставить себя быть терпимой, и пойми, что не следует унижать других, когда есть основания стыдиться самой; что судьба может дать тебе право выразить соболезнования по поводу несчастий, равных твоим собственным, но не право за них наказывать*».

Сознаюсь, одним из моих основных утешений было получать, по крайней мере один раз в год, некоторое доказательство вашей дружбы, каким бы незначительным оно ни было. Я использовал с этой целью все уловки, которые имелись в моем распоряжении, ибо, когда речь шла о взаимности, Вы можете быть уверены, что то, что я говорил или делал, было всего лишь уловкой, чтобы в конце года получить от Вас весточку. Я считал это своим новогодним подарком и радовал себя им так же, как дети радуются своим игрушкам.

Но этому чудовищу, этому адскому созданию, для описания которого невозможно подобрать подходящее выражение, подобно гадине, которая разрушает все, к чему прикасается, нужно извергать свой яд даже на давнюю дружбу; она, похоже, по крайней мере по всем внешним признакам, недалека от успеха, хотя ничто не уничтожит в моем сердце мои чувства к Вам. Но я научусь обходиться без удовольствия получать от Вас письма или просить у Вас осязаемых доказательств ваших чувств ко мне. Вы можете сообщить ей о ее победе, показав ей самую

искреннюю просьбу, которую я выражаю в этих самых строках, чтобы Вы более мне не писали. Я уйду в себя, я буду думать о тех счастливых днях, когда невинность и мир, с цветами, сотворили узы дружбы, которые сегодня они хотели бы заставить меня разорвать, и я напишу словами Данте:

Nussun maggior dolore
Che ricordasi del tempo felice nella miseria.

Dante, *Inferno*, canto 5[126]

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе

Из моего загородного дома, сего месяца 17 апреля, 1782 г.

Орел, сударыня, порой вынужден покидать седьмое небо, дабы опуститься на землю и посидеть на вершине горы Олимп, на древних соснах Кавказа, на холодных лиственницах Юры, на покрытом снегом выступе Тавра, и иногда даже близ каменоломен Монмартра.

Мы знаем из истории (ибо история — замечательная вещь), что Катон[127], великий Катон возделывал поле собственными руками, что сам Цицерон высаживал деревья ровными рядами вдоль прекрасных аллей Форума (не знаю, стоят ли они все еще в наше время), что Диоген[128] имел обыкновение спать в винной бочке, что Авраам, как известно, лепил статуи из глины, что прославленный автор «*Телемаха*»[129] сочинил несколько трогательных небольших стихотворений для г-жи Гийон, что Пирон[130], автор

великолепной «*Метромании*», иногда забывал о высоком слоге, дабы выпить шампанского и сочинить «*Оду Приапу*». (Вы случайно не знакомы с этой поэтической вещицей, настолько популярной у нынешних молодых дам и настолько подходящей для включения в любую образовательную программу, цель которой сформировать разум и душевные качества тех барышень, что предназначены для светской жизни?) Разве мы не видим, что сам великий Вольтер создавал храм Господу нашему той же самой рукой, которой он написал, говоря о Святом Рождестве Спасителя:

Иосиф-пантера и смуглянка Мария,
Сами того не ведая, создали свое божественное произведение.

Pucelle[131]

И в наше с Вами время, сударыня, в наши собственные грандиозные дни, разве мы не видим, как знаменитая г-жа де Монтрей откладывает в сторону Евклида[132] и Баррема[133], дабы обсудить салат и оливковое масло со своей кухаркой?

И это должно, сударыня, служить явным доказательством того, что как бы ни старался человек, как бы он ни пытался подняться до особенного уровня, в течение дня происходит два неизбежных момента, которые, несмотря на все его усилия доказать противоположное, неминуемо напоминают ему о прискорбной особенности всех остальных животных, кроме него самого, которая, с моей точки зрения (возможно, и несправедливой), которая, с моей точки зрения, повторяю, снова возвращает его ближе к реальности. И эти два жестоких момента — это (прошу извинить меня за эти выражения, сударыня, они не очень возвышенны, но, тем не менее, правдивы), итак, эти два ужасных

момента это: первый — когда он *поглощает* пищу, и второй — когда он ее *исторгает*. К ним можно добавить момент, когда человек видит, как его наследство тает на глазах, и еще, когда ему сообщают о смерти его верных слуг. Такова ситуация, в которой нахожусь я, моя святая, и, таким образом, это и станет предметом сего печального послания.

Я печалюсь о кончине Готон. Несомненно, у нее были свои недостатки, но она более чем возмещала их своими добродетелями и хорошими качествами; а в мире найдется множество людей, о которых этого не скажешь. Готон любила мужчин. Но, сударыня, разве мужчины не созданы для женщин, а женщины — для мужчин? Разве не такова воля природы? Готон, как, проявляя огромное чувство юмора, говаривала г-жа де Сад, вышла замуж, потому что у нее был ребенок. Что ж, сударыня, здесь сокрыта недурная философия! Чем это плохо? Что до меня, я не вижу здесь ничего, кроме добродетелей. Поступая так, она испытывала желание дать своему ребенку отца; она хотела быть уверенной, что младенец не останется без куска хлеба; поступив так, она стремилась позаботиться о том, чтобы у ребенка появился шанс подняться над тем униженным классом, который не оставлял ему иной возможности, нежели погрязнуть в нищете или преступлении.

Но она также была в нескольких случаях неверна своему мужу... Ах! Вот где мне следует подвести черту! Супружеская неверность со стороны женщины — это предмет, таящий такой ужасный вред, последствия которого настолько катастрофичны и настолько убийственны, что я никогда не мог с нею примириться. Можете как угодно воспринимать мои принципы, можете рыться так глубоко, как угодно, в истории моих распутных деяний, и Вы увидите, что я редко попадал в подобные ситуа-

ции, и на каждую дюжину девственниц, или так называемых девственниц, которых я пытался соблазнить, Вы с трудом найдете хотя бы три замужние женщины. Таким образом, в этом отношении Готон была неправа. Готон была ответственна за мой арест, мне об этом известно, но в моих глазах смерть стирает все ее проступки, и мое несчастное сердце переполнено слезами даже по моим величайшим врагам.

В каких бы грехах ее не возможно было бы обвинить, Готон была чрезвычайно заботливым человеком. Она всегда была приятной, готовой услужить, и у нее была легкая рука; она была хорошей племенной кобылой, которая любила конюшню своего хозяина. Из этой несчастной умершей молодой женщины, чьими единственными товарищами были господа Пайе, Пайан, Самбюк и компания, через двенадцать-пятнадцать лет получилась бы безукоризненная прислуга. Поистине, мне ужасно ее не хватает.

Кроме того, как я могу удержаться от того, чтобы не сказать Вам — да, теперь, когда мы поговорили о ее добродетелях, мы можем перейти к упоминанию о ее немалых качествах,— у Готон, как говаривали люди, у Готон была самая прекрасная ... Ах, черт подери! как мне это выразить? В словаре нет синонимов для этого слова, а приличие не позволяет мне написать его полностью, хотя в нем всего четыре буквы... Что ж, поистине, сударыня: у нее была самая прекрасная ... которой когда-либо удавалось спуститься с швейцарских гор за целых сто лет... она пользовалась непревзойденной репутацией. Даже *г-н президент де Монтрей*, которого дело гораздо большей важности привело десять лет назад в эти места (и дело, которое он, вне сомнения, исполнил в совершенстве)[134], тем не менее, не мог, во время одного из своих редких моментов досуга, удержаться

от того, чтобы не усладить свой изголодавшийся взгляд этой прославленной звездой. Именно это мимолетное созерцание и стало основой для той выдающейся репутации, которой Готон пользовалась до конца своей жизни. И упомянутый судья, тем более знаток сей части анатомии по той простой причине, что, как известно, он услаждал свой взгляд созерцанием божественных красавиц столицы нашего государства, без сомнения, имел великолепную возможность справедливо и беспристрастно оценить данный объект.

Я понимаю, что забываю здесь о чрезвычайно важной поговорке: *не следует говорить о веревке в доме повешенного;* и следовательно, мне должно воздержаться от сосредоточения на сих непристойных объектах, привязанность к которым, по крайней мере как утверждает молва, стала источником моих несчастий. Но я не смог удержаться от этой краткой апологии, а ведь в доброй и нежной душе, какие бы ограничения не накладывала она на себя, качества того, чью смерть она оплакивает, снова возбуждают сердечный восторг при мысли о нем и направляют перо.

Но давайте снова станем серьезны и, дабы не смущать щелкопера, забудем об этом, ибо я всегда был несколько склонен к пороку и всегда думал, что самые великие люди — это те, кто знает, как броситься в их пучину и отдаться им со всей страстью, без остатка. Видите, как совершенно неожиданно выходит, что Жак-Щелкопер — великий человек! Он этого не ожидал, и это первый раз, когда его так называют.

....

[Остальная часть письма отсутствует.]

К Гофриди

[17 апреля 1782 г.]

Проклят будь город Апт! Проклят будь город Бонье! Проклят будь адвокат Гофриди!

— Что? Вы! Вы, мой милый адвокат! Вы, самый строгий приверженец законов приличия, Вы, самый рьяный защитник христианского целомудрия, Вы смогли вынести, Вы смогли потерпеть в пределах вашей юрисдикции ужасный скандал, о котором я только что узнал! Вы нашли в своем сердце силы позволить непорочным детям Сен-Франсуа направить свои усилия на нечто иное, нежели наставление на прямой путь оступившихся, и Вы, кроме того, позволили этим святым хранителям алтаря предложить протестантам пример порочности!

O tempora! O mores! Куда катится мир! Нет, добродетель покинула землю, равно как пристойность и правила приличия. Теперь всем станет ясно: грядет катастрофа, которая снова заставит мир погрузиться в пустоту, и, таким образом, мы подходим к тому ужасному времени безысходного отчаяния и мерзости, которое предвидел и предсказывал пророк Даниил. О, век доброты и любезности! Во что ты превратилось, когда-то благословенное столетие, в котором бедному францисканскому монаху достаточно прибегнуть к помощи послушника, дабы пылкие природные желания успокоились в его душе? Какому времени подлости и кошмара ты уступило свое место? Что?! Теперь им требуются молодые женщины? И, не удовлетворившись этим невероятным скандалом, им вдобавок понадобилось сделать этих молодых барышень беременными, а те, в свою очередь, рожают, и все могут наблюдать в местной больнице злосчастные плоды этого нецеломудренного поведения? И Вы смирились

с этим? Вы это позволили? Пусть будет, как будет: мне не остается ничего иного, как облачиться в мешковину, посыпать себя пеплом и пойти босиком и с непокрытой головою, дабы попытаться, если еще не слишком поздно, отвратить гнев Господень от моего народа.

На самом деле, адвокат, здесь, по правде говоря, дело не в монахе-францисканце! Я имею в виду то, что рубят деревья, и браконьеров. И какое отношение ко всему этому имеет монах-францисканец, ставший отцом? — Глупцы! Неужели Вы не понимаете, что это просто манера рассуждения, и что, если бы Вы позволили мне высказаться, я бы постепенно, не спеша, плавно перевел сюжет от деструктивного к конструктивному, и что, посредством хорошо просчитанных периодов, мягких переходов и связанных в единое целое эпизодов, я рассчитывал превзойти красноречие слога Исократа несколькими искусными взмахами своего пера. Зачем было меня прерывать? И как теперь, по-вашему, я снова поймаю нить своего повествования?

Ладно, тогда давайте непосредственно перейдем к сути, поскольку реплики в сторону и вспышки остроумия явно на Вас не действуют, бессмысленно доказывать, что ты читал Демосфена[135], излагал Цицерона и учил наизусть Ваде[136]! Итак, к сути.

Рубка деревьев и, к тому же, фруктовых! Адвокат, Вы посчитаете мой тон несколько резковатым, но несчастья не склонны смягчать сердце, а совсем наоборот. Кроме того, мне недосуг останавливаться на этом вопросе столь долго, сколь бы мне того хотелось; меня ожидают к ужину, который, как у меня есть все основания полагать, обещает быть изысканным, и я чрезвычайно тороплюсь на него отбыть. Таким образом, вот Вам мое решение: если Вам не удастся наказать по всей строгости закона тех негодяев, которые совершили это преступление, я клянусь всем самым святым на этом свете, что первое, что я сде-

лаю, выйдя на свободу, это покараю по всей строгости закона все преступления, которые были совершены ранее. И кроме того, Вам следует знать, что я не посчитаю их искупленными, как бы меня ни заставляли, пока не поставлю на колени все окрестное население!

Что же до браконьеров, то я прилагаю документ, который прошу Вас передать охране, и умоляю Вас позаботиться, чтобы содержащийся в нем приказ был добросовестно выполнен, и чтобы Вы помогли возбудить все необходимые иски, чтобы сделали все, что в вашей власти, дабы осуществить преследование в судебном порядке правонарушителей, и чтобы Вы оплатили все расходы, которые необходимы для претворения в жизнь вышеуказанного документа.

Это все, что я намеревался сказать. Вы знаете те причины, которые не позволяют мне касаться деловых вопросов; я не могу их преступать. Если Вы думали, что мое молчание вызвано чем-то иным, то Вы прискорбно ошибались, и Вам следовало бы получше знать мое сердце.

Встань, встань, Росни, они подумают, что я дарую тебе прощение.

(Шекспир, Генрих IV, акт 3)

Остаюсь, мой дорогой адвокат, со всеми чувствами, которые Вы заслуживаете, вашим покорнейшим и самым послушным слугой.

Де Сад

Я прошу, чтобы Вы выдали г-же Руссе один луи для выполнения особого задания, которое я ей поручил[137].

Я любезно прошу Вас снабдить моих тетушек любой дичью, которую они пожелают, и даже самому предложить им ее, и, чтобы, независимо от того, будет она добыта на моих собственных землях или куплена на рынке, она была передана сразу же; они дали знать о своих нуждах. Я также поручаю Вам позаботиться, чтобы полагающиеся им пенсионные средства были выплачены точно в срок, и, кроме того, поручаю Вам передать им заверения в моем самом глубоком уважении и сделать то же самое в отношении моих кузенов[138].

À madame de Sade

К г-же де Сад
26 апреля 1782 г.

Моя супруга, жена Сад, я был бы благодарен, если бы по получении настоящего письма Вы без промедления и без каких-либо вычетов проследили, чтобы из суммы, должным образом переданной Вам семейным советом на наше общее содержание, была сделана выплата в деньгах, являющихся законным платежным средством в королевстве, сумма в триста тринадцать ливров и двенадцать су, каковые средства следует передать г-ну Буше, конюшему, в настоящий момент находящемуся на службе в государственном департаменте тюрем, и начальнику канцелярии генерал-лейтенанта как парижской полиции, так и других мест и населенных пунктов. Вся вышеуказанная сумма предназначена для того, чтобы вернуть долг г-ну Фонтейо, главному хирургу, проживающему на Венсеннской площади, специально назначенному присматривать за заключенными, которых справедливый министр держит под замком в вышеуказанных камерах королевской тюрьмы на вы-

шеуказанной площади, а также в качестве оплаты услуг находящихся в запасе офицеров, размещенных там, чья основная задача — это охрана и обеспечение безопасности указанных преступников. Упомянутая выплата имеет два аспекта: первое — оплата чаевых, обычно предлагаемых указанному господину за его услуги по бритью заключенного, по разрешению и протекции королевского судьи; второе — полное возмещение расходов на молоко, выдаваемое мне и производимое правительственной рогатой скотиной. Извлеченное с ведома и одобрения г-на де Ружемона, рыцаря королевского и военного ордена Св. Людовика, лейтенанта, действующего от имени короля в том, что касается Венсеннской цитадели, и лица, имеющего право на обратный переход к нему имущества других мест и крепостей монархии. В свидетельство чего настоящего двадцать шестого апреля в году одна тысяча семьсот восемьдесят втором от Рождества Христова, ровно в одиннадцать часов утра, находясь в полном здравии и рассудке, составил и подписал инициалами настоящий документ, назначение которого должным образом указано выше.

Заключенный Сад

La prière vespéral

Вечерняя молитва

[апрель 1782 г.]

О бог мой, я прошу Вас лишь об одной услуге, и Вы отказываетесь оказать ее мне, как бы искренни и страстны ни были мои молитвы; эта услуга, эта любезность, о, мой бог, заключается в том, чтобы Вы перестали выбирать в качестве

моих цензоров людей, еще более испорченных, нежели я, перестали бы отдавать того, кто виновен лишь в самых распространенных и незначительных проступках, тем негодяям, уже закоренелым в преступлениях, которые, глумясь над вашими законами, ни секунды не сомневаются, преступая их постоянно. Вручите, о мой бог, мою судьбу в руки добродетели, ибо добродетель — это Ваш образ здесь на земле, и надежду на то, что порок будет исправлен, можно возложить лишь на тех, кто почитает ее. О, высочайшая из высших, я искренне прошу, чтобы Вы не выбирали в качестве моих господ монополиста, вора бедняков, человека, который объявил себя банкротом, содомита, обманщика и негодяя, альгвасила мадридской инквизиции, инквизитора-расстригу и сводню, ибо предопределено, что меня принесут в жертву, о, мой бог, ибо написано в твоей великой книге, что ты привел меня в этот мир, дабы я служил пищей сукам и помоями для свиней, и что тебе известно лучше, чем кому бы то ни было другому, что единственное, что может сделать со мной подобная ситуация, это сделать меня еще хуже из-за переизбытка ненависти, которую я буду вынужден ощущать по отношению к своим собратьям; по крайней мере, пусть мой пример, посредством твоей святой силы, пойдет на пользу моим соотечественникам, и подлые мошенники, которых я только что упомянул, увидев по полному отсутствию успеха своих так называемых благотворных средств, которые они на мне применяют, пришли к пониманию невозможности более скрывать под маской такой извращенной справедливости свои ужасные дела и наконец придумали какие-нибудь другие способы, чтобы подчинить своих собратьев нелепым и бездумным эксцессам своей мстительности и алчности.

Аминь.

Fructus belli

À madame de Sade

К г-же де Сад
[июнь 1782 г.]

В отношении меня замышляется еще один новый план наказания. В прошлом октябре они хотели посмотреть, какова будет моя реакция в том, что касается Вашего здоровья, и когда увидели, что здесь задели за самую чувствительную часть моей души, то, вне сомнения, решили, что такую же пытку следует применить и следующим летом, дабы все совпадало (поскольку судьбе было угодно сделать промежутки между посещениями) с тем, что происходило прошлым летом! Однако я должен Вас предупредить, что поскольку я совершенно не способен переносить подобные сцены, то твердо решил не обращать ни малейшего внимания на какие бы то ни было неприятности.

За последние три дня они постоянно мне говорят,— но при этом их реплики настолько неестественны и бессвязны, что тем самым выдают их лживость,— о болезни, которая сейчас распространилась и которая не щадит никого. Если бы они так не заостряли на этом внимание и, особенно, если бы они так явно себе не противоречили, я бы, может быть, и поверил. Но человек, которому было поручено передать эту информацию, настолько глуп и настолько неловок, что совершенно невозможно поверить хоть единому его слову. Но здесь можно возразить, мол, Вы ведь поверили ему в прошлом году, и даже ему заплатили. Это вполне серьезное возражение, однако я заявляю, что ни разу не поверил ему на слово. Но я действительно позволял ему говорить все, что он хочет, и действительно вознаграждал его услуги, но только из тех соображений, что после такого ко-

личества вранья, возможно, с его уст случайно сорвется и одна правдивая вещь. Но что до того, что я ему верил, то я заявляю и докажу это, что не верил ему ни одной минуты; и поистине, если бы Вы знали меня, если бы могли по справедливости оценить исключительную глупость *этого Иуды*, Вы бы немедленно поняли, что поверить ему в высшей степени невозможно.

Как бы там ни было, мне рассказали о болезни, которая не только опасна, но и получила широкое распространение, и для чего же, я спрашиваю, они это сделали?[139] В этих стенах совершенно запрещено говорить о подобных вещах. В таком случае, получается, что г-н де Ружемон нарушит установленные здесь правила, если это позволит довести меня до отчаяния? Здесь запрещено передавать тайные записки, и если бы какая-нибудь подобная записка была бы мне передана, то только лишь для того, чтобы причинить мне страдания. Здесь не разрешается позволять заключенным узнавать последние новости, и единственные новости, которые они позволили бы мне услышать, это те, которые, как они знают, для меня подобны удару ножом в сердце. Вы вполне можете себе представить, что через некоторое время человек уже не попадается на такие злобные проделки.

Я только что написал г-ну де Ружемону письмо с просьбой, чтобы он запретил этим людям вести со мной дальнейшие разговоры, и *настоящим я возобновляю свою клятву убить первого, кто откроет свой рот*. Здесь может быть одно из двух: или они хотят, чтобы я знал о существовании этой болезни и возможных последствиях, которые она может на Вас оказать, или же они предпочитают, чтобы я об этом не знал. Ничего иного быть не может. Если они действительно хотят, чтобы я знал, тогда Вам следует так мне и написать, дать честное сло-

во, что все, что Вы написали,— правда, и подписать свое письмо названием горы, на которую, как Вы знаете, я собираюсь удалиться в один прекрасный день, название, которое никто более в целой вселенной, кроме Вас и меня, не знает; и тогда я поверю. А если они не хотят, чтобы я знал, какой тогда смысл постоянно бросать разные намеки или говорить в такой двусмысленной манере? Ко всему, что составлено по кусочкам из таких намеков, учитывая, как они жутко злоупотребляют этим способом сообщения новости, и учитывая бесстыжий обман, который они вплетают в язык, который следовало бы почитать святым, поскольку он единственный, который можно здесь использовать, повторяю, ко всему, что удается таким образом выудить, я отношусь с недоверием.

Если бы мне пришлось пожертвовать ради Вас своей жизнью, если бы потребовалась моя кровь, чтобы спасти вашу жизнь, я бы поверил во все, что угодно, и сделал бы все, чтобы узнать правду. Но, учитывая положение, в котором я нахожусь, что я могу Вам предложить? Мою тревогу; она не поможет Вам ни на йоту; она совершенно бесполезна, если это правда; совершенно нелепа, если эти известия ложны. Таким образом, мне совершенно бессмысленно пытаться гадать, что к чему. Все, что я могу сделать, это умолять Вас сообщить, что происходит, и сделать все, что в вашей власти, чтобы успокоить меня, если я услышу об этом не от Вас. В том, что я предлагаю здесь, нет ничего бестактного. И, разумеется, пусть я это услышу от человека, прислушаться к которому Вы бы посоветовали мне сами, если бы могли говорить со мной непосредственно. Итак, вот каково мое мнение, при этом я вполне уверен, что Вы не можете обижаться на меня из-за всего этого или подозревать, что чрезвычайно искренние и нежные чувства, которые я к Вам питаю

и которые, как Вы знаете, всегда буду к Вам испытывать, в какой-либо степени ослабели.

Мотивы, позволяющие мне не испытывать излишнее беспокойство в отношении этой так называемой болезни:

Они снова вытащили на свет ту же самую болезнь, которая была прошлой зимой; но мы знаем, что она закончилась. Врач сам рассказал мне об этом в апреле. Примерно в то же время майор рассказал мне, что она пришла с севера, а здешние люди заверили меня, что она пришла с юга. Кому же верить? Они не могут прийти к единому мнению; следовательно, они лгут. Эта болезнь продолжилась и весной. Она подкосила двоих здешних людей и еще заключенного, с которым я сошелся ближе всего и с которым просто великолепно поладил; я видел ее и слышал о ней. Таким образом, это дело прошлое, а не нынешнее. Такие болезни очень долго не длятся.

Во время Вашего апрельского посещения я спросил Вас, болели ли Вы простудой, как все остальные. Вы сказали, что болели. Таким образом, если Вы уже переболели, тогда я могу о ней больше не беспокоиться.

Одной из самых нелепых фантазий было заявить, что эта болезнь началась шестнадцатого июня, поскольку последний раз я видел Вас пятнадцатого. И это несмотря на все имевшиеся у меня доказательства того, что болезнь прекратила распространяться еще до этого. В апреле врач мне сказал, и я цитирую его слово в слово: «*Теперь, когда у меня наконец закончились эти дьявольские простуды и катары*» и проч. Таким образом, все было закончено и забыто. И затем они продолжили нагромождать свои нелепые противоречия. Утром восемнадцатого мне что-то понадобилось от г-на де Ружемона. Мне сказали: «*Сегодня этого сделать нельзя: он сегодня утром уехал в Париж*».

Вечером он уже валялся в постели, больной до невозможности; все еще в постели и все еще больной до невозможности был восемнадцатого и девятнадцатого, а двадцатого врач, единственный, кто мог здесь о нем позаботиться, уехал на целый день в Париж. Двадцать шестого, в пять часов вечера (это еще хуже) врач валяется в постели больной. В пять пятнадцать мне сообщают в совершенно недвусмысленных выражениях, что он отправился с визитом в дом, который находится в лье отсюда. И так далее, и тому подобное. Когда я указываю идиоту, до какой степени он заврался и полностью сам себе противоречит, он приходит в страшную ярость: еще одно доказательство его обмана.

Нет, меня вводят в заблуждение. Весь смысл подобной болтовни заключается в том, чтобы заставить меня волноваться. Но мое здоровье не позволяет мне добавлять еще большее беспокойство к моей и без того полной чаше тревог. Я Вам говорю, я не в том состоянии, чтобы выносить какие-либо сцены, хотя бы и незначительные. Таким образом, убейте меня, если Вам угодно, я открыл Вам секрет, как это сделать.

Вы считали своей обязанностью не встречаться со мной пять месяцев, и, поскольку все относительно, а также поскольку во время Вашего длительного отсутствия, которое продолжалось четыре месяца, они делали все, чтобы заставить меня волноваться по поводу Вашего поведения, теперь они хотят заставить меня расстраиваться из-за Вашего здоровья.

Вы считали своей обязанностью во время четырехмесячного отсутствия, срок окончания которого — этот ноябрь, дабы получить точно 59 и точно 57, писать мне лишь раз в две недели. Ну что ж, я знаю об этом, меня это не радует, но я не позволю, чтобы это заставило меня впасть в глубокое отчаяние. Какая необходимость оправдывать все это; кто действует по Вашей указ-

ке, чтобы у меня создалось впечатление, что Вы заболели? Вы вполне можете достичь той же цели, не примешивая к своей истории болезнь. Когда в одном из своих писем я придумал похожую историю, то у меня были на то основания, таким образом, с моей стороны не было злого умысла, и, более того, Вы были свободны и всегда могли проверить, правда это или нет. Но в Вашем случае, если бы действительно об этом шла речь, у меня нет возможности узнать правду самому, и, следовательно, у Вас нет оправданий. Результат: я отказываюсь поверить хоть слову об этой так называемой болезни, пока не получу от Вас, и только от Вас, подтверждения тем способом, который я только что описал. И Вы не можете ни обижаться на меня за такую позицию, ни подвергать хотя бы малейшему сомнению мои нежные к Вам чувства.

С этого момента и до той поры, пока я не выйду отсюда, моя философия — и мне удалось выразить ее исключительно ясно в этом отношении — будет гораздо хуже в отношении всего остального, и поскольку я слишком хорошо знаю, что чем больше времени проходит, тем более Вы стараетесь заставить меня волноваться буквально обо всем. Я развлекаюсь тем, что записываю в таблицу всевозможные вещи, которые Вы могли бы сделать, а рядом перечисляю, как я намерен на них реагировать, не позволяя своей душе задерживаться хоть на мгновение на тех предметах, которые я сейчас укажу. Итак, вот все, что Вы придумаете, или можете придумать, а также то, как я намерен на это реагировать:

Тревоги по поводу Вашего здоровья: они будут ложны, см. все, что я сказал выше.

Тревоги по поводу Вашего поведения: Вы неспособны мне изменять. Шести посещений было достаточно, чтобы уничто-

жить мои дикие фантазии и снова вернуть меня к действительности. Они оскорбительны для Вас, что является достаточной причиной для того, чтобы я никогда не позволил им снова мной овладеть. Я прекрасно знаю, как следует ценить то, что я люблю.

Болезнь или кончина моих детей и друзей: откровенная ложь. Такие известия здесь строго запрещены, по той самой причине, чтобы помешать распространению таких слухов, и это, по сути дела, одно из самых достойных правил в этом заведении.

Мои замки сгорели дотла, а мои вещи и имущество проданы: тем лучше — меньше остается причин для беспокойства. Я поспешу уехать в Пруссию, буду там ставить пьесы, а Вы — играть на гитаре[140]. Что же до нашей прекрасной семьи из пяти человек, то мы научимся сами зарабатывать себе на жизнь.

Моя мебель и имущество перевезены в другое место: прекрасно, все, что я хотел, это чтобы мои вещи и имущество находились поближе к Парижу. Меня больше не прельщает мысль о путешествии, а Прованс находится очень далеко.

Мои книги сгорели: великолепно! единственное, чего мне будет не хватать, это томов в кожаных переплетах. Большая часть из них отпечатана в Голландии и стоит очень дешево, и когда я поеду к Вильету, то снова куплю их в Женеве, и у меня будет намного лучшая библиотека, чем прежде.

Мои бумаги были перехвачены и сожжены: фи! все равно это были лишь черновики; идеи же выкристаллизовались в моей голове. Я начну все сначала; на этот раз они будут лучше написаны и, вдобавок, станут гораздо более страстными, а чтобы удостовериться, что *воровка документов* их не украдет, я лично отнесу их из своего кабинета прямо к издателю.

Мне запретят ежедневные прогулки: ладно, если они это сделают, я использую это время для написания стихов. Ка-

ким бы поводом они ни воспользовались для прекращения моих прогулок, будь это починка моего камина или заделка трещины в стене, из этого сразу же родится маленькая пьеса в стихах. Кстати, одна уже написана, подписана и скреплена печатью, как я Вам уже говорил ранее; все, что задерживает ее отправление, это то, что мне мешает разлетающееся эхом по коридорам имя *Николя* (имя рабочего).

Так что можете теперь тревожить меня, как вашей душе угодно, волновать меня до смерти. «О! Это случится, как только подойдет к концу срок вашего заключения!.. Эй! пойди посмотри, они там идут или нет? Жан, эй! пойди глянь, там они или нет, и проч., *Николя*».

Нет, моя крошка, нет, нет, божественная г-жа президентша, нет, чудесное продолжение, но — нет. Все сказано. Все вызывает пресыщение! Все потеряло вкус. Вы видите, что я привел наиболее сильные примеры, и, если это случится не так, как я рассчитываю, тогда кому придется хуже всех? Таким образом, проще всего будет оставить меня в покое, и я Вам советую это самым настоятельным образом. В результате дальнейших неприятностей, которые Вы наверняка навлечете на меня с настоящего момента и до того времени, когда мне суждено Вас увидеть, у меня будет возможность еще больше поразмыслить над этим письмом и часто его вспоминать. У меня нет ни желания переписывать, ни делать его более длинным, чем оно есть, и посему я ставлю на нем дату и буду считать его своим письмом от 23-го.

Я начинаю свою двести десятую неделю пребывания здесь.

Возвращаю четвертый [том] «*Заклинаний*»[141].

À madame de Sade

К г-же де Сад
[1782 г.]

Не знаю, как они намерены со мной поступить, когда я отсюда выйду. Я сказал Вам и настаиваю на этом, что желаю отправиться домой вместе с Вами. Тем не менее я не против перед тем провести два или три дня в Париже, непременно желая увидеть свою дочь, которую я никогда не видел; и будет весьма сложно помешать мне удовлетворить неодолимое желание ее увидеть. Вы спрашиваете, каковы мои планы: у меня их еще нет, и я клянусь Вам, что воздерживаюсь строить воздушные замки; меня слишком часто вводили в заблуждение. Я хочу покинуть это место совершенно свободным человеком, чтобы ничто меня здесь не удерживало. Время назначать мне ссылку уже давно прошло. Это было бы приемлемо тогда, когда мне выносили приговор; это было бы уместно; это было бы наказание, которое соответствовало тяжести преступления; это избавило бы меня от бесчестья, полной потери репутации в своей провинции, позора, который мог быть подстроен только моими худшими недругами, действующими заодно. Теперь я должен уехать отсюда свободным.

Если это случится, я планирую потратить год на свои владения, дабы уладить там все дела, и, соответственно, поселиться там, где я проведу остаток своих дней. Я уже достаточно пожил ради ничтожных удовольствий других; теперь наступит пора пожить для себя. Но где это будет? Ах! Вам бы следовало это знать, если Вы помните все наши предыдущие разговоры. Если они отпустят меня на условиях дальнейшей ссылки, пусть

даже в моих собственных владениях, тогда пусть пристально следят за мной днем и ночью, ибо я там не останусь, я скроюсь во Флоренции или в Неаполе.

Если речь пойдет о ссылке, то, несомненно, они прикрепят ко мне сторожа; и в этом случае я категорически заявляю, что поскольку я уже более чем достаточно платил полиции и ее приспешникам, то, разумеется, не стану платить им больше, чем лакею в Экс-ан-Провансе, и настоящим даю свое слово чести, что никому не заплачу ни гроша. Я уже писал об этом раньше, пишу сейчас и буду повторять это до своего смертного дня. Пусть меня посчитают самым презренным из людей, если я когда-либо дам хоть единое су на эти цели. Возможно, что у этих господ нет, во всем Париже, других дураков, других простаков, кроме меня, раз они заставляют меня, и только меня, платить в течение последних десяти лет и содержать их *альгвасилов?*

Вы не знаете, из кого состоит этот триумвират,— кое-кто, кого я знаю, проявил исключительную нерадивость в этом отношении — триумвират состоит из трех господ в белых париках, один из которых, в сущности, обладает недурной наружностью и в свое время пользовался в Париже определенной репутацией.

В это лето в этом смысле была одна довольно милая история по случаю некоторого *эпизода с напудриванием*, который произошел в июле месяце, на некотором удалении от земли. Сообщалось, что слуга этого господина в парике пытался уйти от своего хозяина, поскольку после упражнения в напудривании его хозяина настолько раздуло от гордости, что ему пришлось добавить на свой парик шесть лишних буклей. Его слуга, который и так уже накрутил не меньше чем по четырнадцати с каждой стороны, сказал ему: «*Монсеньор, боюсь, что я вынужден покинуть Вас*» — и, не теряя времени на дальнейшие разговоры,

ушел. Насколько же глупы жители Прованса, что рассказывают истории, настолько же глупые, насколько и *богохульные!*

Как бы там ни было, давайте вернемся к триумвирату: поскольку я говорю Вам о них только лишь для того, чтобы напомнить, каковы мои основания сомневаться в их свидетельстве против меня, основания, которые Вашей матери следовало изучить несколько более глубоко, и, чтобы раскрыть ей глаза, я приведу рядом с каждым из них конкретное основание.

Что касается первого из названных, то основание настолько чудовищно, что я не могу подобрать никакого способа смягчить его в достаточной степени, чтобы цензоры его пропустили. Я просто прошу Вас запомнить, что оно чрезвычайно веское и таковой природы, что полностью сводит на нет все и вся, что он может показать против меня. Я клянусь, что это так, и докажу это.

Второй персонаж из этого триумвирата занимал какую-то должность в провинции, куда меня назначили в июне 1764-го. Я не стал наносить ему официальный визит, и, когда мне на это указали, я ответил, что, *будучи твердо убежден, что занимаю гораздо более высокий пост, чем он, я не должен являться к нему первым.* Ему передали это замечание. Некий Мальивер, драгунский капитан, с которым, если Вы помните, я имел дело на улице Нев-Люксембург, рассказал мне, что он сам лично слышал из весьма надежных источников, что упомянутый человек *был уязвлен моим замечанием и заявил, что никогда мне не простит.* Я ответил Мальиверу, который не был мне близким другом, что мне на это насрать. Увы! в те дни я еще не знал, что, подобно римлянам, мы будем искать своих диктаторов за плугом: тот, в парике, с тех пор сделал себе карьеру, я потерял положение в обществе, и прежним осталось лишь сделанное мной замечание. Какое еще нужно доказательство того, что, когда

речь идет о свободе человека, такого судью, как он, который клянется, что никогда не забудет оказанного ему пренебрежения, следует считать незаслуживающим доверия? В этом г-жа де Монтрей со мной согласится.

Что же до третьего персонажа триумвирата, которого я сравню с Лепидом, то основание, по которому он держит меня в тюрьме, вполне очевидно. Я знаю от Маре — ибо, как Вам известно, я всегда привожу ссылку на свои источники,— что тюрьмы *Парижа: Венсенн, Бастилия и Шарантон* приносят ему не менее двадцати пяти тысяч ливров годового дохода. Принимая во внимание эту цифру, достаточно просто догадаться, что упомянутый господин хочет, чтобы эти тюрьмы были набиты до отказа. Здесь я обращаю свои слова к своей теще, справедливой, непредвзятой, которая при мне тысячу раз повторяла: «*Я слишком хорошо знакома с ужасами этих тюрем; они заставляют Вас платить, когда в них отправляют, заставляют платить, когда выпускают; это сложное хитросплетение кошмаров*».

Итак, вопрос, который я задаю ей, заключается в том, что следует ли ей прислушиваться к советам человека номер один, в чьи мотивы, заставляющие его держать меня в тюрьме, я не стану углубляться и проч., второго, который поклялся, что никогда не простит меня за сделанное мною замечание, и третьего, который наживается за мой счет? Пусть она нам ответит! Пусть не забывает, что она мать, что я, возможно, самый послушный и самый любящий из всех ее детей.

Как бы там ни было, хватит об этом. Вы попросили, чтобы я Вам рассказал, что это за триумвират; я Вам рассказал. Мое письмо, должно быть, пропустят. Если то, что я сказал,— неправда, им следует посмеяться и пропустить его. Если же они

не пропустят его, тогда это будет служить явным подтверждением того, что мои жалобы оправданы. Какое оружие они тогда дадут мне в руки, если, высказав все эти заявления, я смогу впоследствии добавить: «*И когда я подал свои жалобы на этот счет, когда я проливал кровавые слезы на груди своей жены, они перехватывали мои письма и не пропускали их, опасаясь, что такая ужасная правда может выйти наружу*».

Что, Бога ради, означает эта фраза? «*Помните ли Вы наших бабочек в Ла-Косте?*» Эта фраза чрезвычайно необычна: в сущности, я ею ошарашен. Есть два различных способа ее интерпретировать. Вы действительно хотели написать «бабочки»? Если это в самом деле бабочки, то Вы знаете, что бабочки — это нечто особенное, что нас связывает, нечто, что только мы двое можем делать вместе. Вы предлагаете мне их найти, что, фактически, то же самое, что сказать, что Вы готовы и хотите принять мои условия. Если это так, тогда — да; и я именно так это и понимаю, и именно так хочу понимать. Если же, напротив, Вы использовали термин «бабочки» в общем смысле, под которым Вы имели в виду или подразумевали улиток или гадюк, на что, судя по всему, указывает смысл этой фразы, тогда — нет, нет, нет, мой дорогой друг, мои чувства к Вам таковы, что я даже не могу слышать подобных выражений. Но, что бы Вы ни хотели этим сказать, поскольку это все равно весьма странно, я умоляю Вас сообщить, какой из этих двух смыслов Вы имели в виду; это вызывает у меня большее любопытство, чем я могу выразить...

[Остальная часть письма отсутствует.]

À madame de Sade

К г-же де Сад

[21 октября 1782 г.]

Хочу попросить Вас, мой дорогой друг, лишь об одной услуге, не более, и все еще надеюсь, что ваши былые дружеские чувства ко мне или, если угодно, ваша жалость, не позволят Вам ответить отказом. Эта услуга заключается в том, чтобы меня перевели в какое-нибудь другое место, пусть даже меня закуют по рукам и ногам и бросят в темницу Мон-Сен-Мишеля. Я бы предпочел это и покорно прошу, чтобы Вы это устроили. Да, я предпочитаю это в тысячу раз больше, чем постоянно подвергаться гнусным попыткам де Ружемона меня отравить, этого негодяя, который, вне сомнения, каким-то образом сговорился с вашей матерью меня прикончить. За последние шесть недель этот мошенник делал все, что только мог, чтобы дать мне снадобья, которые оказывают серьезное отрицательное воздействие на мое здоровье и причиняют мне более жестокую боль и страдания, чем мог когда-либо вынести на колесе любой преступник. И доказательством того, что этот мошенник де Ружемон продал меня со всеми потрохами, является то, что теперь меня не выпускают из моей комнаты и подают еду через маленькое окошко в двери, так же, как это делают с сумасшедшими. Их возмутительное поведение доходит до того, что они не разрешают врачу меня посещать, что явно доказывает, что за мою жизнь теперь не дадут и гроша.

Прощайте, это мои последние слова, обращенные к Вам. Пусть небеса сделают Вас счастливыми без меня, раз уж они вообразили, что моя смерть необходима для Вашего счастья. Если это так, тогда я покидаю Вас без сожалений, и клянусь

и торжественно заявляю, что, если я все еще о чем-то и жалею, так это о том, что, оставляя этот мир, я не могу забрать с собой этого гнусного негодяя, который опустился не только до того, чтобы набивать свой собственный кошелек, но и затем воспользоваться деньгами, которые он гребет ценой моей жизни, чтобы упиваться своими собственными низменными удовольствиями. Устройте мой перевод, куда Вам угодно и на любых условиях, умоляю Вас, преклонив колено, если в Вашем сердце осталась хоть крупица жалости ко мне. Если Вы этого не сделаете, я буду вынужден решить, что Вы сами являетесь соучастницей моего убийства.

À monsieur Le Noir

К г-ну Ленуару

22 октября 1782 г.

Несмотря на тот факт, что я совершенно уверен в том, что ни одно из моих писем не было Вам доставлено, и что Вы несправедливо, если я могу выразиться столь дерзко, отказались от наиболее важной роли, которой наделило Вас ваше положение, а именно отдать мне должное и просветить меня в отношении результатов злобы тех, кто продолжает беспрестанно меня изводить, повторяю, несмотря на это, я чувствую своим долгом сообщить Вам лично о своих жалобах, связанных с самыми последними ужасами, которым я подвергся и которые я изложу как можно более точно и кратко.

Начиная с 3 сентября и по 20 октября включительно, г-н де Ружемон, которого, несомненно, подкупила семья моей жены,

в трех различных случаях имел подлость подмешивать в предназначенную для меня обычную пищу снадобье, которое оказало чрезвычайно болезненное и вредное воздействие на мой желудок, в такой степени, что если бы мне дали яд, то реакция не могла бы быть более сильной. Как только я распознал, что они делают, я попросил, чтобы мне давали только яйца всмятку, полагая, что в них невозможно будет что-нибудь подсыпать: на второй или третий день мне отказали в этой просьбе. Я пожаловался на испытываемую мною боль. Они рассмеялись мне в лицо. Я обратился за помощью к врачу, которому доверили лечить меня от навязанных мне болезней. Я попросил, чтобы он поговорил по этому поводу с г-ном де Ружемоном. Единственное, что мне удалось вытянуть из него в качестве ответа, были какие-то небылицы. Тогда я сказал, что поскольку со мной отказываются поступать по закону, то, если такое произойдет снова, я возьму дело в свои собственные руки. И потом они снова это сделали. Я отомстил тому, кому смог, сударь, и в этом я руководствовался той аксиомой закона природы, которая станет моим руководящим принципом в течение всей моей жизни: всякий раз, когда мне отказано в правосудии, отвечать, беря дело в собственные руки. После чего г-н де Ружемон счел своим долгом, несомненно, для того чтобы скрыть свое маленькое развлечение, лишать меня нескольких удовольствий, необходимых для моего здоровья, которые до того были мне дарованы, в результате чего, сударь, или я должен позволять себя травить, или, если я противлюсь этому, меня наказывают.

Нет, сударь, нет, этого не мог приказать король. Невозможно, чтобы он отдавал таковые указания, и посему я умоляю Вас во имя справедливости, чтобы со мной обращались в строгом соответствии с его приказами. Вы можете быть уверены,

сударь, в том, что в один прекрасный день я подам самую серьезную и настоятельную жалобу в связи с подлым поведением подобного сорта. Я укажу, что сначала предложил эту жалобу вашему вниманию. Было ли бы Вам приятно, в таком случае, если бы было сказано, что Вы отказались проследить, чтобы со мной обошлись справедливо? Я со всей искренностью прошу Вас, чтобы меня не наказывали из-за ошибок других; я самым настоятельным образом прошу Вас, чтобы подобные проступки не повторялись и чтобы этому бесстыжему мошеннику, который в этих стенах торгует жизнями тех несчастных, на которых и за счет которых ему позволили зарабатывать на свою жалкую и гнусную жизнь, повторяю, чтобы ему запретили подсыпать яд в и без того плохое питание, которое он мне дает, и чтобы мне по крайней мере позволили остаться в живых, о чем в данный момент речь не идет, поскольку мой отказ потакать его двурушничеству вынуждает ограничить мое питание молоком.

Вот, вкратце, сударь, суть моей жалобы Вам, и в отношении ее я имею право ожидать, учитывая Ваше положение и Ваши личные качества, правосудия, которое будет как своевременным, так и скорым. Когда заключенный предлагает Вашему вниманию, сударь, настолько серьезные жалобы, как эти, просто невозможно, чтобы Вы отказались встретиться с ним лично или послали кого-либо вместо себя, и это все, о чем я Вас прошу.

Но погодите! Каковы, в самом деле, могут быть причины, скрывающиеся за подобным вероломством? Может быть, цель их — мое умерщвление? Если так, тогда нет никакой необходимости так долго с этим тянуть. Нет, я категорически отвергаю эту мысль, и не следует настолько презирать родителей моей жены, чтобы подозревать их в таком умысле. Но здесь на ум действительно приходит одна идиотская и страшная идея. «*Его*

проступки,— ибо именно так, вероятно, они выразятся,— *это плод разгоряченного воображения; подорвите его конституцию, дабы уничтожить его воображение*». Какой абсурдный ход рассуждений, сударь! Эти так называемые проступки происходят совсем не из разгоряченного воображения, а из конституции, которую слишком избивают и колотят. Попытка еще более ее подорвать таким образом лишь еще более усугубит причину нарушения, а не вылечит ее. И двенадцатилетний ребенок мог бы легко об этом догадаться. «Но как насчет его злобы и жажды мести?» — доказывают они. Одним словом, не репрессалии ли это? Они несправедливы, сударь. Я никогда в жизни никуда не подсыпал никакие снадобья, по крайней мере ничего, что могло бы отрицательно сказаться на здоровье человеческого существа, и по крайней мере без его ведома, и если мой марсельский процесс не аннулировал полностью это основное обвинение в той степени, в которой бы я того хотел, то это вина тех, кто манипулировал судом от начала до конца, и теперь я вижу причину, по которой со мной обращаются подобным образом. Кроме этого, пусть кто-нибудь на свете попробует доказать мне или доказать себе, что я когда-нибудь делал что-нибудь подобное.

Поэтому соблаговолите проследить, чтобы со мной обошлись по справедливости, сударь, и, поскольку, несмотря на все обещания, которые Вы мне давали, и радужные надежды, которые Вы ложно пробудили в моем сердце, когда встречались со мной, я все еще вынужден влачить жалкое существование в этом ужасном аду, умоляю Вас по крайней мере не держать меня в мучительном ожидании, как это они делают изо дня в день, между теми несколькими удовольствиями, которые удается получить, и самым гнусным унижением, которому меня

подвергают; и будьте любезны не допустить причинения мне вреда.

В надежде на самое скорое правосудие, имею честь быть, сударь, Вашим самым покорным и самым послушным слугой.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[1782 г.]

Ваши достоинства, г-жа маркиза, и Ваша маленькая шутка, которой, на мой взгляд, недостает остроумия, не окажут на меня ровно никакого воздействия: и именно к этому моменту я собираюсь обратиться в своем ответе. Идею нельзя сравнить с произведением, которое рождается умом. Достаточно легко ошибиться, когда человек один оценивает произведение подобного рода; гораздо труднее, когда речь идет об идее, и, если у человека в голове нет мозгов, невозможно узнать, замечательна идея или нет.

Теперь я заявляю и подтверждаю, что идея моего проекта замечательна: не бойтесь, что когда-либо услышите от меня подобный отзыв о любом из написанных мною произведений. Я знаю об архитектуре достаточно, и достаточно изучал все великолепные образцы этого искусства в Италии, где проводил все свое время с людьми, занятыми этой профессией, чтобы понимать, когда идея хороша или плоха, и я снова Вам повторяю, что моя идея превосходна, по существу, настолько совершенна,

что нет ни малейших шансов, что она когда-либо будет осуществлена.

В Европе нет ни страны, ни достаточно богатого монарха, чтобы ее осуществить[142]. Таким образом, или ваш архитектор вообще не говорил Вам того, что, по вашим словам, он Вам сказал, или он болван или полный осел, раз попросил, чтобы его наняли для выполнения этого проекта, прекрасно зная, что это совершенно невозможно. Таким образом, это ничего более, чем милая фантазия,— но фантазия, которую я люблю и намереваюсь однажды выставить в качестве модели в своем кабинете. Вот небольшое дополнение, которое Вам следовало бы ему передать, очень существенное, если бы строительство велось правильно. *Все, хватит!*

Я твердо отказываюсь отвечать на скучные светские разговоры Милли Руссе. Как она вообще может сосредоточивать свой ум на такой чепухе? Я могу понять и даже нахожу забавным, что человек сознательно тратит свои умственные усилия на вопросы, отличающиеся некоторой пикантностью (именно поэтому я никогда не изумлялся и не поражался «*Le Portier des Chartreux*»[143]), но я представить себе не могу, как можно проводить время, обсуждая горшки и кастрюли или другую кухонную утварь, или несчастного, который болен сифилисом, или все другие глупости, содержащиеся в плане, на который, без всякого сомнения, у г-жи де Монтрей ушло добрых шесть недель, чтобы его сварганить, и столько же у бедняжки Руссе на то, чтобы его расшифровать, хотя ее таланты лежат на сотню лье в противоположном направлении. Таким образом, ее божественному письму номер 223 суждено полное забвение. Я опущусь до того, чтобы разобраться с этими низменными подробностями, как только окажусь на месте: до тех пор я не хочу даже ду-

мать о них. Пожалуйста, запомните, что я не хочу, чтобы она нанимала консьержку: я не понимаю, как ей вообще пришла в голову эта идея и как Вы могли хотя бы на мгновение ее поддержать. Пожалуйста, будьте любезны опровергнуть это возможно более громогласно и быстро.

Из всех книг, что Вы мне прислали, лишь две годятся для дополнительного чтения, а мне нужны именно такие книги, и именно их я хочу иметь. Пожалуйста, выполните заказ по прилагаемому каталогу; я повторяю, что хочу, чтобы это было сделано самым срочным образом. «*Илиаду*»[144] можно прочитать только один раз. Об «*Итальянских анекдотах*»[145] и этого не скажешь; это книги, которые ценны своей хронологией, произведения, которые держишь у себя на столе в качестве справочных материалов, но никогда не станешь читать больше, чем стал бы читать словарь. Итак, выполните мой заказ по списку, умоляю Вас.

К письму я прилагаю маленькую записку для Амбле, которую я прошу Вас ему передать; и, когда рукопись снова вернется к Вам, пожалуйста, включите в нее небольшие исправления, содержащиеся в этой записке.

Поскольку история о Медичи не закончена, ни в коем случае не прерывайте отношений с доктором; и, напротив, ублажайте его.— Эй! Скажите по-дружески, разве не лучше было бы, если бы я уехал и проводил время, запертый в кабинете доктора во Флоренции, где я мог бы работать над этой историей, которая наверняка однажды улучшила бы мою репутацию, чем посылать меня сюда, пытаясь извлечь хоть какой-то смысл из идиотских словесных извержений г-жи президентши де Монтрей?. Я заключу одно весьма интересное пари с Вами и всей Вашей компанией: я побьюсь об заклад, что содержание меня здесь в течение десяти лет в конце концов обойдется в добрых

сто тысяч франков, и все для того, чтобы сделать меня в сотню раз хуже, чем я был раньше, и нанести вред не только моей чести и репутации, но и чести и репутации моих детей, ухудшив их в целых сто раз. Вам придется признать, что это весьма немалая цена за удовольствие удовлетворить такое нелепое злорадство и скучную игру в числа.

В былые времена доктор принимал меня в качестве постояльца. Мое проживание со слугой под его крышей, включая полный пансион, обходилось в 800 ливров, а условия были хорошие, можете не сомневаться; прибавьте дополнительные 1200 на текущие расходы и проч. и теперь посчитайте, сколько бы мы сэкономили по окончании десятилетнего срока. Я бы вышел из его больницы, имея в своем кармане на сто тысяч франков больше, смог бы предложить публике прекрасную работу, а моя голова была бы полна хорошими мыслями и идеями. Теперь взгляните на оборотную сторону медали и посмотрите, что получится из того, что делаете Вы. Ведь требовались молчание и изоляция? Ах, сказано — сделано.

Во Флоренции был один французский посол, который, с моей точки зрения, был лишь чуточку лучше, чем г-н де Ружемон. Я первый признаю, что он наверняка не стал бы играть точно такую же роль (такие мерзкие представители военного сословия, как он, на деревьях не растут). Но Барбантан, который является моим кузеном и человеком умным, мог бы поручиться за меня, имел бы у себя в кармане соответствующий приказ, скрепленный личной печатью короля, на тот случай, если бы мне пришло в голову покинуть пределы Флоренции, и тогда бы я снова оказался в Венсенне в течение недели; ему была бы доверена моя корреспонденция, распоряжение моими деньгами и проч. Я бы жил там под вымышленным именем;

а всей этой банды плутов и мошенников, чье единственное удовольствие в жизни видеть, как меня держат под замком, можно было бы сообщить, что я в гостях у великого герцога, и у них не было бы оснований этому не поверить, пока меня не видно и не слышно. Таковы меры, которые человек предпринимает, если у него есть хоть капля ума, в отличие от того, как действуете Вы, когда ведете себя как чистой воды идиоты и предпочитаете, чтобы Вас защищали младшие офицеры и люди низкого происхождения, чем заботиться о благополучии и счастье ваших друзей, знакомых и родни.

Вы хотели письмо для моих детей? Вот оно. В том, что касается меня, ваши пожелания — это мои желания, и, как Вы видите, я выполняю все, о чем Вы говорите, и делаю это без промедления. При этом мною движет доброта моего сердца и стремление доставить Вам удовольствие, а вовсе не собственные интересы, можете не сомневаться, ибо я не жду никакого ответного шага. Я в сто крат больше предпочту не писать писем, чем получать тяжеловесные и невероятно глупые фразы, переполненные философским вздором и источающие разъедающий черный яд моего отвратительного мучителя. Запомните: мне не нужен ответ на это письмо; пусть напишут, если у них возникнет такое желание, но, если они напишут ответ, не отсылайте его мне.

Это письмо — выражение тех чувств, которые я испытываю к своим детям. Они получат это письмо, они будут не раз перечитывать его и будут помнить то, о чем в нем сказано... Неужели Вы хоть на мгновение допускаете мысль, что я мог быть настолько враждебен к ним и к самому себе, что стал бы когда-либо отрицать эти принципы? Если бы я это и сделал, то они стали бы меня презирать, и были бы совершенно правы.

Позвольте напомнить Вам о той маленькой описательной записке, которую я послал Вам этой зимой, и пусть она убедит Вас в том, насколько я далек от того, чтобы пытаться привить им какие-то вредные принципы. О нет! забудьте об этой мысли: если бы мне пришлось выбирать между тем, чтобы предать их смерти, и тем, чтобы развратить их сердца, я бы не колебался ни минуты, и даже зашел бы так далеко, что сказал, что первое — намного меньшее зло. Вам также не следует даже думать, что на то, что я пишу детям в этом письме, каким бы то ни было образом повлияло мое пребывание в тюрьме; собственно говоря, скорее, наоборот, ибо проведенный здесь срок оказал на меня только отрицательное влияние. Я так думал всю свою жизнь, и Вам это известно не хуже, чем мне. Чтобы убедиться в моей верности Вам, Вам нужно всего лишь подумать о том, как я всегда стремился обеспечить *Ваше собственное* благополучие и благополучие *детей;* счастье вас четверых — это моя постоянная и единственная забота, и всегда будет оставаться таковой. Вот каким будет план действий, когда закончатся мои несчастья.

Но, что касается меня, меня *лично*, я не даю Вам никаких обещаний. Зверь слишком стар. Поверьте мне, перестаньте пытаться выдрессировать его, откажитесь от этих попыток. Жюли не удалось сделать то же самое с г-ном де Вольмаром, а ведь этот человек очень любил Жюли[146]. Существуют определенные системы, которые настолько управляются существованием человека, особенно когда они связаны с младенческим возрастом, что отказаться от них совершенно невозможно. То же самое верно и в отношении привычек: когда они столь глубоко связаны с физическим существованием, десять тысяч лет тюрьмы и пятьсот фунтов цепей только лишь еще более их укрепят.

Несомненно, для Вас будет огромной неожиданностью, если я скажу Вам, что именно *все эти вещи* и воспоминания о них я стараюсь вызвать у себя, когда хочу отключить свой мозг и забыть о своем нынешнем положении. Нравственность не зависит от нас самих, это неотъемлемая часть нашей основной сущности. А вот что действительно зависит от нас, так это возможность не травить собственным ядом других и заботиться о том, чтобы те, кто нас окружает, не только были защищены от боли и страданий, но, более того, чтобы они даже не знали об их существовании. Поступая безупречно в том, что касается собственных детей, и, поступая так же в отношении собственной жены, в такой степени, что для нее невозможно, даже когда она сравнивает свою судьбу с судьбою других женщин, иметь хоть малейшее подозрение по поводу нравственности своего мужа,— это те вещи, которые мы можем контролировать, так, как следует поступать хорошему и достойному мужчине, ибо ничто не говорит о том, что он негодяй, лишь потому, что его нравственные нормы несколько отличаются от норм других людей. Сохраняйте подобные вещи в тайне, особенно скрывайте их от своих детей, и позаботьтесь, чтобы они не касались и вашей жены; и пусть ваши обязанности по отношению к ней добросовестно выполняются *во всех областях*. Вот вкратце то, что я думаю и что я обещаю.

Добродетели — это не то, что вы можете просто надевать на себя и снимать, как одежду, и в *подобных вопросах* человек не более свободен поступать сообразно моде, чем он свободен ходить с прямой спиной, если родился горбатым; так же, как человек способен втиснуть свои природные наклонности в рамки того или иного существующего мнения не более, чем он волен стать брюнетом, если родился рыжеволосым. Такова есть и всегда была моя философия, и я никогда от нее не отступлю.— Все же,

говоря вообще, в 1777 г. я был довольно молод; мое чудовищное несчастье вполне могло заложить основу; моя душа еще не отвердела, поскольку с тех пор Вы старательно добивались, чтобы она стала неуязвима для любых приличных чувств. Совершенно иной план с вашей стороны мог бы привести к иным результатам весьма важного сорта: Вы предпочли не приводить его в исполнение. За это я бесконечно Вам благодарен; я от всей души предпочел бы скорее очистить свою память от Ваших чисел, чем изгнал бы из нее бесконечное множество вещей и подробностей, которые возникают в моем мозгу, когда я даю волю воображению. Вы поступили опрометчиво; но, говоря откровенно, меня больше устраивает то, что все обернулось так, как оно есть.

Вы будете говорить Гофриди всевозможные вещи, но сам я больше не стану ему писать, так же как и не стану лично писать Святой — которой этой осенью, в ходе вечеров, которые я нахожу такими нескончаемыми и такими грустными, я, возможно, возьму на себя труд изложить несколько фривольных мыслей: кроме этого, ни строчки.

Если Вы дадите мне знать, какова была реакция детей на мое письмо, что они Вам об этом сказали, мне будет чрезвычайно приятно, но никакого ответа. Новогоднее свидание произойдет достаточно скоро.

[P. S.] Постарайтесь найти «Естествознание» [Бюффона]: я просил его раньше и настоятельнейше повторяю эту просьбу.

Раз Вы не можете угодить моим более респектабельным вкусам, тем больше причин наслаждаться другими. Таким образом, как и всегда, та гнусная атмосфера, которой Вы себя окружили, хотя Вы сами того не ведаете, играет мне на руку, и, не имея счастливой возможности выбрать праведную стезю, я еще глубже погружаюсь в пучины порока.

À madame de Sade

К г-же де Сад

4 февраля 1783 г.

Моя слабость не позволяет мне ухаживать за собой. Я прошу Вас прислать мне слугу, и постарайтесь уяснить, что когда я имел честь жениться на Вас, то сделал это вовсе не для того, чтобы ухудшить свое материальное состояние или свое положение; но, напротив, чтобы их улучшить.

Если бы Вы когда-либо имели несчастие оказаться на моем месте, я бы позаботился, о том, чтобы Вам не пришлось себя обслуживать самой.

Я прошу Вас прислать мне окулиста, и *самого лучшего в Париже*, пожалуйста.

Помимо того, я прошу Вас договориться, чтобы мне дали разрешение оставлять дверь открытой, когда в комнате полно дыма (кроме ночного времени). Совершенно необходимо, чтобы я делал хоть какой-то моцион, а поскольку я уже не могу ни читать, ни писать, то, по крайней мере, мне нужно совершать прогулки, если Вы не хотите, чтобы я еще до конца недели не лишился способности находиться в вертикальном положении из-за жестоких головокружений.

Я также прошу, чтобы Вы получили для меня разрешение совершать эти прогулки в саду. Мне действительно хотелось бы узнать, к каким положительным результатам, по Вашему мнению, может привести тупая жестокость, когда мне сначала позволяют совершать три или четыре прогулки каждый день, а потом полностью их лишают в течение долгих лет? Вы что, нанимаете для осуществления своих планов обитателей сумасшедшего дома? Воздух необходим мне как жизнь, я это Вам говорил уже двадцать тысяч раз, и я могу обойтись без него не больше, чем без еды.

И из-за того, что Вы видите, какой я ласковый и вежливый, Вы имеете наглость с еще большей яростью ужесточать свои пытки. И после этого Вы говорите: «*Он славное маленькое животное, его можно заставить делать все что угодно*». Я предупреждаю Вас: берегитесь. Если во время Ваших посещений я веду себя как хорошо воспитанный и порядочный человек, то в будущем Вы увидите, как я буду себя вести, ибо, поступая подобным образом, я лишь рискую, что меня посчитают человеком слабовольным.

Прощайте и помните, что чрезвычайно опасно позволять презирать себя тем, с кем Вам позднее придется лично иметь дело, так же, как и Вам следует помнить о том, что есть вещи совершенно непростительные; и помните также, что всегда следует опасаться бывшего врага.

Да, помните обо всем этом, это последняя откровенная мысль, которую я намерен Вам высказать.

Уже шесть недель, как у меня закончились свечи, костный мозг и консервы. Пожалуйста, будьте добры прислать мне некоторое количество без промедления.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[после 4 февраля 1783 г.]

Мое последнее короткое письмо было датировано 4-м, и с тех пор я полностью потерял способность видеть одним глазом и испытываю адские муки. Я снова обращаюсь с теми же просьбами, которые я высказал в том письме, и особенно прошу, чтобы Вы договорились о направлении ко мне оку-

листа. Если я действительно заболею, а в этом нет сомнений, я настоятельнейше прошу, чтобы меня не охранял солдат. Я для этого не создан и не потерплю, чтобы он ко мне приближался.

Сейчас возле меня находится человек, который, видя, что я страдаю как самый несчастный из несчастных и нахожусь в таком состоянии, что даже не могу пошевелиться, постоянно мне повторяет, что это все ничего, что я никогда не был в лучшем состоянии, и все это предназначено для того, чтобы я не отказался от его любезных услуг. Пришлите мне слугу, я не могу без него обойтись. Я предпочту скорее умереть, чем продолжу такое существование. Я не могу читать ни Ваши письма, ни что-либо другое. Обнимаю Вас и чрезвычайно страдаю.

Aux rustres, qui se moquent de moi

К тупым негодяям, которые надо мной издеваются

[примерно 10 февраля 1783 г.]

Подлые сателлиты пожирателей тунца из Экс-ан-Прованса, низкие и отвратительные прислужники моих палачей, изобретите тогда, дабы причинить мне боль, такие пытки, которые, по крайней мере, принесут хоть какую-то пользу. Какую пользу можно извлечь из того безделья, на которое меня обрекает ваша духовная слепота, разве что заставить меня проклинать и в своих мыслях раздирать на клочки подлую сводню, которая таким трусливым образом продала меня в ваши руки? Поскольку я больше не способен ни читать, ни пи-

сать, вот сто одиннадцатая пытка, которую я для нее придумал. Сегодня утром, испытывая страдания, я увидел, как с нее заживо сдирают кожу, протаскивают сквозь кусты чертополоха и бросают в бочку с уксусом. И я молвил ей:

— Отвратительное создание, это то, чего ты заслуживаешь за то, что продала своего зятя бесчувственным скотам!

— Это то, что ты заслуживаешь за то, что поступила как сводня в отношении обеих своих дочерей!

— Это то, что ты заслуживаешь за то, что покрыла позором своего зятя!

— Это то, что ты получаешь за то, что вынудила его оказаться в таком положении, когда он ненавидит детей, которым ты принесла его в жертву!

— Это то, что ты заслуживаешь за то, что из-за тебя он теряет лучшие годы своей жизни, когда после вынесения приговора он рассчитывал на тебя, надеясь, что ты спасешь его!

— Вот что ты заслуживаешь за то, что предпочла ему отвратительного и мерзкого отпрыска своей дочери!

— Это то, что ты заслуживаешь за все то зло, которое ты навлекла на него за тринадцать лет, дабы он расплатился за твои собственные безумства!

И, умножив ее собственные мучения, я оскорбил ее в ее боли и забыл свою собственную.

Перо выпадает из моих пальцев. Снова пришла пора испытать мучения. Прощайте, мои палачи, пришла пора призвать на ваши головы все проклятия, что есть на земле[147].

À madame de Sade

К г-же де Сад

[13 февраля 1783 г.]

Мой глаз почти так же плох, как всегда, и единственное, что они здесь делают, это прижигают его и сушат, и делают все возможное, чтобы я полностью его потерял. Я умоляю Вас прислать ко мне окулиста. Ибо уже в течение двух недель я прошу Вас это сделать, и, должно быть, в вашей душе совсем угасла доброта, раз Вы допускаете, чтобы я все это время просил об этом. Более того, мне нужно, чтобы кто-нибудь мне прислуживал. Я совершенно лишился способности сам о себе заботиться. В половине случаев оказывается, что у меня нет тех вещей, которые мне крайне нужны. Я слепо тычусь вокруг, спотыкаюсь, падаю, ломаю и разбиваю все свои вещи, калечусь с утра до вечера. Здешний слуга делает все, что может,— я могу лишь похвалить его за его усилия,— но он не может делать все. Мне нужен кто-то, кто будет со мною с девяти утра до полудня, а потом с шести до одиннадцати вечера. Пожалуйста, умоляю Вас, потрудитесь найти такого человека. Пока я был здоров, я никогда не просил у Вас ничего экстраординарного. Теперь я в этом не виноват, и я не могу обойтись без того, что я у Вас прошу. Если Вы собираетесь приехать ко мне, получите разрешение встретиться со мной у меня в комнате, ибо я наверняка не смогу спуститься в комнату для свиданий. Это было бы мне не под силу.

Пришлите мне:

Два абажура, таких, которые полностью окружают свечи, и лучшую розовую воду, самую нежную и дорогую, какую можно найти в лавке Каде.

Написание этих строк ужасно меня утомляет, и я умоляю Вас, преклонив колено, не заставлять меня просить одни и те же вещи по тысяче раз. Обнимаю Вас от всего сердца.

Мои страдания не поддаются описанию.

À monsieur de Grandjean

К г-ну Гранжану[148]

[20 февраля 1783 г.]

Тот, кого г-н Гранжан приезжал навестить в Венсенне, с чрезвычайным тщанием ежедневно промывает глаз морской водой, которая была ему прописана, а также старательно подвергается вдуванию ирисовой пудры. Единственная проблема состоит в том, что он не видит никаких реальных изменений в состоянии упомянутого глаза; мутность постоянно остается такой же, и, хотя врач заверяет его, что видит улучшения, пациент таковых не усматривает вообще. Поскольку это состояние чрезвычайно утомляет второй глаз и поскольку пациент начинает отмечать похожее ослабление этого глаза с тех пор, как вся нагрузка легла на него, он просит г-на Гранжана назначить другое лечение, которое подействует быстрее. Кроме того, пациент опасается, что постоянное промывание такой нежной части тела в конце концов разъест глаз и приведет к возникновению фистулы. Он затронул такую возможность в разговоре с тюремным врачом, чей ответ ни в коей мере не развеял это опасение. Посему пациент был бы чрезвычайно признателен, если бы г-н Гранжан был достаточно любезен, чтобы назначить лечение, которое привело бы к выздоровлению быстрее и эффективнее и в то же время не причиняло пациенту дискомфорта.

À madame de Sade

К г-же де Сад

18 марта 1783 г.

Миска для молока великолепна как по цвету, так и по форме, но мне нужен сосуд побольше, такого размера, чтобы в нем вместилось полторы пинты.

Человеку, который мне прислуживает, только что запретили передавать мне бисквит. Поэтому, если будете продолжать мне их посылать, то записки с благодарностью Вам должны будут посылать слуги г-на де Ружемона, ибо именно они будут наслаждаться этими бисквитами. Я не хочу, чтобы Вы мне их больше посылали, в какой бы форме или в каком бы виде Вы не решили мне их передавать, и это я заявляю категорически.

Две дюжины меренг и две дюжины лимонов из кондитерской Пале-Рояля.

Архитектурные планы новой Итальянской оперы в Париже и название пьесы, которой собираются ее открывать.

Две губки, самые лучшие, что можно достать. Шесть фунтов свечей и два больших ночника.

Темно-зеленая куртка, с шелковой отделкой, с серебром или без, того же размера, как та, что портной послал мне две недели назад.

То, что принято называть кувшином или горшком. Это маленький глиняный сосуд, темно-коричневого цвета, который используют для нагревания или кипячения молока или приготовления кофе. Он должен быть достаточно большим, чтобы вместить чуть больше пинты; вообще-то, лучше достаньте такой, в который поместится полторы пинты.

Шоколад.

И маленькую собаку, желательно щенка, чтобы я имел удовольствие самому его воспитывать, спаниеля или сеттера; мне нужна только одна из этих пород, никакая другая не годится. Если Вам скажут, что здесь не разрешается держать животных, Вам следует вместо ответа рассмеяться им в лицо. В этот просвещенный век люди слишком умны, чтобы до сих пор верить в такую чудовищно глупую предубежденность. А если будут настаивать, и если они скажут Вам: «*Нет, сударыня, г-ну Саду строжайше запрещено общаться с животными*»,— тогда Вам следует ответить: «*В таком случае, господа, выпустите его*».

Я чрезвычайно доволен теми огромными успехами, которые делают юные господа, Ваши сыновья; талант — это большая удача, и он наверняка сослужит им обоим полезную службу!

Я очень прошу, чтобы Вы, по возможности, как можно скорее подтвердили получение моей рукописи. Хотя я уже упоминал о немалом количестве ошибок, после того как Вам ее отослал, таких, как слишком часто повторяющиеся слова и рифмы, и обещал, что воздержусь от того, чтобы обременять Вас целыми страницами исправлений, я сдержу свое слово, и внести исправления может Юность. Это займет его, а он может сделать исправления не хуже любого другого. Тем не менее я был вынужден сам исправить титульный лист, и его не нужно переписывать. Поскольку я работаю над окончательным вариантом двух произведений одновременно, то ошибся с эпиграфом, использовав в пьесе эпиграф, предназначенный для романа, а тот, что для романа, поставил в пьесе. Это такая ошибка, которая будет неправильно истолкована, если ее сразу не исправить. Вот правильный эпиграф для комедии, которую я Вам послал:

Им поручили надзирать за общественными нравами, а они их развратили; их считали хранителями добродетели, а они стали приверженцами порока и его образцом.

М.ПС, с. 231 и 232

Так что, пожалуйста, будьте любезны внести это небольшое изменение. Окулисты прислали чудодейственный порошок, который, как они говорят, даст поразительные результаты. Этот порошок нужно вдувать в глаз, что, очевидно, равнозначно тому, что «*пускать пыль в глаза*»; иными словами, полному надувательству.

Без сомнения, Вы оказываете мне великую честь. Если будете продолжать в том же духе, то у меня от этого разовьется величайшее самомнение. Я никогда не считал себя ни достаточно привлекательным, ни соблазнительным, чтобы пускать кому-нибудь пыль в глаза,— другими словами, вызывать у кого-то слепоту в отношении фактов. Очевидно, я ошибался; явный недостаток самоуважения!

Далее, я взял *свое зеркало*, придумал *загадку* и сказал: «О! как они правы: я *привлекательный малый, да к тому же еще и ловок как черт!* Меня уже не удивляет, что я пускал пыль людям в глаза. О! бедные глаза! О! как тяжелы глаза тех, кого я ослепил!»

Посылаю Вам свои самые нежные пожелания, Мари[149].

В «Деревенской библиотеке» есть один том — не могу Вам сказать, какой именно,— который заканчивается одним очень коротким рассказом, и рассказ этот называется, как мне кажется, «Необыкновенное приключение» или «Очень странное приключение» — что-то в этом роде. Мне отчаянно нужен этот том; попросите Юность, чтобы он постарался его найти, а ког-

да найдет, пусть сразу же его мне отошлет. Ему нужно всего лишь пролистать различные тома, пока он не найдет тот, который заканчивается подобным образом. Я не могу Вам передать, как мне не терпится его получить. Что, вероятно, означает, что ждать его придется довольно долго, не так ли? Книга, озаглавленная ... уже Вам отослана, и я также отсылаю остальные.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[26 марта 1783 г.]

Еще одно беспокойство, мой дорогой друг, еще одна надоедливая просьба, еще одна рукопись[150]. Но учтите, что я не настаиваю, чтобы Вы ее читали; я только прошу, чтобы Вы поместили ее рядом с другими моими работами, которые Вы уже были достаточно добры спрятать в надежное место.

Если, однако, Вам придет мысль перечитать эту трагедию, чтобы несколько отвлечься от скуки второстепенного чтения, я на этот случай прибавил в конце короткую пьесу[151], которая позволит Вам иногда посмеяться,— впрочем, не очень часто, ибо, если Вы будете смеяться слишком много, я посчитаю, что в этом нет ничего смешного.

Я полагаю, Вы посчитаете, что трагедия стала несколько лучше. Я исправил все ошибки, которые смог в ней найти, главной из которых была непростительная несообразность: заключается она в том, что Карл послал свои войска на штурм крепости, в которую он направил парламентера, даже не узнав, достигли ли эти переговоры успеха. В новом варианте он назначает крайний

срок: он объявляет, что, если по окончании указанного срока его представители не сообщат ответ, тогда он начнет штурм. Назначенный срок наступает, но он не имеет возможности узнать, как прошли переговоры, и можно понять почему. Штурм начинается; все понятно, в то время как в более раннем варианте этого не было.

Более того, я повторяю, что не имею намерения вставлять в эти пьесы что-либо иносказательное [*sic*] или аллегорическое, и что мне не составляет труда изменить все, что может шокировать или вызывать неудовольствие. В каждой пьесе содержится на сотню стихов больше, чем того требуют правила; таким образом, Вы можете видеть, что имеется множество места для того, чтобы урезать и сокращать сколько угодно.

В том, что касается маленькой пьесы, я могу сказать тому, кому она придется не по вкусу, только одно:

Во-первых, нет никакой необходимости в том, чтобы в конце порок был наказан, а добродетель вознаграждена. Это застарелая ошибка, и я могу доказать это, обратившись к Аристотелю, Горацию, Буало и приведя в качестве примера около двадцати комедий Мольера, который является образцом для нас всех.

Во-вторых, отрицательный персонаж — женщина, и, вне всякого сомнения, если бы я наказал эту женщину, моя пьеса не стоила бы и доброго слова. Но хотя эта женщина и остается безнаказанной, кто бы захотел ей подражать? Вот в чем заключается искусство. В комедии оно состоит не в том, чтобы наказать порок, но в изображении его таким образом, что никому бы даже в голову не пришло ему подражать; а раз так, тогда нет никакой нужды наказывать порок. Осуждение порока происходит *sotto voce*[152] в душах всех зрителей.

Если они станут укорять меня в *отношении нравственности*, я назову в свою защиту около пятнадцати комедий Мольера, в первую очередь «*Жоржа Дандена*»[153]; среди современных — «*К счастью*» и «*Фигаро*»[154], пьесы, в которых к манерам и нравственности относятся не с таким уважением, как в моей пьесе.

Во втором куплете Севинье имеется критика *обществ разумных женщин*, которую, пожалуйста, воспринимайте — Вы и те, кто Вас окружают,— как не более чем пустую болтовню, которая ничего не значит. Перечтите этот куплет во второй раз и посмотрите, содержит ли он нечто большее, нежели просто *слова* и *забавные рифмы*.

Но он действительно придает этой роли оттенок нелепости и самодовольства, и это все, чего я добивался; это всего лишь пустая тарабарщина, ничего более.

Кроме того, я не располагаю известиями о том, что Вы вообще получили рукопись; такие любезности, несомненно, нынче не в моде. Я боюсь, что скучные и, в равной степени, глупые фарсы — это все, что требуется людям.

Пожалуйста, не забывайте различные просьбы, которые я просил Вас выполнить, и судебные действия, которые я просил Вас предпринять от своего имени в отношении кражи моей рукописи «*Непостоянного*». Вы чрезвычайно меня обяжете, если не оставите просто так это дело.

Дабы сменить тему, расскажите-ка мне, если не возражаете, не думаете ли Вы, что мне следовало бы быть настолько же удивленным, насколько я раздосадован и глубоко задет в своих чувствах, увидев, что даже самые крайние даты, которые Вы, предположительно, установили для моего освобождения, уже давно прошли, и, видя то, что, дабы умерить мое отчаяние, в которое я поневоле был ввергнут, Вы выбираете такие болезнен-

ные моменты, как для того, чтобы лишить меня ваших посещений, так и для того, чтобы не дать мне возможности подышать свежим воздухом,— одним словом, сделать так, чтобы всегда и везде со мной обращались в самой жестокой и постыдной манере, какую можно только себе вообразить.

Неужели Вы действительно думаете, что подобный пример тирании и неотесанного слабоумия можно найти в целом мире? Я лично в этом сомневаюсь. И какова цель всего этого? И вообще, какова могла бы быть такая цель? Это тот вопрос, которым я не могу не задаваться снова и снова. И это то, что они во Франции называют правосудием! Благородного человека без зазрения совести приносят в жертву так называемому правосудию! Дворянина, который достойно служил своей стране и который, осмелюсь сказать, обладает достаточным числом достоинств, предлагают в качестве жертвы — и кому?— шлюхам! Кровь вскипает в жилах, перо выпадает из моей руки, когда я задумываюсь о таких подлостях! Сознаюсь, что такие гнусные поступки находятся вне моего понимания и что мой разум не настолько силен, чтобы хотя бы постичь их. Но такое утонченное варварство, лишение всего в тот самый момент, когда моя боль и печаль находятся на самом пике, когда я больше всего нуждаюсь в утешении и поддержке, и когда мне больше всего нужно облегчить мое положение, этот заговор, это формальное желание ожесточить мое сердце, досадить мне и уничтожить во мне всякую добродетель! Да! Я говорю открыто и безбоязненно, что, кто бы ни стоял за этим наказанием, это может быть лишь отъявленный негодяй, безмозглый негодяй, и самый злейший недруг, который когда-либо был у меня на свете!..

Я желаю Вам доброго вечера, умоляю писать мне, навещать меня и, прежде всего, договориться, чтобы мне разрешили дышать свежим воздухом. Вы знаете, что сейчас то время года,

когда это становится для меня даже более необходимым, чем сама жизнь. Невозможно описать, как велики мои страдания.

Обнимаю Вас от всего сердца.

Если хотите, можете получить мою рукопись сейчас: она полностью готова, и я не чувствую необходимости возиться с ней долее. Пожалуйста, позвольте выслать ее Вам.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[20 апреля 1783 г.]

То, что Вы сообщили мне в вашем последнем письме,— неправда, и г-н де Ружемон уведомил меня сегодня утром, что о том, чтобы мои прогулки были возобновлены в ближайшем будущем, не может быть и речи. Подлое образование, которое Вам привили лицемерные пустословы, должно быть, так глубоко в Вас укоренилось, что Вы совершенно лишены способности признаться в своей чудовищной лжи. Похоже, что это откровенное и гнусное пристрастие к грязным сплетням настолько глубоко укоренилось в Вас, что легче воспроизвести вашу душу, чем способность лгать столь отвратительно и столь подло. И чего, по-вашему, Вы всем этим добьетесь? К чему, по-вашему, приведут ваши действия? А! Вот посмотрите! Я заранее Вас предупреждаю и самым торжественным образом клянусь, что, когда мы снова окажемся вместе, с моих уст больше не сорвется ни слова правды, и я настолько усовершенствую искусство лжи, что, как раз в тот момент, когда Вы будете ду-

мать, что мне выгоднее всего сказать правду, я солгу Вам самым наглым образом.

Насколько все-таки ваша ложь и двуличность — и я сейчас имею в виду не только Вас, но и Вашу потаскуху-мамашу — ясно проглядывают во всем, что Вы делаете и говорите! Последняя глупость состоит из двух моментов: *то, что дверь в мою комнату остается закрытой; и лишение меня свежего воздуха.*

Спустя четыре с половиной месяца, если быть точным, мне снова возвращают половину того, что у меня отняли. Что наводит меня на мысль, что пройдет еще четыре с половиной месяца, прежде чем мне вернут остальное; более ни слова. Все это было лишь паутиной лжи, попыткой ввести меня в заблуждение, подражанием лакеям и жуликам-предкам, которые украшают ваше фамильное древо, поскольку Вы делаете то же самое, что делали они.

По крайней мере, скажите мне, когда мне снова разрешат прогулки. Какая разница, узнаю я об этом или нет? Разве Вы уже не совершили ту же глупую оплошность шесть или семь раз, что не принесло мне никакой пользы? «Но если Вам сказать, то Вы будете проводить все свое время в вычислениях».

Эй! ну что Вы за сволочные ублюдки: какая разница, буду я производить свои вычисления сейчас или после этого, или не буду? Вы сами видите, что ваши опасения на этот счет невероятно скучны и нелепы, поскольку прежде все мои вычисления были бесполезны. Я предполагаю, что где-то через месяц мне разрешат прогулки. Я прошу Вас сейчас, пожалуйста, скажите мне, будет ли малейшая разница, если мне сегодня станет известно об этом факте, и я таким образом вычислю, на какой день это придется, или же если я сделаю то же самое через месяц?

Хотите, чтобы я еще больше Вас в этом убедил? Пусть меня прямо здесь и сейчас заберет дьявол, прямо когда я пишу эти

самые слова, если у меня есть хоть какое-нибудь желание производить эти вычисления, и если я прошу, чтобы мои прогулки возобновили по какой-либо иной причине, нежели потому что я просто не могу больше существовать без свежего воздуха, и потому что я не могу ночью спать, точно так же, как не могу переваривать ту мерзкую пищу, которую здесь дают. И пусть меня поразит гром и в эту же самую минуту обратит в прах, если я спрашиваю Вас о том, когда мне вернут эти льготы, по какой-либо иной причине, нежели испытывая желание нормально спать на протяжении моего пребывания на этой Голгофе, а вовсе не для того, как Вы думаете, чтобы черпать утешение из точного знания того, когда мои страдания подойдут к концу. Но что до моего освобождения, то, если по здравому размышлению я не сделаю определенного вывода, пусть я ослепну не сходя с места.

Я бы очень хотел знать, какую цель можно было преследовать, или можно преследовать, запрещая таким образом мои прогулки, сначала отменять их, а потом снова разрешать и так далее? Единственная разумная вещь, которую Вы, возможно, могли бы привести в оправдание, это то, что, вычисляя общее время моего заточения, Вы вычисляете определенный его период, когда я буду лишен свежего воздуха, и поделили эту общую сумму таким образом, что если *мне сейчас не разрешат совершать прогулки* или, напротив, *если разрешат*, то я каким-то образом смогу вычислить, насколько чудовищно долгой будет оставшаяся часть моего заключения. Но мой ответ на это будет таков: Вам всего лишь нужно было устроить, чтобы мне запретили гулять в течение четырех зимних месяцев; Вы бы могли об этом договориться, и я не был бы лишен в течение весны и лета того, что для меня так же необходимо, как сама жизнь. Но Вам бы тогда не пришлось прибегать к числам?

Ах! числа! Вы увидите, это вопрос, который еще потребует обсуждения. От какого судебного органа эта свиноподобная потаскуха,— с которой я связан лишь потому, что имел *великое несчастье* жениться на ее дочери,— как она думает, получила право терзать меня своими числами? Ах, это она так мстит! О, в таком случае, Вы хотите сказать, что министр разрешает людям мстить? Что ж, тогда, если он позволяет ей поступать подобным образом, по какому праву он не дает мне возможности отомстить за себя? А это я непременно собираюсь сделать, и возмездие мое *будет скорым и неотвратимым.*

Спокойной ночи, ступайте, прошамкайте свои молитвы и убейте своих родителей. Что же до меня, то я направляюсь дрочить, и у меня нет ни малейшего сомнения, могу Вас заверить, что когда я кончу, то совершу меньше зла, чем Вы.

À mademoiselle de Rousset

К г-же де Руссе
26 апреля 1783 г.

Меня чрезвычайно опечалило, моя дорогая, когда я понял из вашего последнего письма, что ваши представления о справедливости и несправедливости полностью перемешались у Вас в голове, и что эта голова, в прочих отношениях организованная до забавного неплохо, тем не менее, отдает предубежденности то, что ей следовало пожаловать разуму. Именно с намерением несколько подправить ваши представления, сделать их более зрелыми посредством некоторого внушения философских начал, я собираюсь разъяснить и без дальней-

шей суеты предоставить Вам краткое рассуждение на тему права, в котором то, что было лишь вкратце обрисовано в моем январском письме, предстанет здесь несколько более подробно.

Здесь Вы найдете в значительно большей мере различные примеры тщетности наших пороков и добродетелей, собранные у других народов земли. Отсюда Вы сможете с большей легкостью вычислить, какова подлинная величина общей суммы, и до какой степени, к несчастью, верно то, что здесь на земле все представляет собой всего лишь систему и мнение. Неужели Вас не поразили посылки, извлеченные из реальности этих примеров, в которых мы столь расходимся со столь многими нашими собратьями? Если нет, то я буду весьма удивлен. Тем не менее из этого драгоценного кладезя черпали и черпают свои самые триумфальные посылки наши самые прославленные писатели — наши Гельвеции, наши Монтескье, наши Руссо и проч.[155], поскольку посылка всегда значительно сильнее, когда она подкреплена доказательством. В таком случае ее трудно опровергнуть.

О! моя дорогая Фанни, пусть те, кого принято считать примером, покажут нам, что они действительно им являются, и нам более не нужны будут законы; пусть те, кто, благодаря случаю или удаче, вознесся и занял высокое положение, ведут себя безупречно, и они будут иметь полное право требовать того же от нас.

Именно многочисленные злоупотребления властью со стороны правительства преумножают пороки отдельных индивидуумов. Какой наглостью должны обладать те, кто возглавляет правительство, чтобы осмеливаться наказывать порок, осмеливаться требовать добродетели, когда они сами дают пример всех видов морального разложения, которые только существуют на свете?

По какому праву эта шайка пиявок, которые утоляют свою жажду несчастьями народа, которые, благодаря своей презренной монополии, ввергают этот несчастный и несчастливый класс —

единственная вина которого в том, что он слаб и беден,— в жестокую необходимость потерять свою честь или свою жизнь, в последнем случае, не оставляя несчастным иного выбора, кроме как умереть в нищете или на виселице; по какому праву, повторяю, подобные чудовища требуют добродетели от других? Что?! Когда для того, чтобы удовлетворить свою алчность, жадность, свои амбиции, гордыню, прожорливость, похоть, они безжалостно приносят в жертву миллионы королевских подданных, почему бы мне, если так угодно, не принести в жертву других так же, как и они? Каким образом они расплачиваются за миллионы совершенных ими преступлений? Каким образом они искупают свои грязные дела? Кто, спрашиваю я, кто дает им право делать все, что они пожелают, и наказывать меня, если я возьму на себя смелость всего лишь поступить так же, как поступают они?

О столетия варварства, о дикие века, когда побежденный враг служил победителю кормом для скота, украшением его триумфа,— нет, Вам и не снилась подобная жестокость! Горе было тем, кто потерпел поражение в бою, но, по крайней мере, у вас было оружие, чтобы себя защитить! Ныне же все, что у нас осталось,— лишь наши слезы, и мы храбро с ними справляемся.

По крайней мере, этим тиранам следовало бы более честно выбирать себе жертвы. Им следовало бы научиться не срывать свое зло на тех, чей проницательный взор проникнет даже в их самые тайные мысли. Руки таких людей, как только они освободятся от своих оков, сорвут повязку иллюзии и, сделав это, оставят идола на его пьедестале совершенно неприкрытым, чтобы вновь просвещенная масса смогла увидеть своими собственными глазами грубую и отвратительную материю, из которой он слеплен.

Фанни, моя дорогая Фанни, Вы более не просите у меня новостей обо всем, что происходит. Вы, моя дорогая мисс, теряете интерес в отношении забот, волнующих Вашего *Лавлейса*[156]. И все

же, как бы Вас позабавило, если бы Вы только смогли увидеть *г-жу Мазан*[157] во время свиданий со своим мужем, если бы Вы только смогли увидеть, как пристально она косится в сторону своего глупого *Субмера*, пытаясь заставить его понять, что собирается его предать; а он, который не видит дальше кончика собственного носа, не замечает ее взгляда и спрашивает, что она имеет в виду этой глупой вспышкой, что еще больше заставляет меня вспомнить тех жирных индюков, которых заставляют глотать каштаны...

Ах! Фанни, Фанни, простой пересказ этой истории заставляет меня снова хохотать! Ложью и обманом следует просто восхищаться, особенно когда к ним прибегает болван. Такой человек словно становится все тучнее и тучнее из-за всех предпринятых им усилий стать незаметнее, ведь верно, что естественность и ложь плохо уживаются вместе.

Прощайте, завтра я буду ужинать в «*Миледи Фольвиль*»[158]. Я полагаю, что Вы сможете к нам присоединиться. Мы будем обсуждать политику и выпьем толику пунша. Мы будем держаться особняком, пить мало, никого не будем слушать и обменяемся парой язвительных слов.

À mademoiselle de Rousset

К г-же Руссе, где бы она ни находилась

[май 1783 г.]

Сударыня, уже собирался ответить на ваше письмо, и Вам наверняка бы пришлись по вкусу те предметы, которые... тем более что... что? Нет, я говорил... Вы бы были чрезвычайно тронуты, когда вдруг, когда я как раз брался за перо,

начали звонить треклятые колокола*, единственный злосчастный музыкальный инструмент, который я все еще могу услышать в этих стенах, производя адский шум. Поскольку заключенный всегда постоянно сосредоточен на самом себе и пребывает в твердой уверенности в том, что все, что происходит, происходит с ним, и только с ним одним, в его мыслях, что каждое произнесенное слово имеет смысл,— мне оставалось только решить, что этот проклятый звон обращен непосредственно ко мне и говорит, весьма отчетливо:

Мне жаль тебя, мне жаль тебя,
Жизнь пеплом сыплется, скорбя
О спешном тленье.

Я вскочил, охваченный неописуемой яростью, с единственным желанием выбежать наружу и вышибить мозги звонарю, но затем, к своему величайшему сожалению и разочарованию, увидел, что *дверь, ведущая к возмездию*, еще не открыта. Поэтому я вернулся на место, снова взял в руку перо и решил, что на самом деле мне следует ответить этому негодяю-звонарю в том же духе и тоне, поскольку другого выбора у меня нет.

Тогда я сказал:

И сердце с горечью должно
Забыть про радость и вино,
про наслажденье.

Куда ты денешься, монах,
Придешь от монастырских благ
К руке-дрочиле.

Моя же верная рука,
Хвала Создателю, пока
Все в той же силе.

Кончай же, серый капюшон!
Пусть брызнет семя, выйдет вон
дух, плотью спертый.

Одна из сущностей моих —
Тантал. Тантал! А тело — жмых,
В пыль-прах истертый.

О, что за участь! Выше сил
Знать, что не жив ты, а лишь жил.
Убийца время!

Как одиноко погибать
Зерну. Приди же в горсть собрать
Хотя бы семя

Я мученик и свой удел
Принять и осознать посмел.
Но где ж конец, но где предел
*прискорбной теме?***

На этом месте я остановился, посчитал и увидел, что все это я написал под мелодию погребальной песни. О боги! вскричал я, обращаясь к самому себе, твой рассудок так же плох, как у г-жи президентши; и, по крайней мере, так же раздут от гордости, как когда эта дама направляется домой после совещания с г-жой Гурдан. Я немедленно приступил к обработке этого шедевра, который и посылаю Вам, дабы Вы могли, сударыня, собственными глазами увидеть, как я иду на поправку и как стремительно набирает силу мое остроумие.

Кстати, сударыня, пошлите мне этих чудесных маленьких провансальских зеленых груш; в этом году у меня нет никакой

возможности их попробовать, дон Себастьян де Кипускоа наложил эмбарго на маленькие зеленые груши,— следовательно, или мне следует забыть о них вообще, или есть те, что предназначены для возчиков и посыльных,— в прошлом году были запрещены вишни, но он не получил ни малейшей выгоды от своей маленькой хитрости, потому что я за них платил; в этом году он обратился к г-же президентше за особым разрешением *немного подзаработать* на том, что мне дают,— о! пройдоха своего не упустит, в этом можете не сомневаться, и, когда кто-нибудь подает жалобу, он отвечает, что это слишком *незначительная мелочь, чтобы с этим возиться*.

Если Вы случайно встретитесь в Провансе с кем-нибудь, кому я должен годовую пенсию, или кто попросит у Вас немного пшеницы, заявите им наотрез, что это слишком *незначительная мелочь, чтобы с этим возиться*.

Прощайте, мой ангел, и все-таки думайте обо мне время от времени, когда лежите меж простыней, когда ваши бедра раздвинуты, а рука занята... поиском блох. В такие моменты напоминайте себе, что другой руке также следует найти занятие. В противном случае удовольствие вполовину меньше, чем могло бы быть.

Одна рука должна быть... занята указанным образом, а другая — делать то, что делает г-жа президентша, когда производит свои подсчеты.

* Звон доносился с колокольни церкви, которая находится по-соседству. Эти куплеты нужно или петь под колокольный перезвон, или сжечь, поскольку они не предназначены для чтения. (*Примечание Сада*.)

** Перевод С. Шелкового.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[между 3 и 11 июля 1783 г.]

В конце концов, что это за происшествие в крепости, о котором Вы постоянно твердите? Никакого происшествия здесь не было. 2 июля на крыше устанавливали громоотвод; была гроза, во время которой молния ударила в громоотвод, как и происходит в подобных случаях. Вы это имеете в виду? Если так, то это не происшествие, а эксперимент, ничего более. Несмотря на это, я не менее тронут тем, что Вы написали мне в связи с этим; но, поистине, если бы это стало причиной моей смерти, это было бы из всех возможных происшествий наименее ужасным. В сущности, в том, что касается меня, я предпочел бы такой исход всем прочим, поскольку, в отличие от других смертей, эта происходит в одно мгновение, и человек не мучается. Возможно, именно по этой причине, из всех житейских бед, смерти от удара молнии я боюсь меньше всего, поскольку даже во время самых неистовых гроз мне не приходило в голову даже закрыть окна, и, кроме того, молния никогда не вызывала во мне того природного ощущения, которое она вызывает у животных.

Что же до Вас, то еще одно происшествие: там Вы живете в большом масштабе, уютно устроившись в сладких удовольствиях своей вдовьей жизни; и рядом с Вами *ваш сын, сам юный граф*, полностью способный и готовый вступить в свои наследственные права. *Юный, красивый и богатый*, и рядом более нет отца, который может *поставить его в неловкое положение*... Какой брак! какая партия! Принцесса, самое меньшее... Честное слово, продолжайте делать то, что делаете! Да, слово

чести, если президентша имеет в своем распоряжении один из таких громоотводов, пусть нацелит его на меня — и, если все пойдет хорошо, это лучшее, что могло бы со мною случиться, чтобы Вы все стали счастливы. Более того, единственный среди Вас, кто, возможно, оплакивал бы мою кончину, это, наверное, молодой рыцарь, потому что моя смерть ему никоим образом не выгодна, и еще потому что он замечательный и чувствительный молодой человек... Но он по-настоящему меня не знает. Сколько ему было? Не больше четырех, когда я с ним расстался; его скорбь, по-видимому, не была бы слишком глубокой; он, должно быть, едва меня помнит.

Вы понимаете, что скоро Вам придется подумать о том, чтобы отправить юного графа в Прованс, чтобы люди, обитающие на его землях, могли с ним познакомиться. Ему в самом деле следует что-то узнать о своих владениях... Одним словом, никогда не знаешь, что может случиться, и очень хорошо, когда те, кто находится под юрисдикцией владельца имения, знакомы с ним лично. В какие войска он намерен записаться? Не могли бы Вы снабдить меня такой информацией?

Если ваши возвышенные занятия, г-жа маркиза, оставляют Вам время на то, чтобы подумать о том, кому Вы обязаны существованием этих отпрысков, коих Вы в настоящее время, судя по всему, обожаете до безумия и ради блага которых Вы жертвуете даже собственным мужем,— не были бы Вы так любезны вспомнить, что я уже в течение целого года лишен свежего воздуха, и это заставляет меня так ужасно страдать, что я больше совершенно не могу спать по ночам, причем, в буквальном смысле, не могу сомкнуть глаз, и что, одним словом, среди прочих способов умертвить человека, которые, возможно, присоветовали те негодяи, которыми ваша мать себя окружила, я умоляю ее выбрать тот, что наиболее скор, ибо невыносимая жара

не позволяет мне выдержать ее нынешний метод, а именно содержание меня здесь. Кроме того, я умоляю Вас попросить г-на Ленуара, чтобы ко мне прислали окулиста; я испытываю в нем крайнюю нужду. Я ясно написал ему об этом, и также говорил об этом же с г-ном де Ружемоном. Итак, я прошу Вас проследить, чтобы это было сделано как можно скорее.

Скажите Югу Обрио* (г-ну Ленуару), что он морочит Вам голову, когда говорит, что Вам нельзя приезжать сюда, пока не закончатся ремонтные работы в крепости. Когда молния бьет в громоотвод, никакого ущерба не происходит; единственные работы, которые здесь ведутся, это те, что производят садовники г-на де Ружемона, которые расширяют и украшают сад, который упомянутый Мустафа запрещает посещать кому бы то ни было из страха, что кто-нибудь полакомится его плодами.

Пошлите мне свежего постельного белья; при теперешней жаре мне без него не обойтись; у меня полностью закончилось чистое белье.

Возможно, завтра нам представится более занимательное зрелище, чем громоотвод. Маленькое наемное животное, тот, который меня ослепил, должен прийти меня брить, а за последние два года его постоянно подбивали сыграть роль *Арлекина — паралличного цирюльника*, дабы оправдать резаную рану на моем лице, которую он должен нанести. Пусть поостережется! Всякий раз, когда он меня бреет, я постоянно держу в руке очень острые ножницы, и клянусь Вам всем, что есть самого святого на свете, что, если он попытается воплотить какой-либо из своих гнусных замыслов, как он проделал это с моим глазом, я воткну эти ножницы прямо ему в сердце.

Я возвращаю глупый роман («*Бетци*»).

У Вас должно быть десять томов Велли[159]; Вы получите следующие тома только через несколько дней, поскольку, из-за

своих глаз, я устраиваю небольшую паузу каждый раз, когда заканчиваю десять томов.

«*Дабы выполнить это*». Это одна из ваших фраз. О, как ваш стиль отдает теми негодяями, с которыми Вы встречаетесь! Это в точности такое же выражение, которое используют полицейские лакеи, информаторы и шпионы, Юги Обрио, Альбаре этого мира, и весь остальной мерзкий сброд, который оскверняет Францию и которых я бы всех, от первого до последнего, сжег бы на костре, если бы это было в моей власти. Поэтому избавьтесь от таких избитых выражений, ибо, если Вы будете прибегать к подобному жаргону, Вас примут за жену полицейского; и никто не захочет и близко к Вам подойти. Оставьте подобный язык г-же президентше; стрекала созданы для свиней.

Прошу Вас, не забудьте выполнить все то, что содержится в последнем списке, который я Вам послал, без каких-либо исключений.

* Предводитель парижан, которые во времена правления Карла VI подняли восстание, и начальник военной полиции парижских лавочников, который, таким образом, руководил всей полицией в столице. (*Примечание Сада.*)

À madame de Sade

К г-же де Сад

[июль 1783 г.]

Соблаговолите сказать мне, который из двух, Святоша Кордье[160] или Старина Фулуазо, возражает, чтобы мне посылали рубашки. Вы можете отказывать в чистом белье больничным пациентам, но я лично не собираюсь без него обходиться.

Насколько же Ваша подлость, подлость Вашего происхождения и подлость Ваших родителей, сквозит в каждом вашем поступке! Моя голубка, в тот день, когда я настолько забылся, что возжелал продать Вам то, кто я есть, возможно, я и поступил так, чтобы уложить Вас в постель,— но вовсе не для того, чтобы остаться без штанов. Вы и ваша шайка, хорошенько запомните то, что я говорю, пока у меня не появится возможность это опубликовать.

Если я и использую столько белья, то вините в том прачку, которая ежедневно теряет или рвет на клочки все мое белье, что попадает ей в руки, и, вместо того чтобы убеждать меня, настоятельно посоветуйте его превосходительству начальнику отдать указания исправить такое положение дел. Не проходит и месяца, чтобы мне это не обходилось в восемь-десять франков. Следует ли допускать подобные вещи?

Во всяком случае, я заявляю Вам, что, если в течение следующих двух недель белье, которое я прошу, не придет, я буду рассматривать это как очевидное доказательство того, что меня вот-вот освободят, и примусь собирать свой багаж; только мое близкое освобождение может оправдать Ваш глупый отказ прислать мне что-то, чтобы прикрыть спину. Пусть только уберут сумасшедших из этого заведения, и тогда человек будет с меньшим нежеланием использовать то, что здесь выдают, тогда он мог бы и не просить, чтобы ему все время посылали вещи из дома.

Это место не было предназначено для умалишенных; их следует помещать в Шарантон, а не сюда, и, судя по всему, ныне полиция оставляет без внимания постыдную алчность, которая привела к тому, что таких людей держат здесь под замком, вследствие чего те, кто сохранил разум, рискуют его лишиться, заразившись безумием. Но полиция терпит это, так же как тер-

пит все остальное, кроме непочтительного отношения к шлюхам. Вы можете быть виновны в любых возможных преступлениях и подлостях до тех пор, пока уважительно относитесь к задницам потаскух,— это необходимое условие, и за объяснением не нужно далеко ходить: шлюхи платят, а мы — нет. Как только я выйду отсюда, мне тоже нужно будет постараться обеспечить себе протекцию полиции: у меня так же, как и у шлюхи, имеется зад, и я буду рад, если ему окажут уважение. Я разрешу *г-ну Фулуазо* взглянуть на него — даже облобызать, если ему будет угодно, и я весьма уверен, что, *тронутый* такой перспективой, он сразу же включит меня в список своих протеже.

Мне рассказали, что по прибытии в Париж (когда Вы устроили мой арест) именно так Вы выхлопотали, чтобы Вас освидетельствовали. Прежде всего встала задача определить, подвергалась ли рассматриваемая задница поруганию,— поскольку моя добрая теща утверждала, что я поругатель задниц. Соответственно, она хотела, чтобы ее освидетельствовал специалист. Насколько я понимаю, говорила она тогда следующим образом: «Видите ли, господа, видите ли, он сущий дьявол, средоточие порока; он мог даже... возможно... кто знает? У него в голове такое распутство!..» И вот, я представляю, как Вы стоите, задрав юбки. Судья Ленуар поправляет очки, Альбаре держит лампу, альгвасилы Ленуара приготовились записывать. Доклад о состоянии вышеупомянутого объекта был составлен в следующих выражениях:

«*Итак*, прибыв в указанный Датский Отель по просьбе дамы Монтрей, урожденной Кордье, Марии-Магдалины, мы обнажили указанную Пелажи дю Шоффур, дочь вышеупомянутой, и, тщательно произведя должный и всесторонний осмотр, заявляем, что указанная дю Шоффур как следует и должным

образом оснащена комплектом из двух весьма привлекательных ягодиц, превосходной формы и девственных как внутри, так и снаружи. Мы приблизились лично и велели нашим помощникам подступить почти так же близко к указанной части тела. Они, на собственный страх и риск, высматривали, раздвигали, нюхали и прощупывали, и, поскольку они не обнаружили, как и мы сами, в данных частях ничего, кроме здоровья, мы выдали сей документ, использовать который можно и должно в соответствии с законом; и далее, на основании описанного выше показа даровали указанной *Пелажи дю Шоффур* доступ к Трибуналу и нашу могущественную защиту в будущем.

Подписано: Жан-Батист Ленуар, чрезвычайный и полномочный шутник в Париже и прирожденный защитник борделей в столице и окрестностях».

Ну что? Так все и было? Ну ладно Вам, будьте другом, скажите... *Вдобавок ко всему этому*, или, если Вам угодно, *вопреки всему этому*, Вы не прислали мне и четвертой части того, что я просил.

Начнем с того, что мне нужно белье,— решительно, оно мне необходимо, в остальном я готов к отъезду; затем четыре дюжины меренг; две дюжины бисквитов (больших); четыре дюжины шоколадных пастилок, с ванилью, а не той дряни, что Вы прислали мне под видом сладостей в прошлый раз.

Вы скажете мне, что это за двенадцать четвертных листов бумаги? Я не просил у Вас никаких четвертных листов; я попросил у Вас тетрадь взамен той, в которой содержится комедия, что я Вам передал. Пришлите мне такую тетрадь и перестаньте трещать языком, это весьма утомляет. И подтвердите получение моей рукописи. Мне бы вовсе не хотелось, чтобы она затерялась. До поры до времени она должна спокойно лежать в ящике

стола, в целости и сохранности; позднее, когда ее надо будет отдавать в типографию, ее можно будет выправить. До того времени нельзя, чтобы она потерялась. В том, что касается рукописей, то их можно черкать, править, подчищать — они для этого и предназначены; однако ни в коем случае не предназначены для того, чтобы их крали.

Ради Бога! когда Вам, наконец, наскучит заниматься подхалимством? Если бы Вы хоть раз заметили, что Ваши подобострастные штуки достигли успеха, я бы ничего не сказал; но сейчас, по прошествии почти семи лет, чего Вы этим добились? Ну давайте, скажите. Вы стремитесь к моей погибели? Вы хотели бы пошатнуть мой рассудок? Если так, тогда Вы будете замечательно вознаграждены за свои усилия, ибо клянусь всем святым, что отплачу Вам за каждый из ваших фарсов, причем сполна; я заверяю Вас, что воспроизведу их дух с такой искусностью, что Вы поразитесь, и заставлю вас всех до конца ваших дней осознавать, какими Вы были чудовищными идиотами. Должен признаться, что я долгое время полагал, что Ваш Ленуар не имеет никакого отношения к этим чудовищным делам, но, поскольку он продолжает с ними мириться, одно это доказывает, что он и сам в них участвует, и убеждает меня, что он такой же чертов дурак, как и остальные.

Не забудьте ночной колпак, очки, шесть кусков воску, «*Исповедь*» Жан-Жака[161] и куртку, которая у Вас имеется, судя по утверждениям г-на де Ружемона. Я возвращаю скучный роман и тома 4 и 6 Велли. К ним я присовокупляю огромный привет меж ягодиц и, дьявол меня забери, намерен усладить себя легким движением руки в их честь! Только не надо бежать и докладывать об этом президентше, ибо, будучи доброй янсенисткой[162], она против того, чтобы жен *молинизировали*[163]. Она утверждает,

что г-н Кордье никогда не опорожнялся иначе, как в ее сосуд размножения, и что тот, кто следует любым иным курсом, обречен гореть в аду. И я, который получил иезуитское воспитание, я, который узнал от отца Санчеса[164], что следует избегать погружения в глубины, недоступные твоему пониманию, и следить за тем, чтобы не *плавать в пустоте*, поскольку, как нас учит Декарт, *природа не терпит пустоты*[165], я не могу согласиться с мамочкой Кордье. Но Вы философ, у Вас самая прелестная манера ошибаться, Вы так ограниченны в неверности своих толкований и у Вас такой жар в *заднем проходе*, что мне удается так хорошо с Вами ладить.

Я действительно Ваш, поистине Ваш.

Сразу, как получите это письмо, пожалуйста, лично сходите к г-ну Гранжану, окулисту, на улицу Галанд, что возле площади Мобер, и скажите, чтобы он немедленно послал г-ну де Ружемону те лекарства и инструменты, которыми он обещал снабдить заключенного, которого он посещал в Венсенне; и раз уж Вы там будете, зайдите к *Вашему покровителю Ленуару* и скажите, чтобы он договорился, чтобы мне позволили подышать свежим воздухом. Он может наслаждаться им сколько угодно, этот Ленуар, хотя он гораздо более зловредный человек, чем я: я отшлепал пару задниц, да, я этого не отрицаю, а он поставил миллион душ на грань голодной смерти. Король справедлив: пусть его величество выберет между мной и Ленуаром и велит колесовать того, кто более виновен, я предлагаю это с твердой уверенностью.

В добавление к невыполненным поручениям и тем, что я попросил выполнить выше, пожалуйста, позаботьтесь достать для меня одну пинту одеколона, налобную повязку и полпинты душистой апельсиновой воды.

À madame de Sade

К г-же де Сад
[июль 1783 г.]

Моя милая королева, поистине нет ничего более забавного, нежели наглость Ваших лакеев. Если бы было меньше уверенности в том, что Ваши числа — головоломки (кстати, с моей точки зрения, прекрасно сочетающиеся), Ваших мальчиков на побегушках ожидала бы сейчас добрая порка. Ах, вот что! хотите услышать последние новости? Они предлагают мне свои прикидки в отношении того, сколько мне тут еще оставаться! Какой фарс! Это Вам, очаровательная принцесса, это Вам, которая собирается поужинать в интимной обстановке с г-жой Тюремщицей (сегодня в больнице), повторяю, это Вам, моя коварная, следует измерять температуру моим захватчикам, Вам нужно вычислять, когда им будет угодно выпустить меня из конуры, это Вам следует поинтересоваться мнением моих светлостей Мартена, Альбаре, Фулуазо и других негодяев этой породы, которых Вы соблаговолите позволить мне, с моей стороны, посчитать ломовыми клячами, которых следует хлестать кнутом или заставлять обслуживать общественные нужды в любой час и в любую погоду.

Отказывать мне в «*Исповеди*» Жан-Жака — это просто замечательно, особенно после того, как Вы послали мне Лукреция и диалоги Вольтера; такое поведение демонстрирует огромную проницательность и способность к глубокому анализу со стороны ваших духовных наставников. Увы, они оказывают мне много чести, считая, что слишком опасно давать мне читать творения деиста; так оно и было бы, если бы я все еще находился на прежнем уровне. Вы не совершенны в ваших методах врачевания, мои достойные целители души! Да будет Вам известно, что та ста-

дия, которой достигла болезнь, определяет, хорошо или плохо специфическое лекарство для пациента, а не само лекарство. Русских крестьян лечат от лихорадки мышьяком; однако на такое лечение желудок хорошенькой женщины отреагирует не слишком хорошо. Это подтверждение тому, что все относительно. Пусть это и служит вам, господа, критерием, и пусть у вас хватит достаточно здравого ума, чтобы понять, когда вы посылаете мне книгу, о которой я прошу, что, в то время как Руссо, возможно, и представляет угрозу для таких тупоумных фанатиков, как вы, на меня он действует благотворно.

Для меня Жан-Жак — это то же, что для вас «*Подражание Христу*»[166]. Этика и религия Руссо для меня строги и суровы: я читаю их, когда ощущаю необходимость улучшить себя. Если вы не хотите, чтобы я стал лучше, чем я есть, тогда что ж Вы молчите, сейчас самое время мне об этом сказать! Для меня благо — это состояние, как неудобное, так и неприятное, и я прошу всего лишь, чтобы меня оставили в покое и позволили барахтаться в своем болоте: мне в нем нравится. Господа, вы воображаете, что ваш *pons asinorum*[167] должен быть использован и должен преуспеть со всеми; и вы ошибаетесь, я вам это докажу. Существует тысяча случаев, когда приходится мириться со злом, чтобы уничтожить порок. Например, я готов биться об заклад, Вы вообразили себе, что просто обречены свершить чудеса, навязав мне жестокое воздержание в том, что касается *плотского греха*. Что ж, вы ошибались: вы произвели в моем мозгу фермент, благодаря вам, у меня возникли иллюзии, которые мне придется посчитать реальными. Когда это начало происходить, вы только лишь укрепили и ускорили развитие. Когда разводишь под горшком слишком большой огонь, то прекрасно знаешь, что его содержимое закипит и выплеснется через край.

Если бы мне поручили вылечить *г-на Шесть*, я бы подошел к этому совершенно иначе, и, вместо того чтобы заточать его среди каннибалов, я бы на некоторое время окружил его шлюхами, причем снабдил бы его этими шлюхами в таких количествах, что черт меня побери, если бы после этих семи лет в его лампе осталась бы хоть капля масла! Когда имеешь дело со слишком норовистым жеребцом, то его нужно гонять галопом по пересеченной местности, а не запирать в стойле. Так вы могли бы направить *г-на Шесть* на *правильный путь*, на то, что называют *«достойной стезей»*. Вы бы положили конец этим *философским отговоркам*, этим окольным практикам, которые не признает Природа (словно Природа имеет ко всему этому какое-то отношение), этим *опасным* полетам слишком пылкого воображения, которое, постоянно находясь в страстной погоне за счастьем и не способное найти его нигде, заканчивает тем, что заменяет реальность иллюзиями и законное наслаждение непристойными обходными путями... Да, окруженный гаремом, г-н Шесть стал бы другом женщин, он бы открыл и почувствовал, что нет ничего прекраснее, ничего замечательнее их пола, и что вне их пола нет спасения. Занятый исключительно служением дамам и удовлетворением их утонченных желаний, г-н Шесть пожертвовал бы всеми своими пристрастиями. При занятии лишь подобающими практиками благопристойность вошла бы у него в привычку, и эта привычка приучила бы его разум подавлять склонности, которые до той поры мешали ему получить удовольствие.

Все лечение завершилось бы успокоением и умиротворением нашего страдальца; и вот! посмотрите, как я заставил его вернуться к добродетели из пучин порока. Ибо, опять-таки, для очень испорченного сердца добродетель — это всего лишь чуть меньший порок, чем другие. Не думайте, что это детские иг-

рушки — вытащить человека из бездны; одно лишь ваше предложение спасти его, заставит его еще сильнее цепляться за то место, где он находится. Удовлетворитесь тем, что вы пробудили у него вкус к вещам в их более мягких формах, но по сути таким же, как те, от которых он склонен получать удовольствие. Мало-помалу вы вытащите его из клоаки. Но если вы будете торопить его, понукать, если вы попытаетесь отнять у него все сразу, вы только вызовете в нем еще большее раздражение. Желудок приучается к диете лишь постепенно; вы испортите его, если неожиданно вовсе лишите его пищи.

Конечно, есть некоторые души (и из таковых мне известны одна или две), которые настолько сильно погрязли во зле и которые, к несчастью, находят в нем такую притягательность, что, каким бы незначительным ни было исправление, оно бы ощущалось ими болезненно; похоже, что во зле они чувствуют себя как дома, что там их обитель, что для них зло — все равно что естественное состояние, никакие попытки освободить их из него не принесут успеха: для этого потребовалось бы вмешательство высшей силы, но, к несчастью, небеса, которые к вопросу добра и зла в человеках относятся с величайшим равнодушием, никогда ради этого не сотворят чуда. И, что более всего необычно, глубоко испорченные души не жалеют о своем положении; все волнения, все неприятности, все заботы, которые несет с собой порок, вместо того чтобы причинять им мучения, скорее, радуют их, что можно уподобить строгости госпожи, которую человек нежно любит и будет огорчен, если ему не удастся, дабы угодить ей, испытать страдания. Да, моя прекраснейшая из прекрасных, клянусь Богом, как же хорошо я знаком с некоторыми подобными душами! О! и насколько же они опасны! Да избавит нас Всевышний, тебя и меня, от сходства с ними, и, дабы обрести Его прощение, давай оба, прежде чем лечь в наши по-

стели, опустимся на колени и прочтем «*Отче наш*» и «*Аве Мария*», и пару «*Оремус*» во славу г-на *Святого* [настоящее имя в письме вымарано]. (Это знак.)

С огромным поцелуем в каждую из Ваших ягодиц.

Я бы хотел напомнить Вам, что раньше, когда погода была такой же теплой, как нынче, Вы посылали мне костный мозг, и что его больше не осталось; я умоляю Вас обязательно прислать мне некоторое его количество к 15-му числу сего месяца. И кроме того, две повязки на глаза, чтобы не пришлось ждать, когда потребуется новая; пришлите самую широкую и самую темную, какую сможете найти.

Прилагаю точные размеры футляра, который я был бы очень Вам обязан, если бы Вы для меня заказали, в общем он такой же, как те, что Вы мне присылали, но указанных размеров, причем они должны быть соблюдены до шестнадцатой доли дюйма, и с крышкой, которая завинчивается в трех дюймах от дальнего торца. Никаких петель или костяных защелок, как в прошлый раз, потому что они не держатся. Этот футляр (поскольку Вашим исповедникам так уж необходимо все объяснять) предназначен для хранения свернутых в рулон планов, гравюр и нескольких небольших пейзажей, которые я нарисовал красными чернилами. И я искренне полагаю [*одно или два слова вычеркнуты*], если бы он был предназначен для монашки, следовало поместить [*несколько слов вычеркнуто*]. Пожалуйста, займитесь этим поручением как можно быстрее; мои планы и рисунки валяются где попало, я не знаю, куда их девать.

Те, кто говорят Вам, что у меня достаточные запасы белья, ошибаются. У меня осталось всего четыре рубашки, которые еще можно носить, и совершенно нет носовых платков и полотенец.

Посему пошлите мне то, что я просил, прошу Вас, и прекратите ваши глупые шутки на эту тему. Пришлите мне белье, побольше белья... Ба! не бойтесь, у меня впереди еще масса времени, и я успею его сносить.

Témoignage

Свидетельство

31 августа 1783 г.

Настоящим удостоверяю, что фарс, имевший место 31 августа 1783 г., если не считать того, что он был несколько однообразным, ибо ранее имелось примерно восемнадцать других, которые напоминали этот последний до мельчайших подробностей,— повторяю, за этим исключением, указанный фарс был исполнен в высшей степени безукоризненно.

Указанный охранник был чрезвычайно дерзок и сказал — точно его цитирую,— что он больше не может одалживать свои деньги, что ему нужно кормить жену и детей; что, когда кому-то нужно потратиться на что-то, ему следует иметь средства, чтобы за это заплатить, и что не следует ожидать, что с тобой будут обходиться иначе, чем с остальными, если ты находишься не в том положении, чтобы просить каких-то одолжений; что он долее не желает предоставлять какие-либо денежные авансы, и все, что нужно сделать господину,— это, чтобы ему поскорее прислали денег и проч., и все это было исполнено с рвением, энергией и пафосом.

Он залился пунцовым румянцем. Его проказа (ибо Вам стоит узнать, что мне здесь решили назначить для обслуги прока-

женного, и что, как бы я ни протестовал против этого, дело это совершенно пустое; однажды я поинтересуюсь, не король ли это распорядился, чтобы заключенных обслуживали прокаженные), так вот, его проказа стала лиловой; и я удостоверяю, что даже Лекэн[168] в самых могучих проявлениях своего вдохновения не представлял более прекрасного зрелища.

В свидетельство чего я вручаю ему настоящий документ, дабы надлежащее вознаграждение было выплачено ему в полной мере и вовремя.

Де Сад

À madame de Montreuil

К г-же де Монтрей

2 сентября 1783 г.

Сударыня, я весьма редко надоедаю Вам, и Вы должны волей-неволей поверить, что когда я это делаю, то лишь потому, что к этому меня подвигает чрезвычайно срочная и настоятельная нужда. Из всех многочисленных ударов, которые Вы мне нанесли с тех пор, как я здесь нахожусь, ни один не причинил мне более глубокой раны, чем тот, которым Вы разорвали на куски мое сердце. Вы участвуете в сговоре, попытке заставить меня поверить в то, что моя жена позорит свое имя. Возможно ли, о великий Боже, что где-нибудь еще существует мать, которая или терпит подобные подлости, или делает все, чтобы убедить своего зятя в том, что они правдивы! Ваш план отвратителен, но то, что скрывается за ним, ясно как день, сударыня. Вы хотели бы разлучить меня с моей женой и, как только

я выйду отсюда, позаботиться, чтобы я не пытался снова с ней помириться.

Насколько же сильно Вы ошибаетесь в отношении моих чувств к ней, если могли даже допустить мысль о том, что что-либо на свете могло бы привести к такому результату. Даже если бы Вы внушили мне, что она держит в руке кинжал и пытается вонзить его мне в сердце, я бы бросился к ее ногам и сказал: «Бей, я это заслужил». Нет, сударыня, ничто в целой вселенной не сможет отдалить ее от меня, и я продолжу поклоняться ей, каким бы способом она ни решила мне мстить.

Мне слишком много нужно искупить, великий Боже, мне нужно исправить слишком много проступков! Не позволяйте мне умирать в беспомощном состоянии, не имея возможности заставить ее забыть мои заблуждения. Любовь, почтение, нежность, благодарность, уважение к ней,— все чувства, которые может вместить в себе душа, слиты воедино в моем сердце, и во имя всего этого, должен Вам сознаться, сударыня, а не из-за крика совести я умоляю Вас вернуть ее мне, как только я выйду отсюда. Неужели Вы могли хоть на мгновение подумать, что столь долгое нахождение в тюрьме не дало мне довольно пищи для размышлений? Неужели Вы действительно думаете, что мое заточение не заставило меня испытать раскаяние?

Я прошу у Вас, сударыня, лишь об одной услуге, а именно дать мне возможность доказать это. Я даже не думаю о том, чтобы Вы поверили мне на слово. Я хочу, чтобы меня подвергли испытанию. Пусть нам позволят снова оказаться вместе, под тем надзором и в той стране, которую Вы выберете. Пусть за нами следят с утра до вечера, столько лет, сколько Вы пожелаете, и, при первом признаке какого-либо дурного поведения с моей стороны, каким бы незначительным оно ни было, пусть ее заберут у меня, и пусть мне больше никогда не позволят ее увидеть,

и пусть у меня в последний раз отнимут свободу, или, если угодно, пусть лишат меня жизни,— я готов согласиться на все, что хотите. Нужно ли мне добавлять еще что-либо, сударыня? Могу ли я еще больше раскрыть Вам свое сердце? Пожалуйста, проявите хоть малую толику сострадания к моему положению! Оно убийственно.

Я знаю, что, говоря это, даю Вам возможность порадоваться, но мне на это наплевать. К несчастью, я слишком сильно обеспокоен Вашим спокойствием, сударыня, чтобы испытывать хоть ничтожное сожаление по поводу того, что даю Вам возможность позлорадствовать на мой счет. Если вашей целью было увидеть, как я пресмыкаюсь в смирении, в глубинах унижения, в состоянии отчаяния и мучительных страданий, таких немилосердных, какие может испытать человек,— тогда, сударыня, наслаждайтесь своим триумфом, ибо Вы достигли своей цели; пусть кто-нибудь попробует сказать, что на свете есть хоть одно существо, чья жизнь ему дороже, чем ее жизнь дорога мне. Пусть небо будет моим свидетелем, когда я говорю, что если мне и суждено сохранить ее, то только для того, чтобы попытаться снова привести в порядок свою жизнь, только постараться исправить вред, причиненный праведной и чувствительной душе Вашей обожаемой дочери, которой, в ужасном исступлении моих диких помрачений ума, я причинил великую боль и страдания.

Ах! Господь Всевышний, как глубоко мое отчаяние и как я скорблю о том, что заставил ее страдать! Кроме того, сударыня, как религия, так и Природа не дозволяют Вам продолжать свое мщение до самой смерти; они запрещают Вам отворачиваться от моего покаяния и пренебрегать моим искренним желанием исправить причиненный вред. К этой пылкой мольбе, сударыня, я прибавляю еще одну, а именно искренне Вас умо-

ляю, чтобы меня не выпускали из тюрьмы, если Вы не имеете намерения увидеть наше воссоединение с женой. Умоляю Вас, не бросайте меня в новую пучину несчастий; не нужно, чтобы меня выпускали только лишь для того, чтобы снова арестовать на следующий день. Ибо, предупреждаю Вас, сударыня, именно так и случится.

Я не могу ни на мгновение представить себя свободным человеком, если только не окажусь снова в ее объятиях. Если бы Вы спрятали ее где-нибудь в утробе земли, я бы отыскал ее и похитил. В ту самую минуту, как я окажусь на воле, я отправлюсь к г-ну Ленуару и снова попрошу его вернуть мне жену. Если он откажет мне, я брошусь к министру, а если и эта попытка не увенчается успехом, или какая-либо иная, которую мне придется предпринять, то я кинусь в ноги королю и попрошу его вернуть мне то, что дали мне небеса и что никто на свете не может у меня отнять. Даже если бы они поставили на моем пути всевозможные препоны, если бы меня снова бросили в тюрьму,— что ж, я бы предпочел это, в тысячу раз скорее предпочел бы это, чем жить на свободе без нее.

По крайней мере, в оковах моя совесть спокойна; она утешается знанием того, что мне невозможно возместить ей причиненный вред. Если я буду свободен, мои передвижения не будут ограничены, и тогда будет совершенно необходимо, чтобы я или восполнил ей причиненный вред или расстался с жизнью. Не толкайте меня снова в новые неприятности, умоляю Вас, сударыня, и пусть меня не выпускают отсюда, если мне не суждено воссоединиться с нею, и тогда лучше оставьте меня там, где я нахожусь.

Будьте добры позволить мне повидаться с нею как можно скорей, и я смиренно прошу Вас позаботиться о том, чтобы мы встретились наедине. Мне нужно сказать ей весьма интересные

и весьма особенные вещи, которые Вам следовало бы скрыть от посторонних лиц, независимо от того, считаете ли Вы их достойными доверия.

Позвольте сказать Вам, сударыня, что, заканчивая это письмо, которое, клянусь, будет последним, которое я пишу кому бы то ни было, независимо от того, сколь долго еще продлятся мои мучения, позвольте мне сказать, что я припадаю к Вашим стопам и прошу у Вас прощения за все, лишь бы вырваться из кошмара моей участи. Не усматривайте в этом послании отчаяние человека, который потерял рассудок, но скорее воспринимайте его как отражение истинных чувств моего сердца. Я с надеждой ожидаю плодов вашего сострадания, сударыня; я умоляю о нем безо всякого стыда, и, обращаясь к Вам, я краснею только лишь за свои проступки.

С уважением, остаюсь Вашим самым покорным и самым послушным слугой.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[начало сентября 1783 г.]

Умоляю Вас писать мне. Я тревожусь о Вашем здоровье. Вы никогда еще не пропускали такой долгий срок без того, чтобы послать мне весточку о себе. Попытка уничтожить интерес мужа к своей жене — это один из наиболее изощренных приемов, которые когда-либо существовали; в этом есть нечто поистине ангельское; это деяние, которое я могу охарактеризовать только как вдохновленное. Великие люди известны вели-

кими делами! Я убежден, что человек, который описал состояние моих страданий, сказав:

«и его жена пропускала восемь или десять месяцев, не посылая ему ни строчки»,—

о да, я убежден, что негодяй, который выдумал подобную фразу, должен считать себя более великим, чем *Александр*, и более мудрым, чем *Ликург*. Это примерно в том же духе, что и проповедь, которую они день за днем вбивают мне в голову.

Они написали: «*Поскольку в нем не прибавилась вера в непостижимые таинства религии Христовой, ему в голову вбивали проповедь каждый день в течение шести месяцев; и таким образом Вы поймете, что именно это заставило его поверить в то, что Бог и хлеб — это одно и то же*».

Это примерно в том же духе, в котором обращали на путь истины антипапистов в Севеннских горах. Поскольку это происходило менее чем восемьдесят лет назад, каждый из нас прекрасно помнит, как хорошо это у них получилось.

О, нет, нет! Я клянусь всем самым святым, что никогда не поверю урокам бога, который верит, что, дабы почтить творца, нужно обращаться с его творением самым оскорбительным образом. Возводите свои нечестивые храмы, поклоняйтесь своим идолам, о, мерзкие язычники! Но пока вы нарушаете священные законы Природы, так вам и надо: поступая так, вы вынуждаете меня ненавидеть и презирать вас.

Как бы там ни было, все-таки сообщите мне о себе, умоляю. Если то, что Вы храните молчание, это часть Вашего розыгрыша, тогда черкните словцо служащим сего заведения; они передадут его мне, и это полудоказательство Вашего существования и Вашего доброго здравия послужит мне некоторым утешением. У Вас есть повод мне написать: я сам намеренно дал его Вам два месяца назад.

Я подготовил для передачи Вам посылку; пошлите кого-нибудь за нею и заодно передайте мне пару слов. В этой посылке содержатся шесть кусков сыромятной кожи, которые нужно отбелить, и все они понадобятся мне в течение следующих двух месяцев. Что мне делать, если Вы не приготовите их, как Вы всегда делали раньше каждый год? Это поставит меня в довольно неприятное положение. Куски кожи предназначены для того, чтобы переплести мою последнюю работу, которую мне очень хочется Вам отослать, чтобы Юность мог ее переписать, и также для того, чтобы я мог заняться чем-нибудь другим, что для меня невозможно, пока старая работа лежит здесь у меня. А у меня великое желание работать; у меня есть общий план, который постоянно крутится у меня в мозгу и который я очень хочу воплотить в жизнь.

Я обязательно должен наверстать упущенное время. Меня будят каждый день в *пять часов* утра; мое зрение позволяет мне полноценно работать только до четырех часов дня. Поэтому я должен в полной мере использовать это время. Если Вас все еще хоть немного интересует то, что со мной происходит, я бы сказал Вам, что с четырех дня и до полуночи мои несчастные глаза все так же ужасно болят. Но что значит такая мелочь для дочери женщины, которой хватило наглости лишить меня чувства, которым я более всего дорожу? Но проявите терпение: если люди отказывают мне в правосудии, я все равно найду способ взять правосудие в собственные руки. У правосудия тоже есть глаза. И у меня тоже найдется *порошок*. Все, что мне понадобится, это деньги, чтобы выследить этих никчемных негодяев; а деньги я найду и воспользуюсь ими по назначению.

À madame de Sade

К г-же де Сад

19 и 22 сентября 1783 г.

Утром я получил от Вас пухлое письмо, которое показалось мне бесконечным. Пожалуйста, умоляю Вас, не нужно писать так длинно: неужели Вы думаете, что мне нечего больше делать, чем читать Ваши бесконечные повторения? Поистине, у Вас, должно быть, чудовищное количество свободного времени, если Вы пишете такие длинные письма, и, должно быть, Вы также полагаете, что у меня куча времени на то, чтобы Вам на них отвечать. Тем не менее, в целом, поскольку настоящее письмо имеет большую важность, я прошу Вас прочитать его с ясной головой и в полном спокойствии.

Я только что открыл три знака совершенно необычайной красоты. Никак не могу удержаться от того, чтобы не поделиться с Вами этим открытием. Они настолько потрясающи, что я убежден, что, читая их, Вы, несмотря на все Ваши попытки воспротивиться этому, будете рукоплескать масштабам моего гения и богатству моих знаний. О вашей клике можно сказать то же, что Пирон сказал о Французской Академии: «Вы, коим число сорок, обладаете разумом четырех». В вашем случае — то же самое: у Вас шестерых разум двоих. Что ж, в таком случае, со всем вашим коллективным гением и, несмотря на то что Вы работаете над своим шедевром всего лишь двенадцать лет, готов поставить два к одному*, если хотите, что мои три знака стоят больше, чем все, что Вы делали до сих пор... Погодите-ка, я ошибся, честное слово, их четыре... Так вот! три или четыре, а, как Вы знаете, три четвертых — это сильное число.

Первый знак, который я придумал: Кристофер де Сад[169].

Первое, что Вам следует вырезать или вырвать, чтобы предложить моему вниманию, — это яйца кадета де Базоха (Альбаре). Пришлите мне их в коробке. Я открою эту коробку, испущу восхищенный крик и затем скажу: «О Боже! Что же, черт подери, это может быть?» — Жак-суфлер, который будет находиться здесь же, где-то за моей спиной, ответит: «*Ничего, сударь; разве Вы не видите, что это число 19?*» — «Нет!— воскликну я, что-то я этого не вижу».— «Со всем уважением, разве у Вас есть что-нибудь, что могло бы с этим сравниться?»

Второй знак, тот же автор:

Когда Вам захочется указать *цифру 2, дубль, дубликат, вашу собственную копию, двойную оплату за что-либо* и проч., вот как Вам следует это сделать: Вам нужно поместить в мою комнату прекрасное создание в некоей театральной позе (пол для меня значения не имеет; в некотором смысле я похож на Вашу собственную семью: я не очень разборчив в этом отношении; и, кроме того, поскольку мы имеем дело с *бешеным псом* и проч.), как я говорил, Вам нужно поставить прекрасное создание в позе, не такой уж далекой от позы Венеры-Каллипиги, во всем ее великолепии[170]. Я ничего не имею против этой части тела; подобно вашему отцу-судье, я придерживаюсь мнения, что она пухлее, чем остальные, и, как следствие, для любого, кто имеет сильную предрасположенность к плоти, она всегда лучше, чем то, что можно назвать *тощим*. Войдя в комнату, я скажу (из соображений приличия) суфлеру или тому, кто там будет находиться: «Во имя всего святого, что это за непристойный объект?» И суфлер ответит: «Сударь, это всего лишь копия».

Третий знак, снова из того же источника:

Когда Вам захочется выступить в качестве основного посредника для кого-нибудь, как Вы это сделали нынешним летом в отношении грома и громоотвода (что мне показалось настолько забавным, что я чуть не помер со смеху), Вам следует поджечь бочку с порохом (которая стоит прямо рядом с кроватью, на которой я сплю): эффект будет потрясающий.

О! Это самый замечательный, разве не так?
И наконец, четвертый:

Когда Вам придет в голову сотворить девятистороннее 16 (слушайте меня внимательно), Вы должны взять два черепа[171] (два, слышите? Я мог бы сказать «шесть», но, хотя я и служил в королевских драгунах, человек я достаточно скромный), и, когда я буду прогуливаться в саду, Вы подложите мне их в мою комнату, чтобы я обнаружил их, когда вернусь с прогулки. Или еще Вы можете мне сообщить, что получили для меня посылку из Прованса; я поспешу ее вскрыть... и вот, пожалуйста — меня охватит панический страх (ибо я от природы исключительно робок, что и доказал один или два раза в жизни).

Ах, люди добрые, добрые и славные души! Поверьте мне, когда я говорю, что Вам следует прекратить попытки придумывать такие обычные, такие пресные вещи, такие примитивные, что они *не стоят времени* и усилий, которые Вы на них потратили. Существует множество других вещей, которыми Вы могли бы заняться, вместо того чтобы строить планы и козни, и если у человека отсутствует воображение, то ему гораздо лучше заняться изготовлением обуви или подсвечников, чем придумывать *неуклюже, неловко и глупо.*

19-го, но отправлено 22-го

Кстати, пришлите мне белье; и скажите тем, кто *думает*, что мне следует научиться ухаживать за собой самому, что им следует *переменить свое мнение*, потому что г-н де Ружемон, который разбирается гораздо лучше, чем они, только что решил, что моя печка нуждается в срочном и основательном ремонте, и сейчас этим занимается. Поэтому хотя бы раз в жизни, почему бы нам всем не попытаться предпринять усилия в одном и том же направлении, если это возможно, ибо, хотя вы все — подлая и жалкая банда, тем не менее, нам следует честно постараться, чтобы одни не тянули влево, когда другие тянут вправо. Тяните так, как делает г-н де Ружемон; это человек весьма здравомыслящий, который всегда тянет в правильном направлении... или позволяет другим тянуть его, когда он не тянет сам. — Мой слуга посылает Вам привет и просит напомнить г-же президентше, чтобы она была столь любезна и не забывала о том, что она ему обещала, когда придет пора, устроить, чтобы его сына повысили и дали чин сержанта.

* Что! два к одному: неплохо сказано, верно? Разве Вы не завидуете, что не Вы это придумали? (*Примечание Сада*).

À madame de Sade

К г-же де Сад

[4 ноября 1783 г.]

Прилагаю, мой дорогой друг, небольшой образчик произведения, о котором я упоминал Вам ранее. Я собрал почти две сотни подобных характерных черт, и все я описал и организовал так, как и то, что я посылаю на Ваш суд.

Я старался строго придерживаться фактов; я только лишь добавил в детали немного местного колорита. Я боялся, что работа, которую Вы только что мне прислали, «Французские анекдоты», как говорится, заставит перо выпасть из моих рук. Но это произведение совершенно отличается от моего, это простая, скучная хронология, которой место на письменном столе любого занятого человека. Эти мои небольшие характерные черты, организованные так, как Вы видите, я надеюсь, будут звучать правдоподобно и в то же время сохранят весь флер художественного произведения. Кроме того, Вы можете судить об этом сами. Поговорить раз в жизни о беллетристике и литературе — не преступление. Я бы хотел узнать Ваше мнение о том, следует ли доводить эту работу до конца.

В случае, если Вы сочтете, что это стоит сделать, пожалуйста, пришлите мне — у меня нет времени посчитать точно — блокнот размером в четверть листа, то есть на двадцать пять страниц, того же размера, как те, что я использовал для своих комедий, с уже проставленными полями, как на прилагаемом образце. Страницы Вам пометят в писчебумажной лавке Гриффона. Я буду готов приступить 18-го сего месяца. Если к тому времени я не получу блокнот, то буду считать, что эта вещь Вам не понравилась. И больше не стану ею заниматься. Для того чтобы закончить работу, мне нужна огромная поддержка, ибо, поскольку такого рода собирание материала совершенно не по моей части, я стану им заниматься только от скуки и за неимением ничего лучшего. У меня нет ни малейшего стремления, ни малейшей склонности к этому. И если я не получу блокнот, то буду утешаться сознанием того, что в таком случае я свободен, чтобы заняться чем-нибудь, что мне гораздо больше по вкусу и приносит значительно большее удовольствие. Полагаюсь на Вас.

Я желаю Вам самого счастливого и радостного дня рождения и посылаю Вам этот пустячок в качестве букета, полагая,

как потому, что Вы лично знакомы со страной, так и потому что, как мне вспоминается, один из Ваших предков родом оттуда, что он может быть для Вас интересен. Если я ошибаюсь, простите меня, но знайте, что, совершая этот жест, я исполнен самыми благими намерениями. Пусть так и будет; и знайте, что в самой глубине своего сердца я хочу лишь искренне убедить Вас, что я Вас люблю, и что я всегда буду любить Вас, пока я жив, несмотря на все, что они могут обманом заставить Вас делать, и о чем, я вполне уверен, Вы не имеете ни малейшего понятия.

Я все получил, но, поскольку у меня, как обычно, накопились ворчания и занудства, и, возможно, даже ряд безумных встречных обвинений, я предпочитаю не осквернять письмо и посылку, чье единственное предназначение — поздравить Вас с днем Вашего рождения и показать Вам, насколько глубоко и искренне я бы предпочел отпраздновать его совершенно другим способом.

В любом случае, положите этот блокнот туда же, где хранятся мои комедии, ибо у меня нет второго экземпляра, а черновик, который я сохранил, написан довольно неразборчиво.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[начало ноября 1783 г.]

Великий Боже! как прав г-н Дюкло, когда говорит нам на странице 101 своей «*Исповеди*»[172], что *остроты адвокатов всегда отдают черной лестницей*. Позвольте мне усовершенствовать его высказывание и сказать, что *они отдают отхожим местом, нужником:* безмозглые глупости, которые изобретают Ваша мать и ее *Хранитель скрижалей*, имеют такой запах, который не потерпят ни в одном приличном сало-

не. И поэтому Вам никогда не надоедают их бред и их проделки! и поэтому нам приходится терпеть шутовские выходки и адвокатов до горького конца!

Ладно, моя девочка, упивайся этим сколько душе угодно, набивай себе полный рот, пей допьяна. Я ошибаюсь, пытаясь научить тебя правильным манерам, так же ошибаюсь, как и тот, кто попытается доказать свинье, что *торт с ванильным кремом лучше, чем дерьмо.* Но если Вы дадите мне пример неуступчивости, по крайней мере удержитесь от того, чтобы меня критиковать. Вы храните верность своим принципам, не так ли? А я — своим. Но огромное различие между нами состоит в том, что мои принципы основаны на логике разума, в то время как Ваши — всего лишь плод слабоумия.

Вы говорите, что мой образ мыслей нельзя одобрить. Вы думаете, меня это волнует? Поистине, несчастный глупец тот, кто принимает образ мыслей, который устраивает других! Мой образ мыслей происходит непосредственно от моих обоснованных размышлений; он соответствует моему существованию, согласуется с тем, как я устроен. Не в моей власти его изменить; и, если бы даже это зависело от меня, я бы не стал его менять. Тот образ мыслей, который Вы считаете неправильным, это единственное мое утешение в жизни; он облегчает мои страдания в тюрьме, он составляет все мои удовольствия во внешнем мире, он для меня дороже, чем сама жизнь. Не мой образ мыслей, а образ мыслей других служил и служит источником моего несчастья. Рассуждающий человек, который презирает предрассудки простаков, обязательно становится врагом простаков; он должен быть к этому готов и со смехом воспринимать неизбежное.

Человек путешествует по прекрасной дороге. Она полна ловушек. Он падает в одну из них. Вы скажете, что это вина пу-

тешественника или тех негодяев, которые вырыли ловушку? В таком случае, если, как Вы мне говорите, они готовы вернуть мне свободу, если я буду готов заплатить за нее, пожертвовав своими принципами или своими вкусами, мы можем распрощаться друг с другом навсегда, потому что я бы скорее пожертвовал тысячью жизней и тысячью свобод, если бы они у меня были, чем расстался с ними.

Я фанатичный приверженец этих принципов и этих вкусов; и фанатизм во мне — это продукт преследований, которые я вынес от своих тиранов. Чем дольше они будут продолжать свои притеснения, тем глубже эти принципы укрепятся в моем сердце, и я открыто заявляю, что вообще не стоит говорить со мной о свободе, если она предлагается мне только в обмен на их уничтожение.

Я говорю это Вам. Я скажу это г-ну Ленуару. Я скажу это целому свету. Если бы меня поставили на эшафот, я бы не изменил свое мнение. Если мои принципы и мои вкусы не согласуются с законами этой страны, я ни на мгновение не настаиваю на том, чтобы оставаться во Франции. В Европе есть мудрые правительства, которые не покрывают людей позором за их вкусы и не бросают их в тюрьму за их мнения. Я поеду жить куда-нибудь в другое место и буду жить там счастливо.

Мнения или пороки частных лиц не наносят вреда Государству; только нравственность общественных деятелей оказывает какое-либо влияние на общее управление страной. Верит ли частное лицо в бога или нет, обожает ли оно и почитает потаскуху или общается с ней посредством пинков и проклятий; ни та, ни иная форма поведения не поддержит, но и не сотрясет основ Государства. Но пусть судья, обязанность которого следить за снабжением данного города продовольствием, удваивает цены, потому

что поставщики платят ему за хлопоты; пусть казначей, которому доверены общественные средства, оставляет наемных работников без оплаты, потому что он предпочитает откладывать эти деньги на собственный счет; пусть камергер королевского двора оставляет несчастные войска, которым король дозволил разместиться в своем дворце, в полном составе без еды, потому что этому чиновнику нужно было устроить пышный обед в четверг перед последним днем Масленицы,— и от одного конца страны до другого будут ощутимы последствия этих злоупотреблений общественным положением; все пойдет прахом. И тем не менее вымогатель торжествует, в то время как честный человек гниет в тюрьме. «*Государство приближается к своей гибели,*— молвил канцлер Оливье[173] на заседании парламента в присутствии Генриха II,— *когда наказывают лишь слабого, а богатый преступник золотом покупает свою безнаказанность*».

Пусть король сначала исправит то, что явно дурно в правительстве, пусть он разберется с его злоупотреблениями, пусть отправит на виселицу тех министров, которые обманывают его или грабят, прежде чем приступать к подавлению мнений или вкусов своих подданных! Еще раз: эти вкусы и мнения не подорвут его трон, но недостойное поведение тех, кто находится возле трона, рано или поздно его опрокинет.

Ваши родители, говорите Вы мне, дорогой друг, ваши родители предпринимают меры, чтобы не дать мне когда-либо иметь возможность потребовать чего-либо от них. Эта в высшей степени удивительная фраза еще более необычна тем, что подразумевает, что или я, или они должны быть мошенниками. Если они думают, что я способен просить у них чего-то, что выходит за рамки Вашего приданого, то негодяй я (но не мошенник; мошенничество никогда не входило в число моих принципов,

это слишком низкий порок); а если, напротив, они предпринимают меры для того, чтобы помешать мне получить то, на что совершенно натурально должны рассчитывать мои дети, тогда мошенники они. Прошу Вас, решите, что именно, первое или второе, поскольку Ваша фраза не оставляет третьего варианта.

Вы указываете на них пальцем? Я не удивлен. Как не удивлен и теми затруднениями, с которыми они встретились, выдавая Вас замуж, или тем замечанием, которое сделал один из ваших поклонников: «*Против дочери я ничего не имею; но избавьте меня от родителей!*» Мое удивление исчезнет, если я вспомню, что они выплачивают мне Ваше приданое векселями, которые потеряли две третьих в цене; не стоит мне дивиться и тому, что те, кого заботили мои интересы, бывало, постоянно меня предупреждали: «*Смотрите, поосторожнее. Вы не представляете, с кем имеете дело*». Не следует ни в малейшей степени удивляться людям, которые предпринимают меры, чтобы не выплатить приданое, обещанное своей дочери; и я давно подозреваю, что честь произвести от Вас на свет троих детей станет моей погибелью. Несомненно, именно для того, чтобы ее обеспечить, Ваша мать так часто устраивала, чтобы посторонние входили в мой дом и крали мои бумаги. Теперь ей обойдется всего в несколько луи, чтобы сейчас какие-нибудь документы пропали из архивов нотариусов, чтобы фальсифицировали некоторые из записок, адресованных Альбаре; и, когда я наконец выйду отсюда, я все еще вполне смогу выпрашивать милостыню на улице.

Что ж, перед лицом всего этого, какой выход мне остается? Для меня в качестве утешения всегда остаются три вещи: удовольствие сообщить обществу, которое не любит те грязные трюки, что адвокаты проделывают с аристократами; надежда посоветовать королю, бросившись ему в ноги, если будет необ-

ходимость, попросить возмещения за все маленькие эскапады ваших родителей; и, если все это не будет иметь успеха, удовлетворение, для меня очень сладкое, обладать Вами ради Вас самой, мой дорогой друг, и посвятить все то малое, что все еще будет моим, Вашим нуждам, Вашим желаниям, чрезвычайному удовольствию, которое наполнит мое сердце, когда я вновь увижу, что Ваше благоденствие зависит от меня.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[23—24 ноября 1783 г.]

Очаровательное создание, Вам нужно мое грязное белье, мое старое белье? Вам известно, что это квинтэссенция утонченности? Вы видите, как я умею отделять зерна от плевел. Послушайте, мой ангел, я бы не пожелал ничего лучшего, чем удовлетворить Вас в этом отношении, ибо Вы прекрасно знаете, что я уважаю вкусы людей и их фантазии; независимо от того, какими бы странными или необычными они ни казались, я все их нахожу достойными уважения, как оттого, что мы сами не вольны ими распоряжаться, так и потому что, если по-настоящему пристально взглянуть на самые эксцентричные и самые причудливые из них, они всегда происходят из некоего принципа чувствительности. Я буду лишь счастлив доказать это, когда Вам будет угодно: Вы знаете, что никто так не умеет анализировать вещи, как это делаю я.

Поэтому, *моя возлюбленная горлица*, я бы с величайшим удовольствием удовлетворил Вашу просьбу; при этом я вынуж-

ден полагать, что проявил бы жестокость и скаредность, если бы не отдал мое старое белье человеку, который мне прислуживает. Посему я так и поступил и всегда буду так делать; но Вы можете поговорить с ним об этом; я уже упомянул об этом в разговоре с ним — только намекнул, разумеется. Он меня понял и обещал посмотреть, что можно найти. Таким образом, *моя лапочка*, пожалуйста, поговорите с ним об этом, и я уверен, что он будет лишь счастлив Вам услужить. — Ах! всемогущие небеса! если бы я мог с такой же скоростью и любезностью получать от *Вас различные вещи*, быстро изнашиваемые, если бы я только мог получить их, чего бы я только не сделал! Я бы украл их, если бы мог! Оплатил бы их золотом по весу! Я бы сказал: «Передайте их, сударь, вручите их мне сию же минуту, ибо когда-то они принадлежали той, кого я обожаю! Я вдохну ароматы ее жизни; они воспламенят флюид, который течет в моих нервах; они привнесут в недра моего бытия нечто, что было частью ее, и поистине я буду считать, что обрел счастие!» После всех этих слов, моя милая, не будете ли Вы столь любезны прислать мне свежего белья, учитывая то, как настоятельно я в нем нуждаюсь?

Вы спрашиваете меня, *мой прекрасный пернатый друг*, что бы я сказал о блокноте, содержащем 300 листов, то есть 600 страниц: что ж, *моя голубка*, на это я отвечу, что мне нужен такой блокнот, как тот, в котором содержится «*Непостоянный*».

Во имя *Мухаммеда*[174], Вы говорите, что футляр, который я у Вас попросил, причинил Вам всевозможные хлопоты[175]. Я легко могу понять, что если бы он уже был готов, то вполне мог стать источником хлопот, но, если речь пока идет всего лишь о его изготовлении, мне довольно трудно уместить в ограниченном пространстве моего мозжечка представление о том, что сам акт размещения заказа мог оказать негативное влияние на те нервы в Ва-

шем организме, которые, воздействуя на душу, вызывают ощущение боли. Они принимают Вас за сумасшедшую, говорите Вы мне; вот этого я не могу понять; и я просто не могу представить, чтобы заказ на большой футляр, сделанный маленькой женщиной, мог вызвать хоть малейшее нарушение в шишковидной железе, которую мы, философы-атеисты, склонны рассматривать как место нахождения рассудка. Все это Вы разъясните мне в свое время, а пока, пожалуйста, закажите футляр и пришлите его мне, потому что он нужен мне самым срочным образом и потому что без него я вынужден использовать самодельный чехол, который, хотя и того же размера, что и мои рисунки, имеет тенденцию их рвать.

Вы прислали мне прекрасного молодого юношу[176], *милая горлица*. Прекрасного молодого юношу: как сладко звучат эти слова для моего слуха, который в некотором смысле можно назвать итальянским! «*Un' bel giavanetto, signor*[177]»,— услышал бы я, если бы находился в Неаполе, и я бы ответил: «*Si, si, signor, mandaleto lo voglio bene*[178]». Вы балуете меня как какого-нибудь кардинала, мой прелестный пирожок... но, к несчастью, это всего лишь картина... Мой футляр, повторяю, хотя бы мой футляр, раз уж Вы оставляете мне лишь иллюзии!

Душечка моя, в этом отношении позвольте на мгновение отвлечь Вас и попотчевать историей, которая случилась в Риме во время моего пребывания. Ибо бывают времена, когда следует остановиться и насладиться моментом веселья: если Вы в этом сомневаетесь, спросите о *лейтенанте Шарле*, который приезжал всего около недели назад, дабы позабавиться и поиграть со мной в игры, объявив, что он *специальный посланник короля*.

Как бы там ни было, в Риме есть один кардинал, которого из соображений осторожности я называть не буду. Одним из любимых его изречений было, что нервный флюид, активизирован-

ный каждое утро корпускулами, исходящими из прелестей хорошенькой молодой девушки, оказывает положительный эффект на человека, делая его прилежным, энергичным и здоровым. Соответственно, матрона, которой его светлость оказал честь, сообщив эту обворожительную подробность, взяла на себя задачу каждое утро присылать в личные покои его преосвященства хорошенькую юную девственницу. Там ее встречает господин духовного звания, который осматривает ее и препровождает к кардиналу. Однажды синьора Клементина (ибо так звали матрону), не ведая об этой церемонии и зная, что прелат, полный уважения к девственницам, никогда не совершит никакого насилия над Природой и ограничится лишь поверхностным осмотром, который, в самом крайнем случае, подтвердит в его глазах то, что одинаково для обоих полов, итак, однажды синьора Клементина, не имея возможности найти ежедневное небесное создание женского пола, решила заменить его *красивым мальчиком*, переодетым девочкой. Препроводив его в покои кардинала, синьора удаляется, и господин из духовенства приступает к осмотру. «О! Ваше святейшество, какое предательство я узрел!— восклицает он.— Синьору Клементину следует ...! Мы должны сделать с ней то же самое!» Кардинал приближается, надевает очки, удостоверяется в том, что ему только что сообщили, и, препровождая дитя в свои покои, говорит: «Мир тебе, мой друг, мир тебе. Возможно, нас и надули, однако на каждого мудреца довольно простоты: *она просто подумает, что я ошибся!*»

23 октября

Раз уж мы затронули эту тему, *милый поросеночек моего сердца**, я скажу Вам, что попытался нарисовать подушку, которая мне необходима из-за того, что мой зад находится в уд-

ручающем состоянии. Я бы хотел, чтобы Вы не только увидели его, но и пощупали своим пальцем, и соответственно вырезал со всем имеющимся в моем распоряжении искусством лист бумаги, на котором я нарисовал точную копию того, какой должна быть подушка, которую я имею в виду; этот лист бумаги в точности представляет то, какой должна быть подушка; пожалуйста, пусть ее набьют перьями и конским волосом (что представляет собой великолепное сочетание) и покроют прочной тканью равномерно со всех сторон. Этот лист бумаги того размера, который мне нужен, но если будет выбор, то пусть лучше будет побольше, чем поменьше, подушка должна быть мягкая, но хорошо набитая. Если будете посылать мне эту подушку, *прелестная глазурь моих глаз*, тогда нет необходимости посылать мне стеганую подстилку; если нет, тогда она мне обязательно понадобится.

Образец чулка и маленький футляр уже направлены Вам, *кровеносные сосуды моего сердца*, и вот какой должен быть ковер: 42 дюйма в длину, 30 дюймов в ширину, сделанный из зеленой шерсти хорошего качества и отороченный со всех сторон шелковой тесьмой.

Хороши они или плохи (плохие так же полезны для меня, как и хорошие), умоляю Вас, *звезда Венеры*, пришлите мне все новые пьесы, которые ставились в том или ином театре в течение 1783 г., вместе с новыми ежегодными альманахами, то есть в конце следующего месяца или в начале января.

Вы можете быть вполне уверены, *душа моей души*, что покупки, которые я сделаю, как только выйду отсюда, и мое первое действие в качестве свободного человека — после того как я расцелую Вас в оба глаза, в оба соска и в обе ягодицы,— будет приобретение по любой цене следующего:

«Основы физики», *«Естественная история»* г-на де Бюффона, *in quarto*[179], с иллюстрациями; полные труды Монтеня[180], Делиля[181], Арно[182], Сен-Ламбера[183], Дора[184], Вольтера[185], Жан-Жака Руссо, с продолжением *«Путешественника»*[186], истории Франции и Византийской империи, все произведения, которых нет в моей библиотеке, или которые имеются лишь частично. Учитывая, насколько сильно мне хочется иметь эти книги, и то, что я непременно однажды куплю их все, пожалуйста, проверьте и посмотрите, *зеркало красоты*, какое количество из них Ваши текущие финансовые ресурсы позволяют Вам послать мне до того времени, ибо мне больше неинтересно брать их в библиотеках.

Необычайно остроумно, *моя дорогая нервотрепица*, критиковать книги и насмехаться над ними, и именно в этом отношении на самом деле ошибается г-н Дюкло, когда говорит, как я Вам уже недавно указывал, что остроты адвокатов отдают черной лестницей; ибо что может приносить большее удовлетворение, что может быть более благородным занятием, чем насмехаться над названием книги? Ни один французский писатель — ни в правление Людовика XIV, ни при Людовике XV — не достиг таких величайших вершин гения.

Я попрошу у Вас только одну вещь, а именно чтобы Вы постарались позаботиться о том, чтобы содержание книги соответствовало насмешкам над ее названием — чего до сих пор Вам сделать не удалось, ибо мне представляется невозможным читать недавно опубликованные романы, которые Вы мне прислали, хотя они действительно составляют самые прекрасные числовые символы на свете: *число 59, превращающееся в число 84 из числа 45*, одним словом, вещи, которые поистине проливают свет. Не возможно ли, о *олицетворение божественности*,

как-нибудь сделать так, чтобы все эти числа и все эти основные характеристики соединились в хороших книгах? Прежде всего, не покупайте ничего, написанного г-ном Ретифом[187], ради Бога! Он понтнефский автор, который годится только для *bibliotheque bleu*[188], и я нахожу весьма необычным, что Вам вообще пришло в голову посылать мне что-либо из написанного им. Короче говоря, присылайте мне новые романы, но будьте более разборчивы в своем выборе.

Для меня совершенно невозможно насладиться опровержением «*Системы природы*», если Вы не пришлете мне экземпляр этой книги: пожалуйста, пойдите и постарайтесь ради меня, *фиалка Эдемского сада*, и скажите им, что ни в коем случае не стоит мешать ни моей реабилитации, ни возрождению во мне *высоких принципов*. Я признаюсь, что операция будет трудной, и те незыблемые принципы, которые я приобрел за тридцать лет, будет нелегко свергнуть; но, тем не менее, им не следует делать ничего, что могло бы вовсе исключить возможность успеха в этом отношении.

О семнадцатая планета космического пространства, Вам не следует несерьезно относиться к головным повязкам или шутить на их счет. Прежде всего, женщине никогда не следует делать из головы ее мужа предмет для досужей болтовни, и, во-вторых, о *квинтэссенция девственности*, эти повязки — награда чистая и простая, они не станут частью каких-либо воспоминаний, это подарок от Вас, ничего более. И Вы хотели бы, чтобы я поверил, о *источник всего ангельского*, что этот отказ — низкий поступок? Мне хорошо известно, что у *лейтенанта Шарля*, над головой которого можно было бы насмехаться сколь угодно, имеется своя собственная острота в отношении головных повязок; но сейчас, о *символ скромности*, когда *лейтенант Шарль* заработал свои шесть ливров, мне

кажется, что Вам более ничто не мешает послать мне головные повязки. Я оставляю на ваше усмотрение их качество и количество. О *чудо Природы*, я попросил Вас прислать мне красивую пару ягодиц, когда подвернется двойной комплект, и вместо этого, кого же Вы мне присылаете, как не *лейтенанта Шарля*, который сообщает мне, что он состоит на службе у короля! *Голубка Венеры*, это то, что я называю перепутать следствие и причину.

О *роза, упавшая с груди Граций*, еще одна-единственная вещь, которую мне остается у Вас спросить, это отчего Вы отказываетесь прислать мне персикового вина? Поясните мне, если Вас это не затруднит, какова аналогия между конституциями государства и фибрами моего желудка? Возможно ли, *моя прелесть*, что одна-две бутылки персикового вина могли бы каким-либо образом нарушить Салический Закон или нанести серьезный удар кодексу Юстиниана? О *любимица Минервы*, такой отказ имеет смысл только для пьяницы, но мне, которого опьяняют лишь Ваши прелести, коими я никогда не смогу насытиться, о *амброзия Олимпа*, не отказывайте, умоляю Вас, в моем персиковом вине!

О *радость моих глаз*, я благодарю Вас за прелестную гравюру Руссо, которую Вы мне послали. *Пламя моей жизни*, когда, о, когда твои алебастровые пальчики придут и заменят оковы лейтенанта Шарля на розы твоей груди? Прощайте, я запечатлеваю поцелуй на этой груди и отправляюсь спать.

24-го сего месяца, в час ночи

* Тут не содержится ничего оскорбительного: я говорю так только потому, что свинина — одно из моих любимых блюд, а мне здесь редко выпадает возможность ее отведать. (*Примечание Сада.*)

À madame de Sade

К г-же де Сад
[конец ноября 1783 г.]

Хвала Господу, вот наконец письмо с тремя вопросами; уже прошло около девяти месяцев, как я его жду, и все это время я испытывал ужасное нетерпение. Мой футляр следует изготовить в точном соответствии с образцом, без малейших модификаций, и он нужен мне как можно скорее. Все книги, которые я у Вас просил, уже опубликованы, и Вы предпочитаете не посылать их мне только лишь для того, чтобы помучить меня, и поистине, чрезвычайно глупо и безвкусно играть со мной в игры в отношении этих книг. Из всего множества бестолковых оплошностей, совершенных Вашими консультантами и советчиками, эта наиболее вопиющая.

В том, что касается футляра, я совершенно не могу взять себе в голову, почему это должно представлять явно бесконечную проблему; все лавочники, которые занимаются такого рода товарами, изготавливают футляры на заказ, и изготовление футляра, согласно тем требованиям, которые я Вам послал, предполагает в крайнем случае определенную ширину. Но о том, что касается *folie*, ни слова. Если Вы не уверены, спросите Вашу кузину Вильет.

Вам нужно сказать своему лавочнику, что футляр предназначен для хранения *culs* — то есть *culs de lames*[189], — да, основания ламп и некоторых других небольших рисунков, которые я сделал красными чернилами, и поэтому я умоляю Вас послать его мне, потому что без него я вынужден прибегать к некоторым доморощенным средствам, что имеет тот недостаток, что мнет и рвет мои бумаги и *culs*... Я имею в виду основания ламп,

что чрезвычайно неприятно. Только лишь из чистой скромности и чтобы Вас не напугать, я попросил Вас, чтобы футляр сделали размером восемь с половиной дюймов с каждой стороны, ибо в худшем случае это было бы девять дюймов ровно, если использовать мои основания ламп в качестве модели. Но я сказал себе: девять дюймов напугают этих людей, которые и так уже боятся собственной тени, поэтому я согласился на восемь с половиной.

Как, по-вашему, я могу оценить опровержение «*Системы природы*»[190], если Вы отказываетесь посылать мне это опровержение одновременно с *той книгой, которую опровергают*? Это все равно, как если бы Вы попросили судью вынести приговор, не рассмотрев доводы, предоставленные обеими сторонами. Вам следует признать, что это совершенно невозможно, несмотря на тот факт, что «Система» — действительно и бесспорно составляет основу моей философии, и я являюсь и останусь верным последователем этой философии, даже ценой своей жизни, если до этого дойдет.

Тем не менее, поскольку прошло добрых семь лет с тех пор, когда я читал ее в последний раз, я никоим образом не могу помнить ее достаточно подробно, чтобы проследить идею опровержения и оценить его. Я бы очень хотел сделать все возможное, чтобы проверить, не ошибаюсь ли я, но по крайней мере дайте мне возможность это сделать. Пожалуйста, попросите Вильет одолжить мне эту книгу на неделю, не более, и пусть на этот счет не будет никаких отговорок, было бы чрезвычайно глупо отказать мне в книге, которую я рекомендовал бы самому Папе,— одним словом, золотую книгу, книгу, которая должна быть в каждой библиотеке и чьи принципы должны быть в голове у каждого, книгу, которая подрывает и разрушает навсегда самую опасную и самую чудовищную из всех фантазий, ту,

из-за которой на земле пролилось больше крови, чем из-за какой-либо другой, ту, против которой следовало бы восстать всей вселенной и уничтожить ее раз и навсегда, если бы у людей, которые населяют эту вселенную, было хоть малейшее представление о том, что составляет их истинное счастье и спокойствие.

Лично я не могу даже представить, что существуют люди, которые до сих пор верят религии, и могу лишь сделать вывод, что если и верят, то это только лишь притворство. Ибо в таком случае они или идиоты, люди, которые не в силах увидеть суть вещей, пусть даже поверхностно, или не могут или не захотят предпринять хоть малейшее усилие добраться до сути вопроса. Ибо не вызывает ни тени сомнения, что теизм ни на мгновение не выдерживает ближайшего рассмотрения, и нужно быть совершенно незнакомым с творениями Природы, чтобы не осознавать, что она действует сама по себе и без какой-либо первопричины, и эта так называемая первопричина, которая ничего не объясняет и которая, напротив, сама требует объяснения, это не что иное, как *nec plus ultra*[191] невежества.

Что ж, вот письмо, которое, я не сомневаюсь, продлит мое пребывание в этих стенах, Вы не согласны? Вам следует сказать моим продлевателям, что их продление — пустая трата времени, ибо, если бы они оставили меня здесь еще на десять лет, они не увидели бы ни малейшего улучшения, когда наконец выпустили бы меня, в этом можете быть уверены,— убейте меня или принимайте таким, как я есть, ибо пусть ад застынет и покроется льдом, если я изменюсь,— я говорил Вам раньше и повторяю снова: зверь слишком стар — больше не остается надежды, что он изменится,— самый честный, самый искренний, самый чувствительный из людей, самый сострадающий, самый великодушный человек, который боготворит своих детей, ради

счастья которых он пройдет через огонь, чрезмерно скрупулезный в своем желании позаботиться о том, чтобы он никогда не оказал ни малейшего негативного влияния на их нравственность и ни в коей мере не повредил бы их умы, не заставил их перенять какие-либо из его убеждений. Человек, который обожает своих родственников (под которыми я подразумеваю кровных родственников), тех нескольких друзей, которые у него все еще остались на этом свете, и прежде всего свою жену, чье счастье для него — все, и которой он более всего на свете желает возместить множество опрометчивых поступков, совершенных в молодости,— потому что факт состоит в том, что по *своей природе его жена не создана для этого*, это истина, которую я почувствовал и выразил ей за добрых полгода до того, как я очутился тут; она может это засвидетельствовать. Это то, что касается моих добродетелей.

Что же до моих пороков, то я сильно подвержен неконтролируемому гневу, во всем впадаю в крайности, обладаю распутным воображением, когда речь идет о нравственности, подобного какому не видывал свет, атеист до фанатичности,— короче говоря, позвольте мне еще раз повторить: убейте меня или принимайте таким, как я есть, ибо я никогда не изменюсь.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[первые числа января 1784 г.]

Умоляю Вас самым серьезным образом подумать о том, что Вы написали мне в отношении моего сына. Сегодня утром я торжественно поклялся в том же самом г-ну де Ружемону, и, если необходимо, я поклянусь в этом перед всей Евро-

пой. Ни одна причина на свете не заставит меня согласиться, чтобы мой сын стал младшим лейтенантом в пехотных войсках, и он им никогда не станет. Если Вы позволите ему вступить в пехотный полк вопреки моему желанию, я даю Вам слово чести, что заставлю его оставить этот род войск, и нет средств, к которым бы я не прибег, чтобы этого добиться.

Поразмыслите хорошенько над тем, что я Вам сказал, и Вы сами увидите все масштабы тех бедствий, которые неизбежно повлечет за собой такое упрямство со стороны вашей матери. Даже если бы ваш сын вступил в пехоту, имея в кармане должность командира полка, я бы все равно сопротивлялся этому изо всех сил. Я категорически не хочу, чтобы он служил в каком-либо другом роде войск, кроме кавалерии. С того момента, когда он впервые открыл свои глаза, это было то, что я планировал для него, и я ни при каких обстоятельствах не изменю своего мнения. Если понадобится 20000, нет, 40000 франков, чтобы это случилось, я готов предоставить их.

Я всегда отказывал Вам в генеральной доверенности, так же как и в праве выступать в качестве доверенного лица, и Вам это хорошо известно. Что ж, тогда в том, что касается данного вопроса, я готов продавать, закладывать, брать взаймы, лишать себя всего, что потребуется для этого, что бы это ни было, если в том будет нужда; я принял твердое решение, что он должен вступить в кавалерию. В доказательство тому нет ничего, чтобы я ни сделал, дабы удостовериться, что он не пробудет в пехоте ни одной минуты. Мне сказали, что Вы в скором времени собирались приехать меня навестить, и я был чрезвычайно рад это услышать. Если это верно, тогда Вы можете привезти с собой, мой дорогой друг, доверенность и нотариуса; я полностью готов взять на себя любое обязательство, какое Вам будет угодно, при условии, что мой сын пойдет в кавалерию. Но совершенно

точно он не будет служить ни в каком другом роде войск, и в этом я Вам клянусь еще раз.

Де Сад

Я сердечно прошу Вас, чтобы Вы запретили ему писать мне снова, пока он не поклянется подчиняться моим желаниям. Прилагаю письмо к нему. Выполнение тех поручений, которые я Вам давал, затянулось уже на шесть недель, что в высшей степени смехотворно. Я попросил у Вас всего лишь прислать не мазь, а бальзам, такой консистенции, как воск, чтобы он прилипал к той части тела, на которую его наносят, а не вытирался так, как эта штука.

Пожалуйста, пошлите мне его немедленно, ибо я ужасно мучаюсь. А у той мази, которую мне дал врач, тот же недостаток, что и у Вашей; таким образом, я практически вообще остался без ничего.

Вы прислали мне шесть бесполезных томов Коша. Мне же нужен был только седьмой, а он не входит в собрание и продается отдельно. Всегда так много денег выбрасывается в окно, и всегда просто оттого, что вещи не продумываются заранее!

Таким образом, умоляю Вас, пошлите мне труды Сен-Ламбера и те новые комедии, которые могли появиться; и еще последующие тома «*Истории Франции*» и «*Поздней Византийской империи*», и «*Путешественника*». Это то, что мне в основном нужно, и что я хочу получить в том, что касается книг, и я прошу Вас прислать их как можно быстрее.

У меня совершенно закончились чулки, причем уже давно. Поэтому их также вложите в вашу посылку. Я прилагаю остальную часть моего списка, я знаю, что все, что в нем перечислено, не встретит у Вас возражений; в будущем я поручу эту задачу

третьему лицу, поскольку мне надоело проводить свою жизнь в составлении списков.

Теперь я уже вижу по тому, куда дует ветер, что условия моего освобождения становятся все более и более сложными, и я чувствую, что для того, чтобы его добиться, меня вынудят взять на себя какое-то серьезное обязательство. Я соглашусь на любое условие, которое покажется мне резонным. Что же до всех нелепых условий — единственного результата прихотей и причуд г-жи де Монтрей, которые противоречат законам *Природы, правам отца и гражданина*,— то я настоящим клянусь, что соглашусь и на них, поскольку хочу уехать отсюда, но не имею ни малейшего намерения их соблюдать.

Возвращаю с настоящим письмом Вашу замечательную мазь.

À Louis-Marie de Sade

К Луи-Мари де Саду

[начало января 1784 г.]

У меня нет сына, способного вступить в полк, который я не одобряю. Он, возможно, сын г-жи де Монтрей, но не мой; все, что я ожидал получить от Вас, сударь, это письмо, в котором бы Вы дали мне свое слово чести, что не вступите ни в какой другой род войск, кроме того, должность в котором я для Вас получу. До тех пор я сердечно прошу, чтобы Вы мне больше не писали.

À Louis-Marie de Sade

К Луи-Мари де Саду

[около 10 января 1784 г.]

До моего сведения только что дошло, сударь, что родители Вашей матери приняли решение, что Вам следует принять должность младшего лейтенанта в одном из худших пехотных полков во Франции. Я запрещаю Вам, сударь, принимать это назначение; Вы не созданы для того, чтобы быть младшим лейтенантом в пехоте, и я не могу и не стану позволять Вам вступать в этот род войск. Или Вы вообще не будете служить, или будете служить под командованием г-на де Шабрийяна, вашего родственника, в кавалерии.

Если, вопреки моему четкому приказу не принимать такой пост, сударь, я узнаю, что Вы были настолько слабовольны, что послушались Ваших родственников, которые, пока жив Ваш отец, не имеют права или власти над Вами, тогда Вы можете распрощаться со мною навсегда, ибо я никогда не удостою Вас взглядом до конца своей жизни.

Вся ответственность ляжет на тех, кто поощряет Вас не подчиниться моему приказу, на их душе и совести будут те несчастья, которые падут на Вашу голову из-за такого непослушания, а я призову на нее проклятия, если в течение двух месяцев, начиная с этого дня, я не получу от Вас письменного подтверждения, что Вы исполнили мои желания.

Граф де Сад, Ваш отец

À madame de Sade

К г-же де Сад

[после 10 января 1784 г.]

Полагаю, сударыня, что Вы передали своим родителям результаты нашей самой последней беседы касательно нелепого назначения, предполагаемого для Вашего сына. Будьте любезны передать ему прилагаемое письмо, дабы он сам мог увидеть, каковы мои точные намерения в его отношении, и я буду считать Вас ответственной за информирование меня, если он намерен им не подчиниться. Я самым настоятельным образом прошу Вашу мать воздержаться от вмешательства в дела моих детей. Мне совершенно не нужны ни ее ухищрения и выбрыки, ни то влияние, которое ее сын в Нормандии может использовать, чтобы помочь зачислить моего сына на военную службу.

Все, что мне нужно, это моя свобода. Если бы я сегодня сам был хозяином своих действий, завтра Вашего сына взяли бы в тот род войск, который назначен ему судьбой, и где ему подобает служить. Кроме того, я уже тысячу раз писал Вам и говорил, что никто из моих детей не покинет свою школу или Ваш дом, пока я не проведу с ними полный год. Ничто во всей вселенной не заставит меня изменить это мнение. Также ни один из двух моих сыновей не пойдет ни на какую службу, пока не научится как следует верховой езде и пока я лично не выберу слугу, который будет их сопровождать.

Хорошенько поразмыслите над названными тремя моментами, и учитывайте при этом, что никакая причина не сможет заставить меня изменить мою точку зрения в этом отношении. Если кто-либо поступит вопреки моим желаниям, что наиболее

вероятно, поскольку я нахожусь в тюрьме и не в силах предотвратить такое развитие событий, запомните, что первое, что я сделаю, выйдя на свободу, это заставлю его оставить этот род войск. В этом я клянусь своим самым святым и самым настоящим словом чести. В этом отношении можете не сомневаться, сударыня.

Не пытайтесь восстановить меня против моих детей. Некоторые люди, похоже, делают все, что в их силах, чтобы этого добиться, и я бы сказал, что это не очень умно с их стороны. Вы, король, судебные органы, весь кодекс законов королевства, любые меры предосторожности, предпринятые в свете предыдущих или действующих законов, не помешают мне уменьшить доходы от четырех поместий, которыми я владею в Провансе, до *ста пистолей*, при этом не продавая даже единого дюйма земли. Это тайна, которую Вы себе даже не представляли и никогда не представите, и это я обязательно осуществлю, если Вы позволите моему сыну меня не послушаться. Более того, сударыня, я сделаю все, что в моих силах, чтобы внушить ему такие же чувства к Вам, которые Вы пытаетесь вселить в него в отношении меня.

Поскольку голова Вашей уважаемой маменьки имеет свойство все планировать загодя, то, когда она придумала эту замечательную должность для Вашего сына, она, несомненно, также подразумевала тот или иной план относительно в равной степени прекрасного брака через несколько лет. Дабы избежать того, чтобы постоянно поднимать одни и те же вопросы, я имею честь настоящим заявить Вам, и засвидетельствовать это настоящим письмом, сударыня, вместо печати скрепив его своим словом чести, что я совершенно точно не дам своего согласия на любой такой брак до достижения им двадцатипятилетнего возраста, и ни днем раньше. Я желаю, чтобы он не женился ни-

где, кроме Лиона или Авиньона, и ни при каких обстоятельствах я не позволю, чтобы он или Вы, или, соответственно, я сам, поселились в Париже. Я постоянно повторяю Вам, сударыня, что, как только все это закончится, я намерен удалиться в свою собственную провинцию и жить там. Я не сомневаюсь в том, что мои дети последуют за мной туда, и так же точно именно там они сочетаются браком и поселятся.

Вы напрасно сделали барона де Бретея[192] Вашим представителем во всех подобных делах. Мое настоящее положение и исключительно высокое уважение, которое я испытываю к этому министру, человеку, полностью достойному уважения по тысяче различных причин, обязывают меня согласиться на все, что он попросит; но, как только я буду свободен, я возьму на себя смелость напомнить ему, что *pater familias*[193] — господин своих детей, и что совершенно невозможно, чтобы кто-либо лишил его этих прав. Вы можете судить по стилю этого письма, что оно написано со всей сдержанностью, на которую я способен. Оно содержит то же, что я повторяю Вам уже в течение семи лет, и Вы можете быть вполне уверены, что я никогда не переменю свое мнение. Я заканчиваю, давая Вам свое самое настоящее и святое слово чести и скрепляя его своей подписью.

Де Сад

Кроме того, сударыня, теперь, когда Ваш старший сын стал человеком полноправным в этом мире, я должен предупредить Вас, что я намерен последовать установившейся семейной традиции, согласно которой глава семьи получает титул графа и называет своего старшего сына маркизом. Что же до меня, то я, несомненно, выполню повеление короля, каким бы оно ни было, поскольку у меня нет ни единой грамоты, в которой бы оговаривалась моя ответственность или мои обязанности, ни еди-

ного письма, от принцев или от министров, в котором ко мне обращались бы по этому титулу. Я говорю Вам это для того, чтобы Вы могли ознакомить с ним общество, которое, привыкнув к другому титулу, впоследствии с трудом будет менять свои представления. Что же до моих собственных представлений, Вы можете быть уверены, что они никогда не изменятся.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[конец января 1784 г.]

Учитывая невозможность иметь откровенный и открытый обмен мнениями, который мог бы у нас быть, если бы Вы присутствовали здесь лично, и, дабы Вы не приняли ошибочно тон, который я вынужден использовать в своих письмах, за безволие или даже уступку с моей стороны, когда речь идет о моем сыне, я повторяю снова и торжественно клянусь, что в отношении упомянутого вопроса мои чувства никогда не изменятся; что я совершенно против того, чтобы он вступал в полк, в который Вы желаете его пристроить вопреки моим желаниям; и что в случае, если Вы будете настаивать и пристроите его туда, несмотря на то, что я Вам говорю, тогда первое, что я сделаю, как только освобожусь, это обязую его немедленно оставить этот полк, и, дабы убедить Вас, что я поступаю так вовсе не по той низкой причине, которую Вы осмелились приписать мне вчера, причем Вам должно быть стыдно уже за то, что Вы осмелились допустить мысль о ней, повторяю, дабы убедить Вас, что, отнюдь не желая помешать его продвижению, как Ваши подлые

родители осмелились заставить Вас сказать мне, я полностью готов, если это понадобится, пожертвовать половиной своего состояния, нет, двумя третьими, если необходимо, чтобы он получил хотя бы самый низкий пост в карабинерах. Для этого я готов подписать любой документ, дать любое клятвенное обещание, которые могли бы потребоваться. Все, что Вам нужно сделать, это привезти с собой нотариуса, и я подпишу все, что Вам угодно.

Но что касается службы в пехотном полку, этого он никогда не сделает ни при каких обстоятельствах, и в этом я клянусь Вам всем, что почитаю самым святым на свете. Нет ничего смехотворнее, чем когда Вы говорите о том, что Вы предприняли вчера на этот счет: «*Король,*— сказали Вы,— хочет, чтобы он *пошел в пехоту!* Поистине, Вы делаете мне честь, Вы и те, кто Вас окружает, полагая, что раз уж я сижу в одиночной камере, то, следовательно, превратился в идиота. Неужели Вы могли хоть на мгновение подумать, что я не знаком с конституцией так же хорошо, как и Вы? Что мы — в Турции или родились невольниками под властью какого-нибудь деспота, который обладает властью жизни и смерти над своими рабами? Нет, нет, сударыня, власть короля не распространяется настолько, чтобы лишить отца права распоряжаться судьбой собственного сына; сила отцовских прав превосходит по важности власть монарха, в этом Вы можете быть вполне уверены.

Оставьте своей матери, лопающейся от гордости от того, что ей удалось подкупить трех-четырех полицейских марионеток, возможность цепляться за нелепое буржуазное представление о том, что король не может поступить неправильно, только потому, что полицейские осведомители, ее верные приспешники, говорят ей, что подвергать сомнению слово короля — грех. — Да, оставьте ей этого болвана Маре; она создана для него, но не Вы, и хорошенько запомните, что, несмотря на все

жалкие глупости этой отвратительной женщины, единственные люди, которые имеют последнее слово в отношении ваших детей, это мы с Вами, что я не хочу, чтобы Ваш сын служил в пехоте, и Ваша дружба ко мне и долг передо мною обязывают Вас подчиняться моим желаниям, особенно когда они основаны на таких весомых причинах, которые я приведу в подходящее время.

Пока же, помните об искренней клятве, которую я Вам дал, а именно, что ничто на свете не убедит меня оставить его там, куда, судя по всему, Вы решили его поместить, и что не позднее, чем через шесть недель после моего освобождения, я наконец стану искать соответствующей сатисфакции по закону, чтобы уничтожить все подлости, которые ваши омерзительные родители ежедневно мне причиняют.

À Gaufridy

К Гофриди

[3 февраля 1784 г.]

Сударь, я только что узнал от г-жи де Сад, что я имел несчастие потерять одну из своих тетушек.

Я намерен, чтобы ежегодная рента, которую получала эта тетушка, была разделена между двумя моими здравствующими тетями (я имею в виду двух монахинь). Прошу Вас, будьте любезны, сударь, уведомить их об этом, и новое распоряжение должно вступить в силу со дня смерти моей тети, таким образом, чтобы не допустить пропуска в этом скромном доходе ни на единую секунду, и, чтобы с момента, когда рента перестала

вручаться г-же Ла Кост, она передавалась равными долями этим двум дамам из Св. Бенуа и Св. Бернара[194]. Я был бы также благодарен, если не возражаете, чтобы, выполняя мои приказания в этом отношении самым срочным образом, Вы, в то же время, также уведомили их, принеся им тысячу извинений от моего имени, что, из-за моих многочисленных невзгод и посредственности моего состояния, я не имею возможности предложить более осязаемое доказательство моей привязанности и уважения, и более соразмерное голосу моего сердца.

В случае, если я понесу вторую подобную утрату, я вверяю Вам действовать таким же образом, как указано выше в отношении моей здравствующей тетушки, так, чтобы последняя оставшаяся в живых тетя стала получателем ежегодной ренты своей сестры. Как только это будет сделано, пожалуйста, будьте добры уведомить об этом г-жу де Сад, дабы она могла затем передать это известие мне. В то же самое время, пожалуйста, скажите моим тетям, что я бы занялся этим вопросом раньше, если бы только мне раньше об этом сообщили.

Имею честь быть, сударь, Вашим самым покорным и послушным слугой.

Граф де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[конец февраля 1784 г.]

Как бы ни велико было мое желание увидеть Вас, мой дорогой друг, я совершенно искренне и совершенно настоятельно прошу Вас не подвергать себя опасности, приезжая ко мне в такую ужасную погоду. Существуют тысячи опас-

ностей, которым Вы подвергнетесь, если все-таки попытаетесь приехать, и все они вызывают во мне смертельную тревогу, когда я думаю, что Вы им подвергаетесь. Такая погода не может длиться долго. Поэтому те несколько дней, которые я проведу в ожидании, причинят мне меньше страданий, чем невыносимая мука, которая охватит меня в ту самую минуту, когда Вы уедете от меня в такую погоду; поскольку после Вашего отъезда у меня не будет никакой возможности узнать, что с Вами стало, и это доводит меня до безумия. Ваша мать, должно быть, или в стельку пьяна, или совершенно спятила, если таким образом рискует жизнью собственной дочери, дабы получить 19 и 4 или 16 и 9, и не устать от этой игры в числа, в которую она играет уже двенадцать лет.

О! какое несварение желудка испытала эта ужасная женщина от всех тех чисел, которые она поглотила! Я уверен, что если бы она умерла прежде, чем у нее случилось извержение, то, если бы ее вскрыли, из ее утробы начали бы вываливаться миллионы чисел. Вы даже не представляете, насколько я ненавижу все эти числа и сложные хитросплетения. Мне сказали, что числа — это язык посредников. Что ж, ладно! Я никогда не стану вести переговоры до конца своей жизни, ибо, учитывая тот неодолимый ужас, который Вы вызвали у меня всей этой тарабарщиной, я полагаю, что, если бы король захотел назначить меня на высокопоставленную должность посла в своем королевстве, я бы отказался.

Но я ошибаюсь, говоря, что я *полагаю*. Нет ничего более точного. Поверьте мне, не идите в неправильном направлении. Я вижу, что происходит у Вас в голове, но заявляю и торжественно клянусь Вам всем, что почитаю самым святым на свете, что, если бы король предложил мне [*должность посла*] в каком-нибудь королевстве, я бы ее не принял. Вы привили мне

слишком великое отвращение к оковам: я бы отвернулся от них, даже если бы они были покрыты цветами.

Уехать в ту часть света, которую я сам выберу, и жить там вместе со своей женой и детьми, посвятив себя целиком науке и искусству,— это, вкратце, то, чего я более всего желаю. И я самым торжественным образом заявляю и клянусь Вам, что все, что может каким бы то ни было образом отклонить или отвлечь меня от этой цели, или ограничить меня в какой-либо степени, я твердо и решительно отвергну. Посему, запомните мои слова, не предпринимайте никаких подобных попыток от моего имени, не следует Вам и продолжать заниматься хлопотами о месте в Субизском пехотном полку для Вашего сына. Ибо, я снова повторяю Вам, из этого просто ничего не выйдет. Я говорил Вам это уже множество раз. И, несмотря на все, что я говорю, Вы продолжаете упрямо настаивать на своем; и, по всей справедливости, именно Вы и будете отвечать за последствия. Вы знаете, что, когда Вы идете к министрам и просите оказать услугу кому-то, кому эта услуга на самом деле не нужна, они смотрят на это косо; посему нет никакого смысла идти на такой риск.

Не рискуйте так, повторяю Вам, ибо я клянусь Богом и своей собственной жизнью, что мне ничего не нужно и я ничего не приму. Не следует Вам и позволять своему сыну вступать в Субизский пехотный полк, и если Вы сделаете это вопреки моим явным желаниям, то как только я буду свободен, то первым делом заберу его оттуда.

Несомненно, именно из-за всех этих замечательных прожектов Вы тысячью различных способов дразните меня по поводу моих литературных трудов. Еще один верный способ заставить меня еще более увеличить свои усилия в этом направлении и с головой броситься в них, забывшись до безумия. Если бы я написал приличную пьесу, в каком бы то ни было жанре, я бы

на этом и остановился, и я торжественно заявляю Вам, что не пошел бы дальше. Но поскольку мне не повезло настолько, чтобы преуспеть в этом, я хочу посвятить себя сочинительству и днем и ночью, совершенно исключая все остальное. Таков мой характер, как Вам хорошо известно, и, тем не менее, Вы никогда не хотите этого признать. Именно Вы будете ответственны за последствия того, что не поверили мне на слово.

Поверьте мне, что то, что я собираюсь Вам сказать, глубоко и неизгладимо отпечаталось в моем разуме и сердце. Вы знаете мои недостатки, так же, как знаете, насколько они близки и дороги мне. Так вот, я клянусь словом чести, что, если кто-нибудь — кто-нибудь, чьему слову я доверял,— пришел бы ко мне и сказал: «*То, что Вы делаете, не представляет никакой проблемы, сударь; Вы можете быть уверены, что Вы вполне вольны поступать так, как Вы поступаете, никто больше не будет Вам мешать*»,— да, я заявляю, что, если бы мне сказал это кто-нибудь, наделенный властью, я бы тут же испытал такую сильную неприязнь к моим недостаткам, что более никогда бы не стал потворствовать им, пока я жив. Но именно из-за них меня засадили в тюрьму, и только по этой единственной причине я буду дорожить ими всю свою жизнь. Я не держал никаких секретов ни от Вас, ни от тех, кто Вас окружает; я раскрыл свой характер, не оставил сомнений в том, что именно движет мной уже в течение двадцати лет, и Вы предпочли не использовать это в своих интересах; скорее, Вы предпочли понять меня неправильно. Раз так, тогда, когда я покину это место, нет смысла забирать мои пожитки, ибо в скором времени меня снова привезут обратно и бросят в ту же комнату.

Я ожидаю Ваших мыслей по поводу той сцены, что я Вам описал во время Вашего последнего посещения, и ответа — да или нет — в отношении упомянутого прожекта. Если Вы буде-

те дразнить меня и тянуть время, я начну тогда работать над своей трагедией о Франциске I, полный план которой я уже приготовил; и которая, если мне можно сказать это самому себе, будет превосходной.

Я обнимаю Вас от всего сердца и умоляю не подвергать себя воздействию этой отвратительной погоды. По крайней мере, пусть Ваша дерзкая белая грудь будет хорошо укутана, или я ужасно на Вас разозлюсь. И ради Бога, привезите мне какие-нибудь чулки!

Ибо мне ужасно НЕДОСТАЕТ ЧУЛОК, Сад[195].

И проследите, чтобы их послали, и проч.

ПИСЬМА ИЗ БАСТИЛИИ[196]



Деспотизм никогда не вторгался столь жадно в частную жизнь, как свобода...

de Sade

À madame de Sade

К г-же де Сад

8 марта 1784 г.

Тридцать четыре месяца прошло с тех пор, как мне официально отказали в переводе в темницу, находящуюся на пороге моих собственных владений[197], где мне обещали полную свободу, и затем после просьбы позволить мне оставаться с миром там, где я был, независимо от того, в насколько плохом положении я находился, на тот период времени, который было угодно вашей матери, чтобы принести меня в жертву ее мстительности; повторяю, через тридцать четыре месяца после этого события, увидеть, как меня насильно забирают оттуда, совершенно неожиданно, без малейшего предупреждения, и все это покрыто тайной и окружено всевозможной секретностью, как в дешевом фарсе, все событие пропитано энтузиазмом и рвением, которые вряд ли были бы извинительны в первой суматохе дела первостепенной важности! Теперь, после двенадцати лет несчастий, все это выглядит столь же скучным, сколь и нелепым! И отвезти меня куда? В тюрьму, где мне приходится в тысячу раз хуже и где меня в тысячу раз больше угнетают, чем в том проклятом месте, откуда меня забрали.

Такие методы, сударыня, сколько ни пытайся замаскировать или приукрасить это жестокое деяние отвратительной ло-

жью, такие методы, Вы вынуждены сознаться, должны быть последней каплей в той чаше ненависти, которую я в самых грязных проклятиях поклялся обрушить на вашу семейку. И я искренне полагаю, что Вы бы первая жестоко меня недооценили, если бы моя месть однажды не сравнялась по своей жестокости с теми карами, которые они навлекли на меня. Не волнуйтесь, и Вы можете быть уверены, что ни Вы, ни весь мир в целом не смогут ни в малейшей степени упрекнуть меня на этот счет. Но я не обладаю способностью выдумывать или хладнокровно рассчитывать, чтобы эффект того яда, который я намерен использовать, стал еще более губительным. Бездна, находящаяся глубоко во мне, предоставит то, что мне нужно, я все равно ожесточу свое сердце, механизмы мщения сделают самое худшее, и Вы можете быть уверены, что яд, который я извергну, будет целиком достоин того, что выпущен против меня.

Но давайте обратимся к подробностям. В таких случаях судят не по словам, а по делам, а пока руки связаны, молчание — золото. Вот уроки в искусстве лжи, которые я был вынужден выучить: я научусь, да, я в самом деле извлеку урок и однажды, сударыня, я стану таким же обманщиком, как и Вы.

Уже в течение двадцати лет, сударыня, Вы знаете, что для меня совершенно невозможно жить в комнате, обогреваемой с помощью печки, и, тем не менее (благодаря любовной заботе тех, кто участвовал в этом переезде), здесь меня заточили именно в такой комнате. За последние несколько дней я настолько неважно себя чувствовал, что перестал разжигать огонь; и, какой бы ни стала погода, я все равно не буду его разжигать. К счастью, лето уже близко; но если я все еще буду находиться здесь следующей зимой, то умоляю Вас, чтобы Вы предприняли все необходимые шаги, чтобы мне дали комнату с камином.

Вам также известно, что моцион даже еще более необходим для меня, чем сама пища. И тем не менее, я нахожусь в комнате, которая почти вполовину меньше той, что у меня была раньше, и в ней невозможно сделать и нескольких шагов, а когда мне разрешают выходить, что происходит редко, то всего на несколько минут, которые я провожу в маленьком дворике, где все, чем можно подышать, это зловоние, издаваемое надзирателями и кухней. Хуже того, туда отводят охранники, которые подталкивают меня шомполами, прикрепленными к стволам ружей, словно я попытался свергнуть самого Людовика XVI! О! как научаешься ненавидеть большое, когда придаешь такое значение малому!

Вам также хорошо известно, что приступы головокружения и частые кровотечения из носа, которые у меня случаются, когда я не лежу, опершись головой на что-нибудь как можно более высокое, вынуждают меня пользоваться очень большой подушкой. Когда я попытался забрать с собой эту несчастную подушку, то Вы бы подумали, что я пытаюсь выкрасть список тех, кто устроил заговор против Государства; они варварским образом вырвали ее у меня из рук и заявили, что иметь объекты такого масштаба никогда не дозволялось. И действительно, я понял, что несомненно существует какое-то секретное правило или предписание правительства, которое оговаривает, что голова заключенного должна постоянно находиться в опущенном положении, ибо, когда мне отказали в моей гигантской подушке, дабы исправить эту ситуацию, я скромно попросил дать мне четыре обрезка доски,— они посчитали меня сумасшедшим. На меня накинулась целая свора проверяющих, которые, удостоверившись, что мне действительно чрезвычайно неудобно находиться в постели, в своей бесконечной мудрости заключили, *что правила — это правила*, и изменить их невозможно. По-

истине, я Вам говорю, Вам нужно самой увидеть, чтобы в это поверить, и, если бы мы проведали, что такие вещи творятся в Китае, наши мягкосердые и сострадательные французы не теряя ни секунды, возопили бы во всю глотку: «*Ох уж эти варвары!*»

Более того, мне сказали, что я должен сам стелить себе постель и мести комнату. Что до первого, то тем лучше, ибо они стелили ее чрезвычайно дурно, а мне нравится самому стелить себе постель. Но что до второго, то, к сожалению, это дело безнадежное; здесь недосмотрели мои родители, поскольку никогда не включали подметание в программу моего образования. Они ну уж никак не могли предвидеть... многих вещей. Если бы даже и предвидели, ни в одном постоялом дворе во всей стране не нашлось бы слуги, который мог бы подержать для меня свечку на подметальном факультете. Между тем я умоляю Вас устроить, чтобы кто-нибудь преподал мне несколько уроков. Я предлагаю, чтобы человек, который меня здесь обслуживает, мел комнату раз в неделю на протяжении следующих четырех или пяти лет: я буду следить за каждым его движением, и Вы увидите, по прошествии этого периода обучения, что я смогу мести не хуже него.

В течение семи долгих лет пребывания в Венсенне мне позволяли пользоваться ножами и ножницами, и в этом отношении никогда не возникало ни малейшей проблемы. За эти семь лет я совершенно не улучшился, это я признаю, однако и не ухудшился. Не будете ли Вы столь добры, чтобы указать им на этот факт и соответственно сделать так, чтобы мне вернули право использовать эти два предмета?

Я раздет до нитки, слава Богу, и в скором времени я буду гол, как в тот день, когда появился на свет. Мне не разрешили ничего с собой забрать, без всяких исключений, даже рубашку, а просьба забрать ночной колпак заставила лакея разразиться

площадной бранью, де Ружемона — орать до хрипоты, вследствие чего я все там оставил, и теперь самым настоятельным образом прошу, чтобы Вы привезли мне на первое же свидание две рубашки, два носовых платка, шесть салфеток, три пары домашних туфель, четыре пары хлопчатобумажных чулок, два хлопчатобумажных колпака, две сетки для волос, шапочку из черной тафты, два муслиновых галстука, халат, четыре небольших куска льняного полотна квадратной формы размером пять дюймов с каждой стороны, которые мне нужны, чтобы промывать глаза, и несколько книг из тех, что указаны в моем предыдущем списке. И этот список предполагает, что в течение двух недель я получу свои ящики и принадлежности из Венсенна, ибо, если будет какая-то заминка с их доставкой, тогда я сердечно попрошу Вас удвоить или утроить требуемые количества, в зависимости от того, сколько, по Вашему мнению, останется, пока не прибудет мой багаж.

Я также был бы чрезвычайно обязан, если бы Вы позаботились, чтобы я получил следующие предметы, которые не имеют никакого отношения к моим ящикам; то есть мне они все равно нужны, прибудут ли мои вещи раньше или позже. (Наиболее необходимые предметы: подушечка для моего зада, оставленная в Венсенне, и мои подбитые мехом домашние туфли, оба моих матраца и подушка.)

Полдюжины банок варенья, шесть фунтов свечей, несколько связок маленьких свечек, тех, что продают по пятнадцать штук в связке; пинта кельнской воды, более хорошего качества, чем та, что Вы присылали в последний раз, которая никуда не годилась; пинта розовой воды для моих глаз, в которую, пожалуйста, добавьте шестую часть коньяка; таким образом, в пинте розовой воды должно содержаться пять частей розовой воды и одна часть коньяка; и следующие тома тех книг, которые

я у Вас уже так давно прошу, а также оставшиеся комедии из того каталога, который я Вам послал.

Как можно быстрее откликнитесь на просьбу о предметах, запрошенных в настоящем письме, если это не слишком выходит за рамки Ваших возможностей, так, чтобы по крайней мере я мог единожды сказать, что Вы сослужили мне какую-то полезную службу за время моего заточения,— и прежде всего те два матраца с моей кровати и большую подушку. Остальное я оставляю на ваше усмотрение.

Если окулисты скажут Вам, что морская вода и упомянутый порошок все еще необходимы для моего глаза, который все еще находится в таком же плохом состоянии, как и обычно, распорядитесь, чтобы эти вещи, оставленные в Венсенне, были направлены мне как можно скорее.

Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы багаж был послан мне своевременно.

Что ж, моя нежно любимая, самая милая, и прежде всего, исключительно честная супруга, Вы хорошо и поделом меня обманули, когда обещали, каждый раз, когда являлись ко мне на свидание, что именно Вы приедете меня забирать, что я буду свободен и увижу своих детей! Возможно ли было быть более низкой, более бесстыдной, коварной и лживой? И расскажите-ка мне теперь, верите ли Вы все еще тому, что те, кто так злодейски предал Вашего мужа, действуют в Ваших лучших интересах, в надежде сделать Вас счастливой?.. Мой дорогой друг, если они именно это Вам и говорят, то они Вас обманывают; скажите им, что Вы услышали это непосредственно от меня.

С тех пор как меня привезли обратно в Венсенн, после всех ужасов, которые этому предшествовали и которые я, по крайней мере, не забыл, с тех пор, повторяю, как я вернулся туда, только два новых кинжальных удара имелись в распоряжении у Вас

и у Вашей матери: перевести меня в другую тюрьму и устроить, чтобы моего сына записали в такой род войск, в котором я ни в коем случае не хотел, чтобы он служил, и это при том, что я не мог его увидеть и сказать ему об этом. Теперь Вы нанесли оба эти удара. Я не забуду выразить по этому поводу свою благодарность, и в этом я клянусь Вам всем, что почитаю самым святым на свете.

Я нижайше Вам кланяюсь, сударыня, и умоляю посвятить малую толику своего внимания моему письму, моим просьбам и поручениям, тем более, что я имею твердое намерение, учитывая эту новую окружающую меня обстановку, посылать Вам списки, списки и еще раз списки. Вследствие чего я заявляю, что это будет мое первое и последнее письмо.

[*P.S.*] Я полагаю, Вы бы поступили благоразумно, если бы вознаградили того человека, что распоряжается здесь обслуживанием, о котором я слышу только хорошее, и особенно потому, что я уже самым жестоким образом ощущаю разницу. Пожалуйста, позаботьтесь об этом.

À l'Abbé Amblet

К аббату Амбле

[апрель (?) 1784 г.]

Да, мой хороший и дорогой друг, да, как бы Вы ни возражали, Ваши критические замечания более снисходительны, чем правдивы. Вы берете свои краски с палитры, окропленной ядом: как же в таком случае тона могли быть иными, нежели резкими? Возможно, я бы предпочел больше правды и меньше

снисходительности с Вашей стороны. Но я жалок, мои недруги торжествуют: человека необходимо принести в жертву их грехам.

Какую бы малую важность я ни придавал своему собственному несчастью, я, тем не менее, придаю огромную важность Вашим замечаниям и, в связи с этим, надеюсь, что Вы не посчитаете неуместным, если я скажу пару слов по поводу Ваших замечаний. Я собираюсь последовать ходу Ваших мыслей буквально, не в отношении произведенных Вами исправлений — ибо за них я могу лишь любезно Вас поблагодарить,— но в отношении тех, которые я не смог заставить себя сделать, поскольку я, похоже, усматриваю в них только лишь горечь и снисходительность по отношению к тем людям, которых мой труд ввергает в отчаяние и, хотя бы только по этой причине, связывает меня с ними до конца моей жизни, настолько сильно мое желание доставить им удовольствие.

Касательно Петра-Отшельника, я не могу сказать: «*самый замечательный персонаж в пьесе*». Он не самый замечательный персонаж в Иерусалиме; Рено и Армид совершенно точно настолько же особенны, как и он; поэтому я вынужден написать то, что я написал: «*один из наиболее замечательных персонажей Тассо*[198]».

Язык живописи ежедневно используется в поэзии; музы — это сестры: они тесно связаны. И Гомера, и Микеланджело называют живописцами Природы. Один изображает ее в прекрасных стихах, другой — искусным смешением своих красок, но Природа — правило для них обоих, следовательно, оба могут использовать один и тот же язык.

Все оперы, несомненно, состоят из нескольких вокальных сцен, которые образуют различные акты: тем не менее верно, что традиция требует от нас применить то же самое условие к короткой драме, будь она в прозе или в стихах, где диалог, ко-

торый не поется, но проговаривается, подчеркнут *ritornellos*[199]. Такие произведения также называют *мело*-драмами, что (о чем Вам известно лучше меня) представляет собой буквальный перевод с греческого и просто означает драматическое произведение с музыкой.

Этот г-н де л'Арп[200] значительно выступает против этого нового жанра, и именно из одного из его наиболее недавних трудов, где он подвергает его резким нападкам, я и позаимствовал слова «*испорченный*» и «*чудовищный*», термины, которые он использует для того, чтобы опорочить новый жанр, и я выделяю эти термины курсивом просто для того, чтобы показать, насколько они смехотворны. Но, принимая во внимание предлагаемую идею поэмы, я не увидел смысла цитировать его в качестве своего источника.

Я знаю, что как «*Эсфирь*», так и «*Аталия*»[201] исполняются без музыкального сопровождения, но я также знаю, что лирические сцены «*Пигмалиона*» Руссо[202] исполняются под очень красивую и замечательную музыку, и мое маленькое произведение должно быть в таком же духе и, я надеюсь, однажды будет переложено на музыку.

Только истина есть красота, только лишь истина добра и хороша.

Случайно ли не г-жа де М[онтрей] обратила Ваше внимание на это изречение? Если это так, тогда я скажу Вам, что она полностью сама себе противоречит.

У меня нет под рукой книги Тассо, но я полагаю, что не ошибусь, сказав, что следовал сцене, описанной Тассо, слово в слово, и что тело опускают в могилу совсем рядом с Танкредом. Кроме того, это просто театральная мизансцена, которую можно легко изменить: для этого надо всего-навсего поместить Хлоринду на заросший травой берег, а Танкреда — в его палатку. Все на-

ходится на своих местах, и это не требует каких-либо изменений в самом тексте.

Все упреки, которые делает Танкред, *что он самый преступный из людей, что он позор Природы*, и проч., взяты слово в слово из Тассо; я не добавил ни единого слова, в этом я вполне уверен. Все-таки проверьте это, если Вас не затруднит, сверившись с Песнью XII. Другими словами, я не убрал ни одного из них.

«Постыдно вероломный» — плохо, я с Вами согласен, но Вам следует знать, что, прежде чем я остановился на этой фразе, я перебрал не менее 15 различных вариантов в одном этом стихе и пришел к тому выводу, что это единственный возможный вариант, если Вы согласитесь со мной, что со времен *Жана де Мена и вплоть до г-на де Ла Арпа* наберется не менее тридцати или сорока миллионов стихов, созданных исключительно ради рифмы; если бы, повторяю, если бы Вы были столь снисходительны, что подумали бы над этой мыслью, то могли бы извинить мое чрезвычайно отвратительное *«постыдно вероломный»*, которое я предлагаю, потому что настолько чертовски трудно подобрать фразу получше. Однако я не могу позволить, чтобы Ваше осуждение монолога Танкреда прошло без предоставления контрдоказательств, и я нахожу, что:

И ты, иллюзия, ошибка роковая,
Приходишь вновь, меня, как прежде восхищая,
Чтоб с новой пагубною страстью униженье
Я ощутил в своем же поклоненье.
И исчезаешь, если радость на минуту
*Во мне затеплится в ответ на грусть и смуту** —

есть и остаются прекрасными стихами, стихами, которые ни в коей мере нельзя назвать прозаичными.

Вы также спорите по поводу следующего:

И смерть сей совершенной красоты обводы
*Страшится исказить, как сам закон Природы.**

Я имею несчастие считать, что это одна из самых слабых мыслей, которые когда-либо выходили из-под моего пера.

Первым законом Природы было рождение красоты, и этот закон был настолько сильным и настолько необходимым, что даже Смерть, великий разрушитель, который не уважает ничего, не может торжествовать над нею: *Смерть, очернив красоту такую чистую, побоялась бы, не осмелилась бы попрать (нарушить) законы Природы.*

И эта мысль не прекрасна! О, крылатый конь Пегас, ты, рядом с которым я всего лишь жалкий кусок помета, всегда вдохновляй меня на другие стихи с равной силой, и я не расстанусь с милой надеждой в один прекрасный день возвышаться на удобном стуле, облаченный в парик *in-folio*, прямо рядом с *божественным Ла Арпом* и компанией!

Я думал, что *строгость* — это синоним *rigueur* и также думал, что вполне сведущ, когда речь идет о такого рода словах, ибо в течение долгого времени ассоциировал их с *юридическими терминами*. Поскольку Вы говорите мне, что это не так, тогда я не стану спорить, мой дорогой друг, я полагаю, что мы с Вами поставим взамен него *sévérité*[203]. Вы одобряете?

Вы не одобряете «*темная*» и «*тихая*». Тем не менее нет ничего более тихого и ничего более темного, чем прекрасная летняя ночь. Поэтому, так как я хотел сделать это превосходное сравнение, которое идет непосредственно из Тассо, я подумал, что могу сделать это, используя эпитеты «темная» и «тихая». Вы не принимаете их: я заменил «тихая» на «чистая», но это способствует повтору; и, тем не менее, я не нахожу другого слова.

Вы критикуете следующий портрет, и все же я нахожу его вполне приемлемым:

Ничто возлюбленного изменить не может.
А гордость мужество его души лишь множит.
И чистоту чела его, и яркость взора
*Тех глаз, где чуть заметна тень минора.**

Я не вижу здесь никакого противоречия, и «тихая», и «чистая», или «темная», которые предшествуют этому, хорошо сочетаются со следующим четверостишием, как мне кажется. Вам следует учитывать тот контекст, в котором появляются эти строки: любовник всегда льстит, и, поскольку он преувеличивает, он может сам себе противоречить. Я знаю из собственного опыта, что такая женщина, как она, действительно существовала, и, поскольку я был ослеплен любовью, я восхвалял ее; но сегодня, увидев, какова она на самом деле, я клянусь, что не смог бы даже сделать ей самый скромный комплимент. Ничто больше не остужает пыл, чем исполнение желаний,— ничто, за исключением проживания в Бастилии.

Вы говорите, что есть стихи, в которых не выдержан размер. О! мой дорогой друг, не говорите мне этого. Я не утверждаю, что моя способность безукоризненно выдерживать размер происходит от моего врожденного таланта, но из факта, что я исключительно хорошо организован; посему тут я особенно похваляться не стану! Но я был бы физически не в состоянии прочитать вслух или услышать стихи, в которых не выдержан размер. Принимая это во внимание, судите сами, способен я или нет написать такие стихи. Не хотите побиться со мной об заклад? Вы даете мне одну крону за каждый должным образом выдержанный стих, который я пишу, а я дам Вам по тысяче

крон за каждый неправильный. Договорились? Вот единственный стих, к которому мы можем придраться:

*Придешь ли ты, сольемся ль в вечном наслажденье?**

У меня нет перед собой теории стихосложения, но я думаю, что прав, говоря, что все соглашаются, что *joie* [*фр.* радость] и различные рифмующиеся с ним слова — *voie* [видеть], *croie* [верить], *Troie* [Троя] и проч. — читаются как два слога, когда они появляются в конце строки, но всегда как один слог, когда стоят в основной части стиха. При этом я могу и ошибаться. Если бы здешние люди не имели привычку примерно каждые полгода красть сначала мои книги, а потом мои личные бумаги, я бы не делал таких ошибок, и я бы по крайней мере получил пользу от возможности сверяться с необходимыми источниками. Но гораздо более забавно доводить меня до изнеможения и отчаяния, постоянно держать меня в состоянии безделья, заставлять меня тратить попусту свое время.

Не могу я и согласиться с Вами в том, что мои стихи прозаичны, и осмелюсь сказать, что один лишь факт постоянного одиночества — это сам по себе великий источник силы.

Кроме того, мой дорогой друг, я не могу отвернуться от своей музы: она увлекает меня, заставляет писать против моей воли; что бы ни делали люди, пытаясь меня остановить, они ни за что в этом не преуспеют. Я уже накопил в своем портфеле больше пьес, чем самые высокоуважаемые современные авторы, и уже натянуты полотна, готовые вместить вдвое больше против того, что я уже написал. Если бы меня предоставили самому себе, у меня было бы готово для постановки около пятнадцати пьес, когда я выйду из тюрьмы. Но они предпочитают обманывать меня и изводить до смерти.

Только будущее покажет, правы были мои мучители или нет. В любом случае, для меня будет безмерным удовольствием увидеть мои произведения поставленными на сцене в Париже, и, если их примут хорошо, моя репутация как человека умного, возможно, заставит людей забыть грехи моей юности, и, в некотором смысле, реабилитирует меня. Я бы всем сердцем и душой посвятил себя своей работе, совершенно исключив все остальное. Я даже зайду настолько далеко, что скажу, что это мое единственное спасение, и здесь причина физического свойства: чтобы сражаться с могучей силой, нужно самому находиться в полной силе. Но президентша смотрит на вещи иначе, по той простой причине, что взяла себе за правило видеть все в искаженном свете. Она живет в постоянном страхе, что я изображу ее в одной из своих пьес; позвольте мне ее успокоить: я оставлю Калибанов сего мира Шекспиру; по каким-то причинам они не имеют успеха в нашем театре. Неважно; она боится, и посему сделает все, что в ее власти, чтобы убедить меня, что у меня таланта — ноль. В этом она обречена на провал; она только лишь добьется того, что я еще больше буду дорожить этим талантом, просто потому, что она против него. Если в будущем обстоятельства сложатся так, что я окажусь далеко от Парижа,— о чем я молю Бога — в Европе есть еще четыре других королевских двора, где мои произведения примут с распростертыми объятиями. Я непременно поселюсь в одной из этих четырех стран и там мирно доживу остаток своих дней, наслаждаясь счастливой мыслью о том, что я более не дышу одним воздухом с мучителем моей жизни.

Вы советуете мне заняться написанием исторического исследования? Я уже пытался это сделать: мне помешали в этой попытке[204], и, кроме того, у меня на самом деле нет склонности к истории или соответствующего таланта. Более того, даже

у самых лучших из написанных исторических книг едва наберется больше двух сотен читателей, в то время как даже самым наименее талантливым комедиям удается привлечь три или четыре тысячи зрителей.

Прошу Вас извинить меня за столь длинное письмо; но я пишу Вам столь редко, что когда я все-таки это делаю, то стараюсь компенсировать недостаток. Обнимаю Вас от всего сердца. Тысяча поклонов г-же де Сен-Жермен.

* Перевод С. Шелкового

À madame de Sade

К г-же де Сад[205]
8 июня 1784 г.

Наконец, обнаружилась та настоящая причина, отчего Вы были так ужасно разгорячены, почему Вы находились в таком жутком состоянии всякий раз, когда приезжали, чтобы со мной увидеться: это оттого, что Вы приходите ко мне пешком, как какая-нибудь лавочница, как какая-нибудь уличная проститутка... И Ваши родители допускают это, а Ваши мошенники-слуги не делают ни малейших попыток этому помешать! Насколько же низко они могут опуститься! Какое чудовищное поведение с их стороны!..

Послушайте, я поклялся, что буду держать себя в руках, обещал себе написать это письмо в как можно более спокойном тоне... Поэтому я скажу Вам только лишь одно, а именно: если Вы еще когда-либо хоть раз появитесь здесь в таком состоянии, я клянусь Вам всем самым святым на свете, что откажусь с Вами

встречаться, что я немедленно вернусь в свою комнату и никогда больше не спущусь для свидания с Вами, пока буду жив.

И какая была у Вас причина поступать таким непростительным образом? Если бы я вообще по-настоящему был Вам небезразличен, разве Вы не предприняли бы все усилия, чтобы позаботиться о себе, разве бы Вы не почувствовали, что мое единственное счастье, моя единственная надежда состоят в том, чтобы обнаружить Вас в добром здравии, когда я выйду отсюда?

Почему Вы хотите развеять эту единственную и драгоценную надежду, за которую я держусь так крепко, подвергая себя телесному ущербу так, как Вы это делаете, рискуя самоей вашей жизнью? Женщина, одна, пешком, на улице? Подумайте об опасностях... пьяный мужчина... камень, брошенный каким-нибудь уличным мальчишкой... черепица, падающая с крыши... оторвавшаяся ось какой-нибудь кареты... какие-то другие напасти, которые я не могу предвидеть... Даже если представить, что ни одна из этих опасностей в действительности не случится, факт состоит в том, что Вы являетесь мокрая от пота в сырое помещение, Вы остаетесь там в течение добрых двух часов, не переменяя одежды, а затем направляетесь домой точно так же, как и пришли. Поистине, Вы, должно быть, сошли с ума, я хочу сказать, безумны вне всякого описания, если подвергаете себя такому риску...

А Вы подумали хотя бы на мгновение о боли, которую это мне причиняет? Неужели мое положение и так недостаточно тяжело, чтобы Вы не осложняли его той тревогой, которую такая глупость у меня вызывает? Если Вы будете настаивать на таком поведении, я клянусь, что откажусь Вас видеть до конца своей жизни.

Не хочу я также слышать от Вас заявлений о том, что Вы делаете это, чтобы немного прогуляться. Когда такой женщине,

как Вы, нужно получить моцион, все, что ей нужно сделать, это отправиться на прогулку в парк: в Париже достаточно парков, нарочно созданных для этой цели, и она не отправляется с визитами пешком. Я верну книгу, за которую Вы заплатили двадцать ливров; я не хочу, чтобы пошли слухи о том, что я готов платить по двадцать ливров за книги, когда моя жена лишает себя даже самых основных жизненных потребностей. Несомненно, именно это Вы имели в виду все это время; собирались возвыситься в глазах людей за мой счет; это сделано для того, чтобы люди сказали: «Месье не стоит за расходами, в то время как мадам вынуждена путешествовать пешком», и таким образом заставить меня выглядеть еще более смехотворно, чем я уже выгляжу.

Спасибо Вам за Вашу последнюю доброту; она очень трогательна; я прямо не знаю, как Вас и благодарить.— Ах! на самом деле бессмысленно пытаться преодолеть, теми средствами, которые я могу найти, унижение, в которое меня ввергли ужасные обстоятельства моей доли, в то самое время как, используя Вашу собственную подлость и отвратительные методы, все, что Вы пытаетесь сделать, это ввергнуть меня в сотню раз глубже в состояние полного позора.

Но что, в конце концов, Вы конкретно делаете с моим доходом? Я полагаю, что обхожусь Вам примерно в две тысячи крон в год: это оставляет Вам двадцать восемь тысяч ливров ежегодного дохода. Что Вы с ним делаете? Нужно разобраться с долгами. Насколько я понимаю, это означает расплатиться с долгами в соответствии с парижскими правилами, что можно перевести как *тридцать тысяч ливров в течение пятнадцати лет*, выплаченные в руки *управляющих*, *приставов*, *администраторов*, *наставников* и других негодяев и мошенников того же пошиба, дабы ликвидировать *шестьдесят тысяч* долга...

О! Я знаю все маленькие профессиональные трюки Вашей матери, а также трюки всех тех жуликов, которых она использует для того, чтобы проесть наши семейные сбережения, отложенные на черный день! И именно поэтому мадам расхаживает по улицам пешком, чтобы ее товарищ Альбаре мог сэкономить две-три тысячи франков, которые, благодаря Вам, прекрасно ложатся в ее собственный карман. Терпение, терпение... Вам лучше бы привести свои бухгалтерские книги в полный порядок, дамы и господа из администрации, это мой вам совет, ибо вам придется иметь дело с человеком, который будет изучать их орлиными глазами. Отвратительная мачеха, мать, недостойная носить это звание, подумать только, что ты позволяешь своей собственной дочери выйти из дома и бродить пешком в такую погоду, подвергаешь свою дочь опасности подхватить воспаление легких, только для того, чтобы она могла и дальше подкупать банду мошенников, которые окружают ее и снабжают советами!

И Вы ожидаете, что я стану об этом молчать! Вы думаете, что я не стану кричать об этом повсюду, как только буду в состоянии это сделать! Пусть тюремные запоры, которые в настоящее время не дают мне закричать во весь голос о том, как срочно нужно сделать так, чтобы стало известно об этих жестокостях, пусть они откроются только для того, чтобы я смог рассказать всей Европе, насколько отвратительно ее поведение, и пусть мне позволят остаться в живых, чтобы я мог описать ее, в глазах всей вселенной, настолько низкой и подлой, как она того заслуживает! Иметь сто тысяч крон дохода — и позволять своей дочери расхаживать пешком! Да, это делается для того, чтобы подвергнуть опасности жизнь дочери; известно и доказано, что не проходит и дня, чтобы с кем-нибудь что-нибудь не стряслось

на парижских улицах. Кто может сказать, что Вы не будете следующей, кого постигнет подобное несчастье?

Короче говоря, я не хочу, чтобы Вы больше ходили пешком. Прежде всего, я запрещаю Вам это делать, пользуясь тем исключительным правом, которое принадлежит мне как Вашему мужу, заклиная моими нежными чувствами к Вам и моими несчастьями. Разве этого недостаточно? Что ж, тогда я бросаюсь к Вашим ногам во имя всего, что Вам дороже всего на свете, и умоляю Вас не причинять мне еще большего горя! Если подобное случится снова, знайте, что я узнаю об этом и буду вынужден отречься от Вас, как бы трудно мне ни было привыкнуть к такому положению и сколь долгое время мне бы на это ни потребовалось, и Вы можете не сомневаться, что я никогда Вас больше не увижу, пока буду жив. Никаких извинений, никаких отсрочек, отговорок: «О! но я ведь живу совсем рядом». Мне на это наплевать! Даже если бы Вы жили буквально в тени Бастилии, я бы запретил Вам приходить ко мне пешком.

Если Вас на самом деле волнуют те расходы, которые я несу, и, если мы оба обязаны сократить все наши расходы до минимума, дабы оплатить мошенников из окружения Вашей матери, тогда пусть так и будет. Но Вы сообщите мне об этом, и я возьму на себя те меры, которые следует предпринять, приму на себя любые тяготы, которые будут необходимы, я буду обходиться без всего, я буду есть только хлеб и спать на голом полу, чтобы Вы ни в чем не нуждались. В следующий раз, когда Вы придете, я запрещаю, чтобы Вы мне что-либо приносили. А Вы ходите пешком не только, когда навещаете меня, поскольку Вы упоминали, что однажды Вы столкнулись с *Альдонсом*[206]. Это доказывает, что Вы выходите часто. Запомни хорошенько, впредь я запрещаю тебе делать это когда-либо еще,

и помни, что нет лучшего способа причинить мне еще большую боль, чем повторять такие же невообразимые поступки и глупости, как то, что ты только что сделала.

Пожалуйста, передайте прилагаемое письмо Агате[207].

Умоляю Вас, пожалуйста, успокойте меня и облегчите мой разум; пожалуйста, сообщите мне, что Вы клянетесь, что больше не будете ходить ко мне пешком.

[Прилагаемое письмо]

К г-же Ле Фор.

Я испытал значительное облегчение, сударыня, узнав, что Вы находитесь на службе у моей жены, и я льстил себе мыслью, что поскольку Вы давно уже привязаны к ней, то, пока Вы с ней, нет нужды опасаться, что она совершит что-нибудь глупое или опрометчивое. Но то, что я узнал, вызывает во мне возмущение, и я надеюсь, что Вам прекрасно известно, что я никогда не прощу Вас за то, что Вы позволили ей расхаживать [по Парижу] пешком. Когда у нее возникает нужда выйти из дома, а ее мать столь подла и омерзительна, что не предоставляет ей самый лучший конный экипаж, я прошу, чтобы Вы приказали Юности пойти и найти для нее самый лучший и самый удобный, который он сможет найти за такое короткое время, пусть даже он понадобится ей хотя бы на час; и, начиная с сегодняшнего дня, 8 июня, даты настоящей просьбы, если я узнаю, что Вы не выполнили этой просьбы, я даю Вам свое слово чести, что, как только я буду в состоянии это сделать, моей первой заботой будет препоручить свою жену рукам того, кто лучше знает, как позаботиться о ней, явно лучше, чем Вы.

Посылаю Вам свои поклоны.

À madame de Sade

К г-же де Сад

Высшие соображения г-жи Кордье,
жены председательствующего судьи,
носящего ту же самую фамилию[208]

4 сентября 1784 г.

Уже прошло добрых четыре месяца, как моего зятя доводят до безумия обыкновенными мелочами: *его сделали слепым на один глаз, лгали ему, лишь изредка выпускали его погулять на свежем воздухе*. Все это ерунда; я не получаю от этого удовольствия, меня пучит, мне трудно переваривать пищу, я всю ночь ворочаюсь с боку на бок. Хватит, о палачи! Приблизьтесь и получше помучьте моего зятя, умоляю Вас.

Палач,
или бывший телохранитель де Лосм[209]:

— Но, сударыня, он ведет себя как ангел. Какого черта Вы хотите, чтобы мы с ним сделали?

Г-жа Кордье:

— Ах Вы негодяй! За что я, по-вашему, Вам плачу,— чтобы Вы возносили ему хвалу? Какое мне дело до того, хорошо он себя ведет или нехорошо? Если Вы не можете сосредоточиться на его ошибках или недостатках, тогда наказывайте его за его достоинства. Вы что, совершенно ничего не соображаете в искусстве устраивать скандалы, ставить ловушки? Разве не за это я Вам плачу? Манеры моего зятя исполнены благородства? Тогда обращайтесь с ним нагло, и он поймается на приманку, послав

Вас на ... когда он это сделает, ему запретят выходить из камеры, соответственно, больше никаких прогулок. И потом, подумайте, что в нем есть *какое-то благородство*, в то время как во мне вообще нет ничего, *кроме благородства*! — Мой зять исключительно хорошо организован; он не любит выбрасывать деньги на ветер. Заставьте его платить по 28 ливров семнадцать су за вещь, которая на самом деле стоит шесть ливров. Я поделюсь с Вами выручкой. Он будет протестовать, он заявит, что его заставляют платить гораздо больше за то, что он покупает, чем это стоит: и тогда сообщите ему, что ему временно отказано в *праве совершать покупки*, дабы научить его, что не следует быть таким расточительным. Таким образом, Вы сами видите, идиоты, поскольку Вы, похоже, не можете сосредоточиться на его недостатках, теперь он будет наказан за свои достоинства! И я буду спокойнее спать, лучше срать и проч.

И тем не менее, именно так подло рассуждает Ваша ужасная мать! И так происходит в течение тех последних двенадцати лет, что это отвратительное существо обманывает меня и сует свой нос во все аспекты моей жизни! И Вы действительно верите, что я не стану мстить? И Вы можете хоть на мгновение вообразить, что слово «*свободен*» заставит меня забыть все, что со мной делали и делают? Если этому когда-либо суждено случиться, Вы можете считать меня самым трусливым и самым презренным из людей.

В это время года два вида питания, которые мне необходимы для того, чтобы выжить, это свежий воздух и фрукты: я практически не вижу разницы между тем, чтобы мне перерезали горло, или лишили двух этих необходимых вещей. Пища здесь ужасна. Пока у меня были средства дополнять обычное тюремное питание, я ничего не говорил. Но когда доходит до той точки,

когда я не могу больше выживать, пора подать жалобу. Хотя обращаться к Вам по поводу моих потребностей и говорить с камнем, это примерно одно и то же, я, тем не менее, прошу Вас поднять вопрос в отношении того факта, что я не могу жить без этих двух вещей, и пусть выберут в качестве средства своих издевательств что-нибудь другое, если это возможно, потому что им не следует затрагивать основные потребности человека, а для меня они действительно таковы.

Если бы Вы только видели *вонючее и совершенно отвратительное так называемое мясо*, которое здесь дают, Вы бы без труда поняли, что тому, кто привык к изысканной пище, необходимо дополнять ее за свои собственные деньги. Они больше не могут использовать тот предлог, что мои жалобы основаны на том факте, что я *упорно настаиваю на том, что они меня обворовывают*, ибо я присягнул в обратном. Таким образом, если они отказываются позволять мне покупать дополнительные продукты, то лишь из-за своей собственной злобы и дурного нрава, особенно, когда Вы настолько своевременно за них платите, как, я полагаю, Вы это делаете. Тем временем, пожалуйста, будьте столь любезны, чтобы позаботиться в отношении следующего списка:

Список поручений, который, если кто-то пожелает, можно изъять из прилагаемого письма, с перечислением вещей, которые я сердечно прошу свою жену прислать мне без промедления

Корзину с фруктами, содержащую следующее:

персики — 12, нектарины — 12, груши — 12, гроздья винограда — 12, половина которых должны быть зрелыми и го-

товыми для употребления в пищу, а вторая половина — менее зрелых, чтобы они могли пролежать еще три-четыре дня.

Две банки варенья.

Дюжину палерояльских бисквитов, шесть из которых с суфле из цветков апельсина, и два фунта сахара.

Три связки ночных свечей.

Пожалуйста, побыстрее отправьте эти вещи; а чтобы моя жена не замешкалась с их отправкой под тем предлогом, что ей нечем за них заплатить, я прилагаю распоряжение о выдаче денег.

Я прошу председательствующего судью де Монтрея выплатить г-же де Сад, его дочери, сумму в двести ливров, каковая сумма будет вычтена из задолженностей по ее приданому, с которым я разберусь, когда мы произведем полный и надлежащий расчет, как только мое положение позволит мне это сделать.

Составлено в Париже сего четвертого сентября тысяча семьсот восемьдесят четвертого года.

Де Сад

À madame de Sade

К г-же де Сад

[конец 1784 г.]

Мне прекрасно известно, что *vanille* вызывает чрезмерную разгоряченность, и что *manille* следует использовать умеренно[210]. Но чего Вы ожидали? Когда это все, что остается человеку, когда он ограничен этими двумя вещами в качестве источника наслаждения! Единственное, что я мог бы еще сделать, это лишить себя всего привычного. Один полный

час утром на пять *manille*, мастерски распределенные от 6 до 9, добрых полчаса вечером еще на три, причем последние немного поменьше,— я полагаю, здесь нет причин для беспокойства; это кажется более чем разумно; кроме того, когда это все, к чему ты привык, это ничуть не утомляет — и, действительно, приносит свои результаты. Пусть кто-нибудь попробует предложить что-нибудь получше — и кроме того, пусть кто-нибудь скажет мне, что я не извлек никакого урока из своего пребывания в Венсенне.

Более того, я должен сказать Вам, что то, что Вы теряете в одном отношении, Вы более чем компенсируете в другом,— это подобно тому, как человек сжигает правую сторону своего дома, достраивая его с левой стороны. Ибо с той стороны, которая не горит,— это поистине образчик мудрости — иногда, по правде говоря, три месяца, но не потому что лук не натянут до отказа,— о, не волнуйтесь: в этом отношении он представляет собой все, на что можно надеяться, в том, что касается твердости,— но стрела отказывается вылетать из лука, и это самый невыносимый момент — потому что хочешь, чтобы она вылетела,— и в отсутствие цели начинаешь немного сходить с ума — и это нисколько не облегчает состояние,— и именно по этой причине я говорю Вам, что тюрьма — это дурно, поскольку одиночество дает дополнительную силу только мыслям, и расстройство, которое проистекает из этого, становится все сильнее и даже еще более выраженным.

Но я уже принял решение по поводу упрямого нежелания этой стрелы вылетать из лука, тем более что в конце концов она все-таки рассекает воздух,— это настоящий приступ эпилепсии — и, какие бы меры предосторожности я не предпринимал, я совершенно уверен, что эти конвульсии и спазмы, не говоря уже о физической боли, слышно аж в Фабургском соборе

Св. Антуана — Вы получили некоторое представление об этом в Ла-Косте — что ж, я могу Вам сказать, что теперь все еще в два раза хуже, так что Вы можете сами представить. Вследствие чего, если принять все это во внимание, происходит больше вреда, чем пользы; поэтому я буду придерживаться своей *manille*, которая умеренна и не имеет никаких болезненных побочных эффектов, описанных выше.

Я хотел проанализировать причину этих обморочных приступов и думаю, что это происходит из-за чрезвычайной густоты — как если попытаться выбить крем из очень узкого горлышка бутылки или флакона. В таком случае, здравый смысл подсказывает: стрела должна вылетать из лука чаще,— с чем я всем сердцем согласен,— единственная проблема здесь заключается в том, что она просто не желает этого делать,— и попытки удержать ее, когда она не хочет вылетать, буквально вызывают у меня такие приступы меланхолии, что мне кажется, что я умираю. Если бы у меня были средства — то есть другие средства, кроме *manille* (ибо *manille* также не заставляет стрелу вылететь), но если бы я имел те другие средства, которые я использовал, когда находился на воле, то стрела была бы не такой упрямой и вылетала бы чаще, кризис, сопровождающий ее спуск, был бы не таким жестоким и не таким опасным — ибо его опасность можно объяснить трудностью спуска.

Когда хочешь куда-нибудь войти, если дверь открывается легко, то, когда толкаешь ее, прилагаешь лишь небольшое усилие; однако если дверь заклинило, сила, которую нужно приложить, чтобы ее открыть, становится все мощнее из-за сопротивления двери. Здесь то же самое: если бы стрела вылетала чаще, она была бы более *текучей*; и, соответственно, было бы меньше [бурных] проявлений; а в противоположной ситуации — *ужасные проявления*, *бурные усилия*, если стреле, натянутой

до избытка из-за чрезмерно длительного бездействия, приходится разрывать колчан, когда она вылетает.— Представьте в своем воображении ружье: в его патроннике находится пуля, природа которой состоит в том, что чем дольше она остается в ружье, тем больше она увеличивается; если Вы выстрелите из ружья через пару дней, выстрел будет относительно легким; но, если Вы оставите в нем пулю на некоторое время, тогда она, вылетая, разорвет и ствол.

Если у Вас есть врач, которому Вы полностью доверяете, объясните ему все то, что я Вам только что рассказал, ибо я вполне убежден, что на свете нет никого, кто испытывает такой кризис, как я в подобной ситуации; вследствие чего, как только я освобожусь, то намерен проконсультироваться у врача и объяснить ему всю проблему — ибо я вполне определенно страдаю от физического или врожденного недостатка, которого нет у других мужчин, недостатка, который был менее очевиден, когда я был моложе, но который, по мере того как я становлюсь старше, проявляет себя все более и более настойчиво, и мысль об этом приводит меня в отчаяние. Как только я смогу, я хочу привести себя в порядок, и поэтому я буду строго следовать тому режиму, который назначит врач.

Пожалуйста, не противоречьте мне, говоря, что это не только физическая проблема, но также и нравственная, ибо на это я отвечаю, что здесь я пробовал все возможные тесты — заставлял себя сохранять полное самообладание сколь возможно долго, и, тем не менее, когда стрела вылетает из лука, я не только полностью теряю голову, но она остается в этом состоянии даже еще более долгое время, потому что сам кризис настолько долгий и продолжительный, и мои конвульсии настолько сильны, что это не поддается описанию. Нельзя сказать, что я сам довожу себя до отчаяния еще до того, как это происходит; на-

против, чем в более неистовом состоянии находится мой рассудок, тем менее вероятно, что стрела вылетит,— и это то, чему Вы сами были свидетельницей и наверняка слишком хорошо помните. И чем дольше стрела остается в колчане, тем более это тебя доводит — вследствие чего все те проблемы, о которых Вы знаете. Если стрела отказывается вылетать, а Вы пытаетесь заставить ее, следуют *ужасные приступы*; если добиваетесь успеха — *жуткий кризис*, а если терпите неудачу, тогда голова находится в адском состоянии.

Сами судите, нужно мне консультироваться у врача или нет, а также существует ли у меня настоятельная потребность принимать ванны, которые, я вполне уверен, помогли бы облегчить, если не решить, проблему.— Пожалуйста, ответьте и сообщите мне, не сможете ли Вы поделиться со мной Вашими соображениями на этот счет, и не сомневайтесь, что я испытываю к Вам свои самые нежные чувства.

À l'auteur...

К автору колонки новостей[211]

31 июля 1785 г.

Сударь, публика, которая с чрезвычайным одобрением восприняла Вашу последнюю колонку касательно статьи из Бастилии, относительно приключений графа де С., явно хотела бы, чтобы Вы написали больше об этом знаменитом заключенном, и, говоря за себя, поскольку я однажды имел честь быть знакомым с этим господином, я был бы благодарен, если бы Вы могли предоставить мне новые истории, касающиеся его заточения. Засим имею честь быть, сударь, и проч.

Ответ

В ответ на Вашу просьбу, сударь, я попытаюсь выполнить ее, поведав Вам довольно забавный анекдот, который весьма сходен с тем, который я упомянул в моей последней статье.

Вы, несомненно, слыхали о тех, кого в мадридской инквизиции или в наших собственных застенках Шателе называют *тюремными наседками*. Это разновидность хорошо оплачиваемого шпиона, которого подсаживают в камеру к какому-нибудь бедняге, которого хотят допечь власти и у которого они хотят выудить признание или что-то подобное. Этот так называемый товарищ по несчастью втирается в доверие к своему соседу; он выражает ему свое сочувствие, заправляет ему какую-нибудь небылицу в качестве собственной истории, вселяет в него луч надежды, завоевывает его доверие, и, поскольку бедняга не умеет скрывать своих чувств, наседка вскоре обманом вытягивает у него признание, которое ему нужно. После чего наседка исчезает, а беднягу вешают.

Фемида, эта богиня закона и правосудия, настолько глупа и жестока, что опускается до таких отвратительных способов, дабы умножить число своих жертв, или вовлекает своих лакеев в занятие подобными мрачными и сомнительными удовольствиями. Сие непотребство можно только прибавить ко всем тем остальным ужасам, которыми она постоянно и непрестанно порочит себя и своих презренных подручных; но добавления еще одного отвратительного метода ко всем остальным едва ли достаточно, чтобы заставить кого-либо удивленно приподнять бровь: проливается кровь, Фемида пьет ее жадными глотками, все методы хороши и *законны*, при условии, что они себя оправдывают.

Но в королевской тюрьме, под охраной и защитой монарха, среди людей, которые посвятили свою жизнь его службе, несо-

мненно, больше всего поражает то, что змеи этой омерзительной богини получили возможность свободно распространить свой яд в грязных углах и закоулках своих самых отвратительных логовищ, и именно это — в точности то, что произошло вчера с заключенным, ставшим предметом моей самой последней статьи, которую, как я понимаю, Вы сочли интересной.

Переходя к сути, я прежде должен признать, что испытываю *слабость* к нашему герою... Да, сударь, слабость! Кто, в конце концов, не имеет слабостей? Мир слеплен из *слабостей*, и, как имеют обыкновение говорить наши современные философы, именно посредством *слабостей* мира та машина, чья задача разделаться с добродетелью, достигает своей цели. Не может быть равновесия без слабости, как нам всем известно. Без Николя Кордье, который имел *слабость* отправиться одолжиться пятнадцатью тысячами франков, приложив пистолет к чьему-то горлу; без Гильома Партье, который имел *слабость* украсть у немощных и искалеченных; без Никодема д'Эври, который *имел слабость*, чтобы кто-нибудь срал ему в рот; без Клода де Монтрея, который из слабости спал со своей сестрой и тремя дочерьми[212],— весь мир, который зиждется лишь на *слабости*, неожиданно утянутый в обширные пустыни пространства, был бы, возможно, на сотни миллионов миль дальше от солнца, чем он находится сегодня.

Как бы то ни было, *слабость* нашего графа далеко не так велика. Она состоит всего лишь в его полнейшем отвращении к необходимости перед кем-либо отчитываться, и, как Вы хорошо можете себе представить, его мучители ухватились за *эту слабость*, чтобы еще больше досадить и оскорбить своего несчастного пациента. Но угадайте, перед кем они заставили его отчитываться? ...*Перед тюремной наседкой!* Совершенно вер-

но, сударь, перед *наседкой*! В результате вчера графу задавал вопросы, выражал сочувствие, утешал, обнадеживал, но более всего задавал вопросы его якобы товарищ по несчастью. Но поскольку, судя по всему, Вы знаете этого человека, я прерываю свой рассказ и оставляю Вашему воображению самому нарисовать картину того, как он себя вел и как реагировал на эту провокацию.

Разве Вы не в высшей степени удивлены, сударь, как удивлен я, что такая тактика применяется по отношению к человеку, обладающему неплохим здравым умом? Такие старые и дешевые уловки, такие подлые и низкие методы, совершенно невообразимые и настолько недостойные приличных людей? Но, полноте, сударь, мы имеем здесь дело не с приличными или достойными людьми, но с бандой отъявленных мерзавцев, которые имели несчастие подумать, что граф настолько же глуп, как и они.

Имею честь быть, сударь и проч.

Продолжение следует.

À commandant de Sade

К коменданту де Саду[213]

[октябрь 1786 г.]

Узнав, что все причины, представленные ему в отношении сохранения его вещей и имущества, полностью разумны, и, чувствуя, в полном согласии со своим дядей, насколько важно, чтобы кто-нибудь был назначен для управления оными, г-н де Сад настоящим заявляет, что нет никого более компетентного для того, чтобы выполнить эту функцию, неже-

ли сам граф де Сад, и что причины, по которым его держат в тюрьме, не более непреодолимы, чем те, что делают его заточение как вредным, так и болезненным для него, его жены и детей. Вследствие сего он сердечно просит, чтобы командор де Сад изложил в своем письменном сообщении министру все подробности, которые он включил в свое заявление, объясняющие, насколько необходимо для него физически присутствовать в собственных владениях и насколько важно, чтобы приказ короля был отменен, как после столь долгого заточения, так и по причинам настолько непреодолимым. Министр слишком справедлив, чтобы отказать в просьбе коменданта де Сада. Этот ответ — последний, который граф де Сад сделает по этому вопросу. Нет никакого смысла впредь просить у него доверенность, которую он не даст, пока будет оставаться в тюрьме.

À madame de Sade

К г-же де Сад
16 ноября 1786 г.

Нельзя удержаться от убеждения во врожденной предрасположенности г-жи де Сад к выбрасыванию денег на ветер. Кое-кто считал ее бережливой, но теперь становится ясно, что он ошибался, ибо даже крайняя бережливость не состоит в том, чтобы лишать себя самого необходимого (это уже называется скупостью): она состоит в том, чтобы приобретать продукцию какого-либо рода и платить за нее по самой низкой возможной цене. Это единственный разумный способ быть бережливой; и, совершенно точно, так не поступает женщина, ко-

торая просто посылает лакея, чтобы приобрести немного туши, разведенной в каше из древесного угля, в лавку Дюлака, за что она платит сумму в шесть ливров за покупку, которая стоит не больше десяти су. Истинная бережливость состоит в том, чтобы ходить за такими вещами самой, проверять их на месте и покупать их только тогда, когда точно известно, что они высшего качества. Дабы избавить себя от необходимости ходить самой, пусть г-жа де Сад будет столь любезна, чтобы послать своего лакея забрать покупку, вернуть ее Дюлаку, или попросить, чтобы он ее обменял; в любом случае, мы не хотим то, что Вы купили. Таким образом, г-жа де Сад освобождается от необходимости выполнять поручение, о выполнении которого, тем не менее, учитывая, что это женский товар, должна заботиться только дама, и, несмотря на отсутствие у нее бережливости и ее некачественную тушь, ее муж обнимает ее[214].

Заверенная копия.

À madame de Sade

К г-же де Сад
25 ноября 1786 г.

Настоятельность получения испанского и португальского ответов становится чрезвычайной[215]. Мне кажется, что наиболее простым выходом было бы найти учителя, у которого эти языки родные, послать за ним и задать ему эти вопросы, чтобы он записал ответы, в обмен на что Вам следует заплатить ему крону, что больше, чем он получил бы за урок, который отнял бы у него гораздо больше времени и усилий. Пожалуйста, умоляю Вас, перешлите эти записанные ответы как можно быстрее.

Aux officieres de la Bastille

К штабным офицерам Бастилии

[1787 г. (?)]

Настоящим заявляю штабным офицерам Бастилии, что комендант сего заведения вынуждает нижеподписавшегося пить вино, которое настолько фальсифицировано, что его желудок ежедневно испытывает от него расстройство. Нижеподписавшийся убежден, что в намерения короля не входит, чтобы коменданту дозволялось оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье тех, кого коменданта назначили кормить и содержать, и все это делается в целях набивания карманов самого г-на де Лоне[216] или его мелких сошек.

Вследствие чего, нижеподписавшийся любезно просит, чтобы штабные офицеры, которых он знает как людей непредубежденных и честных, вмешались и выступили в качестве его посредников, дабы справедливость в данном случае могла восторжествовать.

À madame de Sade

К г-же де Сад

24 августа 1787 г.

Есть некоторые вещи, которые доставляют такое наслаждение, что невозможно найти слова, которыми можно было бы их выразить. Душа слишком тронута, слишком взволнована; нужно на мгновение уйти в себя, дабы насладиться и полностью оценить то, что ты ощущаешь, что будет потеряно

без такого внутреннего созерцания. Это повесть о том, кто благодарит Вас от всего сердца за восхитительный подарок, который Вы только что ему преподнесли...[217] Божественный и желанный подарок, возбуждающий чувства, которые с течением времени растут и множатся, и — несмотря на всех тех, кто желают ему зла, пока он не испустит дух,— посеют тысячу цветов, вечно пускающих ростки и заново расцветающих на тернистом пути его жизни.

Он обнимает Вас и поблагодарит Вас гораздо более полно, когда у него будет возможность заключить Вас в свои объятия.

P. S. Портрет, черепаховая рамка,— все прелестно, за все большая благодарность, все доставляет невероятное наслаждение; и Вы можете быть уверены, что я скорее расстанусь с жизнью, чем когда-либо откажусь от обладания тем, что останется со мной до моего смертного дня.

À monsieur du Puget

К г-ну дю Пюже, рыцарю королевства[218]

[начало октября 1787 г.]

Учитывая все обстоятельства, сударь, письмо г-ну де Лонею в таком виде, как Вы мне советовали, после всего того, что этот полицейский чиновник берет на себя вольность причинять мне, кажется мне опрометчивым; это покажется или актом покорности по отношению к нему, или попыткой наладить отношения с солдатом Миреем[219]. Факт в том, что я льщу себе мыслью, что Вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы пони-

мать, что подобное даже в голову мне не приходило. По правде говоря, с моей стороны было бы двуличным идти на такой шаг, а двуличность — это порок, к которому я испытываю отвращение; умолять его о прощении и делать вид, что я раскаиваюсь, было бы двуличностью и лицемерием, когда мой разум и сердце целиком и полностью сосредоточены на поисках лучших и наиболее верных способов отомстить за все те ежедневные оскорбления, которые эти три мерзавца[220] наносили мне во время моего заточения здесь, и рассказать об их подлых делах по всей Франции. Я преуспею в этой попытке, я надеюсь, и эта мысль утешает меня. Еще раз повторяю: все это лишь еще один спектакль, устроенный моей семьей, спектакль, в котором этот подлец де Лосм настолько низко пал, чтобы взять на себя роль постановщика. Это сотый подобный скандал, причем, прежде чем мы закончим, последуют и другие... Но когда мы все-таки дойдем до конца, то, как гласит пословица, хорошо смеяться будет тот, кто будет смеяться последним. Мое состояние и моя жизнь, и в этом я Вам клянусь, будут для меня лишь средством обрушить возмездие на своих палачей и раскрыть глаза всей стране на то, чем они на самом деле являются.

Посему, дабы мне снова разрешили прогулки, именно к барону де Бретею и к Вам, сударь, я обращаюсь, умоляя Вас от всего сердца поддержать всей Вашей властью мою настоятельную потребность дышать свежим воздухом и проследить, чтобы позаботились о моих глазах, которые находятся в крайне бедственном состоянии, ибо, если я буду лишен возможности дышать, не возникает сомнений, что вскоре и ослепну.

Я бы не отважился, сударь, просить Вас обременять себя лично моим письмом к министру; я ограничиваюсь тем, что прошу Вас поддержать мою просьбу о возобновлении моих прогулок.

Вместе с прилагаемым письмом я вкладываю еще одну существенную просьбу, касающуюся моего здоровья, которую я от всего сердца прошу Вас поддержать подобным же образом. В течение более чем четырех лет моего заточения, у меня еще не было возможности встретиться с врачом. Состояние моих глаз и отсутствие удовлетворительного ухода, который у меня был со стороны окулистов, настоятельно требуют, чтобы я проконсультировался у других специалистов, и я прошу встречи с врачом.

Также прилагаю письмо к своей жене, которое я взял на себя вольность препоручить Вашей заботе; и, выражая Вам благодарность за заботу и внимание, которые Вы мне даровали и которые я заслуживаю только в той степени, в какой мои чувства к Вам теплы и искренни, повторяю, выказывая Вам свое самое искреннее почтение, я осмеливаюсь сказать себе, что я бесконечно ближе к Вам, сударь, чем Ваш самый покорный и послушный слуга.

Де Сад

Сегодня утром Вы сказали мне, *что мне не следует обращать слишком большого внимания на корни людей, на то, откуда они родом.* Это верно, но только тогда, когда достоинства этих людей заставляют Вас закрыть глаза на их происхождение; и в этом случае их следует уважать даже гораздо больше, чем тех, кто имеет благородное происхождение, но чья жизнь никчемна или полностью потрачена впустую, которые, потрясая пергаментом своего родового наследия перед обществом, лишь раскрывают, сколь велико различие между ними самими и их прославленными предками. Но когда сын садовника из Витри (Лосм), сын перевозчика из Авиньона (Мирей), сын надсмотрщика над галерными рабами (Журдан), только лишь недавно выбравшись из своей грязи и гниения, не привносят

в должность, на которую их поставила их подлость, ничего, кроме бесстыдных пороков своего происхождения, все восстает, чтобы снова сбросить их обратно,— при том, что они об этом даже не подозревают,— в зловонное болото, которое является их естественной средой обитания; и их носы, которые им едва удалось приподнять над землей, по моему мнению, делают их похожими на какую-нибудь грязную и отвратительную жабу, которая предпринимает кратковременную попытку вылезти из своей трясины только лишь для того, чтобы снова в нее погрузиться и слиться с грязью.

О Лоней, Лосм и Мирей, недостойные сотоварищи самого милого, самого остроумного и самого порядочного из людей, взгляните на себя, всех троих, на этой нарисованной мною картине и скажите мне, найдется ли во всем Париже зеркало, которое изобразит Вас более правдиво.

À madame de Sade

К г-же де Сад
1787 г.

Неодолимое желание испытываю я — выбранить Вас: то, как Вы бесконечно болтаете, совершенно без малейшего толка, пугает и, поистине, не поддается никакому пониманию. Имея с Вами дело, никогда не знаешь, чему верить, и это совершенно отвратительно. Чем больше я об этом думаю, однако, тем больше я понимаю, что в этом на самом деле нет ничего удивительного: поскольку мы разлучены, моя милая, Вы действительно стали самостоятельной. И тем не менее, созна-

юсь, я никак не могу понять, что скрывается за вашим поведением, и Вы самая старательная из женщин. Неужели Вы могли хоть на мгновение вообразить, что я все это Вам прощу? Вам следует знать, что я совершенно зол из-за Вашего поведения. Прощайте. Нынче вечером я пытаюсь писать с рвением животного, осла, какого-нибудь испанского жеребца, посему желаю Вам всего хорошего. Все-таки приезжайте навестить меня, умоляю. Приезжайте, когда Вам будет угодно, я всегда буду доволен и польщен Вашими посещениями, и Вы можете быть уверены, что, несмотря на всю боль и страдания, которые Вы мне причиняете, Вы будете объектом моих крепких объятий, да, я обниму Вас от всего сердца и от всей души.

À monsieur du Puget

К г-ну дю Пюже, рыцарю королевства

1787 г.

Вчера, во время вашего посещения, Вы были чрезвычайно добры, позволив исполнить эту трагедию Бовэ, о которой мы вкратце беседовали недавно. Откажется ли г-н дю Пюже высказать свое мнение? Автор был бы весьма благодарен его выслушать, но просьба несвоевременна, мы знаем... Отказаться от занимательного дня ради того, что, Вы знаете, будет скучно! Я не могу представить, как происходят такие вещи, и ясно помню, что, когда я был частью публичной суеты, я, как правило, рассматривал подобные приглашения как ловушки или западни... на которые я просил ответить своего врача и принести мои извинения.

À madame de Sade

К г-же де Сад

[октябрь 1788 г.]

Ужасно встревожен, мой дорогой друг, тем, что обхожусь Вам в такие большие деньги, особенно в то время, когда Вы больны; но, когда я согласился на эти расходы, я совершенно не знал, что Вы чувствуете себя неважно: если бы я знал, то наверное никогда бы на них не пошел.

Я жестоко ошибался по поводу стоимости моего переезда[221]. Расходы составляют значительно больше, чем я думал; при этом я не потратил больше, чем было совершенно необходимо, и единственный предмет, который можно было бы посчитать экстравагантным, обошелся всего в один луи; все остальное было предметами первой необходимости и ограничивается старым гобеленом, походной кроватью и некоторыми бумагами: это абсолютно все, что есть в моей комнате, и, тем не менее, мне все еще недостает двадцати луи. Пожалуйста, мой дорогой друг, окажите мне любезность и проследите, чтобы они обязательно были для меня приготовлены в конце месяца, ибо все буквально закончено, сейчас не время медлить. Если Вас вообще заботит мое благополучие в свете того бедственного положения, в котором я оказался, не испытывайте сожалений, ибо, по крайней мере, я буду в настолько хороших условиях, насколько это возможно в тюрьме, и, к тому же, достаточно здоров, что наиболее важно. Я обнимаю Вас и умоляю позаботиться о себе. Вы не представляете, насколько мысль о том, что Вы нездоровы, расстраивает меня, и насколько я страдаю, зная, в этот самый момент, что являюсь причиной таких значительных беспокойств и расходов.

Вы должны обязательно в течение следующих нескольких дней подтвердить получение этого письма, в противном случае мне придется попросить офицеров сообщить Вам о его содержании. Прощайте. Известите о Вашем здоровье, умоляю Вас.

Эпилог

À monsieur Gaufridy

К г-ну Гофриди[222]
12 апреля 1790 г.

Из Шарантона (куда меня перевели из Бастилии) я вышел в Страстную Пятницу. Чем лучше день, тем лучше деяние! Да, мой добрый друг, именно в этот день я снова обрел свободу; вследствие сего я решил отмечать его в качестве праздника до конца своей жизни, и — вместо этих забот, вместо этих фривольных шествий, которые традиция *нерелигиозно* предписывает в то время года, когда нам следует стенать и рыдать, вместо, повторяю, всей этой мирской суеты, когда сорок пятый день после среды на первой неделе Великого поста приводит нас к Страстной Пятнице,— Вы увидите, как я встаю на колени, молюсь, приношу обет исправиться и придерживаюсь данного обещания.

Теперь к фактам, мой дорогой адвокат, ибо я вижу, что Вы собираетесь эхом повторить то, что говорят мне все: *нам нужны не разговоры, сударь, а факты*,— итак, к фактам. Факты состоят в том, что я оказался посреди Парижа всего с одним-единственным луи в кармане, не зная, куда идти, где остановиться, где пообедать, где раздобыть денег. Г-н де Милли, по-

веренный из Шателе, который присматривал за моими интересами в этой части страны в течение двадцати шести лет, был столь любезен, что предложил мне свой кров, некоторый стол и шесть луи. Не желая злоупотреблять гостеприимством или оказаться обузой, проведя четыре дня у г-на Милли и оставшись лишь с тремя луи из первоначальных шести на все свои нужды, я решил найти гостиницу, в которой можно было бы остановиться, слугу, портного, пропитание и проч.— все это на три луи.

Учитывая обстоятельства, я попросил г-жу де Монтрей, чтобы ее нотариус выдал мне три луи на условии, что я немедленно Вам напишу, чтобы возместить указанную сумму, а также дабы не умереть с голоду,— и эту просьбу эта дама благосклонно удовлетворила. Посему, мой добрый адвокат, я умоляю Вас отправить мне без какого-либо промедления предварительную сумму в 1000 крон, ту же самую сумму, которую я просил у Вас на днях и в которой моя нужда не менее исключительна, чем важна быстрота Вашего ответа.

À monsieur Gaufridy

К г-ну Гофриди

[начало мая 1790 г.]

Только что получил Ваше письмо от четырнадцатого числа: поскольку оно пришло слишком быстро, чтобы быть ответом на мое, я преодолею свое разочарование тем, что не найду здесь одну из тех милых бумажек, которые намного превосхо-

дят в цене любовные письма и с помощью которых можно немедленно получить деньги.

Вы должны не сомневаться, что если я не писал Вам в течение моего заключения, то это потому, что я был лишен средств это сделать; на самом деле я не могу простить Вас за предположение о том, что мое молчание было вызвано чем-либо иным. Я бы не стал беспокоить Вас по поводу деловых моментов; какой бы смысл это имело в моем положении? Но я бы поинтересовался у Вас новостями, я бы рассказал о своих собственных; цепи, которые висели на мне такой тяжестью, мы могли бы украсить парочкой цветов. Но мои тюремщики не позволили бы этого; я все-таки попытался послать Вам письмо в таком духе, оно было мне возвращено, его *швырнули* мне обратно, и после этого я больше не писал. Посему, мой дорогой адвокат, я повторяю, что не могу простить Вас за то, что Вы усомнились в моих чувствах к Вам. Мы знаем друг друга с детства, мне не нужно Вам об этом напоминать; давняя дружба делает естественным, что именно Вам я доверился, когда давным-давно попросил Вас взять на себя управление моими делами; какие мотивы могли у меня быть для того, чтобы изменить свое отношение? Не Ваша вина, что меня арестовали в Ла-Косте, но моя. Я полагал, что там нахожусь в безопасности, и не представлял себе, с какой ужасной семьей мне пришлось вступить в противоборство. Я полагаю, что Вы поймете, что когда я здесь говорю о семье, то имею в виду только Монтреев; Вы не имеете ни малейшего представления об *инфернальной*[223] и *каннибальской* манере, в которой эти люди вели себя по отношению ко мне. Если бы я был самым последним и самым никчемным из живущих, никто бы не посмел обращаться со мною с тем варварством, которое я выстрадал благодаря им; одним словом, я потерял зрение

и моя грудь искалечена; из-за недостатка движения я стал чудовищно толстым, настолько, что едва могу передвигаться; все мои чувства и ощущения угасли; у меня больше нет вкуса ни к чему, никакого вкуса к любви; общество, которого мне так безумно не хватало, нынче кажется мне скучным... столь несчастным... столь печальным! Бывают моменты, когда у меня возникает желание присоединиться к траппистам[224], и я не могу гарантировать, что в один прекрасный день я не сбегу и не исчезну совсем, и никто даже не будет знать, что со мной стало. Я никогда еще не был таким мизантропом, как с тех пор, как я вернулся в гущу людей; если в их глазах я выгляжу чужим, они могут быть вполне уверены, что они оказывают такое же впечатление на меня.

Я постоянно был чем-то занят во время своего заточения; представьте, мой дорогой адвокат, у меня было пятнадцать томов, готовых для издателя, а теперь, когда я оказался на свободе, у меня осталась едва ли четверть из этих рукописей. Из-за непростительной забывчивости г-жа де Сад допустила, что некоторые из них пропали, некоторые позволила конфисковать, и в целом тринадцать лет труда пошли насмарку! Три четверти этих сочинений остались в моей комнате в Бастилии; четвертого июля меня увезли оттуда в Шарантон; четырнадцатого Бастилию штурмовали, вынесли из нее все, и мои рукописи, шесть сотен книг, которые мне принадлежали, мебели на две тысячи ливров, дорогие мне портреты,— все это разорвано на куски, сожжено, вынесено, разграблено, и при этом я не смог вернуть ни соломинки; и все это благодаря полнейшему недосмотру г-жи де Сад. У нее было целых десять дней[225] для того, чтобы вернуть мое имущество; она должна была знать, что Бастилия, которую в течение всего этого десятидневного периода битком на-

били оружием, порохом, солдатами, готовилась или для *нападения*, или для *обороны*. Тогда почему она не поспешила забрать мои вещи, чтобы с ними ничего не случилось? мои рукописи?.. мои рукописи? мои рукописи, над чьей утратой я проливаю слезы крови!.. Другие кровати, столы, комоды можно найти, но не идеи... Нет, мой друг, нет, я никогда не смогу описать то отчаяние, которое я испытываю от их утраты, ибо для меня она невосполнима. С тех самых пор чувствительная и нежная г-жа де Сад отказывается меня видеть. Любой другой сказал бы: «Он несчастлив, мы должны утереть его слезы»; таковая логика чувств не по ней. Я потерял недостаточно, она желает погубить меня, она просит развода. Посредством этой невообразимой процедуры она собирается оправдать все клеветнические измышления, которые на меня изливались; она собирается оставить своих детей и меня нищими и презираемыми, и все это для того, чтобы жить или, скорее, *восхитительно произрастать*, как она выражается, в монастыре, где ее, вне сомнений, утешает какой-нибудь *исповедник*, раскрывая ей глаза на то, куда заведет нас всех путь преступления, со всеми его сопутствующими ужасом и унижением. Когда ее благосклонным вниманием пользуется мой самый смертельный враг, даже тогда тот совет, который получает моя жена, не может быть хуже, не может быть более пагубным.

Вы легко можете понять, мой дорогой адвокат, что, поскольку теперь я вынужден предоставлять из собственных средств суммы, изымаемые из приданого моей жены (сто шестьдесят тысяч ливров), этот развод будет моей погибелью, чего и добиваются эти чудовища. Увы, великий Боже! Я бы подумал, что семнадцать несчастных лет, тринадцать из которых проведены в ужасных темницах, должны были искупить несколько скоро-

палительных безумных выходок, совершенных в моей юности. Вы видите, насколько я ошибался, мой друг. Злобу испанцев утолить невозможно, а эта отвратительная семья — испанская. Так Вольтер мог бы написать в «*Альсире*»: «*Что? Вы похожи на испанца — и Вы способны прощать?*»

À Gabriella-Éléonore de Sade

К Габриелле-Элеоноре де Сад[226]

22 апреля 1790 г.

Моя дорогая тетя, [...] я бы пренебрег своими самыми заветными и святыми обязанностями, если бы не уведомил Вас, что я только что снова обрел свободу; все, что мне нужно для того, чтобы чаша моего счастия была полна, это приехать и обнять Вас, что я, несомненно, и сделал бы, если бы меня не задерживали здесь настоятельные срочные дела.

Только лишь в Ваших объятиях, моя дорогая и милая тетушка, я могу излить ужасные печали, жертвой которых я являюсь день и ночь напролет в руках семейства Монтрей; если бы они связали себя родственными узами с сыном ломового извозчика, то и тогда не стали бы обращаться с ним в такой ужасной и унизительной манере. Я поступил с ними несправедливо, это верно, но семнадцать лет несчастий, тринадцать из которых я последовательно провел в двух самых ужасных тюрьмах в королевстве... тюрьмах, в которых меня заставили выстрадать все вообразимые мучения,— разве это средоточение пыток и притеснений не более чем компенсирует мои проступки... проступки, в которых они более виновны, чем я... Я уверяю Вас, что эти

люди — чудовища, моя дорогая тетушка, и величайшее несчастье моей жизни состоит в том, что я с ними связался; женившись на одной из представительниц этой семьи, я приобрел целый выводок обанкротившихся двоюродных братьев, несколько мелочных торговцев, пару родственников, окончивших жизнь на виселице, и все это без всякой защиты, без единого друга, не говоря уже о честной душе; теперь, когда они не могут держать меня в тюрьме, эти мошенники, сговорившись, трудятся над тем, чтобы полностью меня сгубить,— они делают все от себя зависящее, чтобы развести меня с моей женой, и, поскольку в ранние дни моего брака они поощряли меня использовать ее приданое, теперь мне придется возвращать эти деньги обратно, что приведет меня к полному краху[227]. У меня едва хватает на жизнь, и я, который женился лишь для того, чтобы иметь уверенность в том, что мой дом будет полон в старости, теперь я потерял все, покинут и одинок, доведен до такой же печальной участи, которая была уготована моему отцу на закате его дней, и оказался в той самой ситуации, которой более всего страшился[228].

Ни один из этих презренных негодяев — кроме моих детей, о которых я не могу сказать ничего, за исключением хорошего,— ни единый, повторяю, не протянул мне руку помощи. Когда я вышел из тюрьмы, я оказался посреди Парижа всего с одним луи в кармане, не зная, куда мне обратиться, чтобы найти приют или пропитание, а тем более кого-то, кто одолжит мне крону, когда у меня не осталось и этого луи; и, когда я умолял этих чудовищных людей о помощи, все, что я получал в ответ, это упреки и сомнительные комплименты; везде дверь захлопывали прямо перед моим носом, особенно моя жена, которая верх ужаса; нет, нет, моя дорогая тетушка, никогда еще ни с кем не обращались так подло, я повторяю это снова, никогда подобное нельзя было даже вообразить.

У меня была мебель, белье, огромное множество книг и более пятнадцати томов моих собственных рукописей, плод моего одинокого труда; из-за недосмотра или, скорее, непостижимой злобы, эти ужасные люди позволили всему этому пропасть в тот период, когда брали Бастилию; более того, опасаясь в то время, что меня могут освободить, они договорились, чтобы меня перевели в другую тюрьму; они никак не хотели, чтобы я забрал с собой свои вещи; они устроили, чтобы мою старую камеру опечатали; восемь дней спустя крепость была взята штурмом, в мою камеру вломились, и я все потерял... Из плодов пятнадцатилетнего труда я не смог спасти ничего... И все это из-за этих несчастных мошенников, которым, я надеюсь, Господь однажды отомстит за меня.

Моя дорогая, добрая тетушка, Вы, которую я никогда не переставал обожать, тысяча и одно извинение за то, что я столь долго Вас утомлял своими проблемами, но мое сердце настолько преисполнено печали, что невозможно не поделиться с тем, кто добр и мягкосердечен, как Вы. Я умоляю Вас писать мне, ставить меня в известность о Вашем здоровье, сказать мне, что в Вашем сердце все еще осталось хоть немного любви ко мне. И я надеюсь, что Вы убеждены, что нет на свете никого, кто привязан к Вам с такой же нежностью и уважением, как я.

Я также прошу, чтобы Вы передали мои нежные пожелания всем моим тетушкам и кузинам, которые еще остаются с нами, а также г-же Рауссе[229]; если она все еще затаила на меня какую-то обиду, я был бы благодарен, если бы Вы постарались наладить отношения.

Заверяю Вас, моя дорогая тетушка, в моем самом глубоком уважении.

Де Сад

À monsieur Reinaud

К г-ну Рейно[230]
19 мая 1790 г.

Важное дело, которое должно быть закончено здесь, и страх быть вздернутым на *демократической* виселице удерживают меня здесь до следующей весны. Затем, то есть в первых числах марта, я рассчитываю поехать со своими детьми в Прованс. Таковы мои планы, сударь, которые я намерен осуществить, если Господь и враги аристократии позволят мне жить. Кстати, не считайте меня фанатиком, я заверяю Вас, что я совершенно беспристрастен, и возмущен, видя своего монарха в оковах, ошеломлен тем, что вы, господа, живущие в провинции, понять не можете, а именно тем, что невозможно творить добро, пока санкции монарха ограничены тридцатью тысячами вооруженных наблюдателей и примерно двадцатью пушками, хотя мне следует добавить, что я мало сожалею о старом режиме; совершенно очевидно, что он причинил мне слишком много горя, чтобы я стал проливать по нему слезы. Вот Вам мое кредо, о котором я говорю без страха.

Вы спрашиваете меня о здешних новостях; с одной стороны, самый важный момент,— это то, что сегодня Собрание отказалось разрешить королю иметь какое-либо отношение к решению вопросов войны и мира. С другой стороны, самую большую озабоченность вызывают у нас провинции; Валенса, Монтобан, Марсель — место действия ужасных событий, где каннибалы ежедневно разыгрывают пьесы на английский манер, от которых у нас волосы встают дыбом... Ах! Я уже давно повторяю, что, говоря о себе, эта мягкая и нежная *нация*, которая упива-

лась поджаренными ягодицами маршала Анкра[231], ждет своего часа, чтобы мгновенно перейти к действиям и показать, что, вечно балансируя между дикостью и фанатизмом, она возвратится в свое естественное состояние при первой же возможности.

Но довольно об этом; мы должны быть осторожны в своих письмах; деспотизм никогда не вторгался столь жадно в частную жизнь, как свобода.

КОММЕНТАРИИ



[1] Сад был заключен в Венсеннский замок, который прежде чем стать тюрьмой, был королевской резиденцией, после приговора по «марсельскому делу» 1772 г. об оргии с «отравлением» проституток шпанскими мушками. В 1778 г. Сад второй раз прибыл в Венсенн, а кроме того отбывал заключение в тюрьмах Сомюр, Пьер-Ансиз, Миолан и др. Только однажды Сад был арестован за невыплату долга, а в остальных случаях — за безнравственное поведение. В связи с «марсельским делом» он был первоначально заключен в Миолан и совершил оттуда побег, однако был снова арестован и, после повторного судебного процесса по этому делу, и в связи с предполагаемым похищением девиц в 1775 г., снова оказался в Венсенне.

[2] *Госпожа Мари-Мадлен Массон де Монтрей* (урожденная де Плиссе), получившая за крутой нрав и в связи с постом, который занимал ее муж (*см.* примеч. 13), прозвище «Президентша». Госпожа де Монтрей сыграла роковую роль в судьбе Сада, приложив все усилия, чтобы зять, обладавший буйным нравом, как можно больше времени провел в заключении. Когда ее дочь и внуки получили титул де Садов, один из древнейших во Франции, госпожа де Монтрей сочла, что теперь предпочтительнее видеть Сада за решеткой, чем терпеть его скандальные выходки и оплачивать дорогостоящие развлечения. Она отказывалась поддерживать переписку с Садом, но он все же пишет ей, в том числе и собственной кровью, вскрыв вену.

[3] *Мать Сада* — Мари-Элеонора де Сад (урожденная де Майе) состояла в отдаленном родстве с королевской семьей и легендарным кардиналом Ришелье и была фрейлиной принцессы Каролины-Шарлотты де Конде. В Отеле де Конде Сад провел первые четыре года жизни. Там он впервые столкнулся с другим подлинным «садистом» эпохи — графом Шарлем де Шароле, с беспощадной жестокостью относившимся к крестьянам, а также прославившимся как беспримерный распутник. Граф де Шароле стал одним из прототипов героев Сада. Впрочем, на маленького Луи-Жозефа де Бурбона, принца Конде, граф де Шароле, который его воспитывал, вряд ли повлиял подобным образом: принц Конде стал одним из руководителей дворянской эмиграции в Кобленце после Французской революции.

Мари-Элеонора де Сад умерла в январе 1779 г. в монастыре кармелиток. Однако Сад отправился в Париж, где был арестован в Датском отеле, еще не зная об ее кончине. Целью его поездки было улучшение пошатнувшегося материального положения.

[4] *Аббат Жак-Франсуа Амбле* — теолог по образованию, свободный от церковных обязанностей. Был первым наставником Сада. Впоследствии он назовет аббата Амбле «первым настоящим учителем, обладавшим недюжинным умом и собственными принципами».

[5] В Савойе находилась крепость Миолан, где Сад отбывал заключение в 1772—1773 гг. и откуда совершил побег. Скрываясь от правосудия, он выдал свое местоположение, написав письмо с просьбой о поддержке госпоже де Монтрей, которая использовала полученные сведения против Сада.

[6] *Lettre de cachet* (*франц.* «письмо с печатью») — указ, скрепленный личной печатью короля, позволяющий вынести приговор, минуя следствие и суд. Как правило, такой указ представлял собой бланк с пробелом в том месте, где должна быть фамилия обвиняемого. Могли выдаваться по просьбе главы семьи, желавшего нака-

зать кого-либо из родственников за безнравственное поведение. По lettre de cachet, выданном по просьбе госпожи де Монтрей, Сад провел Венсеннском замке в общей сложности более десяти лет. Такого рода практика была отменена Национальной Ассамблеей в 1790 г., и Сад получил свободу.

[7] *Рене-Пелажи де Лоне* — жена Сада, преданно любившая и поддерживавшая его морально и материально в течение всего периода заключения. Не обладая привлекательной внешностью, она отличалась приятным характером и скромностью, которую воспитывали как девушку из среды так называемого «дворянства мантии», то есть чиновничьего дворянства. Подчинившись выбору родителей, вскоре Рене-Пелажи полюбила мужа и даже отчасти разделила его убеждения. Однако после выхода Сада на свободу подала на развод и удалилась в монастырь.

[8] Саду рекомендовали согласиться на медицинское освидетельствование с целью признания его невменяемым. При таком исходе дела его бы оправдали, но лишили бы свободы до конца дней, а это вполне отвечало желаниям госпожи де Монтрей.

[9] *Жозеф-Жером Симеон* — адвокат Сада, который признал недействительными решения суда 1772 г. в связи с допущенными юридическими и процессуальными нарушениями и настаивал на смягчении приговора.

[10] Жительница соседнего города Монпелье — *Катерина Трейе* (по другим данным — Трийе), которую Сад называл Жюстиной («Справедливой», «Праведной»), служила кухаркой в Ла-Косте. Ее отец, ткач-одеяльщик Трейе, узнал подробности репутации Сада, явился в Ла-Кост и почти в упор выстрелил в Сада, но в пистолете не воспламенился порох и произошла осечка. Затем он появился в Ла-Косте еще раз и снова выстрелил в Сада, но на сей раз уже с большого расстояния и промахнулся. Будучи поставлен в ситуацию вне закона, Сад не ответил ему. По этой же причине он даже не осуществил намерение подать жалобу в Экс-ан-Про-

ванс генеральному прокурору де Кастийону. Трейе же подал ему жалобу, умолчав о собственных незаконных действиях. Сама Жюстина жалоб не высказывала, а получаемое сполна жалованье отдавала отцу. Все эти обстоятельства позволили Саду сделать вывод о том, что действиями Трейе кто-то руководит. Во время ареста Сада Жюстина сопровождала его и Рене-Пелажи, что переполнило чашу терпения госпожи де Монтрей.

[11] Сад чрезвычайно увлекался нумерологией и многие свои произведения писал, согласуясь с ее законами. Так, при написании «120 дней Содома, или Школы либертинажа маркиза де Сада» он сосредоточивается на числе 4. В письмах он использует все числа как шифры и ищет тайные знаки в письмах Рене-Пелажи. Сад также придавал огромное значение количеству переданных ему предметов.

[12] Имеются в виду неоднократные облавы с целью ареста Сада в его имении.

[13] *Тесть Сада* — Клод-Рене Кордье де Монтрей был президентом Парижской палаты по распределению пошлин и налогов и членом Налогового суда. Обладая покладистым нравом, мало влиял на дела семьи. В дальнейшем Сад не раз иронизирует, предположив, что он может против чего-либо возражать.

[14] «Упомянутая петиция» представляла собой прошение о снятии обвинения по «марсельскому делу».

[15] Имеются в виду cantharis fusca — темный мягкотел и другие cantharididae, жуки семейства мягкотелок, которых Сад затем отождествляет с Lytta vesicatoria, «шпанскими (испанскими) мушками», жуками из семейства нарывников, распространенными на юге Европы, в частности в Испании. И те, и другие содержат кантаридин — сильное возбуждающее средство, ядовитое в больших дозах. Употребление «шпанских мушек» было распространено в среде аристократов, хорошо знакомых с особенностями их дозировки. Наиболее вероятная версия происшедшего — передозиров-

ка кантарид, а не употребление некачественной пищи или переедание. Эффект передозировки был вызван ослабленным состоянием девиц, которым не следовало давать ту же дозу, что и аристократкам. Не исключен также вариант полной фальсификации обвинения и лжесвидетельств.

[16] Девицы не могли свидетельствовать подобным образом, даже если бы содомия действительно практиковалась, поскольку по обвинению в ней могли вынести приговор, по которому виновных должны были казнить через сожжение.

[17] Имеется в виду господин де Менд — генеральный прокурор в Марселе, который разбирал обстоятельства «марсельского скандала».

[18] В тот период Рене-Пелажи жила в монастыре кармелиток в Париже.

[19] Первый приговор по «марсельскому делу» был вынесен в отсутствие обвиняемых, Сада и его лакея Армана Латура. За мнимое отравление и недоказанную содомию Сада должны были обезглавить, а Латура повесить. Далее их тела должны были быть сожжены, а пепел развеян по ветру. Скрываясь от правосудия, Сад путешествовал и в результате интриг госпожи де Монтрей около полугода отбывал заключение в Миолане. Все это время он продолжал вести себя достаточно скандально. Повторный приговор после пересмотра дела предполагал всего лишь штраф в размере 50 ливров, запрет посещать Марсель и рекомендацию вести более размеренный образ жизни. Однако Сад был заключен в Венсенн не по приговору, но согласно *lettres de cachet*. Возвращаясь под конвоем из тюрьмы Консьержи в Экс-ан-Провансе, где он пребывал во время пересмотра дела, Сад предпринимает безуспешную попытку побега в Ла-Кост, где его снова арестовывают и препровождают в Венсенн.

[20] С *Гаспаром Франсуа Ксавье Гофриди* Сад познакомился в Сомане, когда они оба были еще детьми. Позже Гофриди стал ко-

ролевским нотариусом и прокурором в Апте, а также личным нотариусом Сада. Он написал немало прошений в вышестоящие инстанции в период преследований Сада. Во время пребывания в Венсенне отношение Сада к Гофриди было крайне негативным, так как он подозревал его в сообщничестве с г-жой де Монтрей.

[21] *Анн Саблоньер* (Нанон) — лионская сводня, оказывавшая услуги Саду. Зимой 1774—1775 гг. она поселилась в Ла-Косте и присоединилась к общему веселью. Известно, что Сад считал себя поклонником Венеры-Каллипиги (*см.* примеч. 171) и особенно ценил пышные ягодицы Нанон, которая кроме широты сексуальных взглядов, привлекала его и соответствующими формами. Летом 1775 г. Нанон была заключена в Арле по просьбе мадам де Монтрей.

[22] *Госпожа Ла Дюплан* — гувернантка, бывшая танцовщица, служившая в Ла Косте зимой 1774/75 гг. Отличалась крайней эксцентричностью: в частности, она привезла в Ла-Кост человеческие кости для украшения комнаты, которые затем стали уликой против Сада (подробнее см. письмо жене от 20 февраля 1781 г.).

[23] Имеется в виду титул генерального наместника в провинциях Брессе, Бюже, Вальроме, Жэ с годовым доходом в десять тысяч ливров, который передавался по наследству в семействе Садов. Маркиз получил его в 1764 г. вскоре после женитьбы. Доход с этого титула Саду прекратили выплачивать после вынесения смертного приговора.

[24] *Каноник Видаль* — друг Сада, в доме которого в деревне Оппед, поблизости от Ла-Коста, а затем в амбаре около этого дома Сад скрывался во время одной из облав.

[25] *Мария-Доротея де Руссе* (Милли Руссе, Милли Весна, Фанни, месье Элен) — дочь провансальского нотариуса, знала Сада с детства. В июле 1778 г. они встретились в Ла-Косте после побега Сада по пути в Венсенн после суда в Экс-ан-Провансе и разговорились, присев на каменную скамью. Этот эпизод Сад

не раз упоминает в письмах из Венсенна как начало их нежной дружбы. Характер отношений Сада и Милли Руссе не установлен, но известно, что Милли пыталась «улучшить» нравственный облик Сада, за что он и называл ее «святой», и поддерживала дружеские отношения с Рене-Пелажи.

[26] *Готон Дюффе* (Сад также ласково называет ее Готрюш, используя мужской род для конспирации) — горничная, а затем уборщица территории Ла-Коста, так же как и Нанон отличавшаяся пышными ягодицами, за что Сад называл ее «славной племенной кобылицей». Позднее стала подругой Картерона. Предположительно, исполняла в Ла-Косте не только обязанности горничной, но и оказывала хозяину интимные услуги, а также участвовала в общих оргиях. Сад был искренне растроган, узнав в Венсенне о ее смерти от родильной горячки.

[27] *Граф де ла Тур* — губернатор герцогства Савойского в Сардинии, начальник коменданта Миоланской крепости де Лоне (*см.* примеч. 107), который отдал приказ об аресте Сада под давлением короля Сардинии Карла Эммануила. Это давление было оказано в результате личной просьбы госпожи де Монтрей к герцогу д'Эгийону, министру иностранных дел, принадлежащему к тому же к кругу фаворитки Людовика XV мадам Дюбарри. Госпожа де Монтрей желала, чтобы Сад был заключен за пределами Франции, боясь огласки, которая могла бы повредить репутации семейства, а также того, что по французским законам она не смогла бы распоряжаться имуществом зятя. Впоследствии уже сам Сад и Рене-Пелажи ходатайствовали перед ним об освобождении.

[28] *Франсуа Рипер* — выходец из уважаемой семьи Мазана, одного из родовых поместий Садов. Занимал пост вигье (мирового судьи и одновременно старосты), еще сохранившийся в патриархальном Провансе. Затем под руководством Сада, а также во время его заключения Рипер занимался хозяйственными делами в Мазане. Сад общался с Рипером на равных, поскольку он даже

понимал юмор сеньора. Если лакей Латур в основном занимался устройством интимных встреч Сада, то Рипер много раз буквально спасал его. В частности, именно он устроил побег Сада из Ла-Коста в 1774 г.

[29] *Рено* — адвокат Сада на апелляции в Экс-ан-Провансе.

[30] *Луи Маре* — инспектор, арестовавший Сада впервые по делу Жанны Тестар. После того как это дело было улажено, он получил предписание взять поведение Сада под контроль. Именно он арестовал Сада в Ла-Косте после побега и препроводил его в Венсеннский замок в сентябре 1778 г., где с этого момента он безвыездно пробудет около шести лет. Маре аккуратно отправлял сообщения о своих подопечных в вышестоящие инстанции, благодаря которым биографы смогли получить достаточно полное представление о жизни Сада с 1763 г. Поскольку Маре специализировался в области нравов аристократии и священнослужителей, изучение составленных им досье на подопечных привлекали внимание далеко не только биографов Сада, но и специалистов в области истории нравов и повседневности.

[31] Четверо из пяти сестер отца де Сада посвятили свою жизнь религии. Габриелла-Лора была аббатисой монастыря Св. Лорана в Авиньоне, Анна-Мари-Лукреция — членом ордена там же, Габриелла-Элеонора — аббатисой монастыря Св. Бенуа в Кавайоне, в окрестностях Ла-Коста, Маргарита-Фелисите (госпожа Ла-Кост) — членом ордена Св. Бернара там же. Замуж вышла только младшая из тетушек, Анриетт-Виктуар. В 1733 г. она стала маркизой де Вильнев.

[32] Эта камера под № 6 с ужасными условиями дала Саду повод называть себя «господином Шесть».

[33] *Жан-Шарль-Пьер Ленуар* — лейтенант, который служил в Венсенне и непосредственно отвечал за Сада, однако на практике он контактировал по большей части с комендантом Венсенна де Ружемоном (*см.* примеч. 43).

[34] *Господин д'Эври* — дядя Рене-Пелажи.

[35] *Ла-Кост, Соман, Мазан* — поместья Сада.

[36] *Буше* — цензор Сада, которого, как и де Ружемона, Сад называл «научными работниками по части сокращений, ограничений, комментирования и искажений». Зачастую Сад вставлял в свои письма оскорбительные ремарки специально для них.

[37] *Альбаре* — слуга семьи де Монтрей. Сад называет его также «кадет де Базох».

[38] *Господин Бонту* — адвокат, который появился в камере Сада, чтобы ознакомить его с материалами, подготовленными для повторного слушания под давлением провансальского клана де Садов. Их обращение было согласовано с госпожой де Монтрей; она же прислала и господина Бонту, который вел двойную игру: именно он рекомендовал Саду согласиться на медицинское освидетельствование. Сад полагал, что Бонту — человек с вымышленной фамилией, который не имел никакого отношения к адвокатуре.

[39] *Пьер Шовен* — управляющий в Ла-Косте.

[40] Имеется в виду слуга Сада Картерон, фигурирующий также как Юность, Мартин Киро, Жозеф Киро, Жак и др. Он был необычайно предан Саду, с которым у Картерона установились весьма фамильярные отношения. Кроме того, он переписывал сочинения Сада набело.

[41] *Ла Ланжевен* — гувернантка детей Сада.

[42] *Луи-Мари*, маркиз де Сад-младший, родился 27 августа 1767 г. Его крестными были принц де Конде (*см.* примеч. 3) и Луиза-Элизабет де Бурон, вдовствующая принцесса де Конти. Луи-Мари был способным ребенком и любимцем Сада. Позднее отношения между ними испортились.

Младший сын, *Донасьен-Клод-Арман*, шевалье де Сад, родился 27 июня 1769 г. Далее Сад называет его просто шевалье.

Дочь *Мадлен-Лаура* родилась 17 апреля 1771 г. Мать характеризует ее как «большую бездельницу». Мадлен-Лаура, как и ее мать, закончила свои дни в монастыре Святого Ора.

[43] *Шарль Жозеф де Ружемон* — комендант Венсенна, жестокий самодур и скупец. Сад был в ярости из-за того, что оказался в самой жесткой зависимости именно от такого человека. Сад дал ему множество прозвищ (далее в письмах — дон Себастьян де Кипускоа и др.), а однажды он нацарапал на стене камеры надгробную эпитафию ему:

Здесь покоится Венсеннский тюремщик
Мелкий, низкий, озлобленный рогоносец,
Который наслаждался муками
И слезами несчастных.

Весь мир предъявляет ему счет.
Прохожий, вникни в следующее:
Что толковать о его душе,—
Ведь у этого Жана Футра ее вовсе нет.

Жан Футр (от *франц. груб.* foutre — сперма) — персонаж французского непристойного фольклора, образ которого соотносим с образом Луки Мудищева.

[44] *Антуан де Сартин* — генерал-лейтенант парижской полиции, подчинявшийся непосредственно министерству. Сартин был патроном Маре, который непосредственно контролировал поведение Сада (*см.* примеч. 30). Его подробные сообщения о действиях Сада и других подопечных Сартин после изучения передавал для доклада королю. Подробности этих сообщений вызывали явный интерес у Людовика и госпожи де Помпадур. Сад просил Сартина сохранить обстоятельства «аркёйского дела» в тайне, но эта просьба не была удовлетворена. В дальнейшем Сартин настаивал на за-

ключении Сада и увеличении срока его пребывания в тюрьме. В письмах Сад с целью конспирации часто называет Сартина Медведем.

[45] *Альгвасил* (*исп.* alguacil) — стражник, полицейский; здесь — исполнители приговоров испанских инквизиционных трибуналов.

[46] Имеется в виду либо собрание сочинений Петрарки, либо его «Произведение о происхождении всего существующего» — «Opera, quae exitant omnia» (1554), где обосновывается учение о естественной необходимости, носителями которой выступают как Бог, так и принципы человеческого общежития.

[47] *Госпожа д'Эври* — кузина Рене-Пелажи.

[48] *Анн-Проспер де Лоне* — сестра Рене-Пелажи, жены Сада. Была «светской канониссой и активно участвовала в театральных постановках Ла-Коста. Она не ответила на откровенные заигрывания дяди де Сада, аббата. Что же касается его племянника, то спектр мнений о характере их отношений колеблется от романтически-неземной любви до примитивного совращения. Это многообразие мнений биографов вызвано отсутствием достоверных сведений о связи Сада и Анн-Проспер, кроме того, что они нередко фигурировали в качестве супругов в театральных постановках и совершили совместную поездку в Италию в то время, когда Сада разыскивала полиция в связи с «марсельским скандалом». Будущий муж Анн-Проспер, виконт де Бомон, был племянником архиепископа Парижского, Кристофа де Бомона, ненавистника и гонителя не только либертенов, но и вольнодумцев в целом. Скажем, он написал специальное «Послание» (1762), осуждающее и запрещающее «Эмиля» Ж.-Ж. Руссо. В связи с этим одним из условий брака станет пожизненное заключение Сада.

[49] Известные *«Письма»* (1726) *Мари де Рабютен-Шанталь, маркизы де Севинье*, где помимо событийной канвы отражены светская жизнь, нравы, новинки из области искусства, представляют собой послания дочери Анжелике, графине де Гриньян.

Здесь же она описывает и процесс чтения ответных писем графини. Письма графини также интересны, поскольку последняя занимала значительное место в салоне Отель Рамбуйе, где велись беседы по вопросам литературы, искусства, науки, философии и морали.

[50] *Лаура де Нов* (в супружестве — де Сад) занимала значительное место в генеалогическом древе де Садов. Предположительно была музой Петрарки. Дядя Сада — аббат Жак-Франсуа Поль Альдонс де Сад — был известным исследователем творчества Петрарки и вольнодумцем. Аббат де Сад приятельствовал с Вольтером, который назвал его, отца Сада и их кузена Жозефа-Давида де Сада д'Эйгийера «очаровательным трио» либертенов. Сад прожил в Сомане с дядей с 1744 по 1750 г. Аббат де Сад был убежден в том, что Лаура де Нов и Лаура Петрарки были одним и тем же лицом, хотя это до сих пор не является вполне доказанным фактом. Кроме того, он был убежден, что Лаура и Петрарка состояли далеко не в платонических отношениях, и был занят поиском доказательств этой связи.

[51] «Вот правый путь для страждущих в пустыне, / Презрев земное, обратись ко мне». (*Петрарка. Ф.* Сонет LXXI «Устав под старым бременем вины...») (пер. В. Левика)

[52] *Р.-Ф. Дамьен* совершил покушение на Людовика XV 5 января 1757 г., ударив его кинжалом. По его словам, он желал «предупредить, что Франция умирает». Дамьена подвергли публичным пыткам, а затем четвертовали. Во время истязаний волосы жертвы встали дыбом, а после казни голова поседела. Ссылаясь на судьбу Дамьена, Сад утрирует масштаб своих мучений.

[53] *Юстиниан I* (527—565 гг.) — византийский император, который помимо всего прочего известен тем, что произвел кодификацию римского права. *Тиберий* (42 г. до н. э. — 37 г. н. э.) — древнеримский император, сторонник автократии.

[54] *Fructus belli* (*лат.*) — плод войны.

[55] Дочь Сада Мадлен-Лаура действительно не обладала привлекательной внешностью, кроме того не была ни умна, ни удачлива (*см.* примеч. 42). Многочисленные персонажи Сада, совращающие собственных миловидных и наделенных восприимчивым умом дочерей — исключительно плод авторской фантазии.

[56] *Господин Ив*, как и Бонту, адвокат, присланный госпожой де Монтрей Саду для поддержки в апелляционном процессе. По мнению Сада, Ив — такая же вымышленная фамилия, как и Бонту, поскольку она отсутствует в регистре парижских юристов.

[57] *Госпожа де Плиссе* — мать госпожи де Монтрей.

[58] *Госпожа де Шамуссе* — приятельница госпожи де Монтрей, жена К.-П. де Шамуссе, известного филантропа.

[59] Сад был категорически против того, чтобы его дети лично просили короля отменить действие lettre de cachet, согласно которому Сад был заключен в Венсенн.

[60] *«Гриффон»* — лавка, где можно было купить наиболее качественные канцелярские принадлежности, названная по фамилии ее хозяина.

[61] В Голландии можно было печатать любое произведение, избежав цензуры. Однако чаще всего Голландия как место издательства указывалась на изданных во Франции книгах, которые могли вызвать неудовольствие цензоров. Этим ходом Сад воспользуется после освобождения, издав «в Голландии» «Жюстину».

[62] *«Ментенон»* — роман мадам де Лавальер, жизнеописание маркизы де Ментенон, Франсуазы д'Обинье — дочери писателя-протестанта А. д'Обинье, жены писателя П. Скаррона и «набожной подруги» короля Людовика XIV. По некоторым сведениям, она, кроме того, что воспитывала детей короля и госпожи де Монтеспан, после смерти своего мужа стала тайной супругой короля. Несмотря на преклонный возраст, имела неограниченную власть над королем. Эта зависимость монарха подверглась едкой критике в «Персидских письмах» (1720) Ш.-Л. де Секонда Монтескье.

После смерти короля посвятила себя попечительству девичьего пансиона Сен-Сир.

[63] *Кармелитки* — монахини нищенствующего ордена.

[64] *Валаамова ослица* — библейский персонаж (Числа, 22). Увидев ангела, она вышла из повиновения Валааму, и он наказал ее, но горько раскаялся в этом, когда Господь открыл глаза ему самому. Сюжет о Валаамовой ослице обычно символизирует равенство всех живых существ перед лицом Господа.

[65] Сад намеренно искажает фамилию Лефевра, служившего ему камердинером с детских лет и научившего его читать и писать, т. к. необоснованно ревнует к нему Рене-Пелажи.

[66] *Кербер* (Цербер) — треглавый пес, страж входа в Аид в древнегреческой мифологии.

[67] *Мериго* — владелец крупного парижского книжного магазина.

[68] *Детуш* (наст. имя и фамилия — Филипп Нерико) — драматург, работавший в жанре комедии характеров и находившийся под сильным влиянием Ж.-Б. Мольера, Ж. де Лабрюйера и английской морально-дидактической комедии. *Жюли* — один из персонажей комедии Детуша «Мот».

[69] *Господин дю Бурже* — протоколист на процессе Сада.

[70] *Маркиз Т.-Ж. де Лалли-Толендаль*, обратился с просьбой о возвращении доброго имени его отцу, графу Т.-А. Лалли, барону де Толендалю, который занимал пост генерал-губернатора французских колоний, потерпел поражение от англичан и по возвращении во Францию был казнен. Его сын, известный публицист и депутат Учредительного собрания, добился полной реабилитации отца.

[71] *Господин де Бори* — начальник тюрьмы Пьер-Ансиз, где, как и в тюрьме Сомюр, Сад отбывал заключение после вынесения приговора по делу Розы Келлер (подробнее *см.* примеч. 92). Условия, в которых находились заключенные Пьер-Ансиза, были относительно мягкими.

[72] *«Французский путешественник»* — записки аббата де ля Порта. Сад очень ценил «Французского путешественника», поскольку, как известно, всегда проявлял интерес к экзотическим «естественным» культурам, используя знания о них как фактический материал для критики европоцентризма.

[73] *Р.-Н.-Ш.-О. де Мопу* занимал в 1768—1774 гг. пост канцлера. В 1771 г. после роспуска парламентов были созданы новые «парламенты Мопу». Именно по просьбе Мопу, как свидетельствует Т. Карлейль, были подписаны шестьдесят тысяч lettre de cachet, согласно которым зачастую производились заключения за безнравственное поведение.

[74] *Ф.-Р. Моле* — известный актер, первый исполнитель роли Альмавивы в «Женитьбе Фигаро» П. Бомарше. После революции Моле входил в «черную эскадру», т. е. в число монархистов «Комеди Франсез». Сад был дружен с ним в этот период и, вероятно, даже брал у него уроки актерского мастерства. Моле поддерживал идею постановки пьесы Сада «Будуар, или Легковерный муж».

[75] *«Марго попала в штрафную роту»* — популярная армейская скабрезная песня.

[76] *«Шестнадцать»* («seize») по-французски звучит так же, как перерыв («cesse»). *«Cessation»* (*франц.*) — прекращение.

[77] *Госпожа де Ланжак* — знакомая и, возможно, пособница госпожи де Монтрей.

[78] Эта фраза адресована Буше.

[79] В русскоязычном варианте Псалтыря (118: 84): «Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими?»

[80] *Rigolei d'aqui* (*диал.*) — ручеек.

[81] Идеи *аббата Прево* (полное имя — А.-Ф. Прево д'Экзиль) подготавливали эпоху Просвещения. В его романе «Манон Леско» (1731) поэтизируется чувственная чистота, присущая не только шевалье де Грийе, но и куртизанке Манон. Чувство, по Прево, не может быть объяснено посредством разума, поэтому его

роман не был в полной мере принят рационалистами, зато в полной мере — Садом, который был поклонником идеи природного фатализма, как и П. А. фон Гольбах (*см.* примеч. 190).

[82] *Ж.-Л. д'Аламбер* — один из наиболее видных мыслителей эпохи Просвещения, математик, механик и философ. Наряду с Д. Дидро был инициатором и редактором «Энциклопедии» (*см.* примеч. 86), но, не выдержав давления правительства, прекратил принимать участие в ее создании. Основные произведения д'Аламбера — «Трактат о динамике» (1743), «Рассуждение об общей причине ветров» (1774), «Элементы философии» (1759) — проникнуты духом скептицизма и сенсуализма. Вместе с тем д'Аламбер полагал, что существуют неизменные и не зависящие от общественной среды нравственные принципы, а его скептицизм по отношению к идее Бога не предполагал атеизма, за что он подвергся критике более радикально настроенных современников.

[83] *Катахреза* — сочетание слов или понятий, несовместимых в соответствии с их буквальными значениями (например, «есть глазами»).

[84] *Плеоназм* — слово или понятие, употребление которого приводит к излишней полноте высказывания (например, «своя автобиография»).

[85] *Марк Туллий Цицерон* — римский политический деятель, писатель и оратор, а также автор многочисленных трактатов по риторике.

[86] *«Энциклопедия»* (полное название — «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел», 1751—1780) — 35-томное издание, созданное французскими просветителями по инициативе и под редакцией Д. Дидро и Ж.-Л. Д'Аламбера. В ее создании принимали участие многие видные мыслители, такие, как Ф. М. А. Вольтер, Э. Б. Кондильяк, К. А. Гельвеций, П. А. Гольбах, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, А. Р. Ж. Тюрго, Г.-Т. Рейналь, Ж. Бюффон и др. Словарные статьи энциклопедии неодно-

родны, в связи с различиями в мировоззрениях и научных взглядах авторов, однако в целом «Энциклопедии» присущи антиклерикализм и рационализм, близкие Саду. Достаточно упомянуть, что Папа Климент XII в специальном бреве (послании) от 3 сентября 1759 г. осудил «Энциклопедию» на сожжение. Это постановление было отменено только на Вселенском соборе 1965 г. под председательством папы Павла VI.

[87] «*Ле Меркюр де Франс*» — литературный ежемесячник.

[88] Имеется в виду де Ружемон.

[89] Популярная пьеса, упрощающая сюжет «Отца семейства» (1758) Д. Дидро. В основе последней — идеал общественного человека, причем под обществом понимается семья. Персонажи более крупных общностей ассоциируются с одиночеством и злом.

[90] *Свинья-полукровка* — подразумевается де Ружемон, который имел внебрачное происхождение.

[91] Возможно, имеется в виду «Криспин — соперник своего господина» (1707) А.-Р. Лесажа, в котором, действительно, иронически изображается мелкобуржуазный быт.

[92] В Пасхальное воскресенье 3 апреля 1768 г. Сад сделал непристойное предложение Розе Келлер, которое она приняла якобы по причине заблуждения относительно его истинных намерений и отправилась в тайный «домик» Сада в парижском предместье Аркёй. Роза Келлер не подверглась изнасилованию, которое заменили удары плетью и другие истязания, приправленные щедрой дозой богохульства (Роза была распята лицом вниз на кровати, Сад заставлял ее исповедаться и пр.). Несмотря на то что Роза Келлер не получила серьезных телесных повреждений, «аркёйское дело» получило громкую огласку. Обычно дату этого происшествия соотносят с другой датой — Пасхальным воскресеньем 8 апреля 1341 года, когда Петрарка короновался лавровым венком как король поэтов на римском Капитолии. Это воскресенье нередко считается началом эпохи Ренессанса. Сад, большой поклонник Петрарки,

3 апреля 1768 г. попытался положить начало эпохе Либертинажа. В результате, после разбирательства по этому делу, он попал в тюрьму Сомюр, а затем в Пьер-Ансиз.

[93] Имеется в виду Андре, подросток, который был секретарем Сада в Ла-Косте зимой 1774/75 г. и, вероятно, участвовал в оргиях. Позднее свидетельствовал против Сада.

[94] *Господин де Кастильон* — генеральный прокурор в Экс-ан-Провансе, который разбирал еще жалобу отца Катерины Трейе (*см.* примеч. 10).

[95] Имеется в виду juniperus sabina — можжевельник казацкий из семейства кипарисовых, помимо прочих обладающий абортивными свойствами.

[96] *Джузеппе Иберти*, врач по профессии, искусствовед и вольнодумец. Сад познакомился с ним во время путешествия в Италию 1775—1776 гг. и восторженно воспринял его идею об оправданности медицинских экспериментов над обреченными в приютах.

[97] *Hellebore* (helleborus vesicarius) — морозник, растение из семейства лютиковых, ядовитое в больших дозах, как и кантариды.

[98] *Мадам де Сен-Жермен* — близкая знакомая аббата де Сада, которая приезжала к нему в Соман и помогала воспитывать Донасьена и стала ему «второй матерью». Она оказала заметное влияние на формирование его литературных вкусов, в частности, привила ему любовь к возвышенной поэзии и благородным чувствам, познакомив его с «Освобожденным Иерусалимом» Т. Тассо и «Португальскими письмами» Г.-Ж. Гийерага. Возможно, такое внимание к Донасьену объясняется ее увлечением отцом Сада, бывшие любовницы которого поддерживали с ним дружеские отношения и стремились быть ему полезными. Так, графиня де Ремон, которая также была привязана к отцу Сада, соперничала с мадам де Сен-Жермен в изъявлении материнской любви к Донасьену, который подолгу отдыхал в ее имении Лонжевиль. Впечатления, полученные там, Сад использовал в новелле «Хозяйка зам-

ка Лонжевиль, или Отомщенная женщина». Общение с обожавшими Сада бывшими любовницами отца способствовало становлению его либертенских взглядов.

[99] *Маркиз де Пуайян* — друг отца Сада и наставник его самого в период службы в армии. Он хвалил молодого корнета за мягкость нрава, не одобрял его увлечения азартными играми и оргиями, но считал это увлечение вполне естественным.

[100] Возможно, имеются в виду «Мемуары» известного писателя и политического деятеля П.-О.-К. Бомарше, представляющие собой материалы по его судебному процессу.

[101] Сад в 1754 г. поступил в Школу кавалерии, куда принимали только отпрысков родовой аристократии. В связи с этим пришлось приобрести для Сада соответствующий сертификат, заверенный знатоками генеалогии. Тем не менее спустя полтора года он начал службу в Королевском пехотном полку, а затем в бригаде Святого Андрея, которая входила в корпус карабинеров, где занимал значительный пост маркиз де Пуайян (*см.* примеч. 99), и только затем в Бургундском кавалерийском полку. Сад участвовал в шести значительных военных кампаниях в ходе Семилетней войны, после окончания которой был отчислен в запас. Служба в армии не наложила значительного отпечатка на Сада и практически не нашла отражения в его произведениях, ведь его увлекала совсем другая «война». Исключением является один из эпизодов романа «Алина и Валькур».

[102] Первое заключение Сада в Венсенн произошло после разбирательства по делу Жанны Тестар (1763). Она, как и Роза Келлер, но несколько ранее, была приглашена в «домик» Сада в Аркёе и столкнулась с тем, что Сад обычные развлечения либертенов сочетал со святотатством. Кроме того, он заставлял Жанну следовать его примеру. Несмотря на данную подписку ею о неразглашении, она все-таки заявила в полицию, в результате чего Сад впервые оказался в Венсенне. Второе заключение, которое он имеет

в виду,— заточение в Сомюре и Пьер-Ансизе после разбирательства по делу Розы Келлер. Однако известно, что этими двумя заключениями тюремный опыт Сада не исчерпывается (*см.* примеч. 1).

[103] *Ж.-Б. Массийон* — священник и писатель. Известен также как религиозный оратор. Для ораторского стиля Масийона характерно использование классицистской эстетики, которая служит для обоснования принципов, присущих идеологии «католического возрождения». Массийону удалось сформировать оригинальный стиль, который оказал значительное влияние на дальнейшее развитие литературы.

[104] Многие жители Севенны были протестантами и в связи с этим подвергались преследованиям.

[105] *Герцог де Ла Врильер* — секретарь Совета регентства при Людовике XIV и Людовике XV.

[106] Король Сардинии Карл Эммануил.

[107] *Граф Луи де Лоне* — комендант крепости Миолан. Сначала де Лоне был достаточно строг к Саду, считая его одним из наиболее коварных заключенных, но затем поддался его обаянию, и Сад уже в 1773 г. смог осуществить побег.

[108] Аббат де Сад, отношения которого с племянником расстроились в связи с тем, что тот слишком далеко зашел в либертинаже. Впоследствии аббат принял сторону госпожи де Монтрей.

[109] Поскольку Сад настаивал на его переводе из Венсенна, Рене-Пелажи, через свою знакомую маркизу де Соран, фрейлину сестры Людовика XVI Елизаветы, добилась указа о переводе в Монтелимар. По указанным в письме причинам Сад, после долгих колебаний, отказался от перевода. Интересно, что в 1789 г. под стенами Монтелимара произошла не менее масштабная демонстрация гражданских свобод, чем перед Бастилией, где к тому времени находился Сад.

[110] *«Путешествия вокруг света» Луи-Антуана де Бугенвилля* изданы через два года после совершения им кругосветного

путешествия (1766—1769) и замечательны тем, что в них отражены глубокие познания автора не только в этнографии, но и в юриспруденции и дипломатии. Роман-путешествие был одним из любимых жанров Сада (*см.* примеч. 72), из которых он заимствовал многие идеи. К примеру, Бугенвилль, описав отсутствие чувства собственности у таитян (а попросту говоря, их вороватость), отчасти подал Саду мысль о неприемлемости частной собственности в целом, повлиявшую, в свою очередь, на анархистское учение П.-Ж. Прудона.

[111] Рукопись комедии «Капризный» («Непостоянный», «Человек настроения» — Сад неоднократно менял названия произведения, над которым работал) Рене-Пелажи оценила очень высоко и рассчитывала передать ее актерам «Комеди Франсез» для последующей постановки. Однако Сад продолжал работать над ней до 1811 г. Возможно, именно в этой пьесе он собирался в полной мере отразить собственный противоречивый характер. Рукопись пьесы была утеряна.

[112] Конта-Венессен со времен авиньонского пленения пап в XIV в. принадлежал Ватикану, хотя и располагался на территории Франции. Практически его жители подчинялись то ватиканским, то французским законам, в зависимости от того, какие из них были более выгодными.

[113] *Пепен* — управляющий Сада в Сомане.

[114] Сад по неизвестным причинам называет Дамьен госпожу де Монтрей. Возможно, он хочет показать, что не прочь подвергнуть ее пыткам таким же жестоким, каким подвергли Р.-Ф. Дамьена (*см.* примеч. 52).

[115] *Et beatus* (*лат.*) — и блаженные.

[116] *Отец Сада* — Жан-Батист-Франсуа-Жозеф де Сад — был либертеном-гедонистом, имел множество сексуальных приключений самого различного толка и даже привлекался к ответственности за «итальянский порок», т. е. гомосексуализм, в саду Тюильри,

где дежурили «мухи» (подсадные агенты, игравшие роль «наживки»). Однако, в силу распространенности гомосексуализма в аристократических кругах, его дело было вскоре закрыто. Кроме того, Жозеф де Сад увлекался литературой, но, поскольку считал себя лишенным настоящего литературного дара, посвятил себя военной и дипломатической карьере, в том числе и при дворе Петра II. Тем не менее поддерживал общение с Вольтером, Кребийоном-младшим, Пироном, Монтескье и изобретателем «черного романа» Б. д'Арно. Вместе с тем отец сыграл и весьма отрицательную роль в судьбе Сада, расстроив ряд предполагаемых браков сына «по зову сердца», но невыгодных и настояв на браке с Рене-Пелажи. Отсюда двойственное отношение Сада к отцу. В связи с этим он далеко не всегда считает отца «обожаемым» как в данном письме.

[117] Сад одно время даже намеревался написать книгу о метемпсихозе.

[118] *Omnis homo mendax* (*лат.*) — всякий человек лжет.

[119] *Этьен Франсуа, герцог де Шуазель* — министр иностранных дел при Людовике XV и фактический глава государства в 1758—1770 гг. По свидетельствам современников канцлер Шуазель отличался суровым, решительным и принципиальным нравом и получил отставку за поддержку распущенного парижского парламента.

[120] *Гревская площадь* — площадь перед парижской ратушей, которая до 1830 г. была местом публичных казней. Впоследствии именно на ней были провозглашены Третья республика и Парижская Коммуна 1871 г.

[121] Под именем госпожи Гурдан, вероятнее всего, скрывается Рен Филиберт Руф де Варикур, маркиза де Вийет, к которой хотела переехать Рене-Пелажи. Она не осуществила этого плана, т. к. муж маркизы, Шарль де Вийет, был открытым гомосексуалистом, а о самой маркизе ходили слухи, что она «немного Сапфо»,

и в связи с этим Сад полагал, что проживание у них повредит репутации Рене-Пелажи.

[122] Сад предполагает, что жена сообщает ему размеры пениса Лефевра (длина — 7 дюймов, окружность — 5 дюймов).

[123] *Шевалье де Шапонэ* — знакомый Сада, которому он наносил визиты.

[124] *«Драгоценное дитя»* — сын Людовика XVI, который достаточно долго не мог лишить девственности свою супругу Марию-Антуанетту. Поведение, свойственное Саду в государстве, которым управлял король-девственник, естественно вызывало порицание. Сад, в свою очередь, неуважительно отзывался о монархе.

[125] *Ж.-Б.-П. Мольер* — комедиограф, актер и театральный деятель, сочетавший в своем творчестве достижения классицизма с традициями народной драмы и создавший жанр социально-бытовой комедии. При всех их достоинствах, комедии Мольера страдали излишней назидательностью, прямотой и зацикленностью на главной идее произведения.

П. Аретино — итальянский сатирик эпохи Ренессанса, автор множества политических памфлетов, сатирических комедий и трагедии «Горация». Многие произведения Аретино примечательны неприкрытым натурализмом и были внесены Ватиканом в индекс запрещенных книг. С произведениями Аретино Сада предположительно познакомил дядя, аббат де Сад, во всяком случае, его фривольные сочинения имелись в библиотеке аббата.

[126] «Нет большей боли, чем вспоминать, / В нашей нынешней скорби, былое счастье» (Данте, «Ад», Песнь 5). (*итал.*)

[127] *Катон Старший* — древнеримский писатель, автор трактата «Об аграрной культуре», где впервые употребляется сам термин «культура».

[128] *Диоген* — древнегреческий философ-киник, который практиковал крайний аскетизм, доходящий до эксцентризма.

[129] Автор «Приключений Телемаха» («Телемаха») — Ф. де Салиньяк де Ламот-Фенелон. В романе-памфлете «Телемах», произведении, которое по сюжету является продолжением «Илиады» и «Одиссеи» Гомера и повествует о событиях, которые произошли с сыном Одиссея Телемахом, Фенелон предпринимает попытку критики абсолютизма, прославляя земледелие и торговлю и отвергая необоснованное расточительство.

[130] *А. Пирон* — мастер остроумной поэзии и драматических произведений, приятель отца Сада. «*Метромания*» («Страсть к стихосложению») — стихотворная комедия, в которой высмеиваются графомания и графоманы. «*Ода Приапу*» — ода фривольного содержания, посвященная древнегреческому богу Приапу, которому присуща выраженная фалличность.

[131] *Pucelle* (*лат.*) — девственница. Возможны отсылки к героико-комической поэме Вольтера 1735 г. (изд. 1755 г.) с одноименным названием (в русском переводе — «Орлеанская девственница»), в которой он пародирует поэму официального поэта Ж. Шаплена «Девственница, или Освобожденная Франция» (1656).

[132] *Евклид* — древнегреческий математик, автор трактата «Начала», оказавшего огромное влияние на развитие математики, особенно геометрии.

[133] *Ж. Н. Баррем* — автор «Трактата о двойных частицах».

[134] Господин де Монтрей также способствовал аресту зятя.

[135] *Демосфен* — древнегреческий оратор, вождь демократической антимакедонской группировки.

[136] *Ж.-Ж. Ваде* — поэт и драматург, живописавший нравы французских уличных рынков, используя соответствующие языковые средства.

[137] Сад поручил Милли Руссе оплатить мессу в память Готон.

[138] Сад имел множество двоюродных братьев. Что-либо определенное известно только о некоторых из них: Жан-Батист-Жозеф-Давид, граф де Сад д'Эйгийер получил титул генерального

наместника после заключения Сада в Венсенн; маркиз де Жарант был либертеном-гедонистом, ему удалось избежать серьезных проблем с властями; Барбантен — хранитель печати в 1788 г., после революции выступил сторонником сопротивления третьему сословию, покинул свой пост и эмигрировал в Англию, откуда вернулся только в 1814 г.

[139] Это зачастую делалось для того, чтобы доставить Саду мучение.

[140] Одно время Рене-Пелажи брала уроки игры на гитаре, и Сад приревновал ее к учителю, хотя тот, по словам Милли Руссе, был «порядочным и благочестивым человеком».

[141] Возможно, имеется в виду «Заклятие дураков» (1512) Т. Мурнера, где, используя приемы «литературы о дураках», автор рисует масштабную сатирическую картину современной жизни, содержащую конкретные и узнаваемые образы.

[142] Находясь в заключении, Сад занимался в том числе и разработкой масштабных архитектурных проектов, в частности «Дома Искусств», «Дома Наслаждений» и пр., некоторые из которых он описал в своих произведениях («Дни Флорбеля», «120 дней Содома, или Школа либертинажа маркиза де Сада» и др.)

[143] «*Le Portier des Chartreux*» («Привратник монаха картузианского ордена») — популярное произведение, изобилующее деталями монашеского быта.

[144] «*Илиада*» — поэма Гомера о Троянской (Илионской) войне. Кроме описания поединков, в «Илиаде» и «Одиссее» Гомера присутствуют бытовые сцены и сцены жизни богов, не лишенные «сниженного» юмора.

[145] «*Итальянские анекдоты*» — возможно, имеется в виду «Книга фаций» (1452) П. Браччолини, представляющая собой сборник коротких новелл, чаще всего развернутых анекдотов, высмеивающих нравы различных слоев общества. Жанр фацеций (анекдотов) был весьма распространен в эпоху Ренессанса, когда

кроме сборника П. Браччолини было издано большое количество подобных изданий, одно из которых мог читать Сад.

[146] «*Юлия, или Новая Элоиза*» (1761) Ж.-Ж. Руссо — одно из наиболее показательных произведений, написанных в русле сентиментализма. Вместе с тем «Юлия» насыщена и естественной чувственностью, несовместимой с цивилизованностью и столь близкой Саду. Многие знавшие его отмечали, что он был чувствительным и обладал «слишком уж нежным сердцем», а френологическое изучение его предполагаемого черепа показало, что на нем имеются «шишки платонической любви и материнской нежности». Главная героиня романа Юлия тщетно пытается воспитать чувственность, присущую любимому Сен-Прё, в своем рассудительном муже г-не де Вольмаре. Учитывая чувствительность Сада, он лукавит, сравнивая себя с ним.

[147] На самом деле Сад спас тестя и тещу, когда внес их имена в «реабилитационный список», будучи после революции членом секции Пик.

[148] Гранжан и его брат, который лечил Людовика XVI,— одни из самых известных окулистов своего времени. Однако с современной точки зрения, их методы выглядят варварскими. Саду, глаза которого пострадали от дыма и недостатка света, Гранжан прописал промывание морской водой и водочным раствором, в который Сад просит добавить вместо морской «несколько капель растительно-минеральной воды». Видимо он все-таки сделал это, поскольку его зрение впоследствии несколько улучшилось.

[149] Французское «посылаю Вам свои самые нежные пожелания, Мари» («Je vous salue, Marie») соответствует началу молитвы Богородицы «Радуйся, Дево!», на латыни — «Ave Marie» (букв. «Привет тебе, Мария»).

[150] Трагедия «*Жанна Лесне, или Осада Бове*», далекая от либертинажа и насыщенная народно-патриотическими мотивами. Трагедия позднее была публично прочитана в комнате для совеща-

ний Бастилии в 1787 г. в присутствии персонала, в частности лейтенанта дю Пюже, который ценил талант Сада.

[151] *«Глупое испытание, или Доверчивый муж»* — одноактная пьеса, какие обычно исполнялись перед началом спектакля.

[152] *Sotto voce* (*итал.*) — вполголоса, интимно.

[153] *«Жорж Данден, или Одураченный муж»* (1668) — комедия Ж.-П. Мольера. Ее главный герой, разбогатевший буржуа, произнес знаменитую фразу: «Ты сам хотел этого, Жорж Данден!» после того, как разочаровался в браке по расчету с ветреной аристократкой.

[154] *«Фигаро»* — очевидно, «Женитьба Фигаро» П.-О. Бомарше, комедия, в которой остроумно изображен конфликт между дворянством и третьим сословием, а наибольшую симпатию вызывает главный герой — энергичный и остроумный слуга Фигаро.

[155] *К. А. Гельвеций, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо* — мыслители-вольнодумцы, авторы «Энциклопедии», идеологи просвещения, материалисты и натуралисты, обосновывавшие относительность моральных и правовых норм и их зависимость от среды и воспитания. Эти принципы вполне принимал и Сад.

[156] *Р. Лавлейс* (Ловлас) принадлежал к плеяде «поэтов-кавалеров». Дважды побывал в тюрьме: в 1642 г. — за ходатайство в английский парламент за восстановление епископатов; в 1648 г. — за службу во французской армии во время гражданской войны и за роялизм. Одно из наиболее известных произведений — стихотворение «К Алтее, из Тюрьмы».

[157] *Госпожа Мазан* — имеется в виду Рене-Пелажи, поскольку в те времена, когда Сад скрывался от правосудия, он называл себя «граф де Мазан».

[158] *«Миледи Фольвиль»* («Milady Folleville») — *букв. фр.* «безумный город».

[159] *П.-Ф. Велли*— известный историк.

[160] *Святоша Кордье* — тесть Сада, господин Кордье де Монтрей.

[161] *«Исповедь»* (1765—1770) Ж.-Ж. Руссо, которая увидела свет уже после его смерти, — одно из самых откровенных и искренних его произведений и произведений мировой литературы, где, по словам автора, показан «человек во всей его неприкрашенной правде, и этот человек — я сам». «Неприкрашенная правда» и в некоторых эпизодах даже либертинаж «Исповеди» были близки де Саду.

[162] *Янсенисты* — последователи голландского богослова К. Янсения, близкого к кальвинизму и пуританизму и отрицавшего идею свободы воли. Оставаясь течением в рамках католической церкви, янсенизм стал одной из форм буржуазной оппозиции, в связи с чем его центр — монастырь Пор-Рояль — был запрещен папским эдиктом. Полные брани препирательства янсенистов с иезуитами стали объектом критики просветителей, прежде всего Вольтера.

[163] *Л. Молина*— иезуит, который выдвинул доктрину согласия свободной воли с дарами благодати и божественным предопределением, а также милосердия к павшим и страждущим. Янсенисты, в том числе госпожа де Монтрей, категорически отвергали эту доктрину, а Сад, обучавшийся в иезуитском колледже Людовика Великого в 1750—1753 гг., ее иронически переосмысливает.

[164] *Отец Санчес* — наставник Сада во время его обучения в колледже Людовика Великого.

[165] *Р. Декарт* — философ-рационалист. Его учение о двух субстанциях — материальной и мыслящей — не предполагало существования пустоты.

[166] *«Подражание Христу»* — сочинение средневекового теолога Фомы Кемпийского (1380—1471). В нем излагалась доктрина, согласно которой каждый верующий должен оправдать жертвенную смерть Христа, внутренне пройдя его путь.

[167] *Pons asinorum* (*лат.*) — букв. «мост для ослов», «ослиный мост» или камень преткновения, а в некоторых случаях наоборот — средство, помогающее понять что-либо труднодоступное. Средневековые школяры обозначали так чертеж, который помогал доказать теорему Пифагора (ср. русск. «Пифагоровы штаны»). В школьном языке XVIII века так назывались подстрочники и т. п. пособия.

[168] *Анри-Луи Кэн* (Лекэн) — известный актер, игравший в пьесах Вольтера.

[169] *Кристофер* (от *греч.* Христофор) — букв. «тот, кто несет крест». Таким образом, Сад обращает внимание на свои мучения.

[170] Известную античную статую Венеры-Каллипиги (*греч.* «Прекраснозадая») Сад видел в Италии. Таким образом, под *дублированием* здесь можно понимать содомию. Культ Венеры-Каллипиги считается типичным для эпохи рококо, свидетельства которого можно найти в работах О. Фрагонара, Ф. Буше и др. Это означает, что вкусы Сада были вполне типичны для его эпохи.

[171] Возможно, отсылка к человеческим костям, которые привезла в Ла-Кост Ла Дюплан (*см.* примеч. 22).

[172] «*Исповедь графа де* ***» (1741) П.-Ш. Дюкло — изданный анонимно роман-сборник моралистических эссе, исторических анекдотов и галерея портретов. Его герой — либертен Валькур — дал имя и стал одним из прообразов главного героя философского романа «Алина и Валькур».

[173] *Ф. Оливье* — канцлер Франции при Франсуа I и Генрихе II.

[174] *Мухаммед* — аравийский пророк, основатель ислама. Упоминая его, Сад подчеркивает свое презрительное отношение к христианству.

[175] «*Футляры*» *и* «*флаконы*» — приспособления для мастурбации, которые Рене-Пелажи заказывала по просьбе Сада. Это поручение тяготило ее, поскольку изготовители явно издевались над ней.

[176] Рене-Пелажи прислала ему портрет молодого человека.

[177] *Un' bel giavanetto, signor* (*итал.*) — прелестный паренек, сеньор.

[178] *Si, si, signor, mandaleto lo voglio bene* (*итал.*) — да, да, сеньор, хорошо удовлетворите его желание.

[179] *In quarto* (*лат.*) — издание форматом «в четверть» целого листа (folio).

[180] *М. Э. де Монтень*— философ эпохи Возрождения, сторонник скептицизма. Ярый критик всякого рода предрассудков и предубеждений. Не отрицал бытия Бога, но теологию считал ложной наукой. Этика Монтеня близка к гедонизму и эпикурейству: основы нравственности он видит в терпимости и благожелательности.

[181] *Г. Делиль* — видный картограф, издал Всемирный атлас, устранив некоторые ошибки, типичные еще со времен Птолемея, в частности ошибку в долготе Средиземного моря, изобразив его в верной пропорции.

[182] *А.-В. Арно* — драматург и поэт, член Французской Академии и автор классицистских трагедий с современным подтекстом и сатирических басен. Вероятно, Сада интересовали именно последние.

[183] *В. Сен-Ламбер* — видный историк, специалист по истории Византии и автор известного труда «Поздняя Византийская империя».

[184] *К.-Ж. Дора* — поэт, в барочном духе воспевавший эфемерность радостей жизни, «пессимист наизнанку». Вольнодумство и антиклерикализм в его поэзии были по большей части данью моде.

[185] *Ф.-М.-А. Вольтер* — философ, писатель и публицист. Подверг критике клерикализм и аристократизм, однако ему была чужда также идея демократии. Полагал, что воля Бога не распространяется на естественнонаучные законы и общественные отношения. Особенно прославился острой стилистикой произведений и резкими выступлениями по адресу современного ему политического устройства.

[186] *«Путешественник»* — вероятно, «Французский путешественник» аббата де ля Порта (*см.* примеч. 72).

[187] *Ретиф* (Рестиф) *де ля Бретон* (настоящее имя — Николя Ретиф) — литератор, создавший множество произведений в жанре моральной утопии и примитивной эротики, провозгласив, что «все злое в любви — от морали». В связи с этим получил прозвище «Руссо из канавы» и считается либертеном-гедонистом. Сад низко оценивал его творчество, поскольку в его произведениях даже острое наслаждение сопровождается восторженным томлением и, соответственно, не имеет ничего общего с преступлением границы, ведущим к свободе. Кроме того, творческое наследие Ретифа отличается крайней противоречивостью. Скажем, выступая против «подлой собственности», он ратовал за монархию и одновременно называл себя коммунистом и создавал проекты кооперации. Ретиф, в свою очередь, так же негативно отзывался о произведениях Сада. Скажем, по поводу легендарной неизданной и утерянной рукописи Сада «Теория либертинажа» (которая, возможно, представляла собой продолжение «120 дней Содома» или «Философии в будуаре», а может быть, Ретиф назвал так одно из этих произведений) он высказался следующим образом: «Правительство, опереди этого негодяя! Если его книга попадет в руки солдатам, ужасной смертью умрут двадцать тысяч женщин». Перу Ретифа также принадлежит написанная по мотивам произведений Сада «Анти-Жюстина», которая отличалась примитивной и монотонной порнографичностью, в которой не было и намека на метафизический либертинаж. Неприятие произведений Сада привело к тому, что Ретиф выступил одним из свидетелей обвинения по делу Розы Келлер, а также утрированно описал это дело в «Парижских ночах». По его мнению, Сад угрожал Розе Келлер анатомированием в присутствии толпы гостей.

[188] *Bibliotheque bleu* (*франц.* «синяя библиотека») — серия популярных изданий в синих переплетах.

[189] «*Culs*» (*франц.*) — «ягодицы», «culs de lampes» — округлые архитектурные украшения, напоминающие фрагмент ламп интерьера церкви.

[190] «*Система природы*» (1770) Поля Анри фон Гольбаха — одно из наиболее впечатляющих философских произведений, в котором обосновывается естественность атеизма. Кроме того, в нем утверждаются природный фатализм порождения идей и учение о свободе как заключенной в человеке необходимости. «Система природы» была приговорена Парижским парламентом к сожжению, однако, несмотря на это, выдержала множество переизданий. Возможно, ее выход в свет стал одной из причин издания эдикта о божественной природе власти Людовиком XV. Сад использовал природный фатализм Гольбаха и его учение о свободе для теоретического обоснования практики либертинажа. Опровержение «Системы природы», упоминаемое Садом, принадлежит перу аббата Бержье и страдает крайней клерикальной тенденциозностью.

[191] *Nec plus ultra* (*лат.*) — дальше некуда, крайняя степень.

[192] *Барон де Бретей, Л.-О. де Тоннелье* — государственный секретарь (министр) внутренних дел. При де Бретее условия содержания заключенных были несколько смягчены.

[193] *Pater familias* (*лат.*) — отец семейства.

[194] Сад перепутал тетушек, действительно весьма похожих друг на друга (*см.* примеч. 31). Умершая Маргарита-Фелисите и была членом ордена Св. Бернара. Значит, ее долю следовало разделить между дамами из монастырей Св. Лорана и Св. Бенуа.

[195] «*Мне ужасно недостает чулок, Сад*» («Bien mal en bas, Sade») по-французски звучит так же, как «я очень плохой посол» («bien mal ambassade»). Сад ошибочно полагает, что ему хотят предложить должность посла, чтобы удалить за пределы Франции, и протестует против этого. Такие фантазии выглядят тем более странными, что ранее Сад любил путешествовать.

[196] 29 февраля (или 1 марта) 1784 г. Сад был переведен на второй этаж башни Свободы в Бастилии. Его камера была довольно просторной (22—25 $м^2$), с высокими потолками. Перевод в Бастилию мог бы считаться аристократической привилегией, если бы его причиной не было упразднение Венсеннской тюрьмы по требованию общественности.

[197] Монтелимар действительно находился в непосредственной близости от поместий Сада.

[198] Творчество Т. Тассо вполне в духе Ренессанса представляет собой попытку объединить идею наслаждения и идею христианской аскезы. Автор не смог осуществить это объединение в собственной судьбе и закончил свои дни в безумии. Сад упоминает его «Освобожденный Иерусалим» (1580), по мотивам которой написал собственную пьесу — «Танкред», которую и обсуждает с аббатом Амбле, уделяя внимание ее персонажам — Петру-Отшельнику, Рено и Армиду.

[199] *Ritornello* (от *итал.* ritorno — возвращение, повторение) — инструментальное вступление, интермедия или завершающий раздел вокального произведения или танца, а также речитатив в опере. Сад имеет в виду прежде всего последнее значение.

[200] *Господин де л'Арп* (*букв. франц.* harpe — арфа) — псевдоним известного литературного критика, который выступал против введенного Расином нового для французского театра жанра — мелодрамы как музыкальной драмы.

[201] *«Эсфирь»* (1689) и *«Аталия»* («Гофолия») (1691) — последние пьесы Расина, написанные для девиц пансиона Сен-Сир, находившегося на попечении де Ментенон (*см.* примеч. 62). По ее требованию из сюжетов был исключен любовный конфликт. Сохранив поэтический дар, Расин в этих пьесах проявил себя скорее не как тонкий психолог, но как проповедник, после чего окончательно отошел от театра. На представлении этих пьес побывал

епископ Боссюэ и остался удовлетворен ими. Представления «Эсфири» и «Аталии» первоначально сопровождались хоровым пением литургического характера (музыка — Ж.-Б. Моро, позднее — Я. Л. Ф. Мендельсон-Бартольди; в основе текстов, как и самих пьес,— библейские сюжеты). Позднее исполнялись без музыкального сопровождения.

202 «*Пигмалион*» (1770) Ж.-Ж. Руссо подводит итог эпохе рококо, четко отражая мысль о том, что искусство не может заменить собой реальность и вызвать более искренние чувства, тем более у самого создателя. Этот сюжет, заимствованный из «Метаморфоз» Овидия, еще не раз ложился в основу литературных произведений. В творчестве Сада он в том или ином виде фигурирует достаточно часто, — предельно явно в «Эжени де Франваль», который отличается от традиционного романа воспитания тем, что замысел Франваля-Пигмалиона «заключался не в том, чтобы укрепить разум, но воспламенить чувства» к себе самому Эжени-Галатеи. Трагическая развязка демонстрирует нам изначальную нежизнеспособность этого замысла, поскольку стратегия Франваля в некоторой степени основана на принуждении, которое осуществляет не он сам, но Эжени, которая убивает собственную мать, подчеркнуто добродетельную мадам де Франваль. В других произведениях, особенно теоретических (скажем, в «Философии в будуаре»), Сад пишет о необходимости добровольного принятия теории и практики либертинажа. Однако, как показал Р. Барт, либертен не мыслим без жертвы. Поэтому сюжет «Эжени де Франваль» остается актуальным для Сада, далекого от идиллических представлений и признающего необходимость зла, а его персонажи перенесены также в «120 дней Содома, или Школу либертинажа маркиза де Сада».

203 *Rigueur* и *sévérité* (*франц.*) — строгость, суровость, непреклонность.

[204] Помехой было отсутствие в камере Сада необходимой для написания исторического труда литературы.

[205] В этом письме Сад достаточно лицемерно склоняет Рене-Пелажи скрывать стесненность семьи в средствах, в то время как сам пишет длинные списки необходимых ему и достаточно дорогих книг, вещей и продуктов. К примеру, уже в следующем письме он просит прислать целую корзину с фруктами.

[206] *Альдонс* — вероятно, имеется в виду кто-то из близких родственников или друзей. Это старое провансальское имя должно было стать одним из имен самого Сада, но, поскольку его крестили в отсутствие родственников, редкое имя Альдонс изменили на более привычное Альфонс. Сад нередко подписывается именно этим именем.

[207] *Агата Ле Фор* — камеристка и горничная Рене-Пелажи.

[208] *Госпожа Кордье* — госпожа де Монтрей, названная так по одному из имен мужа.

[209] *Майор де Лосм-Собрей* — второй по званию офицер Бастилии.

[210] *Vanille* (*букв. франц.* «ваниль») — кодовое название афродизиака, *manille* (*букв. франц.* «вручную») — кодовое название мастурбации.

[211] Вероятно, это письмо является всего лишь стилизацией и на самом деле послано более близкому лицу.

[212] Все перечисленные лица — родственники Рене-Пелажи, действительные и мнимые прегрешения которых описывает Сад.

[213] *Командир Сад*, т. е. Ришар-Жан-Луи де Сад, с 1787 г. великий принц Тулузский — дядя Сада, который, в отличие от своих братьев, был далек от какого-либо либертинажа. Вопреки воле Сада, когда тот находился в тюрьме, имел право распоряжаться его делами.

[214] Далее следуют шесть знаков, напоминающих штыки и, вероятно, призванные показать силу расположения Сада к Рене-Пелажи.

[215] Имеются в виду сведения для романа «Алина и Валькур», некоторые эпизоды которого происходят в Испании и Португалии. В процессе написания романа Сад использовал огромное количество литературы, в частности, для проникновения в тему использования преступников на пользу общества, ознакомился с «Трактатом о преступлениях и наказаниях» Ч. Беккариа.

[216] *Бернар Рене Журден, маркиз де Лоне* — комендант Бастилии, человек решительный и жесткий.

[217] Подарок представлял собой портрет Рене-Пелажи в черепаховой раме.

[218] *Господин дю Пюже* — королевский генерал-лейтенант в Бастилии, который интересовался творчеством Сада (*см.* примеч. 150).

[219] *Мирей* — адъютант де Лоне.

[220] «Три мерзавца», которых ненавидел Сад,— де Лоне, де Лосм-Собрей и Мирей. Все трое пали жертвой толпы в день штурма Бастилии.

[221] Имеется в виду переезд в очередную камеру № 6, теперь уже в Бастилии.

[222] 2 июля 1789 г. Сада перевели из Бастилии в Шарантон, поскольку при первых признаках народных волнений он просунул в окно камеры раструб трубы, расширявшейся с одного края, которая была предназначена для вывода нечистот при уборке камеры или, по другим данным, для отвода дыма и, используя ее в качестве рупора, выкрикивал призывы к взятию Бастилии, которые сопровождались описанием зверств по отношению к узникам. Многие свои бумаги, в том числе и рукопись «120 дней Содома», он не смог взять с собой, и они были утеряны. После того как решение Национального собрания отменило lettres de cachet и эта отмена была ратифицирована королем, Сад вышел на свободу в Страстную пятницу 2 апреля 1790 г. Он сразу же пишет Гофриди, надеясь с его помощью начать снова получать доходы со своих владений.

[223] *Инфернальный* (от *лат.* inferno — ад) — адский.

[224] *Трапписты* — монашеский орден, основанный в XVII в. Несмотря на столь позднее возникновение траппистского ордена, его члены проповедовали полный возврат к аскетизму раннего восточного христианства. Сад впал в крайность, предположив, что он может присоединиться к траппистам, на самом деле он стал активным членом секции Пик.

[225] Вероятно, Сад забыл, что Рене-Пелажи получила доверенность только 13 июля.

[226] Это письмо представляет собой одну из многих попыток возобновить старые родственные и дружеские связи.

[227] После освобождения Сада Рене-Пелажи прекратила с ним всякие отношения и продолжала жить в монастыре Святого Ора вместе с дочерью. Она не настаивала на разводе, но потребовала возврата приданого в сумме 160 142 ливров. Позднее между ними была достигнута договоренность о выплате только процентов с указанной суммы, которая должна была выплачиваться ей арендаторами Сада.

[228] Отец Сада умер 24 января 1767 г. Сразу после женитьбы Сада между отцом и сыном возникла напряженность, при этом Сад пользовался поддержкой госпожи де Монтрей, обвиняя отца в мотовстве. Затем взаимная напряженность усилилась, т. к. граф де Сад страдал оттого, что передал большинство дел и свой титул генерального наместника сыну, ведь он сам получил этот титул только после смерти собственного отца.

[229] *Госпожа Payссе* — родственница Сада из Прованса.

[230] *Господин Рейно* — адвокат из Экс-ан-Прованс, который имел полную информацию о состоянии имущества Сада и хорошо понимал его в целом.

[231] *Маршал Анкр* (Кончино Кончини), будучи флорентийцем по происхождению, благодаря родственным связям со стороны

жены, стал видным политическим деятелем во Франции. Его недолюбливали представители всех социальных слоев, и он был убит в результате аристократического заговора при поддержке короля, а позднее был эксгумирован толпой, разрублен на части и предан огню.

Н. Загурская

Содержание

Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад

ПИСЬМА ВЕЧНОГО УЗНИКА

Редактор *Ю. Кулишенко*
Художественные редакторы *Е. Шамрай, А. Сауков*
Оформление переплета *Е. Шамрай*
Компьютерная верстка *Ю. Кулишенко*
Корректоры *О. Дмитренко, И. Коновалова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18/5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16. Многоканальный тел. 411-50-74. **E-mail: reception@eksmo-sale.ru**

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.

В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.

В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.

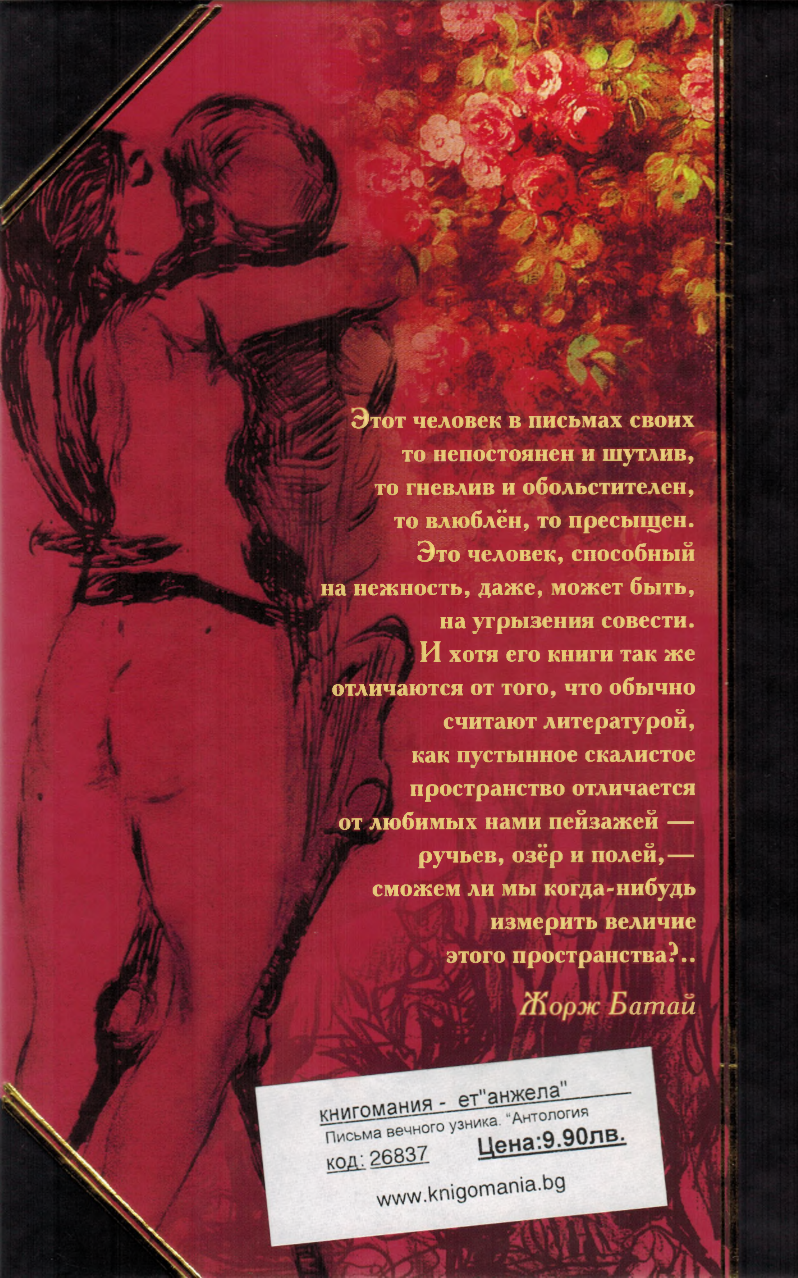
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать с готовых монтажей 18.07.2005.
Формат 70×100 1/32. Гарнитура «Академия».
Печать офсетная. Бум. тип. Усл. печ. л. 24,7. Уч.-изд. л. 25,3.
Доп. тираж 3100 экз. Заказ № 2617

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-699-05559-2





Этот человек в письмах своих
то непостоянен и шутлив,
то гневлив и обольстителен,
то влюблён, то пресыщен.
Это человек, способный
на нежность, даже, может быть,
на угрызения совести.
И хотя его книги так же
отличаются от того, что обычно
считают литературой,
как пустынное скалистое
пространство отличается
от любимых нами пейзажей —
ручьев, озёр и полей, —
сможем ли мы когда-нибудь
измерить величие
этого пространства?..

Жорж Батай